

**Н О В Ы Й**

**М И Р**

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ**

**И**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ**

**Ж У Р Н А Л**

**К Н И Г А**

**В Т О Р А Я**

**Ф Е В Р А Л Ь**

---

**М О С К В А**

**1 • 9 • 2 • 9**

Москва, Главлит А 30.959

СТАТ — формат Б/5

Тираж 21.000 экз.

---

Типография «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» им. тов. И. И. Скворцова-Степанова. Москва

## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Александр МАЛЫШКИН. — Севастополь, повесть, продолжение . . . . .	5
2. Мих. ГОЛОДНЫЙ. — Два стихотворения . . . . .	37
3. Виссарион САЯНОВ. — Полюс, стихотворение . . . . .	39
4. Н. НИКАНДРОВ. — Лесосека, рассказ . . . . .	40
5. В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ. — Карусель, стихотворение . . . . .	75
6. Вл. ЛИДИН. — Искатели, роман, продолжение . . . . .	76
7. М. ЗЕНКЕВИЧ. — Перелет Москва—Армавир, стихотворение.	115
8. П. СЛЕТОВ. — Листья, рассказ . . . . .	119
9. Осип КОЛЫЧЕВ. — Ночь на катке, стихотворение . . . . .	146
10. Сергей КЛЫЧКОВ. — Стихотворение . . . . .	148
11. О. ФОРШ. — Последняя Роза, рассказ . . . . .	149

12. Б. МАЙЗЕЛЬ. — Средиземноморская проблема . . . . .	163
13. Ник. СМИРНОВ. — Неотразимый образ, заметки о Ларисе Рейснер . . . . .	174
14. Ис. ТРОЦКИЙ. — Первый провокатор профессионал (Шервуд).	182
15. С. ДИНАМОВ. — Идеология научной и технической интеллигенции . . . . .	193
16. ПОГРАНИЧНИК. — Горная страна Памир (с иллюстр.). . . . .	203

### ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

17. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Листки из блокнота . . . . .	225
18. А. ШЕСТАКОВ. — На историческом фронте . . . . .	236
19. Б. СКВОРЦОВ. — Спутница Л. Н. Толстого . . . . .	242
20. Я. ФРИД. — Миссионер призывает к оружию . . . . .	249
21. Б. ЛЕВИН. — Деревенские очерки. Адыгум . . . . .	253
22. Елизавета КОКИЕВА. — По горной Осетии . . . . .	258
23. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (очерки международной политики) . . . . .	267

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
Б. РОДИН. — «Леонид Борисович Красин» . . . . .	278
В. ГУРКО-КРЯЖИН. — «Советская страна», №№ 1 и 2 . . . . .	279
С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Н. Огнев. «Собр. соч. т. I». . . . .	281
Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Ис. Гольдберг «Сладкая полынь» . . . . .	281
Борис АНИБАЛ. — Хаджи Мурат Мугуев «Смерть Николы Бун- чука» . . . . .	282
Борис ГРОССМАН. — Петр Дементьев «Душа на колодке» . . . . .	283
А. ШАФИР. — Леонтий Раковский «Сивопляс» . . . . .	284
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Г. Петников «Ночные молнии» . . . . .	284
А. БОНЧ-ОСМОЛОВСКИЙ. — А. Гаузнер «Невиданная Япония» . . . . .	285
К. ЛОКС. — Луиджи Пиранделло «Грешница» . . . . .	286
Я. ФРИД. — Курт Клебер «Пассажиры III класса» . . . . .	286
Д. БЛАГОЙ. — В. А. Жданов «Любовь в жизни Льва Толстого». . . . .	287



# Севастополь

Повесть

АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН

(Продолжение <sup>1</sup>)

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

С моря было спокойно. Грозный Черноморский флот, двоясь в тихой волне, погружен в недвижную чугунную дремоту. Панцырные сети, укрепленные на огромных стальных поплавках-бонах, ниспадающих до самого дна, охраняя его, завешивают вход в рейд со стороны открытого моря. Сквозь завесу не проскользнет ни одна вражеская подводная лодка. И флот едва дымит, держа корабли свои в «третьем положении», то-есть в готовности выйти в бой не раньше, чем через шесть часов. Солнечные зайчики узорят борты дредноутов, в кубриках называют балалайки, моторки мирно бегут по утрам в порт за провизией.

Флот ест, спит, гуляет.

Иногда два пароходика пропыхтят к горловине рейда, зацепят кормами по боне и растаскивают их в разные стороны. Панцырные ворота растворяются на несколько минут. Медленно скользят, кося наклоненные мачты и неся за собой в воде зеленую тень, зеленоватые щеголи-гидрокрейсера — «Ксения», «Георгий». В разведку или по секретному поручению наморси. Проползет посыльное судно «Веста» — суток трое ей болтаться на зыби, сматывая обрывки кабеля Севастополь — Варна. Или вырвется полдюжина лихих бронированных катерков, залетят по воде вперегонки, как собачья стая, взъяря белую кипень кругом. На Дунай, в Сулин, к генералу Щербачеву. Миг — и нет уж катерков. Только пыхтят натужно пароходики, затворяя ворота.

А за воротами еще ограда — минные поля, невидимо залегшие до всех горизонтов. Тусклые шары мин показываются под водой — на глубину осадки судна, на тонких стальных тросах, якорьками

<sup>1</sup>) См. «Новый Мир», кн. 1 с. г.

влившихся в морское дно. Мины похожи на мрачные сферические плоды, слишком отягощающие свой зыбкий стебель. В каждой — десятки пудов тротила, в каждой затаена до поры до времени внезапность чудовищного грохота, хаоса свистящих в небо обломков, чудовищного дымового смерча, по рассеянии которого на поверхности не остается ничего. Если за десять километров от корабля рвется мина, то в кают-компании крышечка из фаянсового чайника сама выскакивает на стол.

Но минные поля страшны только для врага. В невидимых минных полях оставлены невидимые же дороги — «Северный канал», «Южный канал», математически точно отложенные и на секретных штурманских картах. Свои корабли идут в море по этим безопасным каналам, охраняемые подводным забором из чудовищ. Однажды в день метельщики-тральщики проверяют и разматают начисто эти дороги, куда вражеская подводная лодка, прокравшись ночью, может поставить такой же многопудовый плод на зыбком стебле.

Это — контрольное траление.

В контрольное траление выходят лишь мелкосидящие суда. Они шествуют все время попарно, теснясь каждый к невидимому берегу невидимого канала, почти на грани страшного поля. Издали кажется, что суденышки танцуют кадрили. К кормам обоих тральщиков прилажен своими концами соединяющий их стальной трос: тральщики парой идут вперед и тянут за собой трос, зыбина которого утопает в воду и режет поперек всю ширь канала. Если в канале поставлена чужая мина, зыбина подсекает ее под водой за стебель, а измеряющие напряжение кормовые аппараты, к которым прикреплены концы троса, указывают тотчас же на присутствие постороннего тела. Обнаруженная мина выводится на поверхность, после чего ее расстреливают тут же, а если море спокойно, к ней осторожно подходит шлюпка, матросы навинчивают чугунные нашлапки на смертельные глазки, и улов буксируют домой.

...За панцyrной завесой, за минными полями, за тральщиками — флоту спокойно.

Порой «Ксения» или «Георгий» сгинут за горизонт — с неведомым поручением от клювоносого, насупленного адмирала. Пройдет посыльное судно или катерок с провизией для бригады траления — в Стрелецкую бухту... Однажды на закате ворота растворились, чтобы пропустить миноносец «Лейтенант Зацаренный». Андреевский флаг, как и полагается в походе, развевался на гафели. Обе трубы дымили густо и весело. На мостике, рядом с командиром, стоял подвахтенный офицер, прапорщик Софронов. Он, горделиво краснея, козырнул рукой в белой перчатке в пространство, в лебединые груди голубых «новиков», мимо которых проплывал: там, на «Гаджибее», тоже на мостике, вытянулся бывший юнкер Пелетьмин, заносчивый красавец Пелетьмин, фельдфебель школы, которого знатная родня устроила на самый блестящий миноносец, — и Пелетьмин узнал това-

рища, показав это изящным мановением руки. Путевой, нездешний ветер дул.

Остались за кормой акварельно-розовые отлогости дальнего степного берега, как бы приподнятые в воздух над стеклянной кризисной воды. Вон бойницы Константиновской батареи, столь часто виденные со скучной, недвижимой земли бульвара; вблизи они облуплены и древни; и — бойницы уже позади. И ничего не стало, только бездонный свет бьет в глаза и шипят и бегут нескончаемо — будто в гору — медно-закатные, с грозовой чернотой хляби. Прощай, земля! И прапорщику груди не хватает, чтобы вздохнуть...

Это тогда вахтенный матрос подошел к Шелехову — на спардеке «Качи».

— Господин прапорщик, миноносец на траверзе.

Шелехов передал ему бинокль, не желая отрываться от каких-то своих обдумываний (он мерил спардек взад и вперед, куря, сбывчившись).

— Посмотрите, какое судно, отметьте время, занесем в вахтенный журнал.

Матрос пошурился в трубки, повертел их.

— Двухтрубный... нос с нарезом... Должно, «Зацаренный», господин прапорщик.

— Вы не ошибаетесь? — встревожился вдруг Шелехов.

— Давеча для «Зацаренного» в контрольное ходили.

Шелехов выхватил у него бинокль, жадно придал к глазам. Корабль стоял или грезился где-то на краях мира и воды. Кто знает — «Зацаренный» ли, другой ли... Его освещал закат, а может быть, отсветы необычайной, уже открывшейся перед ними земли. Едва видимой точкой — сквозь ревнивое волнение — чудился где-то там уходящий Софрон. Прапорщик глядел неотрывно, очарованно...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Говорили, что с фронта едет Керенский.

Впрочем, и без этого время было чревато волнениями и событиями, подобно дереву, отягощенному плодами. Близились выборы в Совет. Жека ждала каждый вечер в темноте, у плещущего моря. В воскресенье выученики Шелехова готовились поставить в бригадном клубе свой первый спектакль: «Сирота-Горпына». Каждый день предвещался такой, словно в глубине его играли немислимые радуги. Даже незначашее ничего позвякивание стаканов в кают-компании, с которого начиналось обычно корабельное утро, рождало иногда во всем теле сладкое, предвкушающее похолодание...

В воскресное утро ревизор Блябликов поймал Шелехова на верхней палубе, жад ему обе руки, сластил улыбочками, обхаживал, как красотку.

— Вас можно, кажется, заранее поздравить? Маленькую просьбицу... позволите?

Шелехов вежливо недоумевал.

— Ради бога...

— При случае когда, не откажите на автомобильчике и меня в город подкинуть! Вам, как делегату Совета, будет полагаться... Катером такую массу времени тратишь. А у меня в городе семья, детишки... папку ждут.

— Да ведь... ничего неизвестно еще, что вы! — смущенно и радостно ежился Шелехов.

Блябликов понимающе подмигивал.

— Ну-ну-у!..

Конечно, исход выборов был ясен для всех, об этом никто даже не считал нужным много говорить. Разве не Шелехов властвовал по настоящему в бригаде!

Без него, например, не начиналось ни одного митинга, на котором решалось какое-нибудь важное дело. И если он опоздывал, и Скрябин, и Мангалов, и Маркуша — все они должны были терпеливо ожидать его, вместе с матросами, и иногда неловко было даже видеть, как затерянно таращились они из толпы... Недаром и Мангалов, почуяв, откуда тянет ветер, сам предложил ему одну из лучших кают наверху...

Чай пили сегодня в кают-компании по-праздничному, с прохладцей, по рукам гулял последний номер «Русского Слова», стоял неимоверный гвалт и дым.

Адмирал оказался прав: черноморская делегация вершила чудеса!

— Нашего бы большевика еще туда... он хлеще бы показал!

Лобович усмехнулся Шелехову ласкательно. Он питал к прапорщику отеческую слабость.

Свинчугов яростно ухватился за эту тему.

— Да, уж, конечно, лучше, чем какую-нибудь жидюгу Баткина. А то нашли присяжного поверенного, одели в клеш и возят: смотрите, как у нас матросики красно говорят, какие они ре-во-лю-цион-ные! Россию надувают мерзавцы.

— Сергея Федорыча обязательно надо было бы, это матросики маху дали, — подбострастничал некий невзрачный, незапоминающийся поручик с номерного тральщика, в нечистоплотном кительке, — Сергей Федорыч и флотский офицер и со значком высшего образования!

Мангалов, начальственно мигая, возражал:

— Ну, его скоро того... повыше выберут. Скоро бригада трагедия это... загремит, братцы.

Шелехов от смущения ушел с ушами в газету. Ехидничал ли капитан или в самом деле уже сдался, признал его безудержно восходящую, все сметающую силу?



Да не все ли равно! Стены кают-компания уже расступались в безбрежный свет, пропадали, где-то далеко внизу прощально копались люди, в роде Мангалова, похожие на козявок.

В газете опять было то же: «Черноморцы в Петрограде», «Речь Баткина, моряка Черноморского флота», «Восторженная встреча черноморской делегации»... Фуражки с георгиевскими ленточками триумфально шествовали по будоражной стране, всюду сеяли белозубые, дружественные улыбки. В сотый раз на петроградских улицах выступал лейтенант, сжимая руку матроса, и оба братались в сотый раз, кидаясь друг другу в объятия, в осенении красного флага, и в сотый раз бурно умилялась столичная толпа, рукоплещая и забрасывая героев цветами. Черноморцев ставили в пример всему фронту, братающегося лейтенанта возили по заводам. Читать об этом было приятно, ибо здесь чуялось дыхание вершин политической и общественной жизни, достигаемых лишь для немногих, к сонму которых был причастен и Шелехов. Чорт возьми, еще немного — и депутат Совета!

Однако, надо было торопиться на берег: там в бригадном клубе ждали матросские курсы. Воровато и с удовольствием поймал себя в зеркале: стройную, белую нарядность, горячеглазое, смешливо любопытствующее лицо, посмуглевшее за последнее время от корабельного солнца и ежедневных купаний в открытом море. Жмурился на палубе, вынимая папиросу.

Свинчугов выскользнул следом.

— Угостите-ка, молодой человек.

Поручика манило на чужой портсигар, как бабочку на огонек.

— Я вот что... давно мне с вами хотелось по душам...

Раскуривал внимательно, брови насупленные, вислое, как солдатские усы.

— Очень я вас, Сергей Федорыч, уважаю и люблю! Вы не обращайте внимания, если я из-за Сашки вашего брякну когда что поперек: у меня программа старого света, я ее тридцать лет составлял, двуличничать и товарищам зад лизать не умею, как какой-нибудь Блябликов. По правде, между нами, насчет автомобиля он к вам подлазил?

— Ну что же такого, — примирительно отозвался Шелехов.

— А то же... А потом к Маркуше с этим же подкатился: тебя, говорит, выберем обязательно, как коренного моряка, нам, говорит, пассажиров (это вас то-есть) не надо, и так их там хватит... Вот какая цыпочка!

Шелехов снисходительно скалился, будто ему это нипочем, но губа сама обидчиво сползала в сторону. — «Хорошо же, — обещался он про себя, — подкину я тебя к деткам, сволочь!..».

А поручик шопотами, табачной кислотой дышал в лицо:

— Вы мне вот что по душам скажите: правда, что нас насчет земли-то ограбят или болтают все? Купил я по случаю угодишко

одно, перед войной еще дело было, винограднички, садик-огородик, то-се. Думал, брошу службу (ревматизма у меня), под старость кусок хлеба. А теперь этот обалдуй, мичман-то Вицын, травит, сукин сын, каждый день, отберут, говорит, в уравнительное пользование. Ему, сукину сыну, все смехи, а мне-то... я тридцать лет для этого хрептуг гнул!.. Вы там по партиям-то ходите, все знаете, скажите по душам.

Шелехов обрадовался возможности хоть тут немного поквитаться («все вы с Блябликовым на одну колодку!..»).

— Да, похоже, что отберут, — с нарочным соболезованием ответил он, — страна крестьянская, сами понимаете, куда идет революция.

— Ну да, я так и думал! — Свинчугов, вопреки ожиданию, ни капельки не расстроился. — Если уж разные каторжники у власти, чего хорошего!.. Я-то свою землишку, молодой человек, знаете, уж запродаю: татарин тут один давно напрашивается. С денежками-то оно вернее-с, это правда, хе-хе! Дайте-ка еще одну... про запас.

\* \* \*

Матросов собралось на курсах человек сорок — со всех судов. Фастовец, сигнальщик Любякин, вестовой с «Витязя» Хрущ, писарь Баяндин, баталер Трофимчук и прочие, которых Шелехов не знал даже по фамилиям, минеры, штурмана, электрики, строевые. Шелехов поздоровался и деловито заглянул на часы.

— Ну-с, начнем с диктовки.

Он раскрыл хрестоматию, гуляя по классу, пел:

— Последние лучи... заходящего солнца... печально освещали вершины деревьев...

На самом деле оно безумствовало сегодня, солнце, и камни сверкали с той же чрезмерной, наводящей сон ослепительностью, как и вода. Комната была полна света и синевы. Шелехов любил эту комнату, с ее прохладами и шуршаньем книг (где они, отошедшие во вчера университетские кабинеты?), курсами своими он горел. Лучшие годы свои отдавший нищей беготне по урокам, с отвращением вбивавший премудрость в мозги ленивых и каверзных барчуков, здесь Шелехов вдруг открыл огромное наслаждение — преподавать. Когда Фастовец вышел к доске и решил первую задачу на проценты, его пронзил настоящий восторг, он едва подавил в себе рыдание...

Но ему хотелось, чтобы среди учеников был еще один, чтобы тоже следил за каждым его шагом любовными, уверовавшими глазами. Если бы здесь сидел еще Зинченко!..

Он притих, Зинченко возился себе где-то у топки, в преисподней «Витязя». Но почему так тревожила, так — ненавистно почти — тянула к себе эта жилистая, сутулая спина в синей рубахе, порой отчужденно мелькавшая на катере или на берегу?

— Ну-ка, Любякин, где здесь подлежащее?

После урока, как всегда, обступили, лезли из-за плеч друг друга. Вестовой лейтенанта Бирилева, Хрущ, выпрашивал:

— Бьетесь-бьетесь над нами, дуrolомами, а ни черта, наверно, толку не выйдет, господин прапорщик, а?

Опанасенко, — электрик с «Витязя», — белоглазый, тихоголосый, но любивший выделиться, витиевато самоунижался:

— Скрозь весь свет пройтить, а подобных феноменов, как в нашей бригаде, пожалуй, ещё не найдить, верно?

— Для науки надо башку иметь, а у матроса какая башка, когда при Миколашке только и знали, что палубу драить... Бывало, инда в глазах рябит!

— Я етого Миколашку помню, как он у Севастополь на яхте «Штандарт» приходил. Мы тогда на «Алмазе» стояли, в Южной. Конечно, — встреча, на всех кораблях команды наверх, музыка жварит на полный ход. Мы все в майском. Вдруг тучка на солнышке, тень. Сичас же команда с адмиральского — переобмундироваться в темное всем, как одному! Посыпали вниз, в кубрик, давай темное. Только выстроились — опять солнышко, едри его котел! А с адмиральского уж семафорят: надевай все белое, как один. Фу ты, едрена, опять в кубрик, за майским! Не успели на палубу выскочить, — туча, чисто на зло. Крой опять вниз за черным. За полчаса четырнадцать разов робу меняли.

— А у нас на «Евстафии» так: которые, видят, матросы без дела, сичас ставят в трюм два боченка воды и, знычит, переливай. В один перельешь, сичас же ее обратно в пустой. Часов по шесть так хрякали.

— Зачем же это? — спросил удивленно Шелехов.

— Чтобы матросу не думать.

А сами с надеждой клещились в прапорщика глазами: неужели в самом деле согласится, что никуда — матрос?

Шелехов, внушительно помолчав, сказал:

— Я думаю так: к осени почти всем вам можно будет держать на классный чин. В Севастополе при гимназии, я это устрою. Затем...

— А шо это классный чин? — любопытствовал Фастовец.

— А это значит за четыре класса городского и имеее право в школу прапорщиков.

Над Фастовцем дружно озоровали, — пихали в бока, гигикали, больше, конечно, от общей радости.

— Звездочки нацепишь, сукин сын, шкура!

Волосатый, дикий Фастовец, мотая кулаками, скалил зловещие зубы, режуще орал:

— А шо, изделай мне прапорщиком, шо, я робить не буду? Я не хуже другого робить буду.

— А затем, — продолжал Шелехов, деловито суровя брови, — затем, если еще с год постоим тут, ручаюсь, что кто будет итти вот как Любякин, сдадим на аттестат зрелости.

— А шо эта зрелость? — опять, притихая, спросил Фастовец.

Шелехов объяснил, что с этим аттестатом можно поступить в университет, а им, как специалистам, конечно, легче в институты какие-нибудь, значит, на инженера.

— Ай да Любякин!

Любякин, лучший ученик, стеснительно ухмыляясь, полыхал девичьими щеками, глаза стали туманные...

— Го-од? — процедил кто-то сзади, недоверчиво хмыкнув. Скудливый вахтенный с «Качи», прибредавший на курсы, должно быть, от тоски, насмешливо перекопился, будто болтали тут одни нестоящие пустяки, и пошел прочь.

То досадная недолговечная тень пробежала через солнце...

Обратно, к кораблю, шагали вместе с Фастовцем. В раскаленной лазури над вселенной плыл бледноватый, нарождающийся серпик. Матрос показал на него пальцем.

— Знаете, господин прапорщик, пословицу нашу: месяц лежит — моряк стоит, месяц стоит — моряк лежит. Похоже, в нынешнем тихо не будет.

Прапорщик недовольно повел плечами.

— Неужели и в этом месяце лежать? Надоело.

— Конечно, усякому надоело. Хучь бы к осени домой отпустили, бураки копать.

— Вы меня не поняли, товарищ Фастовец. Сам Керенский выехал на фронт, вы же знаете для чего. И к нам тоже приедет. Между прочим, товарищ Фастовец, я на плавающий перевозюсь...

Да, это было решено твердо: вчера еще, когда «Зацаренный» таял на горизонте.

Фастовец нисколько не удивился.

— Так его одно, который плавающий, который неплавающий: уси мы на бочке стоим. Вот бы задачку нам задали — присчитать, сколько наша жратва народу стоит... А скажите, — Фастовец с хитроватым простодушием заводил глаза в небо, — хлопцы тут у нас балакают, будто скоро пятый год будут отпускать, в бессрочный?

Шелехов неприятно удивился:

— А Вильгельм? Забыли, что сами говорили?

— Шо Вильхельм, — лениво жмурился Фастовец, — Вильхельме мы не поддадимся.

— Эх, Фастовец, — укоризненно сказал прапорщик, — вы сами знаете, что солдат и матрос должны сейчас крепко держать винтовку в руках, вы сами знаете...

Долговязый матрос, шедший впереди, оглянулся на звуки этой горячей речи. Щурились беспощадные смехучие глаза. У Шелехова от стыда пересеклось в горле.

Как-то унизительно-льстиво поторопился, козырнул первый. И тут же пошутил угодливо, словно задабривая, подсмеиваясь над самим собой:



— Ну, как, Зинченко, значит, — война до победного конца?

Зинченко прятал усмешливые, казнящие глаза в сторону.

— Это смотря по тому с кем.

И свернул куда-то в бок, к матросам.

Было нестерпимо стыдно перед Фастовцем, особенно перед Фастовцем, в мнении которого он пребывал всегда на непогрешимой высоте. И за что, в сущности, за что?.. Но день распылался, такой неумно-солнечный, такой благовестный, что всякую горечь мигом стирало с души, — да и Фастовец вряд ли понял что-нибудь... Могучая, тугая синева моря вздыбалась шаром из-за красных от зноя берегов. Дремали сдвоенные в воде мачты и стремительные выстрела тральщиков, едва курящихся над лазурным ковшем бухты. Все это выпуклое, жизнерадостное существование напрягалось ожиданием необычайных, счастливейших событий... А по синей волне с песнями подваливал катер из Севастополя, со сходни сбегали, толкаясь и перешучиваясь, гости — вольные, в белых рубахах на выпуск, в майских картузах, портовые Маруськи в яркоцветных шарфах и кофточках, матросы на битюжьих своих ногах: загодя собирались на спектакль, хотя до него оставалось еще часов восемь. А в рощице кружилось гулянье, гармошки.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Я боюсь, Сережа, слышите. Отойдите подальше!

— Я вас держу крепко.

Шли по краешку дамбы, по краешку темноты, кипящей вечнодействительным страстным плеском.

— Я не упасть боюсь... Страшно, когда рядом глубина, она черная и холодная, и внутри отвратительная слизь, бррр... И там эти плавают, эти...

Жека истерически влекла его на широкий асфальт, под колонны Физического института. Женщины шли навстречу, без шляп, в легком и белом, напевая из Вертинского. Со стороны города наплывало теплом нагретых камней. Море плескалось, неумолчное, как множество тревожно совещающихся собеседников.

— Я видела, как их убивали... этих, с «Очакова». Помните, было восстание? Сначала все стреляли, потом на корабле у них что-то загорелось, они бросились в воду и поплыли сюда. Самое страшное было вот тут у берега. Понимаете, те подплывают, выкарабкиваются, а солдаты бьют их с берега прикладами по головам и сталкивают обратно. Я была тогда дурой-девчонкой, лет двенадцати, увязалась за мальчишками — посмотреть... Они кричат, ругаются, плачут, выплывают опять. Вода стала грязная, красная... Знаете, их не вылавливали, они и сейчас там...

Она прижималась к нему — слабенькая, трепетная.

— Материя уже распалась и не осталось ничего, — сказал Шелехов. — Остался гнев, который родил великую революцию... Который лучшие люди и сейчас священно несут в себе...

Он едва удержался, чтобы восторженно не ударить себя кулаком в грудь. Навстречу шептались пары, припав друг к другу щеками, женский смех опадал изнеможенно.

— Девчонкой меня много потом лечили. Я вообще раздранный тарантас, вы только не знаете! Больше всего боюсь увидеть падаль, до дрожи, а как только иду мимо, непременно загляну, даже остановлюсь. Меня и на фронт потянуло такое... какое-то. Впрочем, у меня там был жених, я вам не говорила?

— У вас... жених? — изумился Шелехов, и скрипочка какая-то в нем тоненько и безудержно заиграла; закрыть от нее глаза, заснуть.

— Я говорю: был, был. А вы уже приревновали? Елисаветградский гусар, да-с! У нас, севастопольских девиц, вообще, первое место полагается гусарам, второе — летчикам, а уж третье — морякам.

Жека опять притворялась не-собой, ручьилась злым и скользким смехом.

— Вы говорите «был»?—умоляюще допытывался Шелехов, стискивая ей руку.

— Ну да... пустите. Он сейчас на румынском фронте.

— Вы его любите?.. Вы его любите, Жека?

Она близила к нему смеющееся, почти поддающееся поцелуям лицо, умиrotворяла.

— Но ведь я же не с ним, а с вами, здесь.

Надо было держаться мужественнее, загнать вглубь тяжелую, перехватывающую горло судорогу. Ну и что ж такого: был... Но он не хотел давать тому, румынскому, ни капли превосходства над собой.

— Между прочим, Жека, я, вероятно, тоже скоро уйду в поход. — Он говорил это, переплетая ее пальцы со своими, опять беспечный и веселый. — Вы читали, какой под'ем на фронте? Никто из нас теперь не имеет права оставаться в стороне. Это будет не просто наступление, а великий жертвенный гимн! И какое счастье — влиться в него, звучать в нем и своею жизнью. (Он, любуясь, повторил про себя: «Великий жертвенный гимн». — Хорошо было бы сказать это где-нибудь на митинге, перед матросами, только поймут ли?..) Я сегодня уже подал рапорт о переводе на плавающий. И если когда-нибудь меня вдруг не окажется здесь в назначенное время, значит, — я в море, так и знайте!

Он повернулся вместе с нею лицом в плещущую мглу.

— Вон там.

Растроганность и грусть охватили его. Хотелось говорить об этом, говорить без конца.

— Вы знаете, Жека, наша работа на тральщиках считается самой опасной во всем флоте. Но зато, по крайней мере, сразу... ни-

каких мучений, никакого сознания смерти... Просто — уйдешь однажды и не вернешься...

Жека забавлялась.

— Прапорщик, можно поплакать?

— Вы все шутите, — посумрачнел он и обидчиво замолчал.

Она, спохватившись, опять ухаживающе льнула к нему.

— Ну, не сердитесь, Сережа, милый. У меня ведь совсем нет вкуса на возвышенное. Я — проза. Ну, хотите, за это сведу вас в под-земелье? Вот тут, рядом. Вы никогда не были? Там страшно!

То было где-то у института. Она провела его, послушного, еще несколько шагов и подтолкнула вниз, в некое подобие пологого и темного подвального входа. Из-за обломков нащупанной ногами и руками двери дохнуло спертой затхлостью и зловонием.

— Дайте я пойду вперед, а то еще нос расквасите. — Жека, нетерпеливо оттолкнув его, пролезла вперед. — Зажгите спичку, мужчина!

Спичка, однако, тотчас же потухла, едва они вступили под своды подвала. Шелехов успел разглядеть впереди себя голую шейку и тугой узелок волос, заткнутых гребнем. И скрипочка опять запела в нем щемящей, неизлечимой нежностью. Их потопил в себе оглохший и бездыханный мрак. Руки Шелехова невольно ухватились за Жекины плечи, — чтобы не потерять, — коленки толкались в ее бедра, мешая ей идти. Она не отстранялась, только невольно замедлила шаг, — чуялось, обертывалась к нему милым, уступчиво улыбающимся лицом. Но сердце все-таки билось жутко, преступно, как перед бедой.

Она шептала:

— Только бы не наткнуться нам... матросы сюда своих водят, ха-ха-ха! Может быть, боитесь, зажжете еще спичку?

Значит, она опять издевалась, издевалась над ним? Воображала, может быть, что сзади нее — глупос, блудливое, испуганно-нерешительное лицо? Но ведь это неправда. Он ни разу даже в мыслях не посягал на нее, не подумал о ней с чувственным любопытством. Как будто у нее было и не тело, как у прочих женщин, а некие неосязаемые, растворяющиеся в туман драгоценности. В умилении захотелось сейчас же рассказать ей об этом. Оборвать удушливую подвальную одурь. Он наклонился к ее уху, щекочась о кончики шелковинок-волос.

— Жека, слушайте...

Женщина шурхнула платьем, с готовностью обертываясь, и неожиданно сама припала к нему грудью. — Ну, ну, — торопила она зачем-то. Послышался разнеженный мурлыкающий хохоток, спина ее подламывалась в его невольных объятиях. Из-под ног поднималось непереносимое, гнусное зловоние, и оно мучительно мешало осознать что-то самое важное, немедленное... Показалось, что пронзительные, бесстыжие пальцы обыскивали его, ласкали. Показалось ли?.. Шелехова объял ужас. — Жека! — хотел он простонать, ища

и уже достигая ее ехидно ускользящих губ. Но крепкие ногти впились ему в лицо, забрали и нос и щеки в колючую, тесную пригоршню, так что нечем стало дышать, губа задралась куда-то вверх и, вместо «Жека», получилось что-то жалкое, в роде «ве-ве»...

— Довольно, — расхолодил его предостерегающий, почти сердитый ее голос, — мы уже вышли. — И прапорщик, освободив глаза, увидел над собой уходящий в высоту куб института и звезды за ним.

Он растерянно гладил ладонями изрезанные щеки.

— Я хотел только... поцеловать вас.

— Что же, смелость города берет, — нагло хохотнула Жека, занятая своей прической.

«Дурак, sentimentalный дурак» — горько язвил он самого себя. Запоздалое раскаяние, чувство невозможности вернуть упущенное — жгли, сотрясали яростной лихоманкой.

— А мы еще сходим туда, Жека?

Она хладнокровно советовала:

— Вытрите ноги об траву, от вас пахнет чорт знает чем.

И, как ни в чем не бывало, потом бродила с ним по бульвару, по лагерьку ночных, лавочными огоньками помигивающих улиц, — там покупали черешни, ели, бросались друг в друга. Даже милостиво проводила до катера («так и быть, один раз побалую вас, Сережа!»), — расставались они раньше, чем обычно, чтобы он успел попасть на свой спектакль. А Шелехов трепетно крал глазами ее ночной, напевно склоненный к плечу профиль, и кипяток сладостного недоумения оплескивал сердце.

В бухте; увидев издали тускловатый брезг мичманского иллюминатора, не вытерпел, вскачь припустился по трапу, — больше уже не хватало мочи держать все в себе, доступало до горла, и ноги сами подплясывали... И так расшатал зыбкий трап, что нижние, которые поднимались следом, должны были ползти на карачках и матерились в бога.

\* \* \*

В каюте мичмана Винцента был такой разговор:

— Я не досказал тогда, Сережик... Вот честное слово... хотел застрелиться, а потом думаю: нет, чорта два, уж если гибнуть, так с треском, и не одному, а то потом зароете и никаких! И я решил, имей в виду, если только какой тарарам... сейчас спускаюсь в минный погреб и... и «Качу» и всю бухту, вместе с собой и с тобой и с окрестным берегом, к... матери!

— Чудак, я-то при чем? — смеялся Шелехов.

— А при том. Я заранее предупреждаю.

...Дремная, облачная, ветровитая ночь над «Качей», над опочившей водой. На берегу — разволнованные гармошки, переключанье, смех... Портовые согласивые девчонки ныряют в темноте хохотли-



выми стайками. Вот только сойти по трапу — и подхватят, с головой утянут в ласковую, омутную теплынь. И Шелехову досадно, что сгоряча угораздило ворваться к мичману, сидеть теперь, выслушивать его фантазии, терять дорогое время...

— Раньше был флот... Ты знаешь, что такое морской офицер? Лейтенант Рогусский ведет в море транспорт «Прут» со снарядами. В это время «Гебен» обстреливает Севастополь и, пока наши утюги разводят пары, благополучно утекает. В море он встречает «Прута» и предлагает ему сдать. Что может сделать транспорт против линейного крейсера? Лейтенант Рогусский спускает команду в воду, а сам с судовым священником остается на борту, и оба взрываются вместе с «Прутом». Когда наши миноносцы пришли на помощь, «Прута» уже нет, а триста матросов плавают в воде, кричат «ура». Мы все, выпускные гардемарины, мечтали быть Рогусскими!..

Мичман откидывал назад профиль, властительный, покатолюбый профиль медали, корчил, ломая руки меж колен. Голубая, обреченная кровь... А он не знает этого, он кипит еще по-мальчишечьи, кидается в жизнь с вызывающе приподнятым подбородком.

И что-то чуждое, опасливо-неприятное в крикливых его восторгах. Танцуют надмогильные огоньки. Никогда, видно, не зарубцется Кронштадт... Ну, какой ему друг мичман Винцент?..

Прапорщика непосредно толкало из каюты.

— Ну, не буду больше мешать... пойду.

И как вольно вздохнулось на ветру, над крутоступенчатой пропастью трапа!

... Распахнутые в рощу двери клуба звали светом, весело сбившейся народной теснотой. На сцене, в бредовом озарении мгlistых керосиновых ламп, усердствовали матросы-любители. Зрители на скамьях почти ложились под потной тяжестью тех, что стояли сзади. До самых дверей сперлись горой разинутые рты, любопытственно горящие глаза.

А поверх тишины и духоты нет-нет да подует степная ночь, да принесется из-под темных кустиков неумолчный любовный говорок, похожий на пчелиное зудение.

Шелехова притиснуло боком к какой-то худенькой кудрявой девчонке в газовом с разводами шарфе на плечах, согласно портовой моде. От кудерек одуряюще пахло розой. Девчоночка на минутку пристально и сурово поглядела на прапорщика и, поглядев, потеснее прижалась к нему спиной. Шелехов усмехнулся сам себе и начал глядеть на сцену.

Впрочем, он знал пьесу во всех подробностях. Это вот боцман Бесхлебный, лиходей-парень, обхаживает несчастную, обиженную всеми сироту Горпыну. А сирота—круглолицый, краснощекий рулевой с «Витязя», в монистах, с соломенной косой, толщиной в хороший якорный канат, пригорюнилась, подперевшись рукой, уставилась лиходею на лаковые сапоги.

— Ты мне голову не крути, ты ховори зараз, чи пийдешь со мной гулять, чи не?

Сирота Горпына думает, потом ядовито подбоченивается и с неожиданной развязностью подмигивает залу.

— Ишь, нашел дурную!.. Погуляй... а потом ходи с пузьякой... як у того капитана Мангалова!

Этого в пьесе нет, но зал буреломно гогочет. Офицеров не видно нигде, только Маркуша торчит у самой сцены и тоже ржет, ревностно ржет, показывая свое, разодранное ржанием, лицо всем зрителям. И кудрявая бисерно хихикает, изнемогает, припадая спиной к Шелехову.

Боцман Бесхлебный стоит ошарашенно, но не хочет остаться в долгу и тоже изобретает:

— Тебе, лярва, видно, не человека треба, а сундук с деньгами. Так ты к левизору Блябликову под'ехай, он тебе у подол из денежного ящику насыпет!

— Ого-го-го!—стонали матросы, скамьи скрипели, как в бурю.— Вот хад!..—Кто-то из качинских с места восторженно орал:

— Ты ее к Свинчугову пошли, ен помещик, у его виноградишков сто десятин!

От двери вестовой Ротонос визгливо взорвался:

— Та Свинчугов ее холодом поморить, когда он у кают-компаний сам газету каждый день ворует. Свинчугов сам за пятачок удавится!

— Хо-хо-хо-хо-хо!

Бесхлебный, иссякнув, махнул отчаянно рукой, приступил вплотную к сироте и деятельно облапил ее. Но тут же от увесистого тумака проскакал задом и так хватил затылком о стену, что вся Горпынина хата заколыхалась. «Бис!»—радостно завопили на местах, хлеща ладошами. Бесхлебный оправился, засучил рукава и, тяжело ступая, быком двинулся на Горпыну. Сирота тоже изготовилась, расставив для упора ноги и сбывшись, и, едва лиходей приблизился, ловкой хваткой заклещила ладони у него на затылке. Боцман окаменел и бешено рванулся, но напрасно: заклещенная голова осталась в руках Горпыны. Тогда на сцене началась свирепая, топотная, медвежья костоломка.

— Горпына, надрайвай, надрайвай шею дюжее!—подсказывали встревоженно из зала, приподнимаясь на местах.— К палубе башку пригинай.

— Бесхлебный, ногу, хад! Под ножку нельзя!

Сзади повскакали, забирались стоя на скамьи, их, раздраженно матерясь, тянули вниз. Давнула человечья волна так, что Шелехову пришлось поневоле взять кудрявую за локти и бережно прижать к себе. Матросы обожали борьбу до остервенения. Самые горячие ярились:

— Небель уберите к ляду, эй!

Кто-то слазил на сцену, вихрем смел оттуда все убогое убранство Горпынина жилья. Половицы стонали. Сирота сумела скинуть Бесхлебного на пол, давила теперь коленом, ворочала с боку на бок, тщась уложить боцмана на спину. Шелехов шепнул в теплое ушко:

— Вы извините... так толкают, что...

Она оглянулась, вся, как ребенок, лежа у него в руках. Показала веселые зубки.

— Нам ничего.

Неуловимый миг — и Горпына в бессильной ярости билась на полу, распятая на обе лопатки. Сторонники Бесхлебного разразились ладошным хлестаньем, криками «браво», горпынинцы орали «неправильно»... Бесхлебный победоносно склабился и утирал пот.

Горпына разъяренно и сконфуженно оправдывалась.

— В этих же чортовых юбках никакой мочи нет... где же, братцы, равенство! Я вам сейчас насчет силы другой фокус покажу, чище, чем в цирке. Эй, Опанасенко, там за дверью кирпичи есть, а ну, тащи!

Кудрявая головка, покоясь на груди Шелехова, заискрилась на него благодарными глазками:

— Очень интересная драма.

— Вам нравится?

Шелехов посылал ей ласкающие улыбки. Кто она? Откуда у нее такая странная принужденность? Пытливо искоса скользнул взглядом по ее лицу. Но набухшие, по-детски расплзшиеся от любопытства губки, по-детски хлопающие смешливые ресницы успокоили его. Мещаночка из порта. Он вкрадчиво гладил ее голые локотки. Он оставался теперь в этой потной толкучей давке только ради нее одной.

В темени ночи прячущиеся кусты казались влажными, буйно произрастающими, покрывающими землю таинственной глухотой. Уйти туда вот с ней, безмолвствуя, блаженно ломая друг другу руки... Разве нельзя однажды забыть, в каком городе и на какой земле живешь, и что зовут прапорщиком Шелеховым, и делать так, как будто ничего не сыщется, ничего не спросится?

— А Жека?..

Горпына меж тем сдернула с головы соломенный начес, оказавшись ражим молодцом, стриженным под бобрник, и потрясала над собой кирпичом.

— От, глядите, хлопцы, без обману, об голую башку. Как у цирке!

Кирпич, шмякнувшись о Горпынину маковицу, кусками разлетелся по полу.

— Ишшо!

Второй оказался упорнее. Матрос долбанул себя еще два раза по голове, но кирпич не разлетался. Матрос перевел дух, посмотрел на кирпич и, зажмурившись, долбанул себя со злобой еще раз, изо всех сил.

— Нипочем!—злорадно подгогатывали со скамеек.

Матрос дышал тяжело. Вероятно, от дикой несусветной боли ему хотелось бросить все и бежать, но такое позорное отступление было страшнее боли. Он, не глядя, размахнулся кирпичом и, ахнув, ударил себя по черепу уже с последним, озверелым отчаянием. Кирпич на этот раз с гулом лопнул пополам. Матрос оседал, обеспамятев, на пол, до лица его катились слезы...

— Бис!—неистовствовали на скамьях.

Нет, Жеки это не касалось, она жила в неимоверно далеком, почти заоблачном мире...

Занавес опускался.

\* \* \*

Когда через двери вынесло вместе с толпой в ночь, совершенно темную и безветренную, Шелехов прижал к себе соседку за локоть и трепетно попросил:

— Идемте прогуляемся, а?

Она нерешительно оглянулась, как бы с беспокойством высматривая кого-то, но все-таки пошла. Опять под кустами поборматывали гармошки, взрывался порой щекотный девий смех, с привизгом и задыханьем, словно там боролись.

— Скажите, вы Любякина Пашу, Павла Иваныча знаете? Они в вашей местности тоже служат.

— Любякина знаю.

— А почему их нет?

— Право, не могу сказать. А вы что, знакомы?

Спутница рассыпала грудной хохоток, кланяясь, повисая у него на руке; ей было весело, баловливо.

— А вы за самделе офицер или только одежду надели для праздника!

— То-есть как надел?

— Конечно же, теперь, после свободы, всем можно. У меня есть минер знакомый с «Воли», Васей зовут, он завсегда в праздники белую тужурку надевает, как офицер.

— Нет, в самом деле офицер.

— Ну да!—недоверчиво прыснула спутница.—А чего же вы без барышни?

— А вы?

— Мы не барышни, мы с порту!

Но видно было—лестно ей, что настоящий офицер, приосанилась, оборвала вдруг никчемушный свой хохоток. Шелехов вкрадчиво обнял ее за талию—так, что под ладонью, сквозь шелковистый шарф, теплым цыпленком ощутилась грудь, ворковал:

— Нет, вы мне очень нравитесь, очень. Как вас зовут?

— Нас? Таней.

Из рощицы зашли уже на бугор, за которым ветрами пошумлила степь. Над степью, снеговыми пływучими сугробами, заваливая луну, густо половодили облака. Местность стала неузнаваемой, зауныв-



ной,—может быть, переместилась сюда с иного материка. Шелехов нацупал ногой камень, опустился на него. Невылитый, из подземелья донесенный сюда огонь жег...

— Посидим, Таня, и вы утомились, наверно, стоять.

Девушка вдруг сухо насторожилась, отдергивая руку.

— Да нет, еще платье измараешь... Ну, чего, правда, в самую темень забрались.

Все-таки притянул кое-как к себе, нежно глядя и водя губами по черствым пальчикам. Своими глазами нашел ее глаза, сторожкие, почти враждебные, таинственно-ночные. Таня сидела прямо, боязливая, вот-вот готовая вскочить... Нет, его только что выучили, как надо сметь! Да он и не мог уже отпустить ее, ноги сами подкашивались, словно из него была выпита вся кровь, изнеможенный стон произвольно вытек из горла...

— Жека, — позвал он.

Таня ладошками отчаянно отталкивалась.

— Что за новости сезона! Примите руки!

Луна дико вылетела из облаков. Землю об'ял ее свет, роковой и бесноватый. Море поднималось чудным шумом, плескало отрадной влагой в сухие, неутоленные губы земли... Кудрявая лежала щекой на камне, тоненько похлипывала.

— Паша, Пашенька, где ты...

Шелехов бесчувственно гладил ей волосы.

— Милая, родная моя...—повторял он.—Ну, успокойтесь! Теперь будем видеться часто-часто... — хотя самому хотелось уйти потихоньку и больше не видеть ее никогда.

Девушка поплакала и начала пудриться из бумажного сверточка. Шелехов взял ее под руку и, угрюмую, повел вниз, к клубу. Молчать все-таки было тяжело, спросил первое подвернувшееся:

— Вы где живете?

— Да-а... насвинничают сначала, а потом... где живете!..

И опять затряслась неутешно.

Шелехов испытал приятную легкость освобождения, когда около дверей клуба она отбросила его руку и потерялась в толпе. Тут же Маркуша подобрался откуда-то, знающе подсмеивался:

— Зря вы ее зацепили, не пройдет! Жених около нее год вьется, и то ничего...

— Какой жених?

— Да Панька Любякин, качинский.

В самом деле, в промельке толпы почудилось: Таня под руку с Любякиным и как-будто бурно, навзрыд нашептывала матросу на ухо. Шелехов отступил в темноту, чтобы его не увидели, и вдруг защемило пакостно, опасно... Кто же знал, что она девушка, да вдобавок еще невеста! Поскорее бы сгинуть ото всех в каюту, прилечь, развернуть под лампой книжку «Морского Сборника»...

Он поднялся на прибрежную дорогу. Сзади, в рощице, испуганно и разноголосо загалдело. Луна пропала, в лицо толкнул срывистый ветер. В черной яме неба пролетел щемящий металлический визг, оборвавшийся где-то над степью. И тотчас беззвучная, валящая с ног силовая волна прошла по земле, и зашипели кусты, и сами покатались камни; следом рухнул осатанелый ветер, захлестнул человека с головой, забил ему рот; надо было лечь грудью на каменную тумбу и вцепиться в нее руками, чтобы не взвилось, не понесло, как пук соломы воющим морем.

Матросы топали мимо, в бурю, задыхаясь.

— Ого-го-го!.. Штормяга...

Потерянные девчоночьи голоса подвизгивали тут и там.

— Девушки, на катер-ба!

— На катере перетопнем, куда-а!

Матросы, слышав, плутали назад.

— Не пойдет катер, бабы, его называется двенадцать баллов.

— Ночуй, крали, с нами!

— Айда в кубрик, на подвесную... качнем!

Буря перевертывала, заставляла не итти, а падать назад спиной... Кое-как нащупал ступеньки знакомого трапа, вполз наверх, впиваясь пальцами в фалреп. В лицо покалывали первые дождевые капли. «Качу» глухо шатало с боку на бок. И только успел раскрыть дверь каюты, как ливень хлынул по спардеку гневным, дремучим гулом...

Неизвестно, задремалось ли потом, но до сознания смутно и последовательно доходило все, что деялось за тонкой дверью, в пространствах палубы, мрака и ливня. Мимо то и дело топали бегучие, встревоженные ноги. Под Севастополем случилось несчастье с катером, который никак не мог ошвартоваться у пристани. Под натиском бури лопнул якорный канат, и катер, боясь разбиться о берег, так и не пристал, а пошел обратно в штормующее море и где находился— неизвестно. С севастопольской пристани кричали в телефон; в бухте, под ливнем, металась по берегу с фонарями, сигналили в темноту невидимому катеру. У «Трувора» и «Витязя» сорвало и унесло в море сходни, и матросы, возвратившиеся с вечеринки и отчаявшиеся пробраться на мечущиеся, захлестанные прибором тральщики, толпой приваливали на «Качу», а сбившиеся с ног старший офицер, вахтенные, тоже грязные, облипые от дождя, будили тусклые от ночника, вприсонках матерящиеся кубрики, размещали там бездомных...

Над Черным морем буйствовал шторм.

Около полночи к Шелехову тихо постучались. То был Лобович, осторожный, извиняющийся.

— Вижу свет, думал...

— Нет, нет, не сплю еще, присаживайтесь, Илья Андрейч,—Шелехов с любезной готовностью поднялся на койке.

— Да где присаживаться, видите, обмок, как курица. Такой тарарам получился... А каютка теперь у вас хороша, хороша! Не ушел бы я с «Качи» на вашем месте.

— Нет, уйду, Илья Андреич, решено.

— Потом я скажу: сейчас к матросу надо ближе быть. Время такое, что всех ребят может заломать. Матроса жалеть надо. А на плавающем — там работы на вас навалят...

— Я решил твердо, Илья Андреич. И от матросов я никуда не отступлюсь.

— Ну-ну,—со вздохом махнул рукой Лобович.—Что же, канатом вас насильно не привяжешь. А у нас... неприятность, Сергей Федорыч, большая: сейчас внизу с вахтенным офицером радиogramму расшифровывали...

— Какая?—встрепенулся Шелехов.

— Миноносец на мину напоролся, у Фидониси. Миноносец «Зацаренный». Вчера ночью...

— Позвольте... «Зацаренный»?—перемогая внезапно подступившую сладкую тошноту, переспросил Шелехов.—Ну, а как же... спасли? Лобович снисходительно усмехнулся.

— Ну... где же спасли! Не одна мина была, а букет... так называется. Немецкая штучка. Когда букет, от корабля—только пар.

— У меня там товарищ был, Сафронов, по школе; значит, пар?.. — лепетал Шелехов.

— наших качинских двое ребят там, зимой еще списались, смиренные ребята. Так зря, так зря все это...

— И видал-то я его недавно,—твердил про себя Шелехов.—Сафронов, он всегда чудной был, тяжелый...

— Я от неприятности к вам зашел, больше некуда, все спят... А выходит, и вас расстроил. Вы спите, спите... война, ничего не поделаешь! Жизнь—полушка, Сергей Федорыч, что над этим мозги зря крутить.

Через распахнутую дверь слышалась бурная капель и подбортное ветровое неистовство. Шелехов с болезненной поспешностью погасил огонь и зарылся головой в подушку. Он еще не успел продумать, назвать про себя какую-то гнетущую грозность—не то, что не успел, а нарочно хотел упасть от нее, проскользнуть в сон. Потом, потом...

А Лобович, рассыпая в ветер искры своей трубки, прошествовал в каюту, аккуратно переоделся там в сухое и, услышав, что вахтенный матрос скучливо плутает по палубе, зазвал его к себе. Лобович медленно приминал пальцем пепел в трубке; вахтенный Кащиенко, — похожий в своей нелепой бескозырке на китайца, скрутил из офицерского табачку цыгарку. Оба молча и раздумчиво попыхивали дымком.

За полночь переваливало.

— Бывало, так,—рассказывал Лобович про какие-то далекие, может быть, и сказочные времена,—бывало, когда идешь пароходом

в такую заворошку, то первое дело, Кащиенко, бойся, брат, за груз. Груз правильно уложить — это не гашник завязать! Чтоб не болталось, чтоб самое, что потяжельше, подгадать на низ, да так, чтобы в первом же порту пулей можно было сгрузить, что требуется.

Лобович был из торговых моряков.

— Я думаю, Илья Андреич, за эту бурю,—ответил, насасываясь приятным табачком вахтенный,—дожди она надует до самого Катеринослава. Бакча от этого взопреет и в гущину пойдет. И скажите, что там одна баба может справиться?

Вахтенный вдруг испугался и поморгал на офицера осторожно: не сбрехнул ли грехом несурзное что... Но Лобович продолжал слушать с приятной внимательностью, и слушать и отсутствовать, потому что под усыпительный дождь очень мирно и успокоительно дымили пароходы, пароходы из бывалого, высокие черные красавцы с огненной ватерлинией, гости крымско-кавказских и океанских путей, и боцмана сипло орали «майна!», и весело наступала из тумана пестрая, мачтовая, дымная портовая кипучка. Вахтенный успокоился, пососал еще дымку.

— От этого в усем государстве и питания плохая пошла, что одна баба на хозяйстве сидит. Что она, баба! Вот у Севастополи у кондихтерских и то хлеб-от... серый. Болтали тут, Илья Андреич, насчет пятого года, что дебилизация... зря, наверно?

Лобович горько кривился.

— Да что пятый год!.. Все надо кончать, Кащиенко. — Офицер осторожно наклонился к плечу вахтенного. — Обо...лись, брат, хуже русско-японской. Хуже!.. И ведь там... энти... знают, сукины сыны, про это, а тянут свое. Дождутся, Кащиенко, победного конца. Э, да что говорить! Вчера опять вон неприятность вышла...

— Какая? — полез ухом вахтенный.

— Да... чего там! — смутился разоткровенничавшийся Лобович. — Кажется, затихло? Ты бы сходил в камбуз, косточек мне притащил бы, остались, наверно.

Вслед за вахтенным и Лобович, надев кожан и старую фуражку, спустился на нижнюю палубу. Слабеющий дождь названивал о воду в забортной тьме. Лобович, прежде чем сойти на берег, заботливо заглянул (он делал так каждую ночь) в ночниковые сумерки матросского кубрика. Там все было спокойно, уютно выхрапывало в несколько тонов, отдыхало здоровяцкое матросское тело, нагулявшееся, натрудившееся, намитинговавшееся за день. Лобович постоял с минуту над этой бездомной колыбелью и, с'ежившись, отвернулся; щекотная, теплая слеза скатилась через щеку, обмокрила щеточки английских усов, поспешно и сердито облизанных... На палубе вахтенный подал ему охапку обглоданных костей, завернутых в газету. Офицер нахлобучил кожан, взял кости и полез по трапу в тьму.

Парная мгла вздымалась с остуженной дождем земли. Луна, непогоже просачивающаяся из облаков, бежала в теплых болотцах по

мостовой, обнаруживала мутные громоздки береговых сараев, за ними—сказочную горбину какого-то несуществующего пригорка. Лобович, нащупав знакомое место, остановился, высыпал кости на землю и свистнул. И тотчас же радостным, жадным брехом откликнулось то там, то сям в темноте, и, чуть ли где-то еще не за версту, шурхала грязь под невидимо отмахивающими ногами, екали задыхающиеся глотки. Откуда-то вырвалось с полдесятка одичалых, мокрошерстных псов, крутились возле человека, ломились к нему на грудь с остервенелой лаской. Лобович едва успевал отталкивать их ногами.

— Цыц, цыц... Довольно, жрите, чертяки... Ну вот, вот, ослеп, дуралей-псина!

Собаки, оставив его, пали на кости, скатились, грызя друг друга, в одну урчащую, ошетиленную кучу. Человек терпеливо, с притворным гневом разнимал их, расшвыривал кости в разные стороны, указывал добычу тем, которые метались зря. Человек стоял, очень довольный, среди этой свалки в нахлобученном башлыке. Так было каждую ночь. И темная отштормававшая земля, из'язвленная войной и смятениями, чувствовалась—сквозь одинокую, сиротскую человечью жалость—населенной одними близкими, она смутно, но неукоснительно подвигалась к добру.

... Шелехов не мог заснуть. Он содрогнулся и простонал, наконец, вспомнив... Он подал рапорт!.. Изуверски, словно кому на зло, сам изломал свое благополучие, свое ежедневное спокойное солнце. А там за бортом шатались и ухали немерянные глубины, полные могильной темноты, страшные человеку. О, как страшно,—до сцепленных со стоном зубов,—страшно было думать о них из теплой, уже недолговечной постели. В его глазах восстали ночные платаны и акации на Морской улице, под которыми он видел Сафронова в последний раз; они тоже казались обыкновенными, недоступными для искажающего ужаса, как и эта койка. И тот самый Сафронов... он внезапно, в полночь, очнулся в своей каюте; он стоял вверх ногами, на голове, у своей койки, привинченной к полу, и койка била его по виску своим злобным, оживевшим железом. Где брюки, где спички? Он, шатаясь, шагнул в темноте по косому, уходящему из-под ног, потолку или по стене? — вернее, проплыл, громко нахлебываясь воздухом и плача и ныряя руками в воду: спички, ради бога, чтоб еще хоть на секунду взглянуть на проклятую жизнь!.. Шелехов увидел товарища, как живого, — торжественного, немотствующего, опустившего тяжелые веки. Он был уже не человек. Вокруг него, воцруг памяти о нем вилась дикая, отвратительная песнь.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Однажды рано, на синей, июньской заре, одинокий миноносец прошел из Одессы. Почетный караул и оркестр ждали его на берегу. За серой обшивкой бортов, убаюканный вздохами преисподних машин, почивал военный министр, усталый, искричавшийся до хрипоты, с вы

вихнутой от солдатских рукопожатий рукой. Керенский следовал с румынского фронта.

А накануне, на закате, над Севастополем до самого зенита встала ржавая, душная пыль затмевающим солнце маревом. Несколько веков тому назад о ней суеверно упоминала бы летопись. Она пришла с запада, взбунтованная, должно быть, тысячами солдатских сапог—где-то под небом далеких разваливающихся армий...

Офицеры с раннего утра возбужденно толпились у дверей кают-компаний. Еще бы: новость сыпалась за новостью. На-днях революционный военмин приказал снять погоны,— в то время как вся армия продолжала носить их. Эта была новая, неслыханная уступка тем, устроившим кровавые пирамиды Кронштадта, матросне, «демократии»; офицеры озлобленно роптали. Ясно, что конец такой власти, подбострастничающей перед чернью, не за горами... Но зато Керенский ввел тотчас же во всем фронте изящную английскую форму: золотые завитки на рукавах или на черных наплечных пластинках белых кителей, шитые чернью и золотом огромные кокарды. Но зато во флоте не стало прапорщиков: все сразу были переименованы в мичманы. Зато исчезла разница между золотым и серебряным погоном. Нижняя кают-компания еще ворчала по привычке, но втайне преисполнялась злорадным довольством.

— Правильно! Никакой «черной кости». Раз я,—офицер, значит,—офицер, а не ванька.

И новоиспеченные мичманы и лейтенанты, встречаясь с обитателями бывшего золотопогонного верха, козыряли уже по-новому, с неким прохладноватым, знающим себе цену достоинством.

«Вообще, — думалось внизу, — может быть, не так все уж и плохо?». — Военный министр лично об'ехал фронт, где, не щадя своих сил и нервов, выкрикивал вдохновенные, рыдающие речи, понукая солдат к наступлению. Здесь революционный военмин, несмотря на всю его презренную тонконогость, должен был получить поддержку офицерства. Ведь, несомненно, что в одно время с операциями на западе выступают и боевые корабли юга, отвлекая на себя внимание противника. Готовились взгреть ржавеющие якоря. Готовились развернуться и харкать огнем плутонги. После месяцев бестолочи мощный флот опять входил в великую войну. Возможные награды и движение в чинах. Прибавки к жалованью.

Один Свинчугов не верил ни во что, ходил и без погон и без нашивок, с беспроектной ядучей кислотой в лице.

— Армия, революционная армия... Мы, говорит, на страже. Мы, говорит, в окопы! Жрут, шеи себе наедают, это называется на стра-а-же. Вон где у них окопы—у Дуньки в Корабельной Слободе... Эх, господа офицеры! Где он, флот? Николай — плох ли, хорош ли был, зато империя, гроза, порядок... меня на смерть посылали, так я знал, за что помру! А за этим, — за вашим губозвоном... за ним я за

что пойду? За то, чтобы вот мне за тридцатилетнюю беспорочную службу морду набили? Поищите другого дурака, едрени-те!

— Старо, — хмурился Шелехов. Дело было за завтраком.

— Да мы сами люди старые, молодой человек. В наше время таких пассажиров к борту бы не подпустили, а у вас вон: как чудотворную, по всем кораблям на руках носят. Подумаешь, какой-нибудь...

Поручик ввернул такое словцо, что офицеры тут же повыплеывали горячий чай обратно в стаканы, заперхали, зачихали, полезли головами под стол.

Лобович сердито метнул глазами на дверь, за которой гуторили вестовые.

— Полегче... ты!

Разговор перешел на другое. Все-таки, господа, интересные времена! Блябликов восхищался торжественностью похорон лейтенанта Шмидта, останки которого были перевезены в Севастополь с острова Березани. Подумайте, исполком собрал водолазов (т. е. попов) со всего Крымского полуострова. Впереди триста водолазов в полном облачении, с золотыми хоругвями, с певчими, дальше весь исполком, красные знамена, оркестры, роты матросов, шаг по ниточке. Эт-та, скажу вам... пожалуй, есть за что и пострадать!

Мангалов, подобно Свинчугову, не разделял общих восторгов и с мрачной презрительностью выпячивал губы.

— А вот... капитана порта, Петрова, товарищи за что за решетку посадили? Етот, скажите, за что страдает?

Фамилию генерала Петрова вообще упоминали в последнее время часто и в кают-компаниях и на матросских митингах. Дело было скандальное: Петрова, одного из высших чинов флота, арестовал исполнительный комитет, вопреки воле Колчака,—за жульнические операции с казенной кожей. Собственно, это было главным предлогом для приезда Керенского—замазать первую трещину, образовавшуюся между советом и Колчаком. Было еще, впрочем, дело миноносца «Жаркий», где команда требовала смещения лейтенанта Веселого, слишком ретиво напращивавшегося всегда со своим миноносцем на разные нужные и ненужные отчаянные предприятия. Матросам опротивела опасная резвость их командира... Было еще нечто подобное с командами «Синопа» и «Трех Святителей». Адмирал настаивал, чтобы военмин лично устранил эти «неприятные шероховатости».

Шелехов прислушивался к спорам с нетерпеливой скукой.

У них, у здешних, был какой-то другой, общедоступный, обыденный Керенский. Совсем не тот, который над нахлопанными проборами жующих, хихикающих, суетно галдящих глядел со стены кают-компания торжественно и утверждено. Тот принадлежал только ему, Шелехову. Тот напоминал пьяную и сладкую хлябь февральских улиц. Весенний поезд, примчавший прапорщика к невиданному синему морю. «На остриях штыков понесем!..». И сегодня, сегодня вечером он увидит его, живого.

Живого Керенского! Испуганно и пылко скакало заранее сердце... Вестовой подергал его за рукав.

— Вас начальник... Скрябин просит приттить... сейчас.

Лица офицеров с любопытством обернулись.

— Кажется, новое назначение получаете, Сергей Федорыч?

Поздравить?

— Возможно.

Шелехов, с виду равнодушно, оправлял наскоро китель, кортик. Однако, в рубку поднимался со стесненной грудью. С того митинга, на лужайке, каждый раз, встречая Скрябина, неловко отводил глаза. Как-будто нес за собою стыдную вину. Не выходили из памяти беззащитно-хлопающие пухлые веки, покорный взгляд Володин, как бы говорящий: бей!.. Однако, старший лейтенант—он беседовал в своей рубке с Бирилевым—встретил Шелехова очень приветливо:

— Давно, давно следовало бы вам зайти, поближе познакомиться. Вы у нас молодцом, молодцом! (Шелехов так и не понял, за что его похвалил Володя—за вахтенную службу или... И тут же припомнилось, как жалко тарашится маленький лейтенантик из толпы, в крошечке митинга...) Что же, на плавающий—это хорошо. От себя, из бригады, мы вас никуда не пустим, а на плавающий можно. Вы курите?

Володя сидел локтем на пианино, очень по-домашнему. Глаза на сером личике такие крупно-выпуклые, что можно подробно рассмотреть каждую веточку кровяных жилок. Какая-то изящная, мучительная улыбка, трогающая только губы. Каюта—насквозь в иллюминаторах, лучезарная от света. На пианино—ноты от руки недописанной мазурки. Сочиняет музыку, как и брат? Бледноцветные, декадентские акварели—тоже скрябинские. Точности, безделушки, якорьки, сработанные наивной матросской рукой—на память. Хрупкий, почти девичий, потаенный от всех мирок... Так вот в какую страну бежит Володя,—первый выборный баловень матросский,—забыться от крикучей, зловеще ласкающей его палубы! Шелехов чувствовал этого человечка жалеюще, покровительственно.

— Мы решили,—сказал Володя,—перевести вас в первый дивизион, на глубокосидящие. На «Витязь»—согласны? Вы будете флагофицером, а вот Вадим Андреевич, ваш начальник.

Шелехов вытянулся, сронил голову, как подломленную: так подобало.

— Есть.

Холодноглазый Бирилев 2-й подарил его сухим, крепким рукопожатием. Невольно запомнился тонкий, страстный вырез ноздрей. В них трепетала необузданность.

— Очень рад. Надеюсь, что будем служить хорошо...

Первый дивизион состоял из больших комфортабельных пароходов черноморской пассажирской линии, мобилизованных под тральщики во время войны. Роскошные, прохладные каюты. Правда, суда были глубокосидящие, то-есть служба на них была связана с большим



риском, но... мысли о Сафронове, ночные страхи—все это теперь, под солнцем, казалось пустяковым, стыдно-малодушным.

— Понемногу втянем вас... будете стоять вахту в походе. — И голос у Бирилева был окрашен страстной глухотой. — Научу вас прежде всего пеленговать.

— Есть. — Шелехов, на вытяжку, изображал преданность, смеясь глазами.

— С матросами у меня хорошо. Правда, я был строг, но меня любили... любили! До переворота я командовал «Дерзким». Так команда и теперь ко мне все подсылает... хотят, чтобы опять вернулся к ним.

Скрябин одобрял на прощанье:

— Может быть... новый министр пошлет скоро в поход, примете морское крещение!..

На трапе Шелехов остановился — радостно передохнуть. Ширь и синева реяли под ногами. Огневели расплавленные солнцем края моря. Из колодца давних дней донесся голос генерала, начальника школы, дрожащий восторженной слезой: «Перед вами откроются горизонты... очаровательной морской службы!..». Все свершалось. О мир, лучезарный насквозь, как скрябинская каюта!

Если бы только не эта неосторожность, мысль о которой нет-нет да щипала сердце ежащимся опасеньем. Знает Любякин или нет?.. Трусливое нетерпение толкало вниз, где цветилась матросская кипень, — отыскать румяное, застенчиво улыбающееся из-под чолки лицо, успокоиться... Маркуша строил на берегу свою роту для парада. Построив, нес правофланговому матросу в горсточках огонек—прикурить. — Ах, Маркуша, втихомолку там ладит что-то, надеется!.. — И на нижней палубе разговоры шли только о Керенском. Фастовец поучал молодого палубного:

— Ты думаешь, Керенский али там Ленин всурьез друх дружку заарестовать могут? Вот и видать, что ты серый! Они по прохрамме только ругаются. Днем на митингах ругаются, а вечером — первые друзья, придут друх к дружке, чай пьют вместе. Оба левоционеры, за одну свободу страдали. А ты: заарестуют!

Пели горны на тральщиках — и в Севастополе, на рейде, пели горны. Роты строились всюду, разнаряженные и для парада и на ночь — для веселых, зубастых Марусек. С воды тяжело взматывались гидро, громыхали, как ломовижи, разбрызгивая в воздухе взрывы красной пыли из бумажных бомб. Флот в порту разноцветно пылал играющей листвой праздничных флагов; все гуще, гуще уставивалась над улицами, над бульварами медленная пыль; цветной народ, в поту; задыхаясь, бежал: Севастополь встречал Керенского.

\* \* \*

В белый зал Собрания входили офицеры, только офицеры. Военный министр делал свой доклад исключительно для офицеров. И им было приятно, протиснувшись через горланящую у входных колонн

матросскую толпу, попасть в отдельную от этой толпы—в свою атмосферу чистоты, блестящести, одних и тех же золотых фестонов, кортиков, особенно бережной вежливости,—может быть, для некоторых прапорщиков и мичманов это чувство и шло вразрез с «демократическими» принципами, но оно существовало: было приятно. Стулья заливались белизной кителей, сюртуков, аксельбантов. Запоздав, входили адмиралы, каперанги, пожилая знать с тяжелыми от золота рукавами («еще больше наляпали, чем при царе!..»), кругосветники, цусимцы, те, которым революция и это торжественное собрание — слушать Керенского — были внезапным жутким скандалом на вершине успокоенных, утвержденных лет...

Ликующие огни вспыхнули в белой высоте. Сквозь многолюдный рокот и шарканье, готовые вдруг оборваться, стать потрясенной тишиной — сладко и пугливо ожидалось...

И, так это бывает, сразу заплескивались, встречая кого-то (где он? где он?), — хлопки. Шелехов успел увидеть только широкую спину пролезавшего, загородившего проход. Хлопки осеклись, тот сел — нет, не с портрета, не воображаемый, а другой: широконосое, красное, сальное от пота лицо,—новоиспеченный мичман, только что надевший золотые нашивки, впился в него, забыв все,—глаза были те же, те же, что и на портрете, их сонные прорези сощурились; Керенский молчал и вслушивался в зал.

Керенский начал говорить.

Глазам вспомнилась вчерашняя ржавая, апокалиптическая пыль. Слова были о ней. Земли и массы, которые об'ехал этот, которым огненно кричал,—были огромны, удушливы. Крылья порыва были пока еще бессильны толкнуть эту грузную, разноречивую массу на подвиг. Но крылья росли.

Керенский говорил:

— Еще нельзя открыто, в виду военной тайны, сказать все, но я даю вам слово — теперь мы скоро сможем выполнить наш долг перед страной, перед союзниками, теперь мы ближе к наступлению, чем когда бы то ни было!

Зал рукоплескал—яростно, подчеркнуто: наступление— это было то, чем били по лицу кого-то. В бурном хлестании ладоней можно было чему-то излиться у этих сановных, обрюзглых, по привычке высокомерно выпятивших груди. Гдо-то мутно, чуть-чуть, мичман понимал: скрытно били и этого.

Мичман сидел дрожа, презрительно усмехаясь. Отсталое от жизни, ничему до сих пор не научившееся дурачье. О чем они еще втайне мечтают? Каменно и потрясающе гудела за окнами темноты тысячная сила. Вот кому—мир, история! С ними, только с ними итти беззаветно, отданно до дна.

Задыхающиеся образы возникли, проносились, бесноватое многолюдье едва просвечивало за их кружительной пеленой. Себя ли он видел или Керенского, или оба они сместились в какую-то единую,

опьяненную сущность? Были ступени, была ночь, миллионы голов кипели у ног, внизу, как торжественная дорога...

Мир, история!

Керенский глядел, улыбаясь слишком широким расплывом плоских рыбьих губ. От этой улыбки, от зашуренных плотно глаз лицо стало похоже на безумную маску. И вдруг губы и скулы дернулись, заплясали в мучительной гримасе.

Он говорил уж час, он устал...

(Тиком дергались долго потом лица молодых мичманов по бульварам, это стало модно. Демократическое офицерство хотело походить на Керенского во всем.)

— ... и доблестный Черноморский флот, давший революции Шмидта и «Потемкина»... со своими командирами... новую героическую страницу... историю народа, ставшего свободным...

— Да здравствует Черноморский флот!

Зал, стоя, пел «ура».

Керенский, озираясь, искал кого-то.

— А теперь!—крикнул он невидного кого-то там, за дебрями кресел, держа за руку. — За нашего блестящего адмирала... Александра Васильевича Колчака!..

Зал встал на дыбы, задвигал креслами, нетерпеливо задышал.

— Где? Где?

— Поднять повыше, просим!

Шелехов, горя глазами на одного Керенского, дергался, топал ногами.

— Выше!

Адмирала, неловко скорченного, подняли на сцену.

Стоял, спиной к занавесу, широкоотелый, с птичьим клювастым лицом, восточные глаза с обеих сторон клюва смотрели умно и строго, ибо и над этой разнузданной, слишком вольной для господ офицеров атмосферой (доклад небывалого во-ен-ми-на!), — железный престиж высшего водителя, командующего флотом —

должен быть, должен быть неколебим — в о т я, К о л ч а к!

Он что-то холодно и с достоинством сказал — это был шопот среди гула, он не хотел всю грядью...

А зал разломался, грохнул, жилища горла корректных орали, задыхаясь в воротничках.

— Фра-а!..

И горче всех пожилые, в бакенбардах прошлого века, орденные, со складкой морской и военной бывалости у губ, пережившие «Потемкина», пятый год, Цусиму, вросшие по плечи в свое, каменное, — они знали: это, это — адмирал!

С бешенством преданности, раболепно притискивая руки ко швам, выкатывая проалкоголенные, пухлые глаза, — кричали...

И белозолотой сутолокой уже хлынуло к дверям, потопив в себе Колчака, Керенского, залы, коридоры — уже там, в спершейся толпами

ночи, изжаждавшиеся матросы подхватили Керенского на руки, понесли над бурей взывающих ртов. Ночь стояла возбужденная, беспокойная, бледная насквозь от фонарей, музыка гремела с бульваров. На бульварах на перекрестках толпились летучие митинги, зеваки бродили около, налипали, лезли друг к другу на спины. Где-то вдруг шарахнулось, рассыпалось, дико затопало вдоль мостовой. Народ бежал, улюлюкал.

— Что это?

— Да тут какой-то супчик за Ленина расстилался. Присмыкайтесь, говорит, товарищи, к большевикам, а не к Керенскому, у него, говорит, стачка с буржуазией! Помяли маленько...

— А кто, матрос?

— А что же — матрос. Не может что ль любой шпиён форму надеть! Он по футляру-то матрос, а на деле... Таких бы... балластину к ногам, да в воду!

И матросы, матросы, матросы наводняли бульвары, взлобья Малахова кругана, дорожки Исторического, откуда, — если глядеть вниз, — огоньки порта, движущихся шлюпок, улиц намечали темную громаду моря, города, всей ночи; сцепившись, сжавшись тесно с подружками, парами шли в глухие проулки, на берега загородных бухт — там уже степь пахнет пронзительно чебрецом и гниющими порослями прибрежий, там садились и ложились на траву, на землю, теплую, как тело. Горели огни театриков, кофеен, оркестры исходили бешеной грустью. Сладким удушьем, блюдом раскидывалась ночь Севастополя, флота...

Позже из апартаментов военного министра, рядом с Морским Собранием, вышел адмирал и свита. Почетный караул приветствовал их вытянуто и четко. Адмирал бегучим шагом своим пересек площадь, моторный катер принял его под ступенями Графской пристани, помчал торопливо через черный рейд. На силуэтной громаде «Георгия Победоносца» собрался весь штаб, ждал: командующий вез от главы Временного правительства боевую директиву.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Шелехов разнеженно развалился в полотняном кресле, под бульваром, жмурясь от солнца.

Время было служебное, но мичман, приехав в город почти с утра, не торопился возвращаться в бухту. Нарочно выпросил у Бирилева поручение в порт. Нарочно медленнее шагал от катера к пристани, нарочно переправлялся через рейд не на моторке, а нанял обветшалого старика-яличника. Медленность эта была насильственная, ознобно-сладостная, почти беспамятная... Покончив с делами, обрадованно вспомнил, что ведь может еще нечаянно встретить на улице Жеку и с ней провести два-три часа где-нибудь у моря. Тем более, что, как он ни рвался, ни разу не мог увидеть ее с того сумбурного воскресенья: вахта, приезд Керенского, знакомство с «Витязем» и с новыми своими

обязанностями отняли почти все вечера. Так и оставалась в памяти загадочным, надсмевшимся над ним куском подвальной темноты; и по ночам, разгадывая ее и не в силах разгадать, вскакивал на одинокой своей койке, ширя глаза в мрак, вопрошая кого-то, трепеща тоскливым хотением... Кто же она, Жека? Он спустился на Нахимовскую и несколько раз исшагал улицу из конца в конец (даже коленки занули от утомления), осторожно, словно из-за укрытия, прицеливаясь глазами во все стороны из-за спин деловито бегущих дневных прохожих.

Нет, Жеки не было нигде...

Пекло нестерпимо, раскаленная листва бездыханно обвисала за бульварной оградой. Из-под домов зноем вымело последнюю тень. Только море, встающее неотвратимо меж деревьев, играло освежительно своей зеленью; бегучими звездистыми огоньками. Чтобы убить время, купил какой-то журнал и так же медленно, словно нехотя, свернул в ворота бульвара. Нехотя! А ведь у самого клокотало — бежать, нет, пролететь над морем эти шесть верст до бухты, камнем упасть там в ревучую, митингующую толпу. — Ну, что, товарищ? Кого?

Бригада выбирала делегата в Совет.

Нет, он несколько не раскаивался в своем бегстве. И без него выборы пройдут тем же чередом, как прошли бы при нем. Исход их он знал почти навверное. Зато не придется выставлять себя среди прочих соперников, в роде вола, приведенного на убой, не придется с удушливо скачущим сердцем трепетать, что вот-вот изменит матросская прихоть.

Он хотел принять новый дар от жизни спокойно, со знающим себе цену достоинством.

С рейда поднимался в небо густой, сумрачный дым. Константиновская батарея на том берегу зияла бойницами почти в потемках. Это флот раздымился ни с того, ни с сего своими трубами, засаривая солнце. Но вода была ясная, жалила глаза. Бежали и чешуились, мгновенно сменяясь, расплывчато-зеркальные зыбинки. Клонило в жмурь, в дремоту.

Шелехов посмотрел в журнал: он прочитал целых три страницы, но никак не мог вспомнить — о чем... Он отбросил журнал, устроился поудобнее в кресле. Пожалуй, это даже лучше, что Жека не встретила. Так редко приходилось в последнее время оставаться наедине с самим собой, а нужно было еще многое привести в себе в порядок, особенно теперь, о многом подумать, решить.

Если бы только не этот прибой, с гулом взметывавший то и дело вороха лазорево-мутных брызг прямо ему в ноги!

...Прежде всего надо было ответить самому себе на один вопрос, который задавали Шелехову все чаще и чаще и которого он начинал даже стыдиться. — «Какой вы партии, господин мичман?». — Если на корабле в ответ можно было отшучиваться, то ведь в Совете существовали разные фракции, и к одной из них он должен был обязательно примкнуть.

К какой?

Всего безобиднее и естественнее, конечно, к той партии, в которой состояли едва ли не все матросы и младшие офицеры, которая почти главенствовала в политике и в стране. К партии эсеров. Но именно оттого, что она неимоверно распухла и сделалась безопасно-доступной для всех, слиняла прежняя ее мученическая и бунтарская притягательность. Это — помимо самой сущности программы. Да, прежде огненноглазые, фанатические юноши стреляли в губернаторов, а теперь даже Блябликов, говорят, думал «записаться».

Меньшевики? Скучная и трезвая бухгалтерия, без пожара, без музыки. А Шелехов стремился неистовствовать и воспламенять. Правда, самому было смутно: кого и зачем... Была еще газетка с неказистым, тоскливым шрифтом (от бедности) — большевистский «Социал-Демократ». Он ее не без ехидства почитывал, нарочно на виду у всех, в кают-компании, не без ехидства же подсовывал иногда, с невинным видом, Свинчугову или Мангалову, наслаждаясь, когда те начинали отплевываться и материться... Пожалуй, было даже приятно, что на корабле его прозвали большевиком, хотя он в шутку и отнекивался: прозвище ему льстило, окружало как бы опасноватым ореолом, лестно обособляло от безликой каши меньшевиков и эсеров. Пожалуй, когда задумывался про себя, по-настоящему (а редко приходилось это делать, очень кипели события, не могла отстояться тихая вода мыслей...), — когда задумывался ненадолго над сутью этого учения; с трепетом ощущалась на дне его некая непреложность, грозная, ледяная, неприукрашенная... Может быть, потому, что жив был еще в нем прежний Шелехов, тот самый, который некогда, в петербургской ночи, бежал по слякотным, огненным мостовым, в позорной, выклянченной по прошению шинели и таких же калошах, и вдруг, подняв проклинаящие глаза, видел над своей головой, в мутном небе, зарево чужих, чудовищных пиров... Но почему, ощущая эту непреложность, хотелось все-таки бежать от нее в пестрый тарарам сегодняшнего дня, под обыкновенное солнце, — почему он с тайной надеждой искал какого-то равновесного ей противоборства, внимательно прислушиваясь к разноязычным спорам на бульваре, на катере, на митингах?..

«Да, потом обязательно, обязательно нужно обо всем этом подумать» — крепко пообещал он себе. Потому что думать сейчас больше было невозможно — на горизонте, пропадая среди блесков, показался катер из бухты, издали похожий на прыгающий удочный поплавок, и оставалось только — сидеть да лихорадить, ломая себе пальцы...

Оглушительный припадок прибоя разразился под ногами, кипучий столб вознесся чуть ли не перед носом, даже заставил оцепенело вскочить. — «Де-ппутат» — как бы пролопотал глухой водяной взгул.

В воздухе моросила пронизанная сказочной радугой пыльца.

На катере ехал почти в полузабытьи. Черный дым застилал полнеба. Катер был почему-то совсем безлюдным, и не у кого было

спросить... Что-то слишком скоро сунулось в глаза пустынное, пригладившееся побережье бухты, высокая стена «Качи» над вечереющей водой. Что предвещала ему эта сырая тень под бортом, эти толстые ржавые цепи, которыми транспорт был могуче прикован к земле?

Почти не дыша взбежал по знакомому трапу. На палубе и на шканцах — послеобеденная дремь и пустота. Наконец, лишь около самой кают-компания выбрел откуда-то Маркуша, — которого как раз меньше всего хотелось встретить, — с позевотой разламываясь после сна.

— А вас тут с «Витязя» искали-искали... Куда это вы закатились? Слыхали, наверно, новость? А у меня тоже к вам одно дело есть... сурьезное, — важно прихмуриваясь, добавил Маркуша.

— Какое? — замирая, спросил Шелехов.

— Да все насчет той алгебры. Подзаняться мне очень надо... чтоб срочно. Я, Сергей Федорыч, могу за уроки заплатить, вы не думайте.

— Да ну вас, чепуха, я обижусь, Маркуша. Пожалуйста, когда угодно. Что вам эта алгебра далась?

— А так, — многозначительно игранул бровями Маркуша. — После скажу. Ну, дак уговоримся давайте.

«Нарочно замалчивает, из зависти, — уже весело подумал Шелехов. — Всем он ничего, этот Маркуша, только одно в нем неприятно—эта зависть. Ну, куда же он тянется, чужак?».—Ему не терпелось уже сейчас бежать к кому-нибудь, наброситься с расспросами, разузнать обо всем, со всеми подробностями. Только, конечно, не от Маркуши...

— Вы извините, Маркуша, мне сейчас некогда. Поговорим потом... ну, хоть вечером.

И он помчался прямо к старшему офицеру. Дверь каюты, как всегда, была распахнута настежь, всюду сверкала стародевья чистота, фокстерьер «Качка» дремал на коврике, в предзакатных лучах. В черном благоденствии Лобович, одинокий, огромный, стареющий, одетый в свежую, хрустящую белизну, склонился над газетой; не видя ее...

— Илья Андреич, — кинулся к нему Шелехов, — вы простите, что я так сразу... я очень волнуюсь! Расскажите, как это все было...

Лобович глядел на него с жалеющей ласковостью, подвинул стул.

— Вы присядьте сначала. Наверно, обиделись на ребят, потому и волнуетесь?

— Как то-есть обиделся? — в замешательстве замигал Шелехов.

— Да вас ведь заочно, Сергей Федорыч, в бригадный комитет выбрали. Вы не думайте, это оттого, что матросы вас ценят, не хотят с вами расставаться! Вон вы и курсы замечательные какие открыли. Разве они теперь вас пустят? Тут многие были за то, чтобы вас в исполком, так сначала и наметили, а как Фастовец выступил да за-

вопил — ей богу, прямо завопил: «как же его так, который офицер с нами всей душой, да его в город отдавать!..». Ну, эту балабошку, Маркушу, послали.

Шелехов сидел ослабелый, не слыша ничего, кроме зияющей пустоты в теле. На глаза навертывались обжигающие слезы. — «Я для них... горел за них, на палубу первый спускался, мучился, а они... К чорту, покажу я им теперь курсы!».—Лобович, должно быть, застыдился его дергающейся щеки, деликатно отвернулся.

— Могу вам сообщить новость, — сказал он, нарочно отвлекая его от мучительных мыслей, — флот на первом положении. Вот, пойдете теперь в операцию... А как вы думаете, Сергей Федорыч, не зря они всю эту контору затеяли?

Шелехов горько встрепенулся. Поход!.. Так вот откуда черный дым над рейдом. Корабли дрожали на якорях, с раскаленными топками, наготове. А он-то мечтал, что выйдет в первый раз в море не только как офицер, но и как один из немногих народных избранников, — будто не с одной, а с пятью драгоценными жизнями в груди, и все эти жизни, на глазах у матросов, весело подставит навстречу злобному, вражьему ветру... Сонная, безразличная разбитость овладела им, словно он не спал несколько ночей.

— Не знаю, Илья Андреич... я пойду, спасибо.

Лобович, ободрительно, насильно смеясь, похлопывал его по плечу, провожая.

— Поменьше, батенька, поменьше политикой увлекайтесь! В ваши годы... эх, как я бы фокстерьерничал!

Вслед, другим голосом:

— А на ребят-то не обижайтесь, поймите ребят...

Почти не разжмуривая наболевших глаз, мичман пробежал кое-как по набережной, по трапу «Витязя», добрался до своей новой каюты, набросил изнутри крючок и, скрипнув зубами, не раздеваясь, грохнулся ничком в подушку.

*(Продолжение следует)*

---



# Два стихотворения

МИХ. ГОЛОДНЫЙ

## I. МАРШ ПОД МАРШ

Рифмы, сюда, ко мне!  
Он смешон мне, наш критикан,  
Я растил вас не на окне  
Для забавы баб и мещан.

Глагольные вы — не беда!  
Не в глаголах ли динамит?  
Не глаголы ли по городам  
Громыхали, взрывая гранит?

Я над вами никогда не потел,  
Прозябая, не шел в уют:  
Как солдат вас, куда хотел,  
Посылал я. Смирно, я тут!

Будем, как знамя, как бой,  
Как свидетели наших ран,  
Как последний боец с трубой,  
Как буря, как барабан!

Не даром законам борьбы  
Я вас обучал без конца!  
Взрывайте медные лбы!  
Рвите в куски сердца!

Мы знали, что значит высь,  
Железного времени лет,—  
Узнаем, что значит низ,  
Увидим, как роет крот.

Тяжелые дни стоят,  
Но не мне еще падать ниц,  
Но не мне отступить назад!  
Ну-ка, рифмы, не хныкать, цыц!

Нет, Голодный Михаил  
Никому не привык сдавать,  
Он ногти в сердце впустил,  
А сам командует. Ать!

Рифмы, сюда, ко мне!  
Ничего, что мещане кругом!  
Не сгорели вы на огне, —  
Не угаснете под огнем.

Так под музыку шел я в такт,  
Так шагал под команду: — Арш!  
Так, не помню, когда и как,  
Под марш сочинил я марш.

## И. П Л Я С К А

Я танцую с братом джигу:  
Джига, джига, джига, джига.  
Душит кровь меня. Пожары  
Застылают мне глаза.

Изгибаюсь я направо,  
Изгибаюсь я налево,  
И руками,  
И ногами  
Бьюсь на месте,  
Топоча.

Опускаюсь на землю тихо,  
Опускаюсь на землю шумно,  
И взлетаю вдруг на воздух,  
Повернувшись  
Десять раз.

Нет, не сдамся я, братишка,  
Не сдавайся ты, братишка,  
Ты, как я, писать не можешь, —  
Выбей песню каблуком.

Шкап подвинулся, и стулья  
Наклонились над столами.  
Стулья вместе со столами  
В бешеный пустились пляс.

Ходит комната шальная,  
Все кружится,  
Все троится.  
Потолок ногам мешает,  
Лезет пол на потолок.

Книги вырвались из полок,  
Пляшут вещи,  
Пляшут книги.  
Гете с Шиллером пустились,  
Байрон с Пушкиным пошли.

Музыканты, музыканты,  
Помогите, музыканты.  
Вытряхнуть хочу из тела  
Сердце ноющее вон.

Со страниц кричит Алеко,  
От него бежим, Земфира.  
Ба, да это ведь Елена,  
А Алеко — это я.

Я от шума крови гложу,  
Глухо сердце бьет о ребра.  
Ничего уже не слышу...  
Джига, джига, джига, ох!

Все вокруг кроваво-красно,  
Лиц не видно — рожи, рожи,  
И лечу куда-то в пропасть.  
Поддержи меня, браток.

Надо мной склонился кто-то:  
Погоди, да что ты, дьявол,  
Придержите ему ноги,  
Бедный, он сошел с ума.

И гляжу я с удивленьем:  
Почему я на кровати?  
Почему не пляшут джигу?  
Почему мой лоб в крови?

# Полюс

ВИССАРИОН САЯНОВ

Географ и естествоиспытатель,  
Как и сейчас, в далекие года  
По всем путям земли и океана  
Тебя ведет Полярная Звезда.

И Южный Крест восходит над тобою,  
Полмира он по сумеркам берёт.  
Но есть ли что еще неотвратимей  
Движения гипотезы вперед?

Она идет во мглу лабораторий,  
Качая молний желтые шары,  
Она идет, — и на глухом просторе  
Гипотенузой срезаны миры.

Мир, как он есть, с его непостоянством,  
Большой, как шум средневековых орд,  
Трехмерным он качается пространством  
Над чертежом трансляций и реторт.

Материков срезая очертанья,  
Мешая ветви корабельных роц,  
Трансокеанский лепет мирозданья  
Ведет тебя в арктическую ночь.

Но сквозь сиянье разноцветных полос,  
Уже считая тени кораблей,  
Перед тобою раскололся полюс  
На сотни тысяч ледяных полей.

И вот уже, от края и до края,  
Свирепый ветер странствует у нас,  
Тот самый, что ты видел, умирая,  
Который я увижу в смертный час.

Но это всё не мука и не подвиг,  
Я снова горный полдень узнаю.  
Вот так и руки, вскинутые по две,  
Передо мной качались в бою.

Природа, ты еще не в нашей власти.  
Зеленый шум нас замертво берёт.  
Но жарче нет, и быть не может страсти,  
Чем эта страсть, влекущая вперед.

# Лесосека

Рассказ

Н. НИКАНДРОВ

## I

**С**нег, покрывавший всю землю до самого горизонта, на холмах был внезапно охвачен желтой медью печальной зимней зари, — когда со всех концов широко раскинувшегося села к большому каменному зданию дружно потянулись группами и одиночками мужики.

На фоне белого снега движущиеся фигуры мужиков резко выделялись черными, всюду разбросанными точками, — целой россыпью маленьких точек, по-муравьиному сползающих к одному месту.

Зимний деревенский вечер был так тих, кроток, а мужики шагали такой знакомой поступью, что, — хотя в этот час нигде никакого богослужения не было, — привычно настроенному слуху невольно чудились расстилавшиеся в воздухе монотонные звуки плохонького церковного колокола:

— Боум... Боум... Боум...

— И куда это наши мужики идут, не в церкву ли? — подняла удивленное лицо одна баба, под горой, на синеем в тени снегу у колодца, гремя по бугристому льду железными ведрами.

— В какую там церкву, в школу, на общее собрание, — с трудом вытаскивая из колодца за обледенелую веревку полное ведро, натужливо проговорила другая, в светло-желтой овчинной шубе, перекрещенной на груди концами темного платка.

— Нынче и бабам велели приходить.

— Ба-а-бам?

— Да.

А через полчаса, — когда на дворе совсем стемнело и из-за черной стены далекого леса золотой бровью глянула на деревню луна, — растревоженным деревенским людом были битком набиты и три классные комнаты школы, и коридоры, и сенцы...

Потом для крестьян, не вмещавшихся в классные помещения, пришлось раскрыть даже двери в квартиры учительниц...

— Беспонятливые, вам говорят, местов больше нету! — самоотверженно боролся в одиночку молодой милиционер против толпы, наседавшей с улицы на порог училища.

— Для других есть, а для нас нетути? — спокойно не верила толпа и с мужицкой деловитостью напирала плечами на запертую дверь.

Внутри обширного одноэтажного школьного помещения, странно низкими, давящими потолками, при скудном электрическом свете, в облаках остановившегося махорочного дыма, неясно рисовались, как на старинной почерневшей картине, темные контуры человеческих фигур, светлые пятна лиц, мелкие вспыхивания глаз... Люди, как птицы на телеграфной проволоке, сидели тесными рядами плечо к плечу на столах парт, на скамейках, на подоконниках; стояли послушным гуськом, — «в затылок», — в проходах между партами; жались локоть к локтю вдоль стен; громоздились голова выше головы в дверях...

В конце последней классной комнаты, самой дальней, видной сквозь все распахнутые двери, за длинным, непокрытым столом, слабо освещенным с потолка единственной запыленной электрической лампочкой, располагался заседавший тут с после обеда расширенный пленум сельсовета, — тесные ряды таких же, как и вокруг, мужиков: старых — длиннобородых; юных — безусых... И среди них две женщины, державшиеся рядом: одна пожилая, другая молоденькая. У пожилой темное, малоподвижное, безрадостное лицо, наполовину скрытое под белой, по-монашески насунутой на глаза косынкой. У молоденькой золотой хохолок на лбу, пушистый, как хвост лисы, кокетливо взбивающийся прямо вверх из-под широкой цветистой повязки...

Распираемое изнутри множеством спорящих крестьянских голов здание школы дрожало.

Один кричал одно, другой другое, обоих заглушал третий, — было совсем, как на ярмарке.

— Семен Макарыч, уже кругом полно, можно начинать! — сложив кисти рук рупором, протрубил во всю глотку, как в лесу, высокий милиционер, появившийся в дверях, распахнутых из класса в класс и забитых голова к голове народом.

Семен Макарыч — худой, смуглый, цыганского вида усач, с поблескивающим оскалом белых зубов и со старательно выбритым подбородком, одетый в черную ластиковую косоворотку, подпоясанную широким ремнем, — встал из-за стола пленума, острым, нервным взглядом обвел ряды шумящей перед ним толпы и небрежно вскинутой вверх рукой сделал знакомый всем знак, что желает говорить.

Шум немного приутих, — но лишь в самых передних освещенных рядах.

## II.

— Граждане!... — после небольшой паузы выкрикнул Семен Макарыч крутым, уверенным в себе голосом, с гримасой недовольства на подвижном, все время меняющемся, цыганском лице. — Рвать глотку ради вас тут, как говорится, никто не намерен!.. И я до той поры не открою собрания, пока вы тут, как говорится, не установите тишину и порядок!.. Эй, вы, там, в самом заду!.. Горлодеры!.. Примите хины!..

Он с раздражением сел на свое место.

Мужики во всех помещениях энергично принялись умирять спорщиков.

И в училище вскоре сделалось так тихо, что стало слышно, как несколько неугоминых крестьянских кулаков все еще барабанили с морозной улицы в запертую наружную дверь.

— Общее собрание граждан нашего села объявляю, как говорится, открытым!—возгласил тогда Семен Макарыч, легко и властно, наполовину привстав.

Поднятием громадных пудовых мужицких рук избрали председателем собрания Зипунова, молодого крестьянина, у которого было серьезное, иконописного вида лицо и длинные, до плеч, соломенного цвета волосы, тесно схваченные вверху, как железным обручем, низкой шапкой. А секретарем — Байбакова, упитанного детину, низкого роста, без шеи, с выбритой, вечно улыбающейся физиономией и с огненно-красной щетиной на совершенно шарообразной голове.

— Ну, Зипунов, где ты там запрятался, выходи!.. — зашумели веселые голоса после того, как сделались известны результаты голосования.—Байбаков, ха-ха-ха, ты тута?.. Вылазь-ка на свет!..

Зипунов, — в покоробленной желтой дубленой шубенке, испятнанной черными квадратами заплат, — долго продирался из полутьмы к освещенному столу и бесцеремонно расталкивал при этом то одним плечом, то другим неповоротливую, точь-в-точь как лошадиную, мужицкую толпу. Войдя, наконец, в круг света, он занял среди пленума указанное ему центральное место, расселся на освобожденном специально для него табурете, растопырил под столом — для устойчивости — ноги, двумя руками стащил с головы заячью шапку с наушниками, поставил ее, точно миску с крестьянскими щами, на середину стола, сидел, отдыхивался и пальцами, как граблями, расчесывал свалевшиеся волосы на голове.

Походкой комика моментально выкатился из давки на свободное пространство и гладкий, беспричинно сияющий Байбаков, при появлении которого в освещенном кругу народ так и ахнул от открытого удовольствия.

Байбаков уселся рядом с Зипуновым; раздул, якобы от делового усердия, и без этого пухлые щеки; разложил перед собой бумагу для протокола; хорошо проутюжил ее короткопалыми ладо-

нями; распустил над ней во всю ширь локти, как квочка над цыплятами крылья; навалился мясистой грудью на доску стола, точно поплыл по морю, и в ожидании материала для писания сосредоточенно ввинчивал в рот и вывинчивал из него очиненный кончик карандаша.

Зипунов, отдохнувший, расчесанный, чинный, пошептавшись с Семеном Макарычем, спокойно встал и предложил избрать в президиум собрания весь пленум сельсовета, заседавший тут с после обеда.

Вместо «президиум», он, как и все в этом селе, говорил «президиум».

— Возражений нет?

— Нету!

— Отводу не будет?

— Нет!

— Еще кого-нибудь из видных граждан доизбирать будем?

— Ну их! На кой? И так сколько их тама сидит! Небели не хватит!

— Тогда прошу внимания! — внезапно переменял тон Зипунов. — Тихо там, в том угле! Демин Фомка, Спирькин Ехрем, еще не нагуто-рились?

Собрание повело лицами в сторону яростно спорящих Спирькина и Демина и всей своей массой длинно зарычало на них.

Те оборвали спор и повернулись друг к другу спинами, как будто даже спорили не они.

— Слово для доклада принадлежит председателю сельсовета Семену Макарычу! — торжественно-певуче возгласил Зипунов и другим, более «своим» голосом бросил вниз усердно нагорбившейся над столом черепашей спине Байбакова: — Ванька, пиши.

Семен Макарыч, когда его вызвал для доклада председатель, по-военному топнул в пол сразу обеими ногами, вскочил, выпрямился, независимым кивком головы отбросил со лба назад черные цыганские волосы, сощурился на дальний угол потолка, стоял, не шевелился, — не то думал, как начать доклад, не то просто заряжался необходимым волнением...

### III

— Граждане-крестьяне! — при всеобщем внимании, со страстью крепко ударил он и потом, в дальнейшем, видно было, упивался каждым собственным метким словом, каждым удававшимся ему оборотом. — Вот уже который месяц бьемся мы, как говорится, над дележкой дерев лесосеки, отпущенной нам советской властью согласно «положению о лесах местного значения»!.. Сколько общих собраний граждан нашего села, как говорится, стражалоось на етим хозяйственном фронте!.. Сколько комиссией, выделенных нами из наших сельчан, как говорится, пало в етим неравном бою!.. Дело доходило даже, как говорится, до рукопашной!.. А лес лесосеки, а дерева, — и с про-

секов, и с делянки, — и по сей день не поделены!.. Кто же теперича, как говорится, выведет нас из этого тупика?..

Тут, для усиления впечатления, докладчик сделал маленькую остановочку, перевел дух и озабоченно-вопросительным взглядом обвел ряды присутствующих.

— А между тем, граждане, как говорится, скоро март месяц!— пригрозил он затем пальцем всему собранию, с гримасой неизбежности жуткой беды. — Снегу лежать осталось недолго!.. На четвертой неделе поста подымет лед!.. Лед уже начинает, как говорится, пупом переть!.. И если на нынешней общей собрании мы окончательно не вырешим, по какому лозунгу делить сваленный в просеках лес, то он, как говорится, так и останется там!..

По всем комнатам вместительного школьного помещения пронесся глубокий, полный отчаянья мужичий стон.

Семен Макарыч удовлетворенно сверкнул в пол белками цыганских глаз и продолжал:

— Напомню гражданам, что на самой первой нашей общей собрании, касающей лесосеки этого года, мы вынесли такое единогласное постановление: делить лесосеку, как говорится, по едокам!.. Примерно через неделю, на второй общей собрании, мы первое наше постановление, как говорится, изолировали и заменили его единогласно новым: делить лес по дворам!.. На третьей: по печам! Потом, как говорится, перерешали еще и еще... Чисто малые дети, ха-ха: сами, по доброй воле, голосуем и сами же потом, как говорится, остаемся недовольные своим решением, на когой-то имеем предлог, когой-то обвиняем в насильстве, колготимся и требуем нового голосования... В концы концов, на последней собрании, происходившей, как говорится, при участии проезжавшего через нашу селению председателя волисполкома, мы вынесли еще одно единогласное решение...

Семен Макарыч взял со стола протокол предыдущего собрания, нашел в нем нужное место и раздельно прочел:

— «В первую очередь удовлетворить лесом, сваленным в просеках, новостроящиеся семьи красноармейцев и бедняков, всего 58 семейств, отпустив каждому из них по 25 дерев на струбы... А остальной лес, — как с просеков, сваленный, так и с делянки, на корню, — распределить по справедливости между прочими гражданами села, исключая нетрудовой элемент, как поп, как дьякон, как лавочник, как мельник...».

Собрание недовольно загудело, когда выслушало из уст докладчика текст собственного последнего постановления.

Семен Макарыч только улыбнулся на это.

— Теперча те 58 новостроящихся, которым вы определили по 25 дерев на струбы, организовались, как говорится, в артель, взяли лопаты и отправились в далекую путь, за 20 верст от села, в лесосеку, поглядеть на сваленные в просеках дерева... Но, пробывши в просеках самое малое время, наши струбщики вернулись, как говорится, без



последствий обратно в село, сделали в красном уголку собрание, составили коллективную жалобу и маханули ее, как говорится, через головы сельсовета и волисполкома прямо в уезд: в уземправление, с препровождением копии в уисполком... Узу и Уик пошли жалобщикам навстречу и, как говорится, срочным порядком отнесли к нашему сельсовету бумагой, которую вам сейчас огласит секретарь сельсовета... Филька, огласи!

Хождение срубщиков в просеки для осмотра сваленных там бревен, жалоба их в уезд и ответная бумага из уезда в сельсовет — все это сильно взбудоражило умы собрания. Вытянув шеи, приоткрыв рты, мужики со старанием слушали однотонное чтение Фильки и бурными пятернями, как медвежьими лапами, то и дело разгоняли впереди себя махорочный дым, чтобы лучше видеть читавшего.

Филька, — не по летам высокий крестьянский мальчик-подросток, с большой лобастой головой и впалыми, уже хмурыми, как у взрослого мужика, глазами, — быстро прочел вслух всю бумагу, вложил ее обратно в папку, сел, сморкнулся в пол себе под ноги, вытер руку о впалую грудь и глянул исподлобья на собрание.

А во всей школе оставались та же тишина и та же неподвижность, что были и во время его чтения. Как-будто никто не заметил, что он кончил читать. Как-будто каждый сидел и продолжал его слушать.

Наконец, кто-то с чувством досады крикнул в дальнем углу:

— Кхе!.. А прочитай-ка ты, Филя, нам еще разок!.. А то что-то не больно того...

— Да! Да! — поддержали его вразброд другие мужики и озабоченно затрясли бородами. — Огласи-ка еще раз! Да попонятливей! Пореже! Не так густо!

— Кто за то, чтобы огласить бумагу во второй раз, поднимите руку! — привстал и предложил Зипунов, глазами участливого хозяина оглядывая собрание, как своих гостей.

Подняли руки все.

Поднятых рук было столько, что в помещении сделалось даже темнее.

— Единогласно! Теперча опустите...

Темные руки с шумом упали, и в комнатах опять посветлело.

Все при этом голосовании молчали, только пыхтели, словно выполняли тяжелую физическую работу.

Лишь одна молодая, налитая бабенка, сидевшая в тесноте среди мужиков на столе парты, повела с высоты по собранию задорным взглядом и сочно выпалила на всю школу:

— Они пишут, туды их мать, а читать надо в аптеку иттить!

Несколько мужиков гаркнули с мест злорадно-одобрительным гоготом. Точно вдруг гавкнули стадом в пространство.

Филька, с пылающими, запавшими глазами, с разгоряченными щеками чахоточного, читал бумагу во второй раз гораздо медлен-

нее; более явственно произносил отдельные слова; старательнее закруглял фразы; строже придерживался точек, запятых; в особо важных местах текста ставил от себя длинные, выразительные ударения, делал остановки...

— Понятливо, собака, читает, — тихонько похваливали его между собой мужики.

— «...А посему Уик, по соглашению с Узой, к незамедлительному исполнению предлагает, — разносился по всем помещениям школы четкий голос Фильки, — 1) увеличить норму выдачи с просек 58 новостроящимся бедняцким семействам на 5 дерев, доводя таковую до 30 штук; 2) прибавить к этому еще по 2 дерева, годных на выделку, отпустив таковые не с просек, а с делянки, где, по словам жалобщиков, сохранился лес лучшего качества...».

При словах Фильки, сильно подчеркнутых, — «увеличить норму выдачи на 5 дерев», — все собрание дернуло как бы одураченными головами в одну сторону; а при его словах «прибавить к этому еще по 2 дерева», — собрание еще сильнее рвануло головами в другую сторону... Когда же в школе прозвучала Филькина фраза — «отпустить не с просек, а с делянки», — три классные комнаты, коридоры, проходы, сенцы, квартиры учительниц — все заволновалось, задвигалось, заголосило так, что Фильке пришлось внезапно оборвать чтение и, с бумагой в руках, с фиолетовыми щеками, долго стоять перед собранием молча.

— Ввв!!! — ветром носилось взад-вперед по школьным помещениям возмущение ужаленных мужиков. — Ввв!!!

Зипунов рванулся с табурета, сгреб со стола в крупную мужицкую ладонь первый попавшийся предмет — чугунную подставку изпод старинной чернильницы — и грозно заколотил ею по столу.

— Ти-хо! — закричал он и, повторив это восклицание еще раз и садясь, бросил секретарю сельсовета: — Филька, продолжай...

Филька, тоном приказа, еще резче, чем раньше, отчеканивал:

— «...Строжайше следить, чтобы отпускаемый крестьянам лес использовывался получателями по назначению, то-есть только на стройку. Купли и продажи крестьянского леса не допускать. У покупающих и продающих лес отбирать. Виновных привлекать...».

От возбуждения уши у Фильки горели; глаза лихорадочно блестя; руки, костлявыми пальцами вцепившиеся в бумагу, сильно дрожали...

— «...Что же касается заявлений на неправильное удовлетворение лесом из лесосеки, то таковые подавать исключительно по инстанции, то-есть в волисполком. Ни Уиком, ни Узой никакие жалобы крестьян рассматриваться не будут...».

Во вторичном чтении смысл уездной бумаги был отлично усвоен всеми.

И поднялся шум.

Завспыхивали всюду глаза, задрожали бороды, загрозили руки... Один грудастый, бородатый богатырь стоял в толпе и среди общего гула орал во всю глотку что-то свое; другой, точно такой же Илья Муромец, в другом месте толпы, — что-то свое, противоположное первому; и оба одинаково взыскующе простирали издали руки к столу президиума.

И крестьянство одного и того же села мало-по-малу раскололось на два враждующих лагеря.

Крестьянство и разместилось в школе по лагерям: каждый протискивался к своим единомышленникам.

Два лагеря стояли друг против друга, — стена против стены.

С той и другой стороны выходили деревенские ораторы, отстаивавшие точку зрения своего лагеря. Говорили они то поочередно, то оба враз, пока их не разнимал председатель.

Потом громадным хором голосов обрушивались друг на друга сразу обе стороны. Тогда кричали поголовно все, все собрание, все село.

Президиум, сидевший посередине зала, попадал под перекрестный огонь тех и других.

— Гражд-да-не!!!—со скрежетом зубов грыз Зипунов дерево стола чугуном чернильницы, сам мокрый, с налипшими на лице желтыми волосами. — Гражд-да-не, прошу вас, будьте гражд-да-на-ми!!! Дайте нам весть собрание!!!

Иногда, по его просьбе, ему помогал более опытный в этих делах Семен Макарыч.

— Граждане-крестьяне!!! — тянулся тот к потолку судорожно работающим ртом. — Не делайте нам, как говорится, перегруз работы!!! Помолчите!!! После доклада будут открыты прения, когда каждый сможет, как говорится, слободно высказаться!!! Примите, как говорится, хины!!!

А через некоторое время рядом с двумя председателями, Зипуновым и Семеном Макарычем, стояли и надрывались вместе с ними и два их секретаря — толстый Байбаков и худой Филька.

Четверо, все разные, с перекошенными, что-то мучительно выводящими ртами, они были похожи в этот момент на квартет русских народных певцов на плохонькой эстраде.

#### IV

— Я первый просил слова!

И, низко опустив голову, точно скрывая от всех свое лицо, продирался сквозь давку к столу высокий, сухощавый крестьянин, без бороды, в замасленном красноармейском шлеме, гладко обтягивающем остриженный череп.

Под свисающим матерчатым козырьком в полосе черной тени поблескивали злые глаза.

— Синюшин!.. — зашептали в толпе, — одни с веселым восторгом, другие с суровым презрением. — Синюшин Ефим!..

— Ты о чем же это хочешь говорить? — тоже не без опаски спросил у Синюшина и Зипунов, когда тот вошел в круг света, встал в полоборота, одним плечом вперед, и голодным волком впился глазами в президиум.

— Я должен об'яснить, по какой такой причине мы, 58 струбщиков, отнеслись в уезд с жалобой, — говорил и взволнованно глядел вбок Синюшин. — Председатель сельсовета скрыл это от общего собрания!!! — закричал он с перекошенным лицом.

— Да! Да! — организованно поддержала его та часть собрания, из которой он вышел. — Пушай теперя сами струбщики покажут, как было дело!

— Не надо! Не надо! Зачем? — столь же энергично запротестовала другая часть собрания, враждебная первой. — Уже слышали! Зипунов старался утихомирить тех и других.

— И тем дам слово, и тем! — грозно жестикулировал он над своей головой ржавым чугуном. — Синюшин выступает сейчас в роде как содокладчик! Синюшин, докладай, а прочие молчите!

Синюшин повернулся, как велел ему Зипунов, лицом к собранию и начал:

— Как гражданам известно, этим летом у нас проводилось лесоустройство... В наш крестьянский лес было выехано из уезда лесничим... Под его руководством в лесу прорезались продольные и поперечные просека... При этой работе в просеках было сведено больше как 13 десятин лесу, что составляет около 8 тысяч корней... Количества не маленькая!!!

— Синюшин, по случаю позднего времени, ты лучше начинай содоклад сразу с того места, как вы, струбщики, в числе 58 едоков, вошли в лес. Вот вы заходите в просека, вот смотрите, и что же вы там видите...

— Что видим?.. А видим, что все там завалено снегом... Снегу больше как на два аршина лежит... Снег и снег, и больше ничего... Все кругом белое, ни одной черной пятнышки... И никаких сваленных деревьев на земле... Потом видим — на том снегу по всей просеке такие бугорки торчат... Ага, думаем, вот они где, наши деревья: похоронены под этим снегом... И живо взялись за лопаты — рыть тот снег... Работа была чижелая, прямо сказать, сумасшедшая... Не по охоте, по найму, ни один из нас не взялся бы за ее... Главное дело, снег был и сам по себе глубокий, глыбже как по сих пор, а тут еще вот такой толщины прослойки леду в ем... Один слой снегу легкий, как пух, даже лопата вырывается из рук и летит вместе с им, когда его кидашь... А другой — лед... Корка леду!.. Да такого, что его и железной лопатой сразу не прошибешь, а не то что деревянной... Одним словом, легче было б на кладбище могилу себе вырыть, чем в тех просеках тот льготный наш лес откопать... Но мы по первона-

чалу, конечно, ничего: стоим по уши в снегу и, как на фронте, прорываем глубокие траншеи... Вот откапываем, наконец, первое дерево... Глядим, а оно и шести аршин не будет, короткое, охвостное... Ах ты, думаем, мать честная, столько работы зря пропало: цельный вагон снегу задаром перекидали!.. Бьем траншею в другой бок, откапываем второе дерево, а оно хоть и длинное, — один конец тут, а другого не видать, — но такое тонкое, от силы двухвершковое, что даже на подсоху под сарай не годится, а не то что на струб... Вынаем из-под снегу третье: будь ты трижды проклято, такая кривуля, чисто рога допотопной чудовищи—и в энтот бок растет, и в энтот, во все бока растет, даже не поймешь, где у его корень, где верхушка... Таким деревом, думаем, чертей на болоте пугать, а не постройку крестьянину производить!..

В нескольких местах переполненной школы угрюмо прорычал горький мужицкий смех, — смех снова и снова обманутых.

— Ну, что ты будешь делать!.. — со стоном вырвалось у кого-то из самого сердца: — Хучь смейся, хучь плачь!..

Кто-то, — судя по беззубо-шамкающему голосу, дряхлый дед,— через силу прокричал с места бабьим голосом:

— А куды подевались с просеков хорошие, двенадцати-четырнадцативершковые деревья?

Прежняя здоровая, гладкая бабенка, сидящая с мужиками на столе парты, лихо повернув голову в сторону деда, смачно ответила ему:

— Мыши под снегом с'ели!!!

И уставилась лукаво-смеющимся лицом на Семена Макарыча.

Народ отозвался на ее острое словцо дружным невеселым мужичьим смешком, — тяжелым, как натруженный вздох.

## V

— А ну-ка-ся, дай мне слово... — поднялась над толпой крупная мужицкая ладонь, поднялась и продолжала стоять корявыми пальцами вверх.

— Колосков Ларивон? — вопросительно всматривался вдаль сквозь тесноту Зипунов. — Ну, выходи сюда, выходи! И опусти руку!

Но Колосков, опасаясь, как бы вместо него не дали слово кому-нибудь другому, так и продвигался к столу с поднятой, как на присяге, рукой.

Вот он, наконец, появился у стола, в кругу света.

Это был невероятно могучий, с выпученными глазами, дикого вида мужик, бурю мохнатую шерсть папахи которого никак нельзя было отличить от таких же бурых лохматых волос на его голове, шее, руках.

— По какому энто постановлению общего собрания струбцикам добавили еще по семь деревьев?.. — проговорил он одним духом и выпалил: — Нам не хватит!..

— А вам и не надоть! — оборвал его с места Синюшин. — У вас вон какие справные избы стоят!

Собрание ахнуло и насторожилось, предвидя единоборство вождей обеих сторон.

— И почему это им по два корня с делянки?.. — продолжал Колосков возмущенно размахивать перед своим животом руками, точно жонглер, играющий тремя шариками. — Кто распоряжается? Чей лес? Наш? Хресьянский? На общем прошлом собрании было постановлено: с просеков — им, «новостроющим беднякам», с делянки — нам, «прочим гражданам»!

— Ничего подобного! — рассмеялся Синюшин с вызовом. — Мы и все свои 32 дерева с делянки, а не с просеков получим!

— Ооо!!! — в ужасе взвыла и заметалась на месте часть собрания, руководимая Колосковым. — Ооо!!! Слыхали, чего он говорит??? Они и все свои 32 дерева с делянки получат!!! С делян-ки!!!

У некоторых стариков на мутных, молочно-красных щурых глазах даже заблестели слезы обиды.

— И тех двух деревьев с делянки не получат! — сделал Колосков успокоительный жест своим, чтобы они даром не волновались.

— Получим!!! — твердо, как скала, стоял на своем Синюшин и многозначительно повел бровью своим.

— Не ври, не получишь! У нас не было такого постановления собрания, чтобы вам по два корня с делянки давать!

— За то у нас есть на это бумажка из уезда! Там немножко повыше вас люди сидят! Повыше, да посильней, да посознательней!

— Пущай «повыше», пущай «посильней», мы не боимся, и два корня с делянки вам все равно не дадим!

— Дад-дите!!!

— Не дад-дим!..

— Сами возьмем!!!

— Попробуйте!.. Попробуйте взять, хе-хе!..

И Колосков пошевелил в воздухе чудовищными волосатыми лапами.

— И попробуем!!! И возьмем!!! — истерически взывал Синюшин и вздергивал шеей, отчего суконная каска на его голове все больше с'езжала на бок. — Мы имеем в себе авторитет на те два дерева!!! — колотил он себя кулаком в грудь так, что было больно смотреть. — Мы ст-ре-лять будем за те два дерева!!!

— Стреляйте! — неожиданно разорвал на себе ворот рубахи Колосков и показал на обнаженной груди место, куда стрелять. — Стреляйте! Мы все поляжем тут, а с делянки тех двух деревьев вам не уступим!

— Мы те два дерева заслужили!!!

— Чем?

— Всем!!!

— Говори, чем?

— Всем!!! Всей своей жизнью!!!

— А какая такая, против нашей, ваша жизнь? Что мы работаем, а вы гуляете?

— Ларивон! И ты говоришь, что не знаешь, какая наша, против вашей, жизнь! Посмотри на нас: мы и сейчас, после десяти лет революции, самые затертые люди! У нас и сейчас ничего нет! А вы? Вы — полные жители! У вас все есть: и лошади, и коровы, и овцы!

— Ефим! А почему же ты не наживал, волам хвосты вертел?

— Как почему? Нас больше как шесть лет кидали с фронта на фронт! Мы фронт держали!! Фронт!!!

— Ну, так что же? Нас в твои годы тоже гоняли! Мы в твои годы тоже служили, отечеству защищали! В твои годы все служат, и богатые, и бедные, и глупые, и умные!

— Мы и опять первые пойдем на передовые позиции, если случится новая война!

— А понятно пойдешь! Должен иттить! Иначе будешь дезертир! Думаешь, мы в свое время не ходили?

— Да, знаем мы, как вы «ходили»! А в гражданскую войну чего вы делали?

— Это когда, «в гражданскую войну»? Когда русские русских били?

— Да, тогда!.. Чего вы тогда делали?

— Как чего делали? Чего все, то и мы!

— Вы на печке лежали, брюхо себе растили!..

— А вы? Вы Расею завоевывали?

— Мы коммунизму военную вводили!.. Хлеб у кулачья из ямок выкапывали!.. Голодных кормили!..

• — До-воль-но! — врезался клином в их спор Зипунов и затряс в воздухе чугунной доской. — Довольно ругаться между собой! Держитесь порядка, говорите по очереди! А то опять как в тот раз, пропаримся здесь до утра, а вопроса так и не вырешим! Синюшин, помолчи, Колосков просил слова, а не ты!

Синюшин скороговоркой успел выбросить в лицо Колоскова еще несколько обличительных слов, потом, остановленный председателем, замолчал, и, не спуская разъяренных глаз со своего противника, отступил на несколько шагов от стола в темноту.

## VI

— Товарищ председатель, прошу дать справку, — ткнул Колосков рукой в стол и такими дико-выпученными глазами уставился на папку с делами, точно то был разрывной снаряд.

— Какую такую тебе справку?

— Скольким беднякам в прошедшие годы, как закон вышел, отпустились из нашего леса струбы и сколько из них построились?

— Семен Макарыч, дай ты справку, — сказал Зипунов председателю сельсовета, сидевшему рядом.

Тот, притопнув, вскочил на обе ноги, потянулся, оперся хрустнувшими пальцами рук о крышку стола, припоминаяще засверлил цыганскими глазами в дальний угол потолка.

— За последние два года, как говорится, было отпущено красного леса на струбы 111 гражданам...

— А сколько из них построились?

— Восемь душ.

— А прочие 103 души куда девали свои деревья? Пропили?

Даже не дожидаясь на последний вопрос ответа, часть собрания, возглавляемая Колосковым, так и раскатилась взрывом грубого, торжествующего хохота.

Синюшин одним прыжком выскочил из тени на свет.

— А кому же мы пропили наши деревья, как не вам, кулацкая ваша нация! — затряс он обеими руками перед лицом Колоскова и сам весь затрясся.

— Синюшин, спокойней! — пригрозил ему Зипунов чугуном. — Логику в ход не пушай!

— Как же, товарищ председатель, «спокойней», когда на нас возводят такие обвинения! Правда, я не опровергаю, мы получили лес и не строились! Но почему? Вот вопрос! Во-первых, у нас не было тягловой силы вывезть из лесосеки свои деревья, и мы им же отдали вывоз нашего леса с трети! Во-вторых, у нас не хватило бы капитала ни струбиться, не выделаться, и мы им же обменяли остальные две трети наших деревьев на хлеб, им же, кровососам!

— Синюшин, опять логика? Один раз за логику две недели уже отсидел, мало тебе? Колосков, продолжай.

— Шпана! — с содроганием вырвалось из уст Колоскова, прежде чем он приступил к своей речи.

— Колосков, а ты что? Тоже не можешь без логики? Что за народ в нашем селении! Что ни слово; то логика! Другого такого селения во всей губернии нет! Самое колготное селение! Приезжали которые из центра, выговаривали нам, что мы не умеем вести общее собрание! Попробовали бы они что-нибудь сделать с таким народом: ты ему говоришь, глотку дерешь, а он безо всякого внимания! Стыдно тебе, Ларивон, стыдно!

— Уж очень меня обида взяла, товарищ председатель! Мыслимое ли это дело: им, как закон вышел, уже по два раза давали лесу на струбы, теперича опять дают, в третий раз! А нам ни тогда не дали ни слуги, ни теперича ни полслуги! Почему это?

— Как почему? Потому, что они полные бедняки, советская власть помогает в первую очередь беднякам.



## VII

— Граждане-хресьяне! Поступило предложение прекратить прения и приступить к голосованию!

Поднялись массовые крики. Крики с мест: одни за прекращение прений, другие против.

— Прения продолжать, покедова не выльем все дехвекты!

— А если и до завтра и до послезавтра их не выльем?

— Тогда не расходиться до завтра и послезавтра!

— Ого!

— А тебе что, завтрава пахать ехать?

— А если не пахать, значит стоять тут на ногах сутки!

— Не то, что сутки, я трое суток тут стоять буду, не пимши, не емши, только бы услышать правильное слово!

— Ну, тогда надо ограничить время ораторам!

— Как же можно ограничивать? Это не в городе! Хресьянину только и погудорить зимой! Летом ему некогда, летом он в огне работы!

— Ну, тихо там! Граждане, кто за продолжение прений, поднимите руку!

Шум внезапно стих, точно куда-то провалился, и собрание вскинуло вверх руки. Молодые старались вытягивать руки повыше, старые, из скромности, пониже.

— Огромное большинство! Опустите!.. Теперича, кто за то, чтобы не ограничивать время ораторам?

Снова руки всего собрания взметнулись вверх и там остановились, в ожидании следующей команды.

— Опять огромное большинство! Опустите...

Толпе понравилось собственное единодушие. Все весело-хвастливо переглянулись: вот, мол, какие мы дружные.

— Есть еще желающие высказываться?

— А как же? Понятно есть! Только начали! Еще больше половины собрания молчала! У другого язык сам по себе начинает работать, а у другого его надо раньше раскатать!

— Граждане, прошу каждого отвечать только за себя! Не говорите за других! Ну, кто еще просит слова?

— Я!—взволнованно откликнулся, как бы с потолка, и протянул руку параллельно полу стоявший во весь рост на подоконнике молодой приземистый мужчина, странный на вид: мужик не мужик, барин не барин; одетый совсем по-деревенски, причесанный совсем по-городски; с неуместно поблескивающим впереди одним золотым зубом.

— Должиков!—пробежало по толпе и запрыгало из комнаты в комнату.—Должиков будет говорить!

— О, этот скажет!

— Заведет сейчас часа на два свой грамохвон!

## VIII

— Что за смех? — прежде всего наставительно цыкнул и мотнул головой на собрание Должиков, едва Зипунов дал ему слово.

Он стоял на высоком школьном подоконнике и с брезгливой миной щурился оттуда вниз на непролазную гущу мужиков.

— Кто там смеется? Какой такой изменник рабоче-крестьянской революции? Ляпунов Васька, ты чего рот на меня свой раззявил? Никогда меня не видал, да? Трошин Илюшка, а ты чего кривишь на меня рыло? Ишь, спрятался, думаешь, сукин сын, не вижу? Граждане-крестьяне, прошу обратить внимание, у нас есть председатель собрания, который нас корректирует, или же мы тут как барашки без пастуха? Есть? Если есть, тогда почему же он не смотрит, когда один трудящийся гражданин без причины смеется на другого трудящегося гражданина! Между трудящими в рес-пуб-ли-ке этого не должно быть, это не при царе! Жаль, Ленин рано помер! Что это? Опять слышу раздающий откуда-то смех? Товарищ председатель, выведите пьяных! Пьяных, говорю, выведите сейчас с собрания! Иначе я не могу начать рассказывать речь!

Ляпунов, Трошин и еще несколько молодых крестьян подняли небритые лица и напряженно-злыми глазами засверлили фигуру Должикова, гордо стоявшую в высоком окне, как памятник в каменной нише.

— Кто пьяный? — прохрипел грубо первый крестьянин, обращаясь снизу вверх к Должинову.

— Скажи, кто пьяный? — подхватил второй, еще более вызывающе.

— Может, ты пьяный? — прогудел грозно третий.

— Мы никогда хлеба вволю не наедаемся, налегаем больше на картошку, а он «пьяные!», — апеллировал к собранию первый.

— Хлеба-то вволю вы никогда не наедаетесь, это верно, — отвечал Должиков, — а вот водки-то всегда напиваетесь! Тут есть, которые с утра пьяные! Интересно знать, где они в воскресный день, когда лавка центроспирта закрыта, достают «русскую горькую»?..

— Должиков! — встал и с официальным лицом спросил Зипунов. — У нас сегодня в повестке дня вопрос про лесосеку или про «русскую горькую»?

— Товарищ председатель! — в тот же момент поспешно запросил с места Синюшин. — Дайте собранию справку: избирательная комиссия лишила права голоса гражданина Должикова, как бывшего нашего лавочника, или же нет?

— Семен Макарыч, дай справку, — обратился Зипунов к председателю сельсовета.

Тот вскочил, сильно топнув в пол обеими ногами, закрутил усы, заиграл белками цыганских глаз, наморщил лоб, видимо, подбирая в уме нужные слова...

— В вопросах, как говорится, хозяйственных граждан Должиков права голоса не лишен. В вопросах же, как говорится, военных, политических и дипломатических—лишен...

— С'ел?—захохотал Должиков и затряс выхоленным острием седеющей бородки, глядя сверху вниз на Синюшина и его группу.— Знаю,—обратился он затем ко всей группе,—знаю, дорогие мои, что вы готовы отправить меня в Нарымский край за то, что я умней вас! За то, что в нашем селе, на семь тысяч едоков, только один я всегда вскрываю неправду! Сказано: «скажешь правду, потеряешь дружбу!».

— Должиков! Обещался говорить про лесосеку, а говоришь про что?

— Сейчас! Сейчас буду про лесосеку! Только ты, председатель, не перебивай меня, а то я могу смешаться мыслями!

Он немного подумал и начал:

— Мне, граждане, 54 года. Оставшись от родителей трехлетним сироткой, я с самых малых лет работал, служил, тянулся к хорошей жизни, с вами не пьянствовал. Думал не об себе, не об своих удовольствиях, а об семействе, об детях, чем их пропитать, во что одеть, чему хорошему научить. Двум сыновьям дал высшее образование, двум дочерям среднее,—женщине довольно среднего. Оба сына сейчас в Ташкенте, присылают письма, служат на завидных должностях, Дочерей, благодаря хорошей мебели, выдал тоже за очень образованных людей: обои мои зятя по полтора ста рублей жалованья получают...

— Еще бы!—не удержался и выкрикнул с места Синюшин, взмотнув головой.—Ведь ты у нас лавочник!

— Я лавочник?—обиделся Должиков.— Я такой же крестьянин этого села, как и ты. Только чорт когда-то попутал меня попробовать в нашем селе торговать, и я прирубил к своей избушке лавочку на шесть аршин, с тальянским окошком. Но дело не пошло, и через малое время я прикрыл лавочку. А вы, глядя на тальянское окошко, которое осталось, с той поры величаете меня: «лавочник», «лавочник». А какой я лавочник?

— А хлеб ссыпал?—спросил в упор Синюшин.

Синюшин попал в цель, и на лицах собрания зашевелились довольные гримасы.

— А кто его в старое время не ссыпал?—спокойно пожал плечами Должиков.—Закон разрешал, вот и ссыпали! И много ль я его ссыпал?

— Синюшин, довольно задавать вопросы!—встал и взялся рукой за чугуи Зипунов.—А тебя, Должиков, упреждаю в последний раз: или говори по докладу Семена Макарыча, об деревьях лесосеки, как их сходней делить, или я лишу тебя слова!

— Хорошо! Согласный! Я на все согласный! Сейчас буду об деревьях! Эй, тихо там, в том бoku! Начинаю об деревьях! Только об деревьях!

## IX

По мере того как Должиков говорил, его лицо от волнения и жары все более краснело и покрывалось каплями пота. Под конец с его багровых щек, лба, шеи лило, как в банной парильне. Он расстегнул воротник шубы, пиджака, рубашки.

— ...Рабоче-крестьянская власть, смахнувши с трона Николку, в заботах об нас, об трудовых крестьянах, сперва отдала нам помещицкую землю, потом, два года назад, выпустила в нашу пользу закон «о лесах местного значения», чтобы ни один крестьянин больше не говорил, что он нуждается в лесе. И мы должны благодарить за это советскую власть. Если бы не советская власть, прошло бы еще сто лет, а мужик все не имел бы такой возможности отстраиваться, какую он имеет благодаря советской власти теперь. Потому что советская власть...

— Не подмазывайся к советской власти, лавочку все равно не воротят!—крикнул с места Синюшин и сунул побледневшее лицо за чужую спину.

Зипунов хотел было схватиться за чугун, но опоздал: Синюшина уже не было видно.

— ... По последнему закону всего нам было дадено лесу тысяча сто сорок десятин,—поучительно-лекторским тоном продолжал Должиков.—Но там, кто видал, есть и поляны, и болоты, и кустарник, так что чистой древесины у нас, можно считать, примерно десятин семьсот. Для немцев, граждане, этого количества было бы не мало, даже много, а для нас, русских, мало. Для нас, русских, всегда и всего будет мало. Граждане, что такое русский человек? И кто видал, как живут у нас по колониям немцы? Я у немцев-колонистов работал. Немцы любят с работников работу спрашивать, но зато и кушать вволю дают. Немцы кушают так: утром завтрак...

— Должиков! Ну что мне с тобой делать? В докладе Семена Макарыча вопрос касался только об лесосеке, а ты уже занесся о том, как кушают у себе дома немцы? Это совсем разные понятия!

— Я сам знаю, что разные! И я сейчас вернулся бы обратно к лесосеке, если бы ты меня не перервал! А теперь я не знаю, с какого боку к предмету подойти, с того ли, с этого ли!

И прошло немало времени, пока он, наконец, вернулся к вопросу об лесе.

— ... Лес, граждане, не успели мы получить, как всеми силами заспешили его сводить, как-будто завтра придет другая власть и отменит удобный для крестьян закон. За три года третья лесосека! Это не говоря уже о продаже нашего леса на сторону. А между тем, граждане, лес надо было бы беречь и если сводить, то сводить умеючи, под руководством специалиста, и на месте сведенного делать посадку нового, иначе он весь пойдет у нас в распыл...

— Уже пошел!—вырвалась у кого-то жалоба в задних рядах.

— ... Теперича что касается дележки лесосеки этого года, то надо принять во внимание, граждане, что деревья в нашем лесу неровные как в просеках, сваленные, так и в делянках, на корню. Вот стоит дерево в 20 аршин, а вот стоит дерево, полюбуйте, в 40 аршин. И то дерево, и то дерево! Ведь просеки, граждане, прокладывались, если кто видал, по прямым линиям, они шли где попало: не только по хорошему лесу, но и по коряжнику, и по пустоши, и по плешинам. Теперича спрашивается, как поделить между нами такой неровный лес, где нет одинаковых даже двух палок? Как его, граждане, поделить, чтобы и тебе не было обидно, и мне не досадно! Понятно, я сознаю, что в первую очередь мы должны удовлетворить лесом новостроящиеся семьи красноармейцев и бедняков. С этим первым вопросом у нас уже покончено. Но у нас до сих пор остается неразрешенным второй, более трудный вопрос: как поделить между гражданами селения остальной лес лесосеки как красный, хвойный, так и чернолесье, лиственный как в просеках, так и в делянке? Вот из волости нам сказали: «поделите остальной лес по справедливости». И мы сейчас же избрали из наших мужиков комиссию. Комиссия эта, в шесть душ, ходит из двора в двор, смотрит, какой усадьбе лес необходим, и тут же отписывает, кому на подруб штук десять, кому на выделку, штуки две, кому на матицу, на ось, на дрожину... Каждый член комиссии получает по рублю в день чистыми деньгами,—я первый пошел бы служить на такое жалование в такую комиссию,—таким образом, вся комиссия берет у нас по шести рублей каждый день. Комиссия работает неделю, другую, будет работать месяц, другой, и для выплаты ей жалования, по шести рублей в день, мы продаем железной дороге лучшие деревья лесосеки. Так что недалеко то время, когда комиссия съест весь наш лес, и нам нечего будет делить. Вы этого хотите, граждане? Вы этого добиваетесь? Этого ожидаете?

Гул массового мужичьего смятения был ответом на последние слова оратора.

— Правду высказал! — посыпались горячие замечания с мест.

— Чтобы услышать такие слова, не жаль ночь тут пропариться!

— А еще бы!

— По шесть целковых в день, можно с ума сойти!

— А сколько его, двенадцати-четырнадцативершкового, уже на станцию продали?

— Сотни корней! На тыщи рублей!

— А кто видал те денежки?

— Никто!

— И где они? Куда подевались? Сквозь чьи ручки прошли?

— Вот его главное!

Должиков чувствовал себя на подоконнике, как на небе. От бушевавшего в груди восторга он заметался на месте, чуть не оступился и не упал вниз.

И он уже не говорил, а кричал; не улыбался, а хохотал...

— Граждане, смешно: комиссия загребаёт по шесть рублей в день, ходит из двора во двор, выясняет, кому нужен лес, когда он у нас каждому крестьянину нужен! А ну-ка-ся, граждане, смело, без стеснения, выходите сейчас вперед и скажите, кому из вас не нужен лес! Ну?... Выходите же!... Почему же никто не выходит? Почему ни один человек не говорит? Значит, недаром в комиссию подавали заявления об лесе все жители селения! Сколько жителей, — ха-ха, столько и заявителей, — ха-ха!

Школа вздрогнула от взрыва восхищения слушателей.

— Вот голова! — посыпались восклицания из толпы.

— Мудрая голова, дюже мудрая!

Только один Синюшин не поддавался под влияние должниковых речей. Слушая их, он от волнения то краснел, то бледнел.

— Должиков! — наконец, не стерпев, не своим голосом закричал он и заострившимся лицом высунулся из тени на свет. — Не подделывайся под дымагогию масс! Не забывай, что если этот номер у тебя тут пройдет, то на такой случай у нас впереди есть еще вик!

— Граждане крестьяне! — распяв в большом окне свои руки и ноги, в экстазе завопил Должиков с подоконника. — Призываю вас всех сплотиться в одну семью и не слушать отдельных провокаторов, делающих подрыв общей работе! Слушайтесь только людей самостоятельных, семейных, проживающих на собственной квартире, а не с сумкой на боку странствующих на ночевку из сельсовета в волисполком, из волисполкома в уик! Пришло время, когда каждый из вас должен решить, за кем ему итти, за теми ли, которые уже показали, как надо жить, и детей воспитали, или за теми, которые еще только обещаются что-то когда-то показать! Из центра к нам не присылают хороших партийных работников, своего крепкого актива у нас тоже до сих пор нету, окромя меня, да еще нескольких таких же надежных товарищей, как я! Но мне, как видите, у нас не дают ходу! Сказано: нет пророка в отечестве своем! Перебрасывать же свою работу в другую местность я не хочу и остаток своей жизни все равно отдам на служение родному селу! Но можно ли у нас что-нибудь сделать? Да, можно! Беден ли наш мужик? Да, беден! Темен ли он? Да, темен! Можно ли нашему мужику помочь: поднять его благосостояние, вставить ему ум? Да, можно! Хотем ли мы строить социализм? Да, хотим! Безусловно хотим! Ни один человек не отказывается! Я первый мог бы! Но мне тут тоже препятствуют! Препятствуют из зависти! Всем нашим гражданам всегда обидно, почему это делаю я, а не они, почему я выдвигаюсь вперед, а они остаются взаду! Вот сейчас перед нами стоит большая задача, выдвинутая Октябрьской революцией: по справедливости поделить между гражданами селения лесосеку этого года! Кто против? Никто! Каждый за справедливость! Если так, тогда за чем же остановка! Приступим сейчас же к делу! Граждане-крестьяне, довольно иметь такую самолюбю: я себе люблю, а сбоку мне — нет! Пора нам научиться видеть кроме себе и другого человека, рожденного природой на земле!

Пора входить в положение каждого! И коль скоро мы с вами сейчас установили, что у нас лес необходим каждому, то значит и делить его нужно между всеми гражданами поровну! Я первый, как такой же крестьянин вашего села, имею получить из вашей лесосеки какую ни то палку! Поделить лес между всеми гражданами поровну—только тогда все будут довольны! Другого способа успокоить народ у нас нету! А то, подумайте, что у нас сейчас в советской республике делается: ребята, молодые мужики, чтобы получить на струб лес, отделяются от отцов, берут самые форменные отдельные приговора, с подписями понятых, со всем, все честь-честью! Молодежь вместе со своими наделами уходит из двора! Вот ведь что сейчас делается с изданием закона «о лесах местного значения»! И крестьянские хозяйства дробятся, мельчают, в то время, как лозунг дня в земельной политике укрупнять земельные хозяйства, сливать по несколько хозяйств в одно, образовывать коллективы! Вот почему я и говорю: не теряя зря времени, голосуйте поскорее мое предложение и сейчас же выносите по этому предложению единогласное постановление! А если на это наше справедливое постановление опять будут жалобы отдельных лиц, преследующих личный интерес, то ведь жалобы всегда будут: «на весь мир не испекешь блин!».

## X

— Нам... старикам... леса не дают... Молодым дают...

— Стало быть, дед, вы отжили свое.

— Так-то оно так... И мы ничего, не прекословим... Только раньше было больше уважения к старикам...

— А куда тебе, дед, лес? Двухэтажный дом перед смертью надумал строить?

— Нет... Куды уж мне строить?.. И я не об лесе только... А так, обо всем... В этом годе я погорел, в лесе мне отказали, но посулили дать два пуда вики... Ходил я за ней, ходил, так и не дали... Стороной сказывали, другой кто-то за меня захватил... Так и лес этот: расхватывают другие...

— Граждане, стойте, скажите: а стыкать бревна для струбов почему нельзя? Тогда все охвостье пошло бы в дело: паз и в его шип!

— А кто согласится? Ты согласишься?

— Это верно: никто не согласится! Или всем давай цельные или всем стыканые! Чтобы, значит, всех приравнять!

— Граждане, очень жарко, сделаем перерыв!

— Не надо, желаем продолжать!

— Тогда сбегай с ведеркой кто за водой, я уже раза три бегал, пить дюже хочца!

— А разве на всех тут наносишься? Пьют и пьют, будто сроду ее не пили!

— Хвойный по надобности, лиственный по печам!

— Кто тебе сказал! И красный и чернолесье поровну! Чтобы никто никому не завидовал: ни ты мне, ни я тебе!

— Так, так! Поделить между всеми поровну! По справедливости! Чтобы, значит, или всем или никому!

— Ну, нет! На это мы не согласны! Сложимся по сколько-нибудь, поедем в Москву, к Калинин, а делить лесосеку поровну не дадим!

— Будет бой!

— Не боимся! На всех фронтах были!

— Голосовать!

— Погоди ты с голосованием! Рано! Еще будут высказаты мнения!

— Пакедова у нас работают комиссии, есть которые струбщики уже успели купить себе готовые избы за наличные денежки. Избы купили и еще дожидаются из лесосеки тридцать два дерева получить.

— Не давать!

— А как ты не дашь, если люди попали в списки?

— Изолировать!

— Струбы давали только новостроящимся беднякам, а в бедняки и середняк ворвался!

— На станции за восьмивершковую штуку и сейчас по 25 рублей платят!

— При такой длине, в семь аршин, она в толщине должна иметь примерно три с половиной вершка!

— Откедова!

— Сумнительно, почему до сей поры не дают нам голосовать? Уже половина народа повалилась по коридорам спать: храп стоит прямо немыслимый!

— Под гипноз берут нас, баранов!

— По-ли-ти-ка! Была и будет!

— Закрывать собрание, и боле нет ничего!

— Мы тебе закроем!

— Синюшин, распорядись, гаси там свет!

— А на два месяца со строгой лезарюющей не хочешь?

— Вот еще энтой бабе дайте рассказать речь, тут одна баба просится!

— Какая она тебе «баба»? «Гражданка»? Гы-гы-гы!

Зипунов, изнемогающий, с чугуном в руке, поднятой вверх:

— Граждане-крестьяне, призываю всех к порядку! Прекратите разговоры на местах! Эй вы, Полозов Кузьма, Ионов Ермолай, тихо там, не маленькие, должны сознавать!

Прежняя сытенькая бабенка, весело озираючись вокруг:

— Ишь расшумелися как! Чисто лягушки после полой воды, перед просыным севом! Ей-ей, ха-ха!

Зипунов бросает чугун на стол, а сам обессиленно падает на стул. Хриплым шопотом, прильнув подбородком к плечу председателя сельсовета:



— Семен Макарыч, теперича ты поори на них немного... А я не могу, всю глотку перервал...

Семен Макарыч, вытянувшись во весь рост и устремив подбородок вверх:

— Граж-да-не!.. По случаю распухания на собрании такого хаозу, президиум должен будет прибегнуть, как говорится, к высшей мере пресечения и закрыть собрание. В последний раз прошу всех: примите хины!..

## XI

— Еще какие-нибудь предложения перед голосованием: есть?

— Есть... Ох, есть..

— Это кто там? Бабка Агафья?

— Я... Ох, я...

— Ну, выходи. Только, бабка, как говорится, поторапливайся. На дворе скоро день.

— Я скоро... Ох, скоро...

— Ну, говори, какое будет твое предложение?

— Моя предложения будет такая... Почему это мне нету лесу, когда комиссия с меня пила?..

Собрание сенсационно взвизгнуло и замерло, в ожидании дальнейшего.

— Или занесите сейчас мое фамилие в списки получающих струбы, или возвратите мне мое вино... две бутылки этой самой, русской горькой... Тоже и полтора фунта окорока отдавайте тогда обратно... если не отпишите сейчас мне лесу, как сулили: 30 дерев таких, с просек, на струб, и два энтаких, с делянки, на выделку...

В президиуме в замешательстве перешептывались: председатели с секретарями, секретари с членами лесной секции, те с распределительной комиссией...

— Кому же ты, бабка, как говорится, ставила?

— Как кому?.. А ентому самому, как его, Якову Тихонычу, заседателю вашему, что ли...

— Председателю? Как говорится, председателю распределительной комиссии?

— Ну да, ему самому... Заседателю... Я женщина вдовая, мало-сильная,—начала она жалобно причитать,—и ничего-то у меня нету, ни скотины, ни имущества, никакого звания...

И старуха разразилась плачем; громко заголосила беззубым ртом в угол головного платка.

В народе все скорбно смолкло.

Семен Макарыч суровым взглядом окинул зал.

— Назаров, Яков Тихоныч, здесь? Шумните-ка его там.

— Здеся!

— А ну-ка, Яков Тихоныч, покажись сюда. Как говорится, отчитайся перед избирательницей, гражданкой Агафьей Кукудумовой.

К столу тихо приблизился полный пятидесятилетний мужик, с очень благообразным, красивым русским лицом, с желтой бородой, веником закрывающей всю грудь.

— Ты меня, Семен Макарыч?

— Да, тебя... Ты слыхал, в чем тебя тут бабка Агафья, как говорится, обвиняет?

— Слыхал, Семен Макарыч. Слыхал.

— Ну, и чего же ты, как говорится, скажешь на это?

— А чего тут можно сказывать? Напрасно это она, Семен Макарыч. Как перед богом, напрасно.

— Водку у ней пил?

— Нет.

— Свинину ел?

— Нет.

— Стало быть, ты, как говорится, отрицаешь свою вину?

— Отрицаю. Не стану я, Семен Макарыч, с таких слез 2 бутылки вина пить и полтора фунта ветчины есть. Не стану. Нет.

— Значит, она на тебя, как говорится, ложно показывает?

— Да, Семен Макарыч. Ложное показание. Лжесвидетельство.

— По какой же причине она это делает?

— По наущению, Семен Макарыч. По низости ума. Заработку у наших крестьян нету, хлеба нету, и вот каждый мостится хотя побольше лесу из лесосеки урвать. Ну, и, известное дело, кому не даешь, тому значит враг.

— Ну, вот чего, бабка Агафья. Сейчас нам тут всем селом, как говорится, не дело в етим разбираться. А завтра утречком там толкнися к нашему милиционеру Шишкину, Егору Иванычу. Он сымет с обеих сторон допрос и двинет твое дело дальше, как говорится, по всем дистанциям. Поняла?

— А чего тут больно понимать-то?.. Не малоумная... Стало быть, завтрава тому, Шишкину, тоже подносить надоть?..

— Ничего не надо! А говоришь, как говорится, поняла!

— А то разве нет?.. Дурочкой отродясь не была... Только чем мне с ними канителиться, при старости лет ходить от одного к другому, лучше ты, Семен Макарыч, прикажи ему сейчас вернуть мне деньги за вино... За две бутылки, без посуды, посуду они у меня оставили... И за свинину тоже пусть рассчитается, за полтора фунта с осьмой... Если бы свинина была своя, а то я сама за нее денежки платила...

— Бабка, тебе, как говорится, по-русски об'яснили, куда тебе стукануться с твоим заявлением!

— Этого мало, что об'яснили!.. Надо деньги вернуть!.. Что же, я всех вас тут должна поить вином, кормить свиной? Вас много, а я одна...

— Говоришь, как говорится, не малоумная, а говоришь, как говорится, в двадцать раз хуже малоумной!

— Чего же вы меня посылаете завтра к милиционеру Шишкину? А Шишкин скажет: «толканись, бабка, завтра в секцию»... Что я не знаю, что ли?..

— А понятно не знаешь! Мы ведь, когда кого куда посылаем, базироваемся, как говорится, на законе! С воздухом не берем! За это нас самих тоже, как говорится, тянут как следоват!

Бабка снова заплакала:

— Семен Макарыч... А Семен Макарыч...

— Ну, бабка, довольна! Иди себе! Кто следующий! Еще предложения перед голосованием будут?

— А ты думал как? Неужли не будут?—громко заговорил в передних рядах старик и обернулся назад.— Тут ежели хорошенько копануть, предложений этих самых будет видимо-невидимо...

— Ну, старик, как говорится, без лишних слов. Говори прямо, какое будет твое предложение.

— Моя предложения будет такая: у меня матицы перегорели, болтаются на шпунтах, а я ничем не могу зазвать к себе комиссию. Кругом ходют, в иных домах по два часа сидят, песни поют, а от моей избы, как чорт от ладана. Вина не припас.

— А ты заявление, как говорится, в лесную секцию подавал?

— А как же не подавать? Знамо, подавал. Я их, без малого, почти что каждый день подаю. Только, когда погода дюже не позволяет из избы выйтить, не подаю. А так, в хорошие дни, всегда подаю. Там, в сельсовете, моих заявлений худо-бедно дюжины две лежит.

— Зачем же две дюжины?

— Для надежности, Семен Макарыч.

— Ну, коль скоро заявление подавал, теперича, как говорится, жди ответа.

— Доколе же, Семен Макарыч, ожидать? Люди уже давно в списки занесены, а я все буду ожидать?

— А это, как говорится, не от меня зависит. От комиссии. Комиссию вы выбрали. Не я. С нее и спрашивайте.

— А в комиссии сказывают—все концы у тебя!

— Ну, будет! Я тебе все объяснил! Не делай нам, как говорится, перегруз работы, на дворе уже развидняется! Чье будет следующее предложение?

— Мое! Только у меня, Семен Макарыч, в роде не предложение, а скорей всего вопрос!

— Ну, задавай свой вопрос, да поживей, не тяни.

— Я хочу задать вопрос в таких отношениях. Почему сельсовет не дает мне разрешения на вывоз из лесосеки веток?

— С того месяца выдача разрешений прекращена.

— Почему?

— По случаю, как говорится, распухания хаозу в нашем лесу. Вам даешь записку к леснику на сушь, а вы ломаете у дерева сук. Нынче каждая баба в нашем селе научилась лазить по деревьям не ху-

же мужика. Другая вовсе старуха, не видит, не слышит, а наравне с молодой приходит в лес, извиняюсь, задирает подол и тоже, как говорится, ладится лезть с топором на сосну, отсекай у сосны верхушку. Уже весь наш крестьянский лес стоит без вершинок, даже, как говорится, неудобно смотреть, когда проезжаешь мимо.

— А из лесу, Семен Макарыч, и сейчас свежие ветки возют.

— Кто возит, за тех, как говорится, ответят сторожа.

— Значит в эту зиму сидеть без дров, не топимши? Замерзать с семейством? Скотину морозить?

— Чего же ты раньше не брал, когда давали?

— Обходил, Семен Макарыч.

Семен Макарыч с выражением безвыходности на лице:

— Мужик ты больно, как говорится, аккуратный, Демин Ефим. И не знаю, что мне с тобой делать... Вот что: если у тебя, как говорится, такая крайность в топливе, поезжай в лес и собирай там обойки. Но только одни обойки.

— Знамо, одни обойки, Семен Макарыч, — повеселело лицо Демина.— Я без никакого охальства. Записку сейчас дадите или завтра в совет зайтить?

— Семен Макарыч, у меня тоже вопрос. По какой причине мне, Селезневу Зоту, отказано в струбе и предложено вместо этого две палки? Что я буду с ними делать? Меня все знают: бедней меня во всем селе никого нет! Ни избы, ни домашности—ничего! Из одежды—только что на мне, из скотины—одна кошка! Неизвестно, где помещаюсь! Дайте Христа ради возможность построиться...

— Яков Тихоныч, объясни, почему Селезневу Зоту, как говорится, отказано в лесе.

— Селезнев Зот? А он имеет, где находится. Пять лет со своей симпатеркой живет, в ейной избе, двух детей с ней прижил, несмотря, что ему полных шестьдесят...

— Что значит «с симпатеркой живет»? Все знают, что живу я с Алексеевной, вдовой, по ее согласию. Зачем же тогда говорить про нее такие слова? Она не шатающая какая-нибудь, чтобы ее по-всячески называть!

— Зот Василич, а кто ее называл? Тебе, как говорится, приснилось. А про Алексеевну мы все хорошо знаем, что баба она ладная и что изба у ней справная.

— А что мне из того, что изба у ней справная, когда из этой избы она прогоняет меня с милицией!

— Ну, как вас тут теперча разбирать? Граждане, может быть, мы, как говорится, поручим нашей комиссии собрать по заявлению Селезнева Зота дополнительные сведения?

— В комиссию! В комиссию!

— Семен Макарыч, а почему об нас ничего не докладывали общему собранию? В повестке наше дело есть. Стоим-стоим тут, ждем-ждем цельную ночь. Две семействы.

И маленький, шупленький мужичонка, с реденькой бороденкой, одетый в длинные до земли лохмотья, с длинными иззубренными рукавами, зажмурил красные воспаленные глазки и зевнул в сухую, маленькую, как куриная лапка, ладонь.

— А кто вы такие, два семейства?

— А погорельцы.

— Ах, да, погорельцы... Да, да... Граждане, тихо! Вот тут два семейства наших погорельцев, Карнауховы и Семериновы, как говорится, тоже добиваются из лесосеки получить деревьев! Решайте, на ваше усмотрение: дать им или нет? И если давать, то по сколько штук и откедова: с просеков, с делянки?

Собрание на момент стихло. Никто ни на кого не смотрел. Каждый в глубине души боролся...

Новые, непредвиденные кандидаты на срубы, кроме тех, уже принятых 58!

— Погорельцам казна должна давать помощь!—наконец, трудно проговорил из-середины толпы один.

— Пушай в казенное лесничество обратятся!—крикнул другой.— А наша лесосека, можно считать, уже раздтая!

— Раздтая! Раздтая!—густо заговорили враз мужики, хмурые, ни на кого не глядящие.—Казна! Казна!

— Стало быть, граждане, в ихнем ходатайстве к общему собранию, как говорится, отказать?

— Отказать! Отказать! Раздтая! Казна!

— Кто за то, чтобы отказать, поднимите руки!

Подняли все.

— Единогласно! Ванька, пиши...

Лица у главарей обоих семейств, Карнаухова и Семеринова, почернели, глаза сузились, остановились.

Двумя группами бездомных нищих, с кучей детишек в каждой, две крестьянские семьи долго еще стояли на месте, как окаменелые, и неподвижными огоньками глаз все глядели на освещенный электричеством стол, на толстую кипу бумаг, как бы скрывающих от них главную тайну.

— Примите хины!

## XII

— Внимание! Приступаем к голосованию! Выделите там, в каждой комнате, по человеку, считать голоса!

Массовый вздох глубокого удовлетворения.

Все школьное помещение разбили на несколько частей, и счетчики, расходясь по своим участкам, широко шагали, как великаны, по столам, по крышкам парт, придерживались балансирующими руками за чужие головы, плечи...

— Стойте, обождите голосовать! — раздался вдруг издали тревожный запыхавшийся крик.—Имеем довести до сведения общего собрания важную новость!

И в двери протискивался вновь вошедший с улицы бородач, размахивающий руками в меховых рукавицах, тепло укутанный, с громадным поднятым воротником дорожной шубы, весь, с головы до ног, как елочный дед, усыпанный хлопьями свежего снега. За ним продвигался вперед другой, точно такой же бородач, очень похожий на первого, только немного помельче, тоже с заиндевелыми волосами головы, бороды, усов...

— В чем дело?—привстал навстречу вошедшим председатель собрания.

Те только царапнули по воздуху меховыми рукавицами с широкими раструбами, мол: «погодите, дайте отдышаться, сейчас обо всем расскажем».

Они говорили попеременно, пополняли и поправляли друг друга. Один выбросит собранию несколько слов, от волнения и торопливости сорвется, замолчит, тогда с точно такой же спешкой выкинет фразу другой.

Они были похожи на спасшихся чудом гонцов с поля сражения.

— Мы с братом сейчас из нашего леса, с просеки!.. — прокричал первый, более крупный, и откинул назад воротник шубы.

— В просеках на земле никаких деревьев нету, ни плохих, ни хороших!.. — не своим голосом выкрикнул второй, что помельче, и стащил с рук меховые рукавицы с раструбами.

— Делите шкуру неубитого медведя!.. — улыбнулся собранию страшным оскалом первый.

— Просека наши чистенькие, как калидор, даже снег весь повыбит!.. — засмеялся смехом нервного больного второй.

— Кто теперь увидел бы наши просеки, тот поскорей убежал бы оттуда и сказал: «граждане-крестьяне, я не могу взять это пятно на себя на всю жизнь»...—продолжал первый почти плача, как-будто его незаслуженно-горько обидели.

— Куда девался сваленный лес, продан он с согласия общества или вывезен потайком, нам неизвестно, мы только знаем, что его там нету!.. — поведал певучим криком второй.

— Кто виноват, мы не знаем!.. — в тон второму протянул высоким голосом первый.

— Без суда и следствия не обойтись!.. — заключил свой рассказ второй.

— Не обойтись!.. — как эхо, повторил первый.

Во всех углах собрания притихло, как перед грозой.

Взгляды крестьян были устремлены на братьев, принесших страшную весть.

— Председатель сельсовета!!! — вскричал вдруг истерическим визгом Синюшин, вылетел из темноты на свет, согнулся, заколотил ку-

лаком по столу.—Ты хозяин всему, тебя мы поставили за всем, ты и ответишь нам за пропавшие дерева!!!

Семен Макарыч не проронил ни слова, только сделал Синюшину легкий знак рукой: «мол, ладно, ответчу, успокойся».

— Ааа!!!—между тем уже перекатывался волнами из угла в угол возмущенный вой массы. — Ааа!!!

Зипунов сделал бровями знак Семену Макарычу, чтобы тот встал и объяснился с разъяренной толпой.

Семен Макарыч опустил лицо, мгновение подумал, потом обозлено вскочил сразу на обе ноги и вскинул назад голову со стиснутыми зубами.

— Граждане! — туго заворочал он цыганскими белками глаз.—Я должен дать, как говорится, от себе мотив! Тут братья Жмыхины говорили вам: на просеках нет никаких деревьев, ни плохих, ни хороших. Это не-вер-но!!! Я сам, как говорится, на неделе обходил просеки и могу вам сказать, что деревья на просеках есть, правда, не такие, какие были раньше, и не в таком числе, как раньше! Но кто этому виной, граждане, как не вы сами? Припомните, сколько раз за зиму я торопил вас: «спешите кончить с дележкой лесосеки». А вы что делали? А вы где были? Потом тут сельсовету, как говорится, был брошен упрек, что лес частью продавался, частью развезен потайком! Да, граждане, лес продавался, это верно, но с согласия всего общества, с вашего согласия! И лес продавался, как говорится, открыто, на торгах, в деле имеются расписки! Вам должно быть известно, что на деньги, вырученные от этой продажи, мы, как говорится, кооперировали поголовно всех жителей селения, по рубль шестьдесят копеек! Коллективно купили облигации выигрышного займа! Провели полностью лесоустройство! Перебросили, как говорится, через речку новый мост! Шлях по селу остолбили! Сделали и еще много мелких достижений! На все эти дела при секциях совета имеются, как говорится, счета и документы, а если что сделано неправильно, то на это есть, как говорится, угрозыск и прокурор!

— А деревья где?—спросил его в упор Синюшин, едва он сел на свое место.—Скажи, где дерева?

— Как где?—снова вскочил Семен Макарыч.—У вас, у вас, у вас по дворам дерева! Вы, вы, вы их растащили! Кто брал в просеках ветки, тот, как говорится, прихватывал в середку воза и дерево, порезанное на 3—4 куска! По праздничным дням по 200—300 подвод за ветками на просеки выезжали! 300 подвод составляют 300 похищенных деревьев!

— Ооо!!! — неудовлетворенно отмахивалась руками от его слов и уверенно смеялась толпа.—Слыхали, чего говорит???

И уже никто из членов президиума не знал, как успокоить расшумевшееся собрание. Все они с беспомощным видом поглядывали друг на друга, да иногда разыскивали глазами в толпе красную шапку Шишкина.

Требовательный рев собрания все разрастался, когда со своего подоконника вдруг спрыгнул на пол Должиков. Он быстро прокрался в тыл президиуму, спрятался за спину сидящего Семёна Макарыча и зашептал ему в самое ухо:

— Могу усмирить народ. В два счета. Знаю подход к массам. Самые сознательные не устоят. Приходилось сто раз. Прошу разрешения выступить.

Оба председателя, Зипунов и Семен Макарыч, тихонько перебросились несколькими фразами, в неуверенности покрутили головами, но все - таки дали Должинову слово.

Должиков выступил перед толпой смело. Заранее глядел победителем.

Толпа встретила его появление сочувственно. Все ожидали от него громов и молний на голову проштрафившегося сельсовета.

### ХIII

— Граждане!—в суровой задумчивости начал он.—На приисках, за границей и у нас, если кто был, откапывают и вышвыривают вон тысячи кубов ненужной породы, чтобы только отсеять какой-нибудь золотник чистого золота. Так и в нашей человеческой жизни: пуды обманства, золотник правды. Будем же ценить этот дорогой для нас золотник и выслушаем мою речь со вниманием до конца. Граждане! Возьмем старое время, возьмем теперешнее, возьмем современное, то есть то, которое еще будет со временем, через тысячу лет. И по совету, положи руку на сердце, спросим себя: можно ли русского человека когда - нибудь удовлетворить лесом? Нет, никогда нельзя. Ему не то что нашего, крестьянского, ему и всего казенного не хватит. Кроважность невозможная!!! Иностранец, кто их видал, с ума бы сошел, если бы только посмотрел, какую войну мы ведем из-за вопроса об лесосеке. У бога, говорится, всего много, только сумей взять. По своему местоположению мы живем в редкой географической местности. У нас в окружности всякого угодя много, всякого богатства горы лежат. Пашни—раз; луга—два; леса—три; железная руда сама из земли наружу вылазит—четыре; строительный камень во всех логах стеной стоит—пять; каждое лето приезжают аптечные травы собирать—шесть... Я мог бы продолжать это перечисление еще и еще... А вот воспользоваться этими даровыми дарами природы мы не умеем. Жить не умеем! И всему виной лень наша, нерадение, распущенность. Почему на Украине, в хохлах, умеют жить? Мы вот собрались сюда и всем селом плачемся здесь, что нам по разверстке лесосеки мало приходится лесу, а там, в хохлах, обходятся вовсе без лесу и живут в двадцать раз чище нас. Нет леса, нет камня—строятся из глины! В настоящее время, когда немислимая жажда строительства об'яла всех граждан республики, советская власть, в заботах об мужике, смело бросила в деревенские массы новый лозунг: даешь огнеупор-



ную постройку! А у нас в одном только Долгом Логу три хорошо разработанных ломки высокосортного камня еще от прежних хозяев без дела лежат. Поэтому, граждане-крестьяне, я и предлагаю, не цепляйтесь так сильно за нашу несчастную лесосеку, бросьте старую моду возводить постройку из горючего дерева и с этого года дружно переходите на негоряемый камень! Я первый повезу завтра ко двору воз камня!

Собрание некоторое время молчало, думая, что Должиков еще не кончил говорить и что главная суть его речи будет впереди. Но при последних своих словах Должиков старательно поклонился и, видя свой ясный провал, не поднимая головы, быстро шмыгнул от стола в гущу толпы.

Всех охватило злобное разочарование.

— Смеется!

— Замазывает глаза!

— Уже вошел с ими в контакт!

— Долой!

Поднялось шиканье, свист, топот ногами...

#### XIV

— Прошу слова для внеочередного заявления по личному вопросу!—едва немного стихло, вышел на свет Яков Тихоныч, выставил вперед большой живот, захватил в толстопалую руку желтый веник бороды.—С сего числа снимаю с себя обязанность председателя распределительной комиссии,—продолжая глядеть вниз, со скорбной торжественностью объявил он, когда Зипунов дал ему слово.

Впечатление от его заявления получилось огромное.

У одного мужика покривилось лицо от неожиданности; у другого закрылся один глаз; у третьего отвисла, как у покойника, нижняя челюсть...

Наконец, кто-то негромко, виноватым голосом, одними кончиками губ спросил:

— Дядя Яков, а почему? Какая этому причина?

Обиженное лицо Якова Тихоныча еще больше насушилось. Жесткий веник бороды заскрипел в зажатой ладони.

— Есть причина,—сказал он, ни на кого не глядя.

— Объясни собранию, какая!—с той же робкой нежностью продолжал спрашивать прежний голос.

— Да! Да!—мало-по-малу раскачивались и остальные мужики.

— Объясни, какая!

— А такая,—заговорил Яков Тихоныч,—что с таким народом работать нельзя... Нету никакой моей возможности... Сами положили по рублю в день и сами же завидуете этому рублю... Окромья упреков, оскорблений, застрашиваний, я ничего хорошего не вижу ст вас за свою работу... Лес, сваленный в просеках, я принял от прежней комиссии только по спискам, по бумагам, самих же деревьев я видеть не мог,

так как в просеках лежали большие снега... Теперича братья Жмыхины доказывают нам, что в просеках не оказывается ни деревьев, ни снегу... Куда все подевалось, неизвестно... Я в просеках лесу не валил, не клеймил, не считал, в списки не заносил... Это делали другие комиссии, состав которых менялся несколько раз... Сам я даже хорошо не знаю, что у нас делалось этим летом в лесу: лесоустройство или же лесокрадство?.. И расхлебывать теперича чужую кашу я не желаю... Поэтому прошу собрание, будьте добры, ослобоните меня от моей должности...

Должность председателя распределительной комиссии считалась в селе и почетной и доходной. Поэтому просьба Якова Тихоныча об отставке, несмотря на все его объяснения, продолжала оставаться для крестьян и неожиданной и непонятной.

— Среди пути не распрягаются!—выкрикнул Должиков, искавший случая загладить дурное впечатление от своей речи об огнеупорном строительстве.—Дотяни, Яков, воз до конца! Дотяни ради народа! Дотяни ради бедноты, ради вдов, сирот!

— Яков, дотяни, чего там!—послышались всюду низкие растроганные мужичьи голоса.—Ну, дотяни!

— Не могу, уважаемые,—откланивался с грустью Яков Тихоныч.—Не могу. Не в силах. Пристал. Найдутся свежие силы, возьмутся молодые люди, которые поведут дело лучше меня. Не бухгалтерия: справится каждый, кого ни поставите.

Народ не соглашался с ним, продолжал упрашивать.

— Если пристал, день-другой отдохни, жалованью все равно за считаем!

— Не могу. Здоровьем пошатнулся.

— Возьми записку в ламбалаторию!

— Нет, нет, ничего не хочу. За свои пробелы по сегодняшний день я отвечаю. По сей день под всеми делами комиссии подпишусь. А дальше—нет. Дальше—работать не буду. Дальше работайте, как знаете, сами. Одарите вашим «рублем в день» кого-нибудь другого Охотников получать деньги найдется много.

— Оставайтесь, папаша!—выкрикнул из толпы молодой, ласковый голос.

— Всем селением просим!—зашумели мужики.—Граждане, подымите все руки за Якова Тихоныча, чтобы единогласно! А это кто там не подымает? Спит? Ну, пушай спит, не тревожьте его! Человек все-таки в годах и, может, стопку лишнюю хватимши, для воскресения!

— И не просите, уважаемые, все равно не останусь. Напрасно просите. Только время теряете.

— Оставайся, Яков, прибавим какой ни то четвертак в день!

— Не желаю вашей прибавки. Спасибо. Тогда еще пуще упрекать станете: «рубль двадцать пять в день»! Я и тем деньгам не рад, которые брал от вас. У меня из-за них получился в семействе раскол, чего раньше сроду не бывало: жена сейчас ночей не спит, все прислушивается, боится со стороны наших граждан ночного поджогу по злопитуанию. «Ты, говорит, как начал служить на выборной должности,

так всем крестьянам поперек дороги стал». Заставила застраховать избу. За страховку своих денег восемь рублей заплатил. А вы: «рубль в день». Вот и берите теперича его себе, ваш «рубль в день».

Непреодолимая трудность создавшегося положения сознавалась всеми участниками собрания.

Последний аппарат, хотя кое-как ведавший дело крестьянской лесосеки, и тот на глазах у всех распадается!!!

И опять то один мужик, то другой стали вскидывать льстиво-угодливые лица на Должикова. Ожидали, что он скажет.

А тот почувствовал и беспомощность собрания и свою силу. Делал вид, что не замечает ни всеобщего затруднения, ни возлагаемых на него надежд. Ломался, дожидался, когда склонятся еще ниже, попросят во всеуслышание, как следует, словами, а не намеками.

— Ну, Александр Егорыч, выручай,—наконец, обратился к нему сам Зипунов, со смущенной гримасой вместо улыбки на лице.

Должиков только этого и ожидал. Он неторопливо вышел к столу, посмотрел сверху вниз на членов президиума, как на маленьких, помолчал, как-то странно подергал губами, почавкал ртом, громко вздохнул.

— Что же, граждане,—заговорил он, наконец, тягуче и скупно.—Невольник не богомольник. Если не хочет работать добровольно, силой заставлять не надо. Изберем другого человека. Правда, таких людей, как Яков Тихоныч, у нас немного... Но все же есть... имеются... находятся... найдутся... такие активисты. Только, когда будем выбирать нового, надо глядеть в оба, чтобы не ошибиться...

И отставка Назарова была принята общим собранием.

Некоторое время в школе царило всеобщее подавленное молчание. Как-будто все собравшиеся только что опустили в могилу покойника и продолжали стоять на месте, оцепеневшие перед страшной загадкой смерти.

— Когда лес распылил, тогда в отставку?—сам с собой вопросительно заговорил затем в гущу толпы первый очнувшийся.

— Такую громадную жалованью столько время получал и молчал, а теперича вдруг захворал!—криво ухмыльнулся широким ртом второй, опустив лицо и разглядывая кончики своих валенок.

— Стало быть, с его хватит, попользовался, довольно,—многозначительно похлопал себя по карману третий.

— Рубль в день, можно с ума сойти!—заужасался в то же время где-то четвертый и замотал нечеловечески-косматой, всклокоченной головой.

## XV

— Стало быть, по докладу председателя сельсовета голосуем четыре поступившие предложения! Первое гласит...

И Зипунов в кратких словах напомнил собранию содержание каждого из четырех проектов,—четырёх способов справедливого распределения деревьев лесосеки.

Три первых проекта подавляющим большинством голосов были моментально провалены. Прошло, как и ожидали, четвертое предложение,—предложение Должикова.

Все, с лицами победителей, рассмеялись, когда увидели такой исход голосования.

— Ванька, не спи, мало осталось, пиши: «...а остальной лес как с просеков, так и с делянки, поделить между всеми прочими гражданами поровну».

Потом у собрания возник было новый вопрос: кому раньше вывозить из лесосеки дерева, «новостроящимся бедняцким семействам», которым назначались с просек срубы, или же «прочим гражданам», получающим из остатка поровну?

— Способней всего разбирать лесосеку всем селом враз! Одни будут управляться с погрузкой на подводы сваленных деревьев с просек, другие в это время будут сводить делянку!

— О! Что ты, что ты! Разве ты не знаешь наших людей? Всем вместе толкись в лесу нам никак нельзя! Будет очень большая хищения как с той стороны, так и с другой! Одному Егору Иванычу не усмотреть!

В результате прений остановились на таком распорядке: в первую очередь вывозят с просек свою долю срубщики, потом, спустя день, в лес допускаются на остатки все прочие граждане.

Когда после этого Зипунов торжественно объявил общее собрание граждан села закрытым, народ, ахнув, вдруг повалил из школы с такой же слепой силой, с какой давеча набивался в нее. Столы, парты, скамьи, сорванные с мест, поскакали кучей к стенам, затрещали, люди закричали. В выходных дверях то и дело образовывались крепкие, точно каменные, пробки: едва вылетала на середину снежной улицы одна, как сейчас же на ее месте стихийно появлялась такая же другая...

На дворе был уже утренний, но еще бессолнечный, матовый, как бы теневой, свет.

Всюду вокруг, в какую сторону ни глянешь, начиная от деревни и кончая горизонтом, растилалась бесконечная, холодно-зеленоватая снежная равнина, голая, однообразная, унылая, без деревца, без кустика....

Народ, растекаясь с собрания по засугробленным улицам села, старался держаться кучками. Каждому было не под силу в такую минуту оставаться с самим собой, одному. Слишком болела душа за окончательно решенную участь лесосеки.

Шли, не торопились. Загадочно поглядывали в землю. Чаще обыкновенного вздыхали. Досадливо поплевывали в сторону.

И,—сперва робко, потом смелее,—зароптали вслух на только что вынесенное свое единогласное постановление!

## XVI

Весь наступивший затем день возле трех смежных изб, занятых учреждениями сельсовета, чернела громадная толпа.

Сегодня сюда стеклось еще больше народу, чем вчера в школу на общее собрание. На этот раз тут было все село.

Пожилые—косматые и молодые—подбритые мужики, одинаково закаленные на вид, грубые, сильные, одетые в бесформенные овчинные шубы, в громадные, похожие на опрокинутые ведра, папахи... Бабы с цепкими, смелыми взглядами, в аккуратно пригнанных, обнимающих в талии полушубках, в туго повязанных платках, в ловких, маленьких—по ноге—валенках... Демобилизованные красноармейцы, в остатках военной одежды, перемешанной с крестьянской, в затасканных, казалось, никогда не снимаемых с головы, уже потерявших и форму, и цвет, но все еще гордых, суконных шлемах... Древние деды, пережившие ряд царей, стопроцентные инвалиды, глуповатые, слеповатые, глядящие на здешний мир уже как бы с того света,—с обязательными окостенелыми посохами в окостенелых руках... Бабки-побирушки, деревенские сплетницы и всезнайки, без зубов, с острыми, загнутыми наперед, как у ведьм, подбородками, с живыми, молодыми, горящими глазками... Вкрапленные кое-где в темной, черноземной толпе яркие, как полевые цветы, комсомолки, — здоровые, налитые, мордастые девки,—в маково-красных платочках, с маково-красными щеками...

На улице было безоблачно, бледно-синее небо, двадцать градусов мороза, слепило глаза яркое зимнее солнце, и налетающий порывами ветер со свистом гонял по полям и дорогам колючую ледяную пыльцу — поземку.

А в переполненных народом помещениях сельсовета, с беспощадно натопленными печами, стояла в это время невыносимая жара. Изо всех раскрытых форточек непрерывными струями бил на улицу белый пар, точно из машинного отделения мастерской.

И люди, остывая на дворе, заходили в сельсовет погреться у печки, посидеть, покурить, послушать, как ловко Филька разбирается в делах бесчисленных просителей.

Но проходило полчаса, и, изнемогая от духоты, народ вываливался из помещения обратно на морозный воздух.

Томились страшно!

Ожидали возвращения Семена Макарыча, уехавшего в соседнее селение согласовывать с волисполкомом последнее постановление общего собрания.

Нетерпеливо поглядывали вдоль прямого, хорошо накатанного зеркально-блестящего на солнце шляха в ту сторону, откуда каждую минуту могли показаться лихие сани председателя сельсовета.

И после непривычной, напролет бессонной ночи, все самое обычное, что происходило сейчас вокруг, даже этот ослепляющий, вызывающий на глазах слезы солнечный свет на снегу и эта извивающаяся вокруг ног, шуршащая по земле поземка казались новыми, странными, воспринимаемыми так глубоко впервые...

Наконец, в самом конце сверкающей ленты шляха, на горизонте, зареяли в морозном воздухе бегущие быстрой трусцой знакомые сани.

По народу, на улице и в помещениях, внезапно как бы прошел единый электрический ток. Все вздрогнули, зашевелились, бросились к одному месту, к высокому крыльцу под вывеской совета, где должен был пройти председатель.

Вот запорошенные седой поземкой сани остановились. И небольшая, легкая фигура Семена Макарыча,—и тут пышущая своей обычной неукротимой энергией,—едва выбралась из глубины примятого сенного сидения, как тотчас же поволочила бегом по снегу, по направлению к совету, длинные полы тяжелой дорожной шубы, с аршинным, поднятым трубой воротником.

На деревянном крыльце, на высоте четырех ступенек, под резным навесом и размалеванной вывеской, Семен Макарыч остановился, поворотился лицом к народу, с трудом высвободил из длинных рукавов кончики пальцев, откинул ими за плечи огромный воротник, поправил криво присосавшуюся к голове теплую шапку.

— Ну, как там, Семен Макарыч, согласовали?—нетерпеливо задали ему вопрос из толпы.

— Нет,—с сожалением чмокнул губами Семен Макарыч.

Толпа с озадаченными лицами теснее нажала к крыльцу.

— Чего так?—продолжал спрашивать прежний голос.

— А потому, что такой дележке леса «между всеми поровну», как говорится, противоречит сам закон!—звонко отвечал с крыльца Семен Макарыч, с таким видом, как будто ничего особенного не случилось.

Толпа попробовала еще раз посунуться вперед, поближе к крыльцу, и сделала безрезультатное движение на месте.

Семен Макарыч продолжал:

— Волисполком никак не мог нам разрешить, как говорится, иттить вразрез с общей директивой социалистической республики, которая гласит...

Он достал из кармана записную книжку, отыскал в ней нужное место и наставительно прочитал:

— «Природные богатства страны как на суше, как на море, как в воздухе, а также в неископаемых недрах земли принадлежат трудящимся Республики и распределяются между ними не «поровну», а по нуждаемости»... поняли?

Он спрятал книжку и заскользил глазами по собравшимся.

Мужики оглушенно молчали. У одного дернулась вверх и зажмурилась одна щека. У другого вдруг упал вниз левый ус, а правый, наоборот, задрался вверх, и под ним неожиданно вскрылась зубастая челюсть...

— Как же теперича будет? — высунул из первого ряда седую бороду остроносый старик.

Толпа мучительно вытянула жилистые шеи.

Семен Макарыч бодро метнул черными цыганскими глазами в одну сторону, в другую и твердо сказал:

— Ну, что же. Доведется на той неделе, на общем собрании, как говорится, еще раз заострять этот вопрос.

---

## Карусель

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

И лошади, и львы, и свиньи  
Несутся врысь, несутся вскачь,  
С глазами грустными и синими  
Поет подвыпивший скрипач.

Сегодня сумерки — студёные.  
Но детям ли впадать впросак,  
Почувствовав в себе Буденного  
В разгаре вихревых атак?!

Ватага буйная прилипла  
К курчавым гривам. Свет и тьма.  
А здесь еще шарманка хрипкая  
Отвагу маршем разожгла...

Быстрей! — за орденом и славой,  
Не дать опомниться врагу!  
И радость прыгает лукавая  
На ветер с посиневших губ.

Но вот звонок. Конец погони.  
Переходя на ровный шаг,  
Собаки, свиньи, львы и кони  
Остановились не спеша.

Но отдых краток. Снова с криками  
Несется конница вперед,  
И тяжело, с глазами дикими,  
Скрипач подвыпивший поет.

---

# Искатели

Роман

(Продолжение <sup>1)</sup>)

В. Л. ЛИДИН

## VIII

**В** кабаке приходили шахтеры с казенных приисков, приходили старатели. В кабаке гуляла старательская удача. Приезжали скупщики, выжидали партий, легкого часа гульбы, когда все равно человеку, чем мерить жизнь. Скупщиков, спиртоносов, проезжих по тракту пускали ночевать в дом. Хищники знали дорогу по тракту: шли из тайпи после зимовки, пьяные от голода по жизни, по бабе. В кабаке была жизнь, веселых девок привозили сюда из городской слободы горячих, как спирт. Старатели шли на огонь, сразу воспламенялись от спирта, от бабьего тепла, от счастья гульбы. Когда терял человек свою меру, доставал он золото; за полтора золотника золота выставляли Финогенов-дед, Финогенов-отец бутылку спирта. Так шло родом. Спиртоносы повывелись, кончились скупщики, сбывать золото стало опаснее. Добычу сдавали в казну, надо было жить. Излишки, утаенные от добычи, припрятавали, берегли для нужды. Нужда не приходила — приходил старательский час гульбы. Тогда из-под полы, из подкладок доставали излишки; в «очко», за спирт отдавали в одну ночь все, что сберегли за целую зиму.

Старателей привел в трактир вечером Дышло; было их трое: высокий худой Иван Рыбин; черный, с празеленью иконных черниговских глаз, Козьма Пятаков, третий был — Сыч, старик, похлебавший беды. Старателей провел Егорка к отцу, в заднюю половину. Финогенов сидел копной, был с похмелья он сив, волосатые его кулаки лежали на столе. Старателям дали по шкалику, привели их для начала в порядок. Люди весь день провели в земле, в шахте, на промывке; от спирта они сразу затуманились. Финогенов сидел, выжидал, не пил ничего; наконец, он сказал:

<sup>1)</sup> См. «Новый Мир», кн. 1 с. г.



— Самородок на речке Желтухе кто нашел? Ты, Козьма?

— Я.

— Так. Кто три года шурфы бил, пробы брал, горькую участь знал? Наша артель?

Старатели ответили:

— Наша.

— Мы три года горе знали, свое искали, вокруг да около бродили... ужели же добычу так за-зря отдадим?.. Старики подобрались, живо инженер разузнает, государственное дело начнут... а нам на казну работать?

Накрепко туманить стало людей...

— Не уступим! Свое искали, свое возьмем...

— И я говорю — не уступим! Биться будем за наше.

— Будем!

Стены кабака качнулись, выгибались отвалами. Видели люди — свой труд в земле, свою жизнь — неудачников.

Козьма Пятаков протянул во весь стол длинную черную руку; лежала она на столе, как мотыга. В зеленоватой своей чернизне угрюмели глаза человека.

— Я, братья, самородок нашел... я за золото лягу. В шахте стариков опрокину, не пожалею. Без крепей роют, видел я шахту. Завалится земля — поди, доказывай...

Люди воспалялись золотом, спиртом.

— Говори, Финогенов... ты — староста, ты — говори.

— Я скажу... Ставь, Егор, четверть: золото достанут — вернут. Я, братья, скажу...

Сумрачной своею копной ополз Финогенов на стол, головы сдвинулись. Старатели слушали.

— Пушай старики копают... жила поверх не лежит, подсесть ее надо. Как пойдут подсекать, завалит порода людей... сами виноваты, крепи гнилые ставили. Так, братья, я говорю?

Люто людей водит спирт, кабацкую силу знал Финогенов.

— Свое не отдадим... по своему следу других не пустим! На Бодайбо бились, Сибирь исходили... кровью нашей земля полита. Говори, Сыч, ты — старшой, твой разговор.

Спирт качал старика.

— Бабу молодую мне надо... я свое не отбушевал, братья. Силу земле не всю отдал. Каторгу в шахтах отбыл... каторгу из-за бабы узнал. Двадцать годов ищу золото, чтобы бабу молодую купить...

Вышел человек из-за стола, шатает его спирт. Красные белки, красным гребнем горбатый нос.

— Слышь ты, Финогенов, кулак... посылай меня первого. Хозяин ты как был, так и остался... старостой прикрываешься, на зятя кабак перевел, все знаю. Были холопами, за чужое добро спину гнули, остались холопами. Ты — хозяин, ты и хозяйствуй, помыкай нами... Золо-

том разживусь, уйду от тебя, на Дон пойду, в степь. Казачку молодую возьму, вдовую, жить с ней стану, на Дону вольно людям...

Идет человек по кругу, кладет черную свою голову на длинную руку Козьма, катает головой по столу. Пот течет по длинному желтому лбу Ивана Рыбина, шумит старательская гульба, поют песни.

Славное море; священный Байкал...  
Эй, баргузин, пошевеливай ва-ал...

—уже не выставляет угощение Егорка, снимают сапоги, из онучей достают деньги, теряет человек свою меру. Снаружи закрыт трактир, глух; внутри гуляют старатели. Говорит Финогенов не вслух:

— За мной иди, Дышло!

Пустым двором прошмыгнул в дом человечиска. К пепельной бороденке пристала колбасная кожа. Изумрудно, красно, незряче обагривая смуглость ликов, горели лампадки. Финогенов сел на скамью, опять кузнечные меха раздирали ночь.

— Что Сыч трепал, слышал?

— Слышал.

— Тверезый думает, пьяный болтает. Кто про трактир разнес?.. Дело зятево, я не при чем... старательским делом занимаюсь, старостой у вас состою, кайлом в земле бью. Отцы промышляли... было — да водой залило. Сычу острастку дать надо, чтобы из головы выбил... знаешь?

— Знаю.

— В земле лихорадка бродит, молодых сваливает, а такого и в день приберет. На Дон подаваться хочет, мало ему на Сибири простору. Смотри, парень, ты мне первый докладчик.

Снова возвратился к старателям человечиска. Пели старатели песни, засыпали и пели:

Не былинushка в чистом поле зашаталась,  
Зашаталась неприютная моя головушка,  
Бесприютная моя головушка молодецкая.

Дышло присел, - выждал, втянулся в старательскую знакомую песню:

Что ни в чем-то мне, доброму молодцу, нет счастья.  
Я с дороженьки своей ворочуся.  
Государыни своей матушки спрошуся.

—и рухнули следом старатели:

Ты скажи-скажи, моя матушка родна-ая,  
Под которой ты меня звездой д'породила,  
Что таким меня ты счастьем наделила!

— Эй, Егорка, давай еще спирту... за золотишко давай!..

— Полтора золотника будет стоить.

— В отца пошел, мироед... война была — вас не смыла. Царя своего сменили, а вы всё на месте... целовальники. Бери золотник!

С груди заветный мешочек снимал Козьма Пятаков. И вот уже на бумажке крупички, смуглые золотые крупички, за которые боролись в земле, забывали человеческий срок, заживо хоронились землей и ненасытными водами почвы. Кончиками пальцев осторожно касались золота, красные белки выворачивались, глядел старатель-старик на людей. Было их четверо. Все были неудачники. Всеми управлял Финогенов. Что находили, — рано или поздно отдавали ему. А кругом валились стены кабака, новую бутылку приносил Егорка за золото, новую песню заводил Козьма Пятаков:

Что не ястреб совыкался с перепелушкой,  
Солюбился молодец с красной девушкой.

— находили люди свое место в песне, вдвигали свои голоса.

— За братьев бьюсь, — завопил вдруг Козьма Пятаков, сразу сумасшедшими стали черные глухие глаза, — братья в доле живут, меня выделили. Золотом разживусь, за все рассчитаюсь! Подтягивай, Сыч, — и сместе разом ударили голоса:

Ты не думай, простота, что я вовсе сирота.  
У меня ли молодца есть два братца родных,  
Есть два братца родных, два булатных ножа.

Ночью хлынули ливни, заливали землю. За ливнями, за непогодой весны шло лето, несмотря ни на что.

## IX

«1854 года марта 9 дня, мы нижеподписавшиеся разного звания люди, разных губерний, округов и волостей, заключили сей договор: 1) Нанялись мы для работ на золотосодержащих приисках с тем, что распределение нас на эти прииски, куда сколько потребно будет, должно зависеть от управления... 2) При следовании нашем от сборного пункта на промысла, по таежной дороге, делать ежедневно переходы не менее 25 верст, при чем на каждые сутки получать нам по три фунта ржаных сухарей и кроме сего ничего не требовать... Непременным условием вменяется нам не приводить на прииск жен и детей, а в особенности любовниц. 3) Число часов, в течение которых должен наемник каждый день работать, хотя и назначается с пяти часов утра до восьми часов вечера, имея в промежутках один час времени для обеда, т. е. работать всего четырнадцать часов в сутки, но мы не будем иметь

ни претензий, ни ропота, если иногда занятия наши работами и продолжатся более вышеозначенных часов... 4) Если кто-либо из нас заболел, то за все время нахождения в болезни никакой платы себе требовать не в праве. Но, чтобы при отправлении работ не могло быть между нами лености и нерадения, то за отлучку без позволения с прииска, за выход на работу позже и за уклончивость от работы под предлогом болезни и прочего, предоставляем управлению полное право в виде штрафа ставить под счет виноватого за каждый недоработанный час пятьдесят копеек... 5) За вскрышу одной кубической сажени с отвозкою в отвалы нам полагается плата: двум человекам при одной хозяйской лошади в дни будничные восемьдесят копеек, а в праздничные — по одному рублю пятидесяти...».

Инжеватов листал записи книг. Книги эти, старые планы — все было свалено на чердаке приисковой конторы. Это была история золота, история человеческого труда на золоте. «Согласно высочайшего повеления генерал-губернатору предоставлено отправлять ссыльнокаторжных на частные золотые промысла... Для этого из числа находящихся в восточной Сибири ссыльнокаторжных выбираются арестанты: они должны принадлежать к категории осужденных на срок не свыше двенадцатилетнего; иметь от роду не более 45 лет. При одновременном требовании арестантов для работ несколькими золотопромышленниками, предпочтение делается тому из них, у которого, по удостоверению местного горного ревизора, работы представляют бóльшие трудности...». — Каторгой добывалось золото в земле. Окаянным сибирским трактом отзвьякали путь на Сибирь пересыльные; тем же путем, может быть, гнали в Сибирь декабристов. Записи, карты, книги миновавших времен. Он знал эти одинокие ночи. Ночами шли ливни, слышнее был ход весны. Ночью он написал черновик письма, который не стал переписывать:

«Это вдогонку, Дмитрий. Всё горячее и глубже, чем я тебе говорил. Не умею раскрывать себя, даже близким. На расстоянии лет люди теряют друг друга постепенно. Я ничего не утратил, так и скажи. Напротив, я многое за эти годы нашел в себе, в своей памяти: все стало дороже и отчетливей. Но об этом я буду в праве сказать, когда оправдаю первую половину своей жизни. Она еще не оправдана. Если бы только я мог оставить в себе надежду, что годы не сотрут меня в памяти, что то, Дмитрий, о чем говорили мы с тобой на вокзале...».

Черновик лежал на столе. Он не стал кончать, не стал переписывать. Мужские ночные письма не уходят поутру. Женщины посылают их, не перечитывая. Крысы под полом конторы начинали возню. Казенное одиночество было в доме, в тишине побеленных необитаемых комнат. Ливень бушевал за окном, весенняя ночь была чернее осени. Планы, мечтания, сердце. Все же человеческое сердце, прежде всего. Надо уметь в спокойную жестковатую руку, привыкшую держать породы, брать горячий человеческий этот кусок. Немного усилия, больно,

но вот оно начинает биться размеренней, пальцы несут дневную успокоительность будней. Теперь можно оставить книги, историю золота, историю своей жизни. Рабочие шли тайгой 25 верст в день, получали сухари, больше ничего; на работе — восемьдесят копеек в день на двоих за четырнадцать часов труда. Договор скреплялся кровью людей. Заболевший сам искал помощи. На отвалах, в шахтах он, Инжеватов, проходил по следам этой человеческой крови. Нужно было на этой прошлой крови создать новый труд, новую жизнь; для этого пришел он сюда вместе с другими. Пока не найдет он того, что пришел искать в этих шахтах, в этих сложных породах земли, — он не может вернуться к себе, к своей жизни. Об этом тоже нужно было написать в письме к Дмитрию Шологову. Впрочем, можно и не писать ни о чем в письме, которое не будет отправлено. Он зажег свечу, разделся в сырой просторности комнаты, лег. Крысы шумели под полом. Ливень шел ровным нарастающим шумом. Он спал и помнил все как днем.

Два человека тоже спали и помнили. Ливнем затушило костер. Они прикрылись ветками, старым брезентом, спали в шалаше. Под ветром вздрагивал шалаш человеческой дрожью. Не открывая глаз, люди слушали, спали дальше. Шахта их снова заливалась водой. Шел третий месяц их труда здесь. Два дня назад в вывоченной наверх породе отобрал Андрюша Рыбак кусок коричневатого кварца. Это был фунтовый кусок коричневато-серебристого кварца, и в трещинках его, в белой кипени обмытого камня блестели мельчайшие золотишки, смуглые прожилки, словно был он источен червем. Золотишки и прожилки были—золото. Золото было в камне, золотая жила начиналась на третьей сажени, жила могла быть шириною в аршин, и тогда это великая добыча человека. Андрюша Рыбак оглядел камень, снял шляпу, перекрестился, сказал:

— Пришло.

Шаверда тоже снял шляпу, камень он держал на ладони.

— Открываться надо, дошли, — сказал Андрюша Рыбак снова. Лицо его было как бы простерто. — Поутру к инженеру пойду... чуешь золото?

— Чую.

— Вот оно, долго водило — пришло, — сказал Андрюша Рыбак. — Если верная жила, большое богатство лежит.

— Камню верить нельзя... обмануть может камень. Боковую породу надо узнать, — сказал Шаверда. — Инженер пробу сделает, скажет. Пускай народное будет... Финогенов по следу идет: были здесь люди, с востока шли, ветки обломаны. Заприметят, начнут шахту бить, отвалом завалят. Раньше старатель в землю лез, как в могилу... обманет земля, не даст золота — ложись, пропадай. Теперь инструменты дают, муку дают, может человек обернуться... век наш недолгий, золото будет — старательского труда до смерти нам хватит.

Люди кончили работу в восемь часов, работали с пяти утра — весь срок. За три месяца в первый раз пришла надежда, золото было в камне, на третьей сажени лежала жила. Люди развели костер, скипятили чайник, спекли на углях картошку. На рассвете уходил Андриюша Рыбак к инженеру открывать то, что берегли потаенно в тайге; над чем, может быть, бились деды, отцы, сородичи. В кармане его, в бумажке, чтобы не осыпались блески, лежал кусок кварца, добытый из глубины. Сырые сучья дымили, горький дым шел низом, люди глядели на огонь, на вишневое прогорание угольев. Людям было вместе полтора века почти. Сотую жилу искали они в земле, в сотый раз хранилось таинственно золото в добытом камне, в сотый раз могла уйти жила, заманив человека, чтобы обмануть его на глубине. Люди лежали, молчали, смотрели на огонь. Старательскими горячками прошла жизнь, другие ветры дули теперь над землей. Они легли в шалаш, укрылись под овчиной своих полушубков. В полночь небо разверзлось, хлынул ливень. Ливень залил костер, стал проникать в шалаш. Люди сгребли солому, забрались под прелые ее вороха и уснули. Тайга бушевала под ливнем. Ливнем заливало их труд, три сажени человеческого труда в земле. Ливень шумел всю ночь, к рассвету его пронесло. Над землей был туман, в тумане стояла тайга. Земля дымилась навстречу небу. Деревья пускали соки, в гиблых туманах рождалась жизнь. Люди проснулись с рассветом, ждали, когда разойдется туман. Когда туман посерел, Андриюша Рыбак надел сумку, подтянул сапоги, сказал:

— Гиблую елань залило, в обход теперь надо. Раньше вечера не дойду до конторы.

Шаверда ответил:

— Торопиться нужно... старатели место возьмут, потом не столкнешь человека.

Андриюша сказал:

— День будет — приведу инженера.

И он ушел. Шел он тайгою, лохмотьями отрывался туман, обвисая на сучьях. День восходил угрюмо. Надо было обойти болото за восемь верст. И вдруг там, за бескрайними десятинами тумана, хмуро, слепо, как бы не доверяя себе, возникло солнце. Все же шло оно кверху, простуженным утренним светом освещая ночное побоище, бурелом, топи, затопленные ливнем проселки. Первый солнечный день восходил над землей. Андриюша Рыбак пошел в обход болота, шел он по тропке, останавливался, поднимал сучья, выбирал дорогу. Знал он звериную тропу, как человеческую, шестьдесят два года всякими тропами ходил он по земле. В седьмом часу перед вечером пришел он к конторе. В конторе были штейгера, буровой мастер с «Шахты № 4». Старатели приходили часто; никто не спросил его, зачем он пришел. Он прошел к Инжеватову, прикрыл за собою двери. Инжеватов поглядел на человека, человек был в воде, лицо его было мокро, — сразу спросил:

— Что нашел?

Андрюша Рыбак сказал:

— Золото.

Он распоясался неторопливо, достал из кармана кусок кварца, протянул его инженеру. Инженер взял камень, он оглядел коричневатобелый этот кусок, приблизил к свету. Он долго изучал его и сказал вдруг:

— Разобьем?

Старатель ответил:

— Бей.

Инжеватов достал молоток, взял камень в руку, ударил по камню дважды. Камень раскололся на два куска. Инжеватов быстро поднес их к свету. Золотая прожилка проходила сквозь камень, точно источенная дорогой червя. Золотые блестки тускнели в глубине его стенок.

— Где нашел? — спросил Инжеватов еще.

Андрюша Рыбак ответил, было лицо его такое же, как ввечеру накануне, когда добыл он этот камень в породе, вывощенной из шахты наверх.

— Шахту бьем, — сказал он неспеша, — открываться пришел. Иди, володей, пока не явились старатели... найдешь — нас при жиле оставь, нам труда хватит. Сами не возьмем, бери ты... на разорение не дадим. Пушай народное будет.

— Где бьете? — спросил Инжеватов глухо; они стояли у окна, в синеве набухающих сумерек, открываясь друг другу.

— На Благословенной горе, — ответил Андрюша Рыбак.

— По плану разберешься?

— Сумею.

Инжеватов зажег свет, листы плана перекрыли чертежи на столе. Они нагнулись оба над планом, со старателя капала на пол вода.

— Место распознаешь? — сказал Инжеватов. — Вот Гиблая елань...

— Вижу.

— Вот старые шахты, лесок...

— Знаю.

— Куда брать?

— Бери на восток.

— Сколько верст?

— С версту, не больше.

Инжеватов взял циркуль.

— Постой... — сказал он вдруг, лицо его потемнело. — Между сосновым леском и полянкой, там, где рыли канавы? Да ведь это же я, брат... это место вот оно, мною отмечено... на восток лежит старая шахта?

Андрюша Рыбак смотрел на план, на плане были значки, он их не знал. Шахты он знал, знал тропы, знал признаки.

— Шахта не на восток, а на север, — сказал он вдруг, — полтора саженей к югу от шахты брать надо... вот где копаем.

Инжеватов смотрел на карту, на человека. Холодок сводил судорогой лоб, корни волос.

— Но ведь это же, слушай... неужели я так ошибся?..

Трижды, четырежды проходил он заколдованным кругом, на запад, на северо-запад от шахты... но если с севера на юго-запад проходили кварцлагом? Здесь, на юг, была именно та пустота, которую определил он по столетнему плану, в которую поверил, из-за которой бился, из-за которой три года под ряд знал унижительное бремя неудачничества... Почти неистово схватил он старателя за мокрые плечи. Он глядел в слабые, отвыкшие от света глаза.

— Ну, так ты же смотри, — сказал Андрияша Рыбак, — первому тебе мы открылись... с нами до краю иди, верю я, полвека меня золото водит. С нами начнешь, с нами кончай.

И Инжеватов ответил:

— Кончу.

Он хотел обнять человека. Человек думал о другом, в глазах его была забота. Радости не было. Больше было тревоги, сомнений, чем надежд. Теперь короткий значок можно было нанести на карту. Инжеватов взял перо, обмакнул в тушь, сделал пометку. Их труда ожидала добыча. Надо было начинать действовать, пускаться в поход. Он дал старателю сухую одежду, накормил, положил спать у себя, чтобы утром с ним вместе уйти на разведку.

## Х

Старатель брал хлеб, мазал его маслом, ел истово: отдых он заслужил. Потом устроился он в коридоре на лавке, сразу обрушился храпом на весь дом. Инжеватов слушал храп, смотрел на камень, золотоносными кусками лежавший у него на столе. То, что не нашел он расчетом, приборами, планами, нашел человек инстинктом, верой, упорством. Так было всегда: простые крестьяне, старатели, находили добычу, залежи, месторождения. На их крови создавались миллионы. Он вел буровые скважины на северо-запад от старых разработок, на запад, — надо было вести на юго-запад. Кто-то пятидесятилетье назад не дочертил эту карту, он шел воображаемым путем, непройденным прежним добытчиком, бурил скважины, заполнял компонентами золота ящики стола — пирит, медный блеск, свинцовый блеск были свалены в ящики... Теперь принес старатель кусок золотоносного кварца, который добыл в полтора саженях от места, где столько было поисков и безнадежных надежд. Инжеватов взял куски камня, спрятал в карман, вышел из дома. Теплый, полный испарений вечер был над приисковым селом. Он прошел по улице, гугниво по тракту заносилась гармоника; туман весны, благодатный туман, от которого соки



идут по деревьям, заполняя сады и деревенские улицы. Белые прекрасные озера лежали под мостом над засыпанной промытыми песками речугрой. Так пришел сквозь туман он к Колымову. Худая большеглазая жена, которую привез Колымов из Нерчинска и которая научилась молчать, потому что люди в тайге, на золоте, на приисках отвыкают говорить постепенно, налила ему чай. Инжеватов сказал:

— Никита Петрович, завтра возьму троих ребят, бурового мастера — пойду на разведки...

Он достал из кармана, положил на стол кварц. Колымов взял камень, поднес его к свету.

— Где нашел? — он спросил погоду.

— На Благословенной горе.

— Кто копал?

— Старики. Кажется мне, именно то, над чем бьюсь целый год. Колымов сказал:

— Золото возьмем — осраим управление... Проекта не утвердят, начнем сами шахту бить, от золота не откажутся. Пускай под суд отдают... за свое дело и под суд пойти можно.

Инжеватов сказал:

— Стариков при деле оставим... такой уговор.

Колымов встал, на спине его можно было бить камни.

— У стариков своя правда есть,—сказал он вдруг,—я со стариками в земле прошел... старики на золото не как хищники шли, находили—берегли от разорения. Были старики - староверы, золото для всеобщего счастья искали... я и таких знал.

Он подошел, положил Инжеватову на плечо пудовую руку.

— Нам с тобой вместе итди... ты наукой прошел, я — жизнью. Из земли на землю пришел... надо себя оправдывать. Золото, случается, пылью в песках лежит, а из пыли фунты намывают... главное—захотеть человеку не по золотинке себе тянуть, а в общее складывать. Большие дела на земле будут.

Он вышел с ним вместе. Сыро, но побежденно теснились туманы, чтобы подняться с рассветом, очистить землю, назначенную для весны.

— Так, смотри, брат, оправдывай,—сказал Колымов в туман.

Молочнее к ночи обвисало спустившееся на землю воздушное зыбкое селение. Инжеватов шел улицей, возбужденно хлюпала грязь, пахло все же весной, несмотря ни на что. Пятиглоточный храп старателя потрясал дом. В проекте, который готовился для управления, надо сделать добавки, изменить направление шахты, представить дополнительно данные. Если к югу проходит эта недаввавшаяся ему, столько раз обойденная жила, тогда сейчас же, как только утвердят его первый проект, он начнет бить здесь шахту, чтобы летом еще встретить, подсесть эту жилу. Он сложил планы, лег, мгновенно провалился в сон на сажени, в небытие.

Люди утром пошли пешком, на лошади позади везли на неделю припасов, инструменты, брезент для палатки. С лошадьё надо было идти далеким обходом, чтобы не увязнуть в болоте. Люди шли на добычу, это был золотоискательский путь, и для людей золото лежало в их жизнях, как труд, как вера и цель. Солнце шло над людьми, сдвигая туманы. После ливней, ветров, непогоды начиналась весна. Шаверда ждал людей. Весь день он вычерпывал воду из шахты. Шахтеры разгрузили подводу, ручным насосом начали откачку воды. Работали ночью при фонарях, в две смены. Люди разбили палатку, в палатке под брезентом было теплее, чем в шалаше под прелой соломой. Шаверда лег в палатку, уснул, пока жгли люди ночью костер, откачивали воду. К утру вода была откачена. Инжеватов и Андриуша Рыбак спустились в шахту. Старатели прошли три сажени, воротом в бадьях выволакивали породу наверх. Ствол был неровен, сверху осыпались камни. Инжеватов оглядел с фонарем стены, отбил кайлом кусок породы, поднес к фонарю. Такой же кусок кварца, который принес ему старатель вчера, но без проблеска жилок или золотой осыпи. Он решил углубить шахту сначала, достать еще породу, затем уже начать исследование боковых пород. Минералогический состав компонентов определял золото, все образцы в его ящике были отсюда, надо найти лишь направление жилы. Он выбрался из шахты, шахтеры спустились в нее вместе со старателями, принялись углублять. Инжеватов работал на вороте, помогая выволакивать породу. Он просматривал кварцы, знакомую коричневатость прослоек, недоступное человеческому глазу золото, еле видимый колючий блеск золотинок в золотоносных породах. Нужно раздробить сто пудов на бегунной фабрике, чтобы определить, сколько в них золота. Сейчас же приняться обследовать напластование боковых пород. Когда он определит, как идут боковые породы, он узнает направление жилы. В эти часы он снова познал горячку, какую знают старатели — искатели золота.

На другой день он начал исследовать боковые породы. Это было начало расчленения земли, определение колыбели золота. Листвиниты, метаморфические сланцы берегли жилу в недрах. По напластованию боковых пород определится направление жилы. Если жила идет с северо-востока на юго-запад, надо начать поверхностную разведку на ее простиране. Пять дней спустя рабочие начали рыть разведочные канавы с востока на запад. Разведочные канавы должны были прорезать наносные породы. Он вскрывал эту землю, из грубых, берегущих пород добывая потаенную жилу, недоступное, сокрытое от человека сокровище, за которым люди уходили поколениями в землю, знали горе, отчаянье, труд. Разведочными канавами проходили наносные породы: чернозем, глину, глинистый сланец... Обнажался профиль земли, геологический разрез этой насыпанной тысячелетием, вероятно, поверхности. Просыхала почва, весна стояла над людьми с их золотою горячкой. К концу второй недели Инжеватов определил про-

стирание жилы: она шла на шестьдесят пять саженей, и это была не одна жила, а свита жил. Он обнаружил три жилы, могло быть их и больше. Теперь надо было приступить к детальной разведке, начать бить шурфы. За эти ночи и дни он высох в работе. Дважды приезжал Колымов сюда. Сто пудов породы, добытые из старательской шахты, раздробили на бегунной фабрике, сто пудов дали шесть золотников золота на третьей сажени. Инжеватов знал, там, в управлении, Колтухов ответит, как отвечал ему дважды: для данного месторожденья такие жилы непостоянны, пускай идут копать старатели. Надо дополнительно представить проект разведки на глубокий горизонт. Днем он выезжал на работы, вечерами возвращался к себе, возбуждал себя табаком, десятками папирос, чтобы не уснуть от усталости. Надо было решить местоположение шахты, высчитать предположительно количество подпочвенных вод, определить по породам скорость углубки, характер крепления, сколько нужно поставить на шахту рабочих, сколько потратить энергии, каких это будет стоить средств. Он работал ночами, чтобы продолжить работу днем, и днями, чтобы протянуть ее в ночь.

Шахту пока углубляли двое старателей и трое рабочих, которых Колымов оставил им в помощь. Коридорами строились цифры, поглощая его. Он выбирался из них, план разведочных работ прочерчивался обозначениями шурфов и разрезов, местами выхода жилы кварца, местами взятия проб. В поперечном профиле разведок шурфов означались растительные слои, пластичные глины и разрушенная окристая головка жилы... Эти первоначальные чертежи надо было собрать, цифры должны быть сведены в итог, он должен твердо знать, как искать и что делать. Дни пожирали ночи, ночи—дни. Человек забывал о себе. В такой мере он узнал это впервые. Он был ловец, добытчик, нужно было уметь искать и биться. Эта поправка к проекту бесспорна, данные поразительны, мощность свиты им обнаруженных жил неоспорима. Старые инженеры, не верившие ему, поверят теперь. Впервые он знал усталость, более блаженную, чем отдых. Вместе с Колымовым они должны были отвезти проект в управление. Сто лет назад чья-то человеческая корыстная воля или человеческий недоумок обошли золотоносные недра. Понадобилось сто лет пытливости, старательских сил, завещавших поколениям место, чтобы не уходили сыны, годы его исканий, лихорадка его разведок, сотни дней будущего труда шахтеров, бурильщиков, старателей, штейгеров, чтобы добыть из земли это золото, обещавшее себя поколениям и так и не доставшееся им. Он составил проект, наконец, проверил себя, проверил цифры, высчитал снова труд, добычу, глубины. Еще через неделю, через две — можно начать ставить шахту. Он чувствовал возвращение к жизни, как тогда, в октябрьскую ночь, когда привел его Дмитрий Шологов в маленький профессорский дом на Пречистенке. Невозможно далеко было это сейчас, как бы отвалами тысячи шахт отделенное за все эти годы. И, вместе с тем, необыкновенно близ-

ко, необычайно стремительно, — вторая и всепоглощающая радость жизни.

Воды, пролитые тучами весны, просыхали. На земле был солнечный мир. Налившиеся силой деревья пускали первую мелкую, ядовитояркую зелень. На шайданских колеях опять бросало тележку. Тяжелым тупым жеребцом правил Колымов. Инжеватов сидел с ним плечо-плечо. В рыжем казенном портфеле, оставшемся от прежних дородных инженерских времен, он вез в управление проект. Сытые облака, отяжелевшие в неспешном весеннем блуждании, плыли, не заслоняя небес, синевы, глубин. Такие же облака плыли в озере. Необыкновенно можно было жить на земле.

## XI

За Кунгуром, за Пермью, за Вяткой опять начинались долины, тишина средней полосы, Московская Русь. Как бы водоразделом двух жизней остался Урал позади. Окружим соединительных веток выходил поезд на главный путь. Окружим соединительных веток, упорного труда, упорных надежд выходила на путь его, Дмитрия Шологова, судьба. В гимназии, с мальчишеских лет, он увлекся анархическим планом переустройства всей жизни, с анархистами прошел он весь путь—от Горного института, через войну, революцию, до московского разгрома на Поварской. Об этом пути он не жалел. У анархистов научился он действовать, в плане переустройства всей жизни лежала эпоха; здесь привыкли действовать через эпоху, во имя будущих, очищенных предыдущими поколениями, человеческих дней. Широкий разбег замыслов соприкоснулся с жизнью, требовавшей не мечтаний, а дел. Надо было себя перестраивать. Многие сорвались на этом, не соразмерили дыхания, привыкшего к разреженному воздуху вершин; на земле был воздух сгущеннее, земля пахла человеком. Он сумел себя перестроить, от прошлого осталась великолепность размаха, она оказалась нужна. Дмитрий Шологов вошел в жизнь, принял ее новые формы, стал ее строить. На Лене, на Алдане развертывались огромные мировые добычи, кустарный способ сменялся драгами, экскаваторами, калифорнийским размахом предприятий. Он был здесь на месте, знал свое дело, это был труд для страны, будущее страны, строительству которой он давно подчинил молодую мечту о безначальном устройении жизни. Теперь снова возникала Москва, город, которого в октябре он не предал,—в Москву приезжал он проездом, по пути на другой материк.

В вагоне-ресторане громадный буфетчик—исчадием буфетческих невероятных времен—разносил за обедом стопочки, водку. Никто не пил. Два японца в роговых круглых очках сконфузились, сказали:— Воткá?—заулыбались, принялись пить маленькими глоточками. Белки их глаз скоро покраснели. Поезд шел, проносился равниной, простором сожженного, заново возникшего из пепла Ярославля. Дмитрий

Шологов из Иркутска послал Инжеватову телеграмму не только потому, что хотел его видеть; было, конечно, и это, но было еще и другое. Давно, для себя, он многое решил в отношении близких—Наташи, отца. Людей возникало много, настоящий человек среди них был редок. Инжеватов был—человек. Еще в ту пору, когда шестнадцатилетней встречала Наташа жизнь, когда в провинциальном московском домишке выращивал ее для жизни отец, эта встреча ни для нее, ни для Инжеватова не прошла туманной памятью угрюмой исторической ночи. Судьбы сошлись, скрепились, разошлись. Высеклась искра, обуглившая многое в дальнейшем. Один ее мир—был мир науки, отца, его работы, лаборатории; другой мир — был по-девически затененный мир, который она не открывала ни для кого и который для него, Дмитрия Шологова, был до очевидности ясен. Есть чувства, поражающие навсегда; есть люди, умеющие отдавать себя одному чувству. Его целостной душе был близок целостный мир существа, названного его сестрой. Он дружески, верно любил Инжеватова. Далее все было просто, со своей обычной решительностью он хотел соединить концы. Умеющий рвать умеет и соединять. В эту силу в себе он верил.

Поезд шел Северным путем на Москву. В седьмом часу вечера потянулись подмосковные, еще заколоченные, пустующие дачи, скворешники на деревьях, малый мир дачных прибежищ, платформы, станцийки, мостки. Далеко, туманными шпилями, весенней голубоватостью возникла Москва. Синяя плотная туча, раскаленная по краю вольтовой дугой заходящего солнца, покоилась над городом, сползая, обнажая весеннюю, налитую синевую глянцеви́тость небес; купола, кубы домов, сияющие медью чердачные окна расплескивали пригоршнями обильные щедроты простора и света. Все-таки, несмотря ни на что, великолепную грусть, великолепную радость испытал Дмитрий Шологов в эти минуты своего возвращения в Москву.

На Каланчевской площади плотинами великих путей стояли вокзалы. Поезда, упершиеся с размаху в эти плотины, покорствуя стекали человеческими прибывшими толпами, выливающимися, как в огромную цистерну, на площадь. Казалось, напорам этих растекавшихся толп сдвигались автобусы, из челюсти извозчицкой биржи зубьями выдирались московские извозчики; трамваи, уже зажегшиеся гранатовыми, словно сигнальными огнями, солдатскими шеренгами проходили друг другу навстречу; своими астрономическими часами, созвездиями Скорпиона и Рака, желтушно светились часы Казанского вокзала; казенные фасады таможи, Октябрьского вокзала, просторы Сокольников с одной стороны, и с другой — виадук, нарядное здание чаеразвесочной и угрюмая прямолинейность ночлежного дома, за которым начиналась Москва,—московским своеобычием встречало все это вокзальную, отягощенную ношей толпу, пока медлительно, загроможденными багажом нелепейшими извозчиками, не поглощалась она виадуком и далее—Орликовым, Садовой, Мясницкой... В каретке такси, взлетающей

на московских оглушительных мостовых, возвращался Шологов в отцовский дом на Пречистенке. Отстроились за годы дома, снеслись кое-где церкви, посвежел, обновился старый город надежд. Машина, отстукивая по клавишам мостовых, легко снеслась вниз по Кузнецкому,—Кузнецкий был уже пустынен, как всегда в вечерние эти часы,—взревела первую скоростью, взбираясь Камергерским, пересекая Тверскую, и пошла шнырять Кисловскими переулками, устремляясь сквозь Арбатскую беспокойную площадь и знакомую тишину Пречистенского бульвара... Опять были Сивцев Вражек, Власьевский Малый, Большой, Успенье на-Могильцах, безлюдная не столичная тишина отживающих флигелей, мезонинчиков, и белый, заново за эти годы побеленный домишко с чьим-то сохранившимся гербом на фронтоне возник впереди...

Машина прошумела, дала обратный ход, унеслась. Знакомый провинциальный, тишайший, на мгновение омраченный посторонним принесшимся шумом, переулок. Шологов стоял у под'езда. Он был в переулке один. Далеко шел человек, хромая. Московский, год за годом поглощаемый мир. Он позвонил; минуту спустя стали спускаться по лестнице. Попрежнему скрипела она крашеными бронхитными ступеньками. Незнакомая немолодая прислуга прищурила дверь на цепи.

— Алексей Михайлович дома?—спросил он, охотно изображая постороннего.

Прислуга сказала недружественно:

— В институте.

Она хотела закрыть дверь.

— Погодите... а Наталья Сергеевна?

— В институте,—ответила прислуга так же,—раньше девяти не придут.

— Погодите... пустить-то меня все-таки можете.—Шологов улыбнулся.—Я—Дмитрий Алексеевич Шологов.

Прислуга ответила упрямо:

— Раньше девяти не вернутся... к девяти приходите.

— Да сын я... профессора сын, неужели не слышали?

Минуту спустя его впустили.

— Я ведь не знаю... много здесь разных ходят.

Он поднялся по лестнице. Тишина, московские сумерки. В его комнате часть отцовской библиотеки. Здесь проходила юность. Ему стало вдруг очень грустно и хорошо.

— Ну, что же, давайте умоюсь,—сказал он погодя.— И поесть не осталось ли чего?

— В девять придут, будут есть.

Прислуга расположена к нему не была. Все-таки московское уплотненное недоверие оставалось в ней к нему. Он сказал:

— Ну, подождем до девяти, если надо... А умыться все-таки дайте.

Так Дмитрий Шологов вернулся в свой дом.

В девять часов возвратилась Наташа. Прислуга, прежняя, недоверчивая Лизавета, сказала:

— Приехали тут... сыном себя называет. Я в кабинет двери прикрыла... придет каждый, мне отвечать.

— Митя приехал?

В пальто и шляпке Наташа побежала наверх. Дмитрий Шологов не видел ее четыре года. Она быстро и легко вошла в комнату, где он скучал на окне, втянутый непривычно в раздумье пречистенскими весенними сумерками. Она подошла к нему сзади, коснулась плеча, сказала:

— Митя, здравствуй...

Он быстро обернулся, соскочил с окна, они обнялись.

Это острое чувство, запавшее в детстве, осталось: худой, тринадцатилетний самолюбивый, горячий мальчик оглядел подстриженную в кружок, с удивленными и любопытными, чуть по-японски скошенными в устьях глазами, чужую восьмилетнюю девочку. Эту девочку привели в дом, чтобы она стала его сестрой. И первое чувство — было чувство обиды, вражды, самозащиты. В комнате матери стала жить чужая красивая женщина, с такими же внимательными живыми глазами, какие были у девочки. Это был второй брак отца. Матери Дмитрий Шологов не знал. Ему знакомо было самолюбивое мальчишеское одиночество, мужская дружба с отцом, пустые просторные дни в доме, книги отца, его наука, лаборатория, труд. Два новых существа пришли в дом, никто не посягал на него, в доме стало чище, уютливей; он смирялся. С девочкой дружить не годилось, он был всегда один, она смотрела на него спокойными, чуть удивленными в своей кукольной суженности глазами. Однажды она сказала:

— Давайте вместе читать. — Он подвинулся на диване, она села рядом, не смея облокотиться, положив на колени руки. Это была первая книга, которую прочли они вместе. Дружба началась. Детство протянулось в юность. Когда ей было двенадцать, ему — семнадцать, умерла ее мать, Вера Дмитриевна, вторая жена отца. Удар обрушился на дом, потряс его, все качнулось, сорвалось было с оси, но жизнь была сильнее, жизнь требовала, чтобы ее продолжали, и жизнь продолжилась. Существо, которое он встретил с недружеством, осталось без защиты на земле. Единственной привязанностью были они, их дом; она осталась в доме, стала его частью, стала частью его самого, Дмитрия Шологова. Над их юностью, дружбой — был отец. Дважды из аскетического круга науки делал он вылазки в жизнь, дважды жизнь обманула его. Теперь остались дети: горячий, размашистый, становящийся юношей — сын; девочка, напоминавшая мать, так кратковременно забредшую в его жизнь. В девочке было женское, привязчивость, ожидание по вечерам его возвращения, девчоночья влюбленность в человека, который стал для нее отцом. Она полюбила сложный мир его уединения, лабораторию, книги. Среди больших специальных книг

были книги, которые она могла читать. Она приучилась постепенно помогать ему в мелочах, нарезать для работы бумагу, подписывать этикетки на препаратах, возиться с морскими свинками, белыми крысами, над которыми делал он опыты. Таинственный мир открывался, увлек, из маленькой помощницы с годами она становилась спутницей; он дал ее образование, сначала обычное, потом медицинское. Ее оставили аспиранткой при нем, при его институте, где он директорствовал. Теперь был ее расцвет, утренний час жизни. Дмитрий Шологов смотрел на сестру.

— Ну, здравствуй, Наташка, — сказал он снова и потряс ей обе руки. — Предупреждать не хотел... так лучше, и прислуга меня вот пустить не хотела.

Она сбросила шляпу, пальто. Тем же кружком остриженные коричневатые волосы, те же глаза—удивительные все же, с таинственным блеском глаза, только в движениях, во всем — полнота жизни, близкая зрелость.

— Наверное, ты голоден, Митя... — Торопливо по-женски она собирала к столу. — Как же так все-таки, ни о чем не писал, и давно как... Алексей Михайлович счастлив будет.

— Я ведь проездом... еду в Америку, — сказал он улыбаясь.

Она поставила тарелки на стол, подошла, села рядом.

— Правда, Митя?

— Конечно... но я не надолго, на год, сестричка.

Какая-то грусть легко вдруг протаяла в ней.

— Алексей Михайлович о тебе часто думает... он в тебя верит.— Она прямо, глаза в глаза, посмотрела на него. — Он много работал всю зиму... летом хочет на месяц в Париж, обратно из Италии морем.

Она говорила серьезно, скупно, берегла его, как женщина—спутника, ученого, большого человека, создающего жизнь.

— Все-таки ты, Наташка... ах, черт, не скажешь! — и Дмитрий взял ее за руку и не отпустил руки. — Жизнь все мы делаем... вот что! Каждый по-своему... и отец, и ты, и я. Мы вот американский размах на приисках заводим, драги, экскаваторы... там, где люди мозолями землю мотыжили. У нас Калифорния, друг, страну делаем заново. Великолепные проекты, великолепное будущее... за лесами, конечно, не видно. На лесах обольют штукатуркой, ногу на гвоздь напорешь, кирпич тебе голову разобьет... не без этого. Грязно, тесно, дико, конечно. А все-таки и сверху, с лесов, оглядеть мир прекрасно... У нас интеллигенцией называть привыкли трухлявинку... новая интеллигенция, Наташа, по-новому жизнь строит. Это трудовая верная сила... герои есть среди нее, изобретатели, им верить можно!

Он повернул вдруг ее руку, поцеловал в ладонь. Это были — дом, стены, между которых он вырос, окна, знавшие мальчишеские его мечтания на подоконниках.

— И еще, Наташка... я вот уеду в Америку, хочется мне сказать. Я проездом Инжеватова видел, назначил ему встречу на вокзале... вот



тоже—человек! И вот надумалось мне... я—на отлете, может быть, и жемчужность... человеческие пути неизбежны. А дом вот этот, жизнь в нем... вашу жизнь, твою жизнь, Наташка, цементировать надо... наука наукой, а человек человеком. Так вот, Инжеватов и ты, ведь у вас это друг к другу еще с тех, с октябрьских московских времен...

Она глядела мимо, рука ее была в его руке, маятник часов очень медленно, как рыба в аквариуме, плыл за стеклом взад-вперед. Кружок подстриженных волос вдруг встряхнулся.

— Давай ужинать, Митя... Алексей Михайлович вернется — будет пить с нами чай.

Он отпустил ее руку.

— Ну, что же... я подожду, когда сама возвратишься ты к этому. А возвратиться придется, Наташа.

Лизавета, уже примиренная с его чужеродным вторжением, несла самовар. Все было московское — чай, сумерки за окном. Минутное это, возникшее в тишине, в пристальности первой их встречи, исчезло. Они были снова за одним столом, девичья рука наливала из чайника чай. Он намазал хлеб, откусил и сказал ей с набитым ртом:

— А теперь о себе... говорят, ты совсем вошла в отцовскую науку, аспиранткой в институте осталась, белым крысам головы пересаживаешь?

Коричневый крепкий чай лился из носика чайника. Глаза улыбались ему, прелестная знакомая улыбка, отодвигавшая родинку на щеке, открывавшая зубы. И по поразительной этой несхожести вспомнил он вдруг: паузки на Лене, мокрые берега, первобытную пустыню, куда приходил человек, чтобы найти в песках, в земле золото. Так было это далеко в эту минуту, и в этом была его жизнь и жизнь человека, друга, который до сих пор тщетно бился в земле, отыскивая свою золотonosную жилу.

— Все-таки велел мне сказать Инжеватов, — сказал он внезапно, — чтобы время не обворовало его... первый вор — время.

Она подвинула чашку с чаем, белой старательной рукой намазывала она теперь хлеб для него.

— Может быть, в том-то и дело, что я по-особому сделана, Митя, — ответила она погодя, — и не умею забывать...

Впрочем, сказала она это все как бы мельком. Они пили чай. Стеклянно подтаивал сахар, ложечка неторопливым челноком крутилась в стакане. Наташа вдруг быстро отодвинула стул и ушла. Он глядел на стакан, в прозрачную желтизну, помешивал сахар. Минуту спустя она вернулась.

— Я сказала Лизавете, чтобы подбросила углей...

Он заметил легкий свежий след пудры на ее ноздрях. «Наташка... девчонка... милая» — сказал он себе.

Опять они молча мешали чай, сахар в стаканах развалился на части. Внезапно она прислушалась, внизу что-то хрустнуло, хлопнула дверь.

— Алексей Михайлович, — сказала она просветленно.

Они оба поднялись и быстро устремились навстречу: все же Дмитрий Шологов заметил, что она опережает его. И еще на площадке — в шляпе, в осеннем пальто — он обнял отца.

## XII

В своем кабинете, в стеклянном мире своих препаратов, лаборатории, опытов над добросовестно преданными науке изжелта-белыми, исчерна-желтыми грызунами, белыми розовохвостыми крысами, с красными ртутными глазами альбиносов, во всем этом устойчивом мире—Алексей Михайлович Шологов от'единялся от людей, от торопливого человечества. В своем институте, в блистательно-простертых палатах, с десятками людей, ожидающих хирургического вмешательства в их жизнь, его знаний и опытов, которыми стремился он исправлять, совершенствовать непрочное биологическое создание человека, — здесь открывался он людям, вынося сюда то, что испробовал, что изучил, к чему пришел в лаборатории. На помощь руке хирурга приходило познание сложных процессов видоизменения пород и особей, внедрение в организм новых клеток, сложная наука о гормонах, о внутренней секреции человеческого существа. Здесь были — теории, догадки, первые шаги познания, зобастые кролики, удаленные, привитые железы грызунам. Там — была безошибочная рука хирурга, расчленение человека, распластанного на столе, вручавшего ему свою жизнь и доверие человеческих лучших надежд. Опыты давали уверенность руке хирурга, рука хирурга претворяла опыты в жизнь. В этом мире он жил.

И сейчас, после полуночи, в его большом кабинете было больше всего этой от'единенности, углубленного бодрствования человека, когда о самом большом говорить можно проще и глубже для себя... Дмитрий Шологов сидел у стола, в его кресле, отец — в углу на диване. Четыре года разлуки, четыре года труда. В ночные часы можно рассказать себя. Большая сторожкая тишина в доме, провинциальный старческий сон вздрагивающих поскрипыванием, треском половиц. Они были вдвоем, давно Наташа ушла к себе в комнату.

— Я жизнь учился делать на человеческом материале, Митя, — сказал Шологов; он прятал руки в рукава полосатенькой легкой пижамки; в доме было еще по-весеннему холодновато. — Отсюда у меня бережливость к человеку и точность... здесь не должно быть ошибки. Страдающий человек всегда одинаков, во все эпохи... и еще, мой друг, у нас задача — общечеловеческая, гуманитарная: облегчать страдания, удалять болезненные явления, прививать человеку новые клетки для обновления истощенного организма... это обновление ткани всей жизни.

— Но ведь ты революцию принял не только потому, что все равно тебе было, кого исцелять, — сказал Дмитрий Шологов, — и —

подожди... я скажу до конца. Дело не в исцелении, это подробности... а дело в том, что в каждом поколении есть люди первых рядов. Так вот ты для своего поколения — человек такого же первого ряда. Когда другие сумели только возненавидеть, ты захотел понять... и ты все сумел понять и ничего не возненавидеть. Я вот на Лене на приисках бился, вековое невежество, вековую дикость видел, и все-таки в каждой крупинке добытого золота — будущее, целая страна, если уметь из одного явления делать выводы и раздвигать горизонты. Я ученое филистерство еще юношей ненавидел, прикрываться одной наукой — без горизонтов, без широких человеческих обобщений — недобросовестно, подло, по-моему... то же хищничество, что и на золоте. А я видел много больших настоящих людей, которые свою науку в широком человеческом размахе строят... Перед этими людьми я преклоняюсь, для них никогда не была наука заборчиком, за которым можно разводить научный свой огороδικ!

Дмитрий тыкал папироску в пепельницу. Отец умерял себя всегда в его понимании, он хотел казаться солдатом; молодые хирурги, которые окружали его, считали его вожатым. От водительства он укрывался, выдвигая других, молодых, руководя, направляя. Наука, труд требовали пристальных, не высокомерных, не самообольщающих сил. Наука совершенствовалась, перерастала скромный человеческий опыт, она требовала всегда ученичества. Не все опыты оправдывались до конца. Не все гипотезы получали подтверждение в жизни. Материала, непознанных залежей было больше, чем сил. Это был обычный их спор: сына, доказывавшего ему его водительство; его—доказывавшего сыну, что водительству прежде всего должны сопутствовать ограничительные меры собственной оценки, строгий учет своих умеренных сил.

— Ну, да это ты постой... — сказал он, улыбаясь. — Дело не во мне... а вот как же это ты — так прямо в Америку?

Он сбил его с мысли. Дмитрий Шологов хотел продолжить и забыл. Он заговорил о поездке. Жизнь надо делать по-новому. На столетние хищнические разработки, по следам скупщиков, спиртоносов, искателей золота — впервые организованно, добычливо пришел человек. На Алдане, на Лене, в Олекме было золото. Ежегодная добыча дражного золота должна неуклонно расти. Семифутовая драга новозеландского типа, впервые примененная в прошлом году, дала за двенадцать месяцев около двадцати трех тысяч долларов дохода американцам. Безубыточное действие драги обеспечивается содержанием даже одной доли золота в ста пудах, в то время как два года назад намывали ручным способом до восьми, до десяти золотников со ста пудов, и эти десять золотников давали убыток.

Он увлекся темой своей жизни. Шологов слушал его. Ночные часы проходили над ними в его кабинете. Он слушал его, и он слушал еще—привычно, обостренным слухом—шаги в комнате позади столовой... Наташа еще не спала. Он слушал сына и слушал шаги. Чувства,

мысли его двоились. Был утомительный день, большая операция утром, огромная послеродовая опухоль в паху женщины. Оттиск его труда о гормонах имел успех в Австрии, его приглашали в Вену, в университет, читать лекции. Все это были его труд и его будни. Тридцать лет назад он встретил девушку, тихое простое существо, с которым начал он жизнь. Тогда были бедность, студенческая пора, далекие надежды. Они вдвоем устойчиво переносили маленькие невзгоды маленькой жизни. Год спустя она умерла от родов, оставив ему сына Дмитрия. Он ушел в науку, старая бездетная тетка помогала ему воспитывать сына; сын рос, он—Алексей Шологов —написал две работы, работы имели успех; удачливость хирурга сопровождала его. Удача приносила известность, известность—достаток. В маленьком домишке на Пречистенке собирались превосходные люди, многие из них впоследствии стали большими делателями страны. Он никогда не уходил в профессорскую, ограниченную наукой среду. Ему были не менее нужны люди других профессий, другого порядка; они дополняли для него многое в широком разбеге жизни. Уже 35-ти лет,—прославленным хирургом, ученым,—он встретил вновь в своей жизни женщину. До этого казалось ему, что его личная жизнь притушена. Как всегда в зрелую пору,—чувства были острее, ощущения глубже. У женщины была дочь, девочка восьми лет; сыну его было тринадцать. Он знал, что женщина принесет новый мир в его дом, обуздает, быть может, мальчишеские неистовства сына, которому узнать не пришлось самого главного в жизни—женской руководящей силы. Люди сошлись, соединили судьбы; сыну была дана сестра. Новое тепло наполнило дом. Он не ошибся, разгадывая глаза женщины. Это были лучшие глаза, какие когда-либо за эти годы он видел. Первую вражду мальчика смягчали превосходною силой внимания, участливого невмешательства в его жизнь. Средостение было разбито; девочка вошла в дом, сдружилась, стала своим существом. Душевный его мир вторично наполнился; жажда труда в нем была ненасытима. Четыре года спустя потерял он вторую жену. Была война, воюющая, развороченная, сдвинутая со своих основ столица. Из военного госпиталя, где он работал, он принес в дом дифтерит. В хирургическом отделении не было заразных; заразу он все же принес. Заражались обыкновенно первыми дети, в этот раз заразилась жена. Жизнь перестраивала все по-своему. Во взрослые годы детские болезни переносятся вдвое труднее, часто бывают смертельны. Не выдержало сердце жены. Удар был оглушительен, невероятен. Покачнувшаяся жизнь должна была сорваться с оси. Остались дети—теперь двойная ответственность, осталась его наука; остался жить и он. Время замает метелицей, умеет выращивать травы на прошлом. Так было и в этот раз. Он остался жить,—следовательно, нужно было работать, нужно было делать жизнь. Он работал, делал жизнь. Выросл сын, иные ветры звали его на простор. Росла тихая, ставшая необходимой, привязавшейся своей одиночеством, детским сердцем—девочка Наташа. Будущие инстинкты женщины

приносила она в его жизнь—домашливость, бережливую чистоту, привязанность одинокого сердца. То, что стало привычкой, становилось необходимостью. Его опустевший дом берегли теперь новые лары. Он стал вводить ее постепенно в круг своих понятий, в свой мир. Брэм и начатки биологии, устройство человека, устройство мира. Он нашел в ней жадного, всепоглощающего слушателя, горячего читателя книг. Он стремился расширить ее будущий мир, вместе с образованием общим приучал он ее постепенно к начаткам широких знаний. Способная ученица росла; детство кончалось; началась юность. Сходила угловатость, обреталась бессознательная, неискушенная женственность. Революция, годы голода, великих разлучений еще более приблизили ее, единственное существо, оставшееся в его доме. Смутно и терзающе она походила на мать. Сын отлетел. Институт, планы будущего инженера, революция, военная служба—все это пересекло его жизнь, как и жизнь всех молодых людей. Такова участь отцов. Такова судьба сыновей. Жизнь начала строиться заново, в эти годы устройства он провел Наташу по руслу экзаменационной страды, и студенческие дни сменили для нее тишину московского домика. Теперь она шла его путем,—в кругу его понятий и знаний; из ученицы она становилась помощницей. Помощницу оставили аспиранткой при его институте. Годы шли. Он старался не думать о том, что становилось все неизбежнее: о ее личной жизни. Она тоже на отлете из дома, так же, как отлетел и сын. Гнезда пустуют по осени. Птичьи перелеты—великолепное напоминание этого круговорота времен.

Он слушал сына и слушал шаги в ее комнате. Почему она так поздно не спит? Дмитрий взял уже жизнь в руки, обминает ее, как искусный добытчик, едет в Америку, вернется на свой труд, знает, что ищет. Что знает она? Какие испытания положены ей в этом начале жизни? Впервые ветер весны бушевал не только за окнами, но и в его большом, отъединенном от мира кабинете. Табачный дым десятка папирос был сиз и неспешен.

— Не пора ли спать, Митяй? С дороги ты, наверное, устал... договорим еще за эти дни.

Он пошел его проводить. Постель постелена в его, Дмитрия, комнате. Заботливая рука взбила подушку. Отцовские книги, все те же обои в синеватых полосках. И из окна тот же церковный пустырь, на котором паслись в голодные годы козы. Он остался один. Рукава ночной его рубахи сложены были старательно. «Ах, Наташка... но все же об Инжеватове мы поговорим!..».—Он стал раздеваться, лег, взял с полки книгу, чтобы перелистать перед сном, но усталость одолела его; он уснул. Шологов подошел к двери сына, затем к двери дочери. Была тишина. Он вернулся в кабинет, открыл форточку, табачный дым косами устремлялся кверху. Был рассвет, голубая весна, пречистенское тихое утро. Первые воробьи плакали безостановочно, перекликаясь. Шологов все стоял у окна.

— Ну, что же,—сказал себе он затем,—птицы знают, когда начинать им утро.

Он прикрыл форточку, задернул занавески и старчески-скрипучими, впечатлительными половицами прошел неспеша к себе.

### ХІІІ

В девять утра, как обычно, пришел ассистент, доктор Егоров. Доклад о состоянии больных, текущие дела института. В половине десятого первая операция: несложный случай резекции коленного сустава: больной—рабочий-металлист, травма от удара молотком по колену; в двенадцать—вторая операция: случай тяжелый, внутрибрюшинное сращение после операции язвы желудка, есть указания на раковое перерождение язвы,—пожилая женщина, учительница низшей школы. Ряд операций мелких—помощниками с ассистирующими студентами-практикантами. Обычные хирургические деловые будни. Люди приходили с болезнями, опухолями, сращениями; нож, рука человека давно привыкли копошиться в их человеческих недрах, срывать ненужное, сшивать необходимое. На десятки обыденных непримечательных случаев приходился один—необыкновенный, отмечаемый в истории науки, чтобы так же войти в ее будни, стать через пятилетие рядовым непримечательным случаем. Так создавалась, двигалась, совершенствовалась наука. В лаборатории на кроликах, на морских свинках, на крысах, на обезьянах делались новые опыты, чтобы быть перенесенными затем на человека. Таинственная эманация внутренних желез, видоизменяющих существо человека, генетика—влияние на происхождение видов, сложный биологический мир, распознавания которого ждет страдающее человечество. В науку приходили ее передовые, великолепные люди, чтобы личным опытом, познанием двигать перед собою десятилетия. Имена Вассермана и Коха, Пастера и Ру, русских—Пирогова и Боткина, Захарьина, Мечникова—прекрасные имена следопытов, натуралистов медицины, знавших не один кабинетный свой мир, а широкие пути к человечеству... Человеческому организму даны непомерные запасы, отдельные частицы обладают в нем великолепной живучестью и способностью к приспособлению, к жизни. Одно существо может дополнять организм другого своими запасами крови, гормонов, желез. Опыты переливания человеческой крови давали превосходные результаты. Подбор пород, индивидов, особей—в этом предусмотренном и запасливом мире, который только начинает распознавать человек.

После операций обход больных с ассистентами, со студентами, проходящими здесь школу жизни. Пронизанные словно стерильным, прокипяченным в высоких окнах светом весны белые палаты, знакомая крутая белизна халатов, косынок и колпаков, шествие этими палатами и темные взгляды страданий и надежд. Прощупывание опухо-

лей, осмотр ран, швов, назначение новых операций. После обеда получасовой отдых; затем дела института, корреспонденция — связь со всем миром, проспекты медицинских фирм, бюллетени иностранных клиник; корректура статей, присланная из медицинских журналов; затем работа в лаборатории. Он приходил сюда в пятом часу. Тот же мир операций, крохотных микроскопических операций над существами, знающими тоже страдания, болезни, калечения. Пересаженные отдельные органы прививались, железы начинали работу, видоизменяли организм; облезлые крысы обрастали шерстью, кролик с вырезанной щитовидной железой хирел; сердце курицы в физиологическом растворе продолжало сокращаться и действовать на семнадцатый день. В лаборатории из частей можно было создавать новое существо, одаренное мышлением, способное к размножению. Он шел в лабораторию с полным ощущением жизни. И еще—этот мир опытов и пытливости освещало существо, которое стало ему дочерью. Наташа работала с ним; ловкими проворными руками, которые приучил он уже к обращению с ножом, с хирургической иглой, с препаратами—она продолжала без него его труд. Работала здесь еще худая, некрасивая девушка, дочь профессора Грече. Так повелось в их научном мире: дети шли теми же путями, что и отцы; иногда, впрочем, находили они и свою дорогу: так было с Дмитрием. Работу в лаборатории Наташа кончала к восьми; он задерживался дольше, иногда консультации, заседания по делам института скрадывали его вечера. Он привык находить здесь Наташу, знал знакомый наклон ее головы, белую косынку, белый халат; осторожную решительность, с какой она расправлялась со всеми этими беззащитными, затихающими в ее руках зверками; ее жалость к ним; большие способности, увлечение этим познаваемым и расчленяемым миром живых существ. Если она запаздывала на минуту, у него падало настроение, он начинал без нее работу, работа не увлекала его. Когда они работали вместе, все шло хорошо. Он стал ее отцом, становился собратом, труд их был общий. Привычка переходила в привязанность. Привязанность становилась частью жизни. В доме его недоставало тепла, владычества женщины. Она принесла тепло, молодой женственностью наполнила дом.

Уже давно, для самого себя ужасающе, непонятно и невозможно, он ощутил в себе чувства, о которых даже себе самому никогда не сказал; если бы даже сказал, все равно бы—отрекся от них. Она стала ему нужна. Она в затихающий его пятидесятилетний мир принесла такую забытую свежесть, такую память о чувствах, которые знал он однажды, в студенческую пору весны, в голодную счастливую молодость, когда простая и тихая девушка на один только год вошла в его жизнь. Девушки этой не стало, — остался Дмитрий, сын. Вторая жена принесла в дом его зрелость, мудрые дары узнавшей жизнь, чувства, людей—женщины. Это было очень полно, очень тонко, очень насыщено. Она приручила сына, подчинила себе, своему влиянию. Люди собирались по вечерам в его доме, она умела располагать к себе людей, превосходная спут-

ница его жизни. Ветер судьбы снова опустошил его дом. В третий раз строить сначала—невозможно; для этого нужна незатуманенность чувств. У него ее не было; наука заслоняла жизнь. Он пустил свою жизнь по этому кругу. Научная работа, институт, командировки за границу, доклады. В доме выросло существо, походившее на мать, на женщину, которую он любил, которая любила его. Это существо из девочки стало подростком, из подростка девушкой. Многие студенты, его помощники — молодые врачи — становились задумчивы, глядя на нее. Она никому не отдавала предпочтения; была по-товарищески равна, в меру весела, в меру беспечна. Привычка к совместному их труду тоже становилась для нее необходимостью. Его жизнь сплеталась с ее жизнью. Через полгода, через год придет похититель, ровная прелесть ее улыбки изменится, суженные в устьях милые глаза узнают иной взгляд на вещи, на жизнь, на свою судьбу. И тогда же он понял, что ужасается этому. Это будет последнее непоправимое похищение из его жизни. Труд его великолепно был полон этой непознаваемой близостью. Течение жизни знало свои милые, по-новому удивительные берега. Конечно, не чувство. В его годы, в его положении водителя, отца—это невозможно. Привязанность? Но люди свыкаются с утратами. Обольщение в его одинокости? У него есть полный свой мир. Нужно было договаривать. Этого он не мог, не хотел и не смел. Жизнь шла; она наполнилась для него постепенно мучительством, невероятным раздвоением, которого никогда он не знал. Задавленная сила ждала, когда он откроется. Доверчивость глаз Наташи была для него невозможной. Лучше бы она не верила, все поняла, сразу от него отдалилась. Но если он ожидает этого,—значит, чувство? Кто знает эту неощутимую загадочную черту в существе человека, которая отделяет привязанность от чувства, привычку от необходимости, самовнушение от полного жадного ветра жизни? Он знал, что Инжеватов оставил в ней след; но это было далеко, многие дни замети следы этой встречи, московской октябрьской ночи, молодых встревоженных сил. Больше не было никого. Он искал и не находил. Тишина ее была незатуманенной; мир ее казался ему понятным до конца. И все же он ничего не мог забыть и все помнил.

Он вошел в лабораторию, надел халат. Девушки работали у больших, широко наполненных весною окон. Наташа улыбнулась ему, улыбнулась худая, некрасивая Верочка Греве.

— Достаньте-ка Дору, посмотрим, как она себя чувствует,—сказал он весело.

Дора была белая старая крыса, которой привили часть щитовидной железы. Наташа открыла клетку, просунула руку. Крыса понюхала руку, взобралась по ней неспеша на плечо. Подвижной розовый нос обнюхивал путь. Шологов взял крысу, опрокинул на спину, она засучила старческими розоватыми лапками. Ранка в паху зажила. На проплешинках на животе проросстал пух новой шерсти. Крыса, обыкновенно мрачная, малоподвижная, торопливо снова всползла на плечо



Наташи. Это был хороший признак. Он осмотрел еще кролика, которому к ампутированной лапке приращивал он кусок посторонней кости; кость срачивалась, кролик домовито трудился над капустным листом. Шологов сказал:

— Сегодня кончим пораньше... я обещал Мите быть дома к семи.

Она улыбнулась одними своими, вдруг остро всколыхнувшими его знакомой живою прелестью—глазами.

— Я заказала Лизавете необыкновенный обед... надо купить по дороге вина, Митя любит.

Он наклонился над ней. Она окрашивала препарат соединительной ткани. Знакомый теплый запах волос из-под косынки, как запах милых птиц.

Он сказал:

— Окрашивать надо «шарляком-рот».

Плечо к плечу, тихая близость легкого овала с пушком, подвижной милый рот с приподнятой по-детски губой, когда озабочена. Он все стоял, наклонившись над ней; прядка выбившихся из-под косынки волос щекотала его щеку.

Греве спросила вдруг:

— Алексей Михайлович, почечные срезы окрашивать?

Он ответил машинально:

— Конечно...

Остановившийся на мгновение мир тронулся дальше. Он подошел к ее столу, стал смотреть на свет препараты, засиненные между склеенных стекол. Поверх препаратов в окне широко лежали Замоскворечье, крыши, чьи-то голуби в небе, весна. В лаборатории была тишина, похрустывали грызуны в клетках, иногда по-детски вскрикивали морские свинки. Зима кончилась, кончалась весна. Летом роспуск больных, большой ремонт, двухмесячная поездка в Париж, обратно из Италии морем,—как он задумал. И еще: взять с собою Наташу—показать ей Европу, мир—своим вдумчивым спутником, юным натуралистом по великим следам мировой науки, мировых имен, мировых достижений... В пятьдесят один год можно знать свое, по-особому полное чувство жизни. Он работал один в эти предвечерние большие часы. Девушки ушли, тишина сдвинулась. Грызуны грызли капустные листья, они были тоже участники, превосходно хрустели кочерыжки на передних их длинных зубах.

#### XIV

История ее жизни была коротка; мир—немногочисленный, по-девически сложный, по-девически прикрытый мир. Не было матери, не было женщины старше ее, с которой делишь первые смутные впечатления жизни. Дружба, привязанность к человеку, ставшему ее первым водителем, выравнялись, наполнили жизнь. Бессознательные чувства юности давно заменились предощущением зрелости. На нее часто смотрели, она знала взгляды, иногда отвечала. В театре, в концерте,

когда бывала она вместе с Шологовым, их узнавали; они были—не-старый отец, взрослая дочь. Ее часто провожали до дома студенты, она нравилась многим, ей нравились многие: в человеческую меру, не больше; никто не встревожил ее. В глубинах, очень спокойно, верно—лежала необыкновенная память. Первый человек пришел в ее юность, всколыхнул ее, остался в ней. Дни, которые прожил Инжеватов в их доме, запали. Время не стерло их, только смягчило необычностью, грустью. Вероятно, девическому, полудетскому одиночеству нужна была большая мечта. В хлестаемую тревожную ночь в дом их ворвались два человека: один был Дмитрий, брат; другой был его товарищ, друг, крещеный вместе с ним одной верой. На мокрых солдатских шинелях они принесли ночную романтику тревоги. В отрочестве это западает сильнее всего. У человека были темные глаза, сдержанная улыбка умного рта, большие сильные руки. Торопливое доверие, тревога, томительность дней и ночей, вынужденная недельная остановка в стремительном разбеге—для него. Из Томска, из института он написал ей письмо, она ответила. Год спустя была отрезана Сибирь, отрезан был он. После двух лет она опять получила письмо—уже с приисков; она ответила снова. Потом приехал он сам, по делам, на неделю. Он пришел к ней просто, днем, в воскресные пустые часы. Шологов был в институте; она приняла его, как хозяйка. Он сказал:

— Вот я опять в вашем доме, вы изменились необыкновенно. Неужели от той девочки ничего не осталось?

Она поглядела на него, ответила просто:

— Нет, все осталось.

Они больше ничего не сказали друг другу, говорить было незачем. Дальние годы смыкались снова—теперь уже требовательно, более сокрушительно, более настойчиво. Четыре года затем был Инжеватов на приисках; за эти годы окончила она университет, была оставлена аспиранткой при институте. Теперь Дмитрий привез с собой снова часть этой невозможной тревоги.

Когда-то давно, еще в детстве, Шологов открыл для нее мир земного устройства. Земли, люди, народы. У каждого народа были свои вожди, свои великие люди. Она читала в книгах описания жизни великих людей, великолепные пути героических дел, полярных путешествий, экспедиций в неисследованные страны и области. Эти люди пленяли ее. Мужчины свободны, они сами выбирают пути, верны своим внутренним зовам. Ей оставалось мечтать о доле своего участия в большой и победительной жизни. Нужен был труд, она нашла свой труд. Стране нужны были люди,—она хотела стать человеком, нужным стране. Так постепенно образовывался ее мир. Кора на нем еще не затвердела, это была еще плавящаяся планета. Но ось была найдена, жизнь обретала свой размах, пути своего прохождения. За все эти дни, что был Дмитрий в Москве, за дни его беготни, предот'ездных хлопот им не пришлось повторить начатого в первый день разговора. Теперь красный паспорт лежал в его кармане, в кармане лежала шифскарта,

он улетал через день в Кенигсберг, из Кенигсберга в Шербург, из Шербурга—пароходом в Америку. В этот день накануне от'езда она не пошла в институт. Шологов хотел вернуться раньше, обед был заказан к семи. Лизавета, не приветившая гостя сначала, заобожала его. Он любил пельмени, он с'едал их сто штук,—в Сибири едят их помногу,—она трудилась весь день над пельменями. Дмитрий вернулся в четыре, все было сделано, последний день хотел провести он дома; на рассвете, в пятом часу, за ним должна была приехать машина, чтобы увезти на аэродром. Он притащил конфет и цветов.

— Инженер кутит... держи, Наташка. Жениховский букет.

Она стояла с этим необ'ятным букетом растерянно.

— Ну, ставь в воду, чудак, и садись-ка сюда... я нарочно пораньше, чтобы договориться.

Она поставила в воду цветы.

— Зачем ты тратишь, Митя?

— Старательская удача... старательский фарт. Старатель всегда гуляет, когда ему фартит.

С цветами в жилище вошли грусть и весна.

— Слушай, Наташка, давай откровенничать... окна открой, здесь в переулке хорошо слышно, как шумит город.

Она открыла окна; в переулке, в церковном саду тучно распу-скались тополя. И они сели друг подле друга на том же диванчике, на котором они уже сидели в первый день его приезда в Москву, начав сорвавшийся тогда разговор, что ныне предстояло закончить.

— Завтра я уезжаю в Америку,—сказал Дмитрий погода,—улетаю в Германию, через три дня сяду в Шербурге на пароход. Планы у меня такие: сначала Нью-Йорк, потом Чили, южная Америка, практическое изучение работ на золотых приисках. На все это уйдет год, может быть, больше. Многое нужно изучить, многое позаимствовать, многое постараться привить у нас... у нас ведь кустарничество, ручную до сих пор часто. Ну, да дело не в этом... главное—вот что хотел я сказать. Все эти годы были годами разлучения... ломались дружбы между людьми, люди друг к другу относились недоверчиво, жизнь не располагала к доверию. То, что утрачивалось,—не восстанавливалось; то, что приобреталось,—врезывалось на всю жизнь... я ведь все к тому же клоню разговор. Я не хочу, чтобы выпал Инжеватов из нашей орбиты... Наташка, ты верь, я земные якоря сам ненавижу. Здесь дело глубже, не об устройении жизни я говорю. Но есть у тебя, есть у него упорство в жизни... соедините два таких упорства—замечательные дела можно делать. Дела стране нужны... для дел непочатый край. Я ничего не ускоряю и никого не тороплю. Демид сказал: прежде, чем своего не найдет, не добьется,—он не придет... я только к тому весь этот разговор, чтобы время не смыло. Старые эфеля надо размывать водой, когда хочешь их пустить в обработку... это у нас—в золотом деле. Так же и в жизни: чтобы отложилось золото, надо хорошо сполоснуть человеческую память.

Она ничего не ответила. Он замолчал.

— Так как же, Наташка... есть для Демида причал или нет?

Она сказала:

— Пусть находит свое, я буду искать свое.

— А время, а люди? Старателей много на свете, захватит тебя такой один...

Она ответила спокойно:

— Изменять другим просто... изменять себе—труднее, Митя.

Он восхитился вдруг ее простоте, этому их разговору, памятью о друге, которого в очень плохих душевных чувствах встретил он на пути.

— Ну, я так и напишу Демиду, именно это,—сказал он восторженно.—Чудеса, брат, жизнь... превосходная, великолепная сила! Человечки огорчаются от своих малых дел, а жизнь валит, скопом берет, как танк. Наташка, выпьем вина, превосходно ведь, что можно так, с двух слов, понять друг друга.

Он сбегал на кухню, сам открыл бутылку, принес стаканы.

— Ну, за твою поездку, Митя.—Наташа поглядела на него уже грустя.

— За твою жизнь, вернее... за жизнь трех самых для меня близких людей.

Он выпил стакан, она пригубила.

— Отпей хоть три глотка...

Она отпила.

— Ну, вот и отлично... больше не надо.—Он перехитрил ее, был доволен.

— Мальчишка ты все-таки, Митя...

Было необыкновенно хорошо в эту минуту. День переходил в сумерки, большое солнце ложилось за Зубовской площадью, за парком Девичьего поля, за Воробьевы горы. Москва знала пору своей весны.— И начатый в первый день разговор закончили они в эти сумерки. В семь пришел Шологов, был обед, выпили вина, Лизавета торжественно подавала пельмени. Они провели вечер вместе, как в детстве. Летом должен был опустеть этот дом. Шологова звали в Париж, ему нужно было сделать закупки для института в Германии, посетить Воронова во Франции, эндокринологический институт в Генуе. Он брал с собой Наташу ученицей и спутником. Летом в институте должно было быть переустройство, ремонт, чтобы сделать его образцовым. Теплились цветы на столе, прощальное вино было в стаканах, по-провинциальному раздавались шаги в пустом переулке. Так в этот вечер простился Дмитрий Шологов с домом.

Он крепко спал эту ночь, без снов, без памяти об утре. Лизавета встала в четвертом часу, разбудила его в четыре. Еще оранжевая предутренняя тишина была за окном; птицы просыпались на деревьях; необычайно неподвижно и тучно стояли тополя в церковном саду. Была утренняя сладость недоспанного сна, который хотелось досыпать

на ходу хотя бы. Через минуту все же он уже одевался. Они простились с вечера, он никого не хотел будить утром. Дом спал. В пятом часу внизу стала гудеть, вызывая его, машина. Он быстро сорвался, взял свой чемоданишко, простился с Лизаветой, на цыпочках пошел мимо комнат. Было утро, свежесть, роса, приятный запах пыли, которую сметал с мостовой дворник. Два человека — будущие спутники его, вероятно, — сидели в машине. Он сел, громыхнула передача, машина сорвалась. Он оглянулся в последний раз на дом. В комнате Наташи, в щели раздвинутых штор, он увидел ее лицо. Рука в ночном обшлаге помахала ему, глаза были грустны по-детски. Он снял фуражку, замахал ею, машина свернула за угол. В дальний путь проводила его Наташа на рассвете. Машина выбралась из переулков на пустынную широкую Пречистенку, быстро снеслась по ней вниз, свернула налево и устремилась вдоль зеленеющих, полных утренней тишины, бульваров: Пречистенского, Никитского, Тверского. Бульвары, скамейки были пусты; дремотная, еще не сменившая утреннюю голубизну на оранжевость, Москва тишела в этот час. Только у Страстного, в открывшейся перспективе Тверской и Ямских раскидывалось близкое солнце петушиными перьями расплзшихся облаков. Необыкновенно пусты и прямолинейны были Ямские, открывая перспективы и графитную четкость торцов. Машина уносилась к оранжевым склонам, к простору; ровнее задул встречный ветер, смывая с лиц остатки утомления, сна. Вокзал, виадук, ипподром, первые сосны Петровского парка и открывшийся простор Ходынского поля и аэродрома за ним.

Большой спокойный, серебряно-серый аэроплан, широко простирая крылья, стоял на земле. В кабинку с окнами входили люди, восемь покатых удобных кресел ожидали их. Все было покойно, деловито, привычно. На рассвете вылетал самолет из Москвы, вечером прилетал в Европу. Дмитрий Шологов положил свой чемоданчик на сетку, как в купе поезда, сел в кресло у окна. Люди размещались; минуты спустя заработал мотор. Самолет неспеша пошел по полю, как автомобиль. Дмитрий Шологов глядел из окна на убегавшие ограждения, ангары; вдруг необыкновенное чувство возникло, стало расти. Отделившаяся земля оставалась внизу, он выглянул из окна, колеса еще бесполезно вертелись, продолжали земную инерцию; это было самое сильное — их ненужность, как поджатые лапы птицы. Иные силы влекли вперед аппарат. Все ниже, дальше оставалось это покинутое поле в кругах для посадок, город открывался, уже заливаемый оранжевым светом, нестерпимой начищенной медью окон, поворачиваясь как на оси перед ним. Дмитрий Шологов узнал пузатый сияющий купол храма Спасителя, где-то рядом был их дом, — отец, Наташа, только что оставленная им комната, — затем сады, розовеющие башни Новодевичьего монастыря — и в самые глаза растопленным сияющим горном опрокинулось рыжее, еще первобытное солнце. Самолет шел ему навстречу, кабина наполнилась сиянием, светом, красным теплом; когда

оно отодвинулось влево, города уже не было видно, шли поля, открывался чужедальний лётный путь в иные страны. И память земли осталась позади.

## XV

Дни, как карты в колоде, складывались в недели, колоды этих недель Инжеватов отлистывал с упорством. В областном управлении его проект держали полмесяца, из управления его отправили в Москву. Здесь терялись концы; надо было ждать. Он ждал; на шахте работали старатели, Колымов под свою ответственность оставил им на подмогу четырех шахтеров. Артель Финогенова, другие артели, явившиеся с заявкой на Благословенную гору, погнал он прочь. Старателям было отказано, настоящая разработка не начиналась. Он решил ехать снова в управление, вывести Колтухова из успокоительной его неспешности, когда тут уходят дни, бессмысленно теряется время, большое настоящее дело лежит в земле. Он решил ехать во вторник, а в понедельник, когда уехал Инжеватов осматривать крепи в «Шахте № 4», была телефонограмма, что проект утвержден и что Колтухов сам завтра придет на прииски. Колымов оседлал лошадь и поскакал к «Шахте № 4». Он встретил Инжеватова возле шахты, соскочил с лошади, взял его за плечо, сказал свирепо:

— Водку будешь ставить? Утвердили проект верхачи!

Это утро Инжеватов запомнил, как первый день победы за все эти годы и как начало будущих небывалых тревог. Колтухов приехал на другой день поутру. Очень городской, очень белый, непривыкший к полному полевому свету весны. Фуражка у него была прямая, скашивала плоскостью его узкий череп; портфель с серебряной пластинкой надписи—прошлый служебный дар. От фуражки на лбу остался розовый шнурочек следа, было нечто неприятное в этой городской белизне.

— Проект ваш мы утвердили.—Голос был тот же, размеренный, никогда не торопящийся голос.—Мы эти прииски считаем убыточными... жилы для данного месторождения непостоянные. Затрачивать на оборудование будем только в пределах сметы.

Он захотел пить; ему принесли в контору пить. У него был опыт, превосходство опыта, очень чувственные, отлично в свою пору вкусившие жизнь — губы. Инжеватов ждал, когда он раскроет портфель, достанет утвержденные планы. Инженер не торопился, портфель его, несмотря на годы, был выхолен. Воду принесли сырую, кипяченой не оказалось; он не стал пить совсем. Наконец, он достал планы, утвержденный проект; в планы были внесены поправки, смета была сокращена. Все же это было начало новой жизни.

— Ну, что же, планы планами,—Колымов сказал напористо,—а смету вы нам прирезали... Вы нам, товарищ Колтухов, разгон сокращаете, а потом через нас будете шагать.

Он говорил грубовато.

— Мы за свое дело бьемся три года, за золотник золота золотник крови отдаем... Золото сегодня не далось, завтра себя оправдает, а вы нас горячите, торопите.

— А вы хотите, чтобы добыча падала, а мы отписывались... проект есть проект. Что есть на бумаге, то должно быть и в жизни.

Бумажный круг был заколдованный. У инженера было белое лицо, седые виски, дарственный портфель. Все это было неоспоримо. Надо было просмотреть с ним проект, планы, принять указания, вдвинуть в новую смету работы. Инжеватов провел с ним полдня. Управление делало последнюю ставку на прииски... если окажется шахта убыточной, район будет свернут, консервирован до будущих времен. Надо было бороться. Колтухов проехал еще на бегунную фабрику, осмотрел породы, взял для пробы четыре ампулы эфелей. С грохотом дробили дробилки породу. По амальгамированным листам шлюзов уносилась измельченная порода, чтобы пройти по трубам и улечься новым золотосодержащим отвалом перед циановой фабрикой. Ртуть, которой были покрыты листы чаш, листы шлюзов, — улавливала золото. Человек выискивал частицы золота в пыли, в песке, в размытых отбросах пород. Непроходимые версты лежали между городом, где люди сидели в управлении, составляли проекты, урезывали сметы, и между этой горячей кровной добычей на месте. Люди цифр не верили до конца искателям; искатели не верили людям цифр. Колтухов сомневался в их планах. Они сомневались в Колтухове, в искренности его побуждений, в его знаниях. За последние годы эти чувства обострились. Люди приисков проводили Колтухова облегченно; он уезжал охотно. Колымов с бегунной фабрики повез обедать к себе. Жена Колымова приготовила обед на троих, Колымов приучил ее к малым своим торжествам.

— Ну, инженер, сегодня выпьем водки, а завтра начинай дело с утра. Я не люблю притворства... в человеке есть кровь, мужику нужна баба... это—земля, вот она, три поколения трудились, насыпали отвалы. А остальное—бумага... в управлении много бумажек пишут. Колтухов наденет пенснэ, прочтет, обсудит. Два раза в неделю заседания. Да два раза в Москве. Итого четыре, а рабочих дней шесть... а мы все шесть дней в шахтах бьем. У нас своя правда.

Они обедали вместе, втесную; планы, надежды были общие. Нужно было приниматься за большой труд. И труд начался для них. После горячих дней подготовки, добычи оборудования из областных складов, подвоза материалов, переброски рабочих—стали ставить вышку шахты, ворот для выволакивания наверх пород, вырубали просеку для подвод, настелили гать по болоту; начали постройку казарм для рабочих, материального склада. Это была еще пустыня, начало будущих дел, таежная глушь. Старики вели ствол неправильно; надо было расширить ствол, углубить его, поставить начальные крепи. В буреломе, на пустое первобытное место пришли люди, запахло лошадыми, человеческими запахами—дыма, махорки, пиленого леса. Это

было только начало стройки, первая линия чертежа. Все было ненамечено, подвоз довольствия, материалов запаздывал. Надо было добывать из областного управления, выпрашивать, ускорять, доказывать. Дважды в неделю Колымов уезжал в город. Инжеватов приезжал на работы в шестом часу утра, уезжал в десять вечера. Это были горячие, тревожные и все же счастливые для него дни. Когда была готова казарма для рабочих, он совсем переехал в лес на работы; здесь, за фанерной переборкой в казарме, устроился он со своими чертежами, приборами, планами. И привычная приисковая жизнь сменилась лесными ночами, комариным неистовством, тревогой и горячкой искателя золота. Были свежие утра, розоватая влажность огромных оголенных деревьев, которые очищали для крепей, деловые бодрые дни, вечера у костров и костровые ночные разговоры, когда смотрит человек на жаркое полымя и говорит о себе, о золоте, о памяти далеких добыч и о старателях, прошедших в земле своею столетней страдой...

В эти вечера узнал он простые, обветренные души людей, которые всю жизнь бродили вокруг золота и которые привели его, Инжеватова, на этот след. Эти два человека, два старика — Шаверда и Андрюша Рыбак — знали приметы земли, ее удивительные сложные силы, это была наука, постигнутая концами пальцев, живым ощупыванием каждой пяди золотоносящих пород. С ними вместе, по их указанию, начинал теперь он свой труд. Они были как бы старшие советники, земные волхвы. Напластования боковых пород указывали направление жилы. У них были свои догадки на этот счет. Он рыл разведочные канавы с севера на юг, они прорыли четыре канавы на юго-запад: жила, по их предположению, делала заворот в земле. Инжеватов слушал их, многое запоминал, многое имело свои основания; он отмечал у себя их поправки. Люди шахт, старатели, штейгера имеют свое чувство земли. Память давних дел освящала этот труд начальной добычи. И в один из таких протянутых в ночь вечеров рассказал Андрюша Рыбак о Благословенной горе, о легендах земли и о завещании отцов. У костра сидели он, буровой мастер, Инжеватов, шахтеры. Полчища комаров наступали, не уstraшенные дымом. Перестоявший валежник сухо, страстно пожирался огнем, и легенда о золоте осветила для Инжеватова эту золотоискательскую и летучую ночь.

## XVI

«Давно это было. Ехала царица Екатерина по Уралу, нашла себе от скуки забаву. Пришел ночью царский поезд в Шайдан, велела она лучших согнать мужиков, в ефлейторы себе набирать... любила она, чтобы мужик был рослый, один в одного. Жили тогда в Шайдане три брата Семирековы. Двое женатых—Мортирий и Петр, третий хо-



лостой—Елисей. Стали ночью к царице скликать людей, пришлось братьям итти. Неволья казенная, царскому приказу не перечь... Братья пошли, сразу двоих в ефлейторы отобрала царица—Мортирия и Петра, а Елисея оставила братниных жен утешать. Стали люди расходиться—которых мужиков в кучера назначили, которых в конюшню... вою тут, плачу бабего!.. А ночь уже на дворе, Урал в тую пору дикий был. Да. Утром пошел царский поезд дальше, забрали мужиков. Бабам выть запретили, с песнями обязали провожать. Погнали братьев Семирековых, а Елисей двух баб с семействами в Шайдане кормить остался... Вот пригнали братьев в Петербург, оставили при конюшне; стали братья царскую службу справлять. Ну, царские кони, известно, цены нет... вот тут и случись беде. Засеклась раз царская верховая кобыла, стали конюхов винить. Лошадь чудная, дорогая, сам султан турецкий ее подарил, велела царица с конюхов взыскать, да построже. Высекли братьев на конюшне, по сто ударов каждому поводьями дали, а потом погнали братьев на царскую каторгу на Камчатку,—узнали горя уральские мужички. Ну, однако, присказка это, а сказка вся впереди. Разведаль Елисей про горькую судьбу братьев, остались две бабы вдовыми вовсе... а семейства у каждой сам-пять. А в эту самую пору случилось Елисею землю на Благословенной горе корчевать, и нашёл он у речки Желтухи, на самом верхнем выносе, желтый камень фунта в четыре... взял он этот камень, очистил от земли—диву дается, тяжелый камень. Поскреб его ножичком — блестит. И понял мужик, что нашёл самородок... в четыре фунта под'ёмное золото Елисей Семиреков нашёл на горе. Стал землю он рыть, а тут ещё самородки — поменьше, которые в сорок золотников, которые в тридцать. Земля-то для пахоты сверху, а внизу камень-березит. Пришло большое богатство человеку, и задумал он своей удачей братьев с каторги вызволить. Взял он самородки, какие нашёл, отметил место камнями, вернулся домой, рассказал все бабам, как и что... есть у него надежда — отдаст он царице четырехфунтовый свой самородок, укажет место, где золото рыть,—помилует братьев царица, вернет с каторги. Да... Стали бабы снаряжать его в путь-дорогу, пошел Елисей Семиреков с Урала в город Петербург. Ну, про путь рассказывать нечего... известный путь, народ в ту пору к странному люду милостивый был. Ушел Елисей по весне, пришел в самую осень. Изголодался в дороге, извелся, однако, доставил самородок в берг-коллегию. Ну, конечно, самородок приняли, подивились, составили для Елисея писцы прошение на царское имя... обещал он казне великую добычу, только просил царской милости для баб с сиротами. Долог путь мужицким слезам до дворца, однако, дошло все-таки дело до царева двора, велела царица холопу Елисею Семирекову указать место золота, а в награду за нахождение посулила вернуть с каторги братьев. Дали в берг-коллегии ему провожатых, снарядили в путь, выдали ему двадцать пять рублей ассигнациями за находку... поверил Елисей Семиреков в свою судьбу. Вот вернулся он в Шайдан с провожатыми, повёл к месту на

Благословенной горе... тогда на месте Гиблой елани озеро было, и сосны росли по бокам по двести годов каждая, лес этот потом в Англию суда строить гоняли. Обошел Елисей Семиреков озеро, стал искать место, где наложил он для отметки камень-березит, весь день искал—не нашел. А уже ночь наступает, и словно водит его кто вокруг места... нет камня и нет. Ладно. Заночевали они в лесу, дождался Елисей рассвета, опять пошел землю мерить, канула эта отметина... люди тут двадцать лет кругом корчевали, понял человек, что не проста его золото водит. Спросил он еще день отсрочки и еще неделю... и вот видит: как-будто это самое место, а найти не может. Спал мужик с лица, не верит себе, а не показывает себя золото, не дается человеку. Так и не далось. Два месяца искал человек места, ничего не нашел... ну, а известно, кто поверит, что потерял человек место. Донесла берг-коллегия царице, что скрывает холоп место золота, велела царица на вечные времена сгноить Елисея Семирекова в каторге... так и погнали его тоже на каторгу, не дали с бабами проститься. Никто еще от золота счастья не видел,—а кому и пришло когда счастье, того же и оставило быстро. Стал весь Шайдан искать Семирекова золото, крестьянский свой труд побросали, в бедность, в лютость пошли... сколько тут по этому следу людей полегло, два века копают, землю отвалами завалили, каторжных шахты рыть посылали, однако, не далось золото, лежит в земле. А нынче вода опять отнимать стала. Но только вот, сказывают, помирал в Централле Елисей Семиреков, большим стариком уже был, а оставил он последнее слово: найдет его золото тот, кто ни одного сироту не оставит, и бабы кто во вдовстве не обидит... а это ведь верно—одни сироты да вдовы от Семирекова золота остались. Ну, только разве есть такой человек, который сироту не обидит, да на вдовство не позарится... вдовая баба, как колодец в степи, а сиротами война мерена. А мало ли разве народ русский на войне воевал... вот и лежит в земле золото, а нападет на след человек—вода начнет заливать. А самородок этот, сказывают, так в царском добре и лежал, от царя царю доставался, так и к народу обратно вернулся... лежит сейчас в народной казне, а может, и не знают, сколько он крови старательской стодил, сколько крестьян за него полегло. Ну, все-таки, правда—она обернулась, от народа что вышло—к народу придет. А золото без мужика не найти... всё золото и изумруды и всякие камни мужики первыми находили, а уж наука и инжанеры после приходили по следу. Мужик землей владеет от верха до низа, вот оно теперь и оправдалось... и землю мужик насквозь чует. А вот еще верно: копали старатели золото, нашли человеческую кость в земле... может, прежний какой старатель сгинул. Стали дальше копать—еще нашли кость. Так, кость за костью, напали на золотую жилу, указывали крестьянские кости дороженьку. А много крестьянских этих костей в земле лежит... от них и трава выше тянется, и рожь наливаются, и дерево силу берет, и золото возле них держится».

Костер сгорал в ночи, ночь шла, приближая день. Так ночами узнал Инжеватов крестьянское слово о золоте, старательскую горькую повесть. И за первыми днями надежд пришли дни ошибок и бедствий.

## XVII

На пятой сажени углубки он понял, что ошибся в расчетах. Порода была тверже его предположений, углубка шахты замедлилась. На шестой сажени показались первые воды. Оборудование шахты было еще первобытно, лестницы и полки временными, крепи были использованы из старых шахт. Восставшие силы опрокидывали его начальные планы. В историческом прошлом земли, в тысячелетиях земных наслоений — лежали первичные золотосодержащие жилы кварца. Эти жилы были древнее гранитных изверженных масс, древнее гранита. Младенчество земной коры, палеозойская эра баюкали происхождение золота в земле. Охлаждалась кора, образовывались силурийские, кембрийские пласты, и расплавленная магма, устремляясь сквозь эти пласты, остывала и заполняла трещины кварцем. В этих кварцах прошли первые смуглые прожилки. Кварцевые жилы имели направление вверх, поднимаемые гранитными массами, и это были первые золотоносные жилы. Они пересекали пласты сланцев, пускали ответвления в стороны, разбивались на тонкие нити и великой и сложной загадкой земли являли себя человеку. Магма создавала их, в своем устремлении они крушили и ломали близлежащие другие породы, насильственно прорываясь сквозь них. Жар расплавленного кремнезема, превращая золото в пурпурового цвета пары, устремлял его в прожилки, побегов и нити, уводя от человека загадочными путями их залеганий в земле, падений и простираций. Воды, проходившие веками, размывали породы, образуя золотоносные россыпи. Так геологическим ходом времен, младенчеством и созревaniem земной коры, пластов и наносов создавалось золото в недрах.

Первая ошибка, которую обнаружил Инжеватов еще на шестой сажени, была твердость пород. Породы оказывались тверже его предположений, углубка их требовала больше человеческих сил, больше времени, больше расходов. Другое, что начало угрожать, были — воды. По его расчетам приток вод должен был начаться с седьмой сажени и быть не свыше тысячи ведер в час; воды обнаружили раньше. Андрюша Рыбак, бывший с шахтерами шахту, сказал ему:

— Гляди, инженер, такой породой дальше пойдем — задержится углубка...

Он не поверил ему, но тревога осталась. Кварцевые жилы залегали в дайках мелкого гранита, люди бились неделями над углублением одной сажени. Главное было дойти до уровня, пресечь жилу; это должно было быть на десятой сажени — по тому же его первоначальному плану. Он отмалчивался все эти недели, не давая управлению сведе-

ний о ходе работ; твердость породы могла измениться с углубкой. Другое беспокоило его больше: это были воды. Дни проходили в углублении ствола, в подрывных работах. Так прошли седьмую сажень. Он уехал, наконец, с докладом в управление. Колтухов находит—работы ведутся медленно, углубка занимает больше времени, потребовал еженедельного отчета в работах. Управление было против разработок, Москва решила иначе: нужно было теперь доказать, что управление было право. Инжеватов вернулся домой как бы после крушения. Колымова не было, его вызвали по телефону на шахту. Инжеватов не стал перепрягать лошадь, погнал ее прямо туда. Угрюмые чрева небес опустошались дождем. Он гнал лошадь проселком, это была дорога осени, смывалось последнее свечение дня. На гати заскакала тележка. Началась боль в позвонках; все же он прогнал лошадь рысью через болото. В казарме было пусто, хотя смена должна была ужинать в этот час. Тревожность была в безлюдности казармы. По мокрым доскам он быстро пошел к вышке шахты. Ворот не работал. Инжеватов спросил у рабочего:

— Что случилось... где управляющий?

Рабочий ответил:

— В шахте.

Тогда он быстро вернулся в казарму, надел брезентовый шахтерский костюм, сапоги, шляпу. Он вернулся к вышке, привычно ухватился за железные скобы в стене, стал спускаться в шахту. Лестница изменчиво подставляла скользкие ступени. Внизу произошли события, ворот не работал, Колымов был в шахте. Он спустился по первому переходу, стал на площадку, освоился с тьмой. Вторая лестница уходила в глубину шахты. Руки, на которые забыл он надеть рукавицы, перехватывали скользкие ступеньки, оббитые сапогами шахтеров. Желчно светила лампочка, не раздирая тьмы. Третья уходила вниз лестница. Внезапно по ее содроганию он почувствовал на ней человека.

— Эй, осторожнее... дайте сойти!

Он стал спускаться на третью площадку, человек теснился, пропуская его. Под полями брезентовой шляпы Инжеватов увидел лицо старателя.

— Что случилось? — сказал он, запыхавшись. — Почему не работает ворот?

Они стояли тесно на темной площадке. Андрюша Рыбак сказал:

— Гляди, инженер, как бы шахту не залила вода... большая вода идет. С утра пошла и пошла...

Это было самое страшное. Неужели он ошибся и здесь? Он стал спускаться по лестнице снова. Ненадежные начальные крепи, твердая порода, большие подпочвенные воды, повидимому. Все хочет смыть его труд, опрокинуть расчеты, посмеяться над тем, что он строил. Руки его перехватывали ступеньки, сверху следом спускался Андрюша Рыбак. Еще один переход, опять тусклая безразличная лампочка, слышнее работа насоса. Вдруг что-то зацелкало по полям его брезен-

товой шляпы. Уже на четвертом переходе сочилась вода. Он снова стал спускаться по лестнице. Лестница была мокра, капли перешли в дождь; ещё две лестницы вниз на дно ствола. Дождь перешел в ливень. В грозу, в нарастающую пору грозы так льет сплошной стремительный ливень. Подземная река устремлялась сюда в шахту, угрожая ее залить, посылая три тысячи ведер в час. Под этими потоками вод он спустился в колодец. Обвисшие лампочки на просмоленных проводах освещали унылость мокрых, оббитых кайлами стен, Колымова, шахтеров, старателя. Люди стояли по колено в воде, заливаемые ливнем. Маломощный насос жалко всхлипывал, давясь, не успевая заглотнуть эти десятки тонн свергающейся в шахту воды. Фырканье его заглушало людей.

— Я затребовал в управленьи насосы... — Колымов завопил, прекрывая шум водопада.—Все снесет к чорту... здесь три тысячи ведер полило, не меньше!

Это было несчастье, стихия. Надо было бороться со стихией, действовать, ставить насосы. Это прежде всего. Затем уже сокрушаться, признавать ошибку, переделывать планы. Начались часы спасения шахты, спасения надежд. Всю ночь люди провели в шахте, вычерпывали воду вручную, бадья за бадьей, захлебывался насос, уровень воды поднимался с каждым часом. Катастрофа должна была обрушиться, смыть стихией все, что он готовил и строил. Ночью Колымов погнал в управление нарочного. Через три часа из конторы передали телефонограмму, что насосы будут доставлены днем. Надо было продержаться еще целый день, может быть. Люди работали без смены, человеческие усилия были ничтожны, сила стихии опрокидывала их. К трем часам дня вода заполнила шахту до пятой площадки. Как бы в бреду, в изнеможении захлебывалось его детище. Инжеватов не хотел видеть агонии. Если через два часа насосы не придут, тогда за одну ночь воды зальют эту шахту. И насосы пришли. На дымящихся, загнанных лошадях привез их Колымов. Он бросился сам в управление, звонил по телефонам, поднял город—один насос был из управления, другой ему дали взаймы. Он погрузил насосы и погнал лошадей. Он был мокр, в глазах его было бешенство.

— Как вода? — завопил он ещё на ходу.

Инжеватов ответил:

— Через два часа зальет шахту.

Труд людей не погиб. Шахту не залило. Заработали насосы. Успокоительно застучала их паровая сила. Человек начал борьбу, вода отступала перед его натиском, пошла на убыль, новые потоки подхватывались насосами; откачка залитого ствола началась. Насосы работали всю ночь; вторая смена людей, не спавшая сутки, опрокинулась в сон. Стук машин баюкал их сон. Это был стук верных сил, подчиненного человеку великолепного дыхания машин. Утром, так и не уснув за всю эту ночь, Инжеватов спустился с Колымовым в шахту. Мокрые крепи, мокрая лестница, мокрые стены. Попрежнему лилась

вода, уже не страшная человеку. Огромные рыла насосов храпели, давясь воздухом вместе с водой. Человек победил воду. Человек мог продолжать в шахте работу. В первом часу шахтеры спустились с кайлами вниз для работы. Инжеватов выбрался наверх. Его шатало. Андрюша Рыбак подошел, сказал:

— Теперь возьмем золото.

Он прошел с ним в казарму, помог ему снять мокрый костюм, стал кипятить чай. Пока возился он с чайником у костра, Инжеватов лег на нары, все блаженно поднялось, пошло вокруг, он уснул. Он спал и слышал. Работала машина. Дело его существовало, продолжалось, шахтеры били породу в шахте. Он слышал, видел и спал. Андрюша Рыбак принес чаю, не стал его будить, накрыл своим полубубком и сел подле.

*(Продолжение следует)*

---

# Перелет Москва—Армавир

М. ЗЕНКЕВИЧ

## I

Свитер для горных экскурсий, трусы  
Для морского купанья, белья две смены...  
Аккуратней укладывай, чемодан утряси  
И прикинь на весу на пудовом безмене.  
Тридцать зарубок уже перешло,  
Багажа многовато, пожалуй. Заметьте:  
В воздухе ценится каждое кило  
Почти на вес золота, вернее, — меди.  
Два часа ночи. И ты уверен,  
Что за дряхлую церквушкой, у ворот,  
Автомобиль-полуночник, черный ворон,  
Седока вызывая, гудком заревет.  
Воздушная почта в ногах. И в бору  
Бульвара ночного вдруг провожатый  
На локоть кладет, расстегнув кобуру,  
Длинный наган, в кулаке зажатый.  
Как я поцелуй, так и небо спугнуть  
Зевотой боится лучистую дрему.  
Звездным шоссе млечный путь  
Стелется прямо к аэродрому...

## II

Часовой с винтовкой, и на мураве  
Росистой сереют в рассветной полоске  
Жесткокрылостью дуралюминия две  
Стрекозы расщепленных и плоских.  
Непримечателен с виду ничем  
Летчик, ведущий машину на Харьков.  
Потертые кожаные куртка и шлем,  
И вдобавок фамилия: Захаров.  
В глубине его прищуренных глаз  
Мелькнула усмешка: «Что, попались!  
Не бойтесь! На случай смерти у вас  
Есть страховой на пять тысяч полис...».

«Папа, темно лететь тебе! На,  
 Возьми фонарик...». И, вспомнив про сына,  
 Светло улыбнувшись, летчик фонарь  
 Электрический из кармана вынул.  
 Совсем рассвело. Разведкой по гуду  
 Проводов летит разговор такой:  
 ...«Облачность как?.. Как у вас погода?..»  
 ...«Туман над рекой... Только над рекой...»  
 Покатили вприпрыжку. И от земли  
 Оторвалась вдруг, никого не угробя,  
 Шестиместная кабинка, как лифт  
 Стоэтажного дворца-небоскреба.  
 Неужели мы повисли, взлетев  
 На тысячу метров? В самом деле,  
 Кто это вылепил карту-рельеф  
 Земной игрушечной модели?  
 Чересполосиц лоскутный плат...  
 Кресты снопов... Урожай недокошен...  
 Деревушек выводки, как цыплят,  
 Будоражит тенью чудовищный коршун.  
 Воздушное, легкое — не чета  
 Земным сообщениям грузным. Если  
 Хотите, можете газету читать  
 Или дремать в плетеном кресле.  
 «Дорнье-Комета» — путь ее прям,  
 Асфальтирован как-будто бы... Кто бы  
 Поверил, что от воздушных ям  
 Прыгает так самолет-автобус!  
 Во сколько десятков метров ров  
 Отмечен делениями на скале?  
 Назад обернувшись и дверь приоткрыв,  
 Летчик смеется, улыбку оскалая.  
 Орел? Нет, Харьков... Приятно так  
 Привинчиваться в штопоре виражей.  
 Гул обрывается. Теплый ток  
 Ударил в ноги... земная тяжесть...

### III

За завтраком разговор один:

— Машина другая. — А разве не та же?  
 Нет, и летчик новый — Кудрин.  
 Опытный — тринадцать лет стажа! —  
 Дерево, не дуралюминий. Потерт,  
 Порядком потрепан быстрый «Фоккер»  
 Берет, легко разбежавшись, старт...  
 Кто тяжелее — к правому боку...  
 Проверив пульсирующий бензин,  
 Дремать пристраивается бортмеханик.  
 Что ему за дело, что там средь низин



Белеет смерть в лошадином махане!  
Екнуло сердце... Нырнул самолет  
И снова расплывается упорно.  
Слышно, как бултыхается, бьет  
Сзади за дверцей вода в уборной.  
То резче, то глуше моторный бас.  
Покружив, зачем-то спустились в Артемовск  
Впереди, не пропуская, Донбасс  
Свинцовее за тучами теми.  
На окраине под мелким дождем  
Любопытных кучка на нас глазеет.  
Садитесь... Не беспокойтесь... Пройдем...  
Летчик нашел в облаках лазейку.  
Гудками бесчисленными в ушах  
Воет ветер степной и бездомный.  
Антрацит, коксующийся из шахт,  
Переливается сталью в домны.  
Низко летим. Не больше трехсот.  
Опасно, пожалуй. Поднялись снова.  
Прорезали тучи донецких высот.  
Блеснуло солнце. Мы — у Ростова.  
Летчик, выпрыгнувший уже,  
Протирает в оправе сияющей стекла,  
Вынимает шарики из ушей,  
Вата как-будто кровью намокла.  
— Парафин с сулемой. Какой-то состав.  
Мы, летчики, слышим довольно плохо.  
У меня, например, наверно, из ста  
Процентов сорок потери слуха...  
— Не видя земли, можно всегда  
Перевернуть аппарат. — А тяготенья  
Разве не укажет, где низ? — Ерунда,  
Это обывательское представлень!..  
— Мы недооцениваем наших сил.  
Оттого-то так много скверного в мире.  
Я сам не верил. Оказалось, проплыл  
Целых двадцать километров в море...

## IV

Прохлаждаться некогда. Летный наряд  
Гонит дальше. Прощай, беседка  
С накрытом столиком, где виноград  
Дичает густой и прохладной сеткой!  
Красным цымлянским нас напои,  
Дон, да с Волгой сдружись привольней  
Каналом и шлюзами. Степи твои  
Расстелены скатертью хлебосольной!  
Сады, станицы и хутора.  
Силится плавное течение Кубани

Снеговую воду в степи затерять,  
Камышом оцетиниться в плавни кабаньи.  
Море хлебов... Даже здесь наверху  
В крылья аэропланные (мнится),  
Отшелушив золотую труху,  
Ливнем зерна ударяет пшеница.  
Тихорецкая... Армавир... Через час  
Сел и взлетел саранчею грузной  
«Фоккер» и в облаке дальнем исчез,  
Доставив меня на пустырь кукурузный.  
Перелет закончен. И радость, и грусть.  
Стрекочут кузнечики в жаркой неге.  
С воздушной почтой и я доберусь  
До станции на крестьянской телеге.  
Куда и зачем торопиться тебе  
В черноземном, жирном, степном захолюстье?  
Над воловьей жвачкою — «цоб, цобе»...  
В камышах загнивает речное устье.  
Один свидетель полета дан:  
Осыпан проселочной, пыльной сейкой,  
В задке тархтящем чемодан  
Белеет крылатой багажной наклейкой.

████████████████████

# Л и с т ь я

Повесть

ПЕТР СЛЕТОВ

*В. Ф. Крюченкову.*

Э то было в городе Санкт-Петербурге. Это было на Забалканском, в бильярдной. Бильярда было три: один похуже и два очень строгих. Сюда заходил хозяин, пан Рыбацкий, как в гости. Наведя порядки в смежном помещении, столовой-кофейне, пропустив главную массу обедающих, ущипнув два раза коленку подошедшей к кассе Ядвиги, любил он взять стакан мазаграна и, тихо посасывая соломинку, подняться на три ступеньки в бильярдную.

Войдя, раскланивался пан Рыбацкий со всеми наклоением головы и потупленным взором и перекидывался «парою слов» с посетителями, сохраняя свои обычные манеры графа в изгнании. Затем подходил к бильярду, где решал искусный маневр Дима Итяков, и всматривался минут пять в игру его партнера. Дождавшись первого неудачного удара по шару, едва не влезшему в угол, облакачивался пан Рыбацкий на борт. Эффектно постучав хризолитом толстого перстня по медному канту и тем стяжав общее внимание, оглядывал он победоносно всех по очереди и говорил Димочкиному партнеру:

— Да, вы сделали артистический удар. Это — удар дуэлента шпагой в сердце. Но... (грустная улыбка) это вам не кошелка...

Тут с достоинством, промешав кусочки льда в студенистом кофе, отходил он и присоединялся к зрителям, кольцом наблюдавшим поучительную Димочкину игру.

На окнах висели толстые ламбрикены, контрабажуры люстр и бра бросали свой рассеянный свет в воздух, пронизанный табачным дымом и остриями бильярдных киев, скользили беззвучно маркеры, собирая по лузам шары и по временам громко выкликали:

— Шестьдесят три! В двух больших партия...

Длилась классическая пирамидка, карамболь и бутефон...

В разные дни, разные часы меняла бильярдная свое лицо, как всякое место общественного значения. В ней меняла свое лицо большая холодная столица, кривляясь привычными гримасами. Но основной состав посетителей оставался все тем же: студенты, больше технологи,

растворяли в своей среде небольшую группу знатоков и ценителей высокого класса бильярдной игры, сплоченную вокруг Димы Итякова, как и все фавориты, носившего уменьшительное имя.

Одним заменяла бильярдная успехи неудачной карьеры, другим—негостеприимную науку, третьим—отсутствующую или испорченную семью. Безмолвный ли уговор или святость своеобразных традиций, но личное не всплывало ни в разговорах, ни в поступках. Игра, ее содержание и логика создавали центр, вокруг которого лепились интересы, игра заслонила все остальное, и лишь в ее плоскости ухитрялись решать вопросы искусства, философские и политические.

Так естественно стала бильярдная портиком греческого храма, где жрецами были Дима Итяков и маркер Федор, учителем же философии и теоретиком—журналист Поливанов.

Аудитория завсегдаев держала мазу за игроков, созерцала, сидя на полужестких диванчиках, и курила. А Поливанов поучал:

— О, юноши, о, мужи, у нас накурено, но дух витает чистый, ибо мы одни. Вы видите, боги благосклонны к нам: ни одна женщина не омрачает наших бесед под этими сводами. В многоопытной своей мудрости уважаемый хозяин наш Казимир Казимирович не допускает даже к уборке бильярдной ни Ядвиги, ни кого-либо еще из дев и жен мало-мальски годных к ласкам и битвам Афродиты. Поистине, соблюдая свои интересы, заботится он и о наших, ибо не коснулось нас тлетворное женское дыхание. Что же касается поломойки, то злые языки говорят, что и она двухснасна...

Игроки ходили вокруг бильярдных с киями в руках, в одних жилетах. Дима Итяков играл очередную партию со случайным посетителем, привлеченным замечательной его игрой, шумела отдаленно кофейня, за окнами ночевал Санкт-Петербург. И Поливанова слушали плохо, больше следя за Димой, за каждым его ударом...

Он горбат. Это заметно не всегда, чаще кажется, что он сутул. Он движется среди игроков, он ходит вокруг бильярда с той уверенностью, с тем достоинством, с каким творят общественные обряды под направленными десятками внимательных взглядов привычные актеры разных культов. В лице его, в глазах спокойное превосходство бесспорной силы, в каждом жесте — та неуловимая и постоянная находчивость, которая присуща мастеру и знатоку, а по временам далекая улыбка смущения. И когда от удара Димы в лузу падает немислимый шар, а свой, на миг остановившись, отходит назад, молодой студентик в кружке зрителей возбужденно замечает:

— Это чорт знает что! Он от борта через весь бильярд играл его с выходом!

— Мой дорогой молодой коллега,—отвечает ему снисходительно пан Рыбацкий.—Диме сам Левушка дает два очка, а если даст три, то Левушка пропал; пропал, говорю я вам, и уж были примеры. Это нужно понимать...

Все это дает повод Поливанову придраться к случаю.

— Поистине, — ораторствует он, — здесь, а не в механических лабораториях видите вы храм движения в чистом его виде, где Димочка—жрец и вместе пифия, являющая нам откровения в несравненном своем искусстве. Вы видите: шаров нет. Он ищет глазами и будет играть, очевидно, девяточку, имевшую неосторожность чуть откатиться от борта. Уверен ли он, что положит? Уверена ли пифия в том, что говорит?.. Но—внимание!.. Правильно, чудесно, шар вошел, что и требовалось доказать.

Легкие аплодисменты приветствуют Димочкин удар.

— Что произошло? Каждый из вас, дорогие коллеги, мог бы с точностью формулировать явление. Частный случай молекулярной бомбардировки. Данные: массы шаров, скорость битка, направление движения и коэффициент трения. Димочка, вы, вероятно, понятия об этом не имеете?.. Но попробуйте, о юноши, о мужи, повторить вычисленный Димочкин удар,—какой позор ожидает вас, какой стыд..

— Пятерку в угол,—заказывает Дима.—Удар посвящается вам, Кронид Семенович.

Поливанов слегка раскланивается и продолжает:

— Жизнь—это движение; без движения нет жизни. Старая, избитая мысль; но основных житейских истин не замечают именно потому, что они сказываются на каждом шагу. Димочкин удар, мысль его об ударе, звон влетевшего в лузу шара—все это формы одного и того же прекрасного движения. Не облакайте его в формулу—формула нужна для машины, но негодна в жизни; она не научит ходить, а лишь отяжелит походку... Верно я говорю, Федор?

— Совершенно справедливо, — отвечает маркер, устанавливая новую пирамидку.

С Димой играли многие без надежды на выигрыш, с уверенностью в проигрыше, из-за одной лишь чести сыграть с ним и проверить свои силы. Так в стены по существу демократической бильярдной на Забалканском залетали чужие птицы: гвардейцы, одетые в штатское, помещики, у себя в имении включившие в ежедневный режим пирамидку на собственном бильярде, московские заезжие купцы.

Встретившись, впрочем, со своими партнерами на стороне, в театре, на улице или в магазине, не мог часто Дима уловить узнающего взгляда; головы, если не отворачивались, то слегка приподымались, как бы завидев что-то достойное внимания вдали. Но здесь, войдя в бильярдную, снявши кители, сюртуки, смокинги, все сливались с общей массой игроков, подчиняясь общим законам. Все сходилось в одном: уступая, быть может, знаменитому московскому Левушке в выдержке и отыгрыше, Дима, несомненно, превосходил в красоте удара, смелости игры и артистичности ее.

Расходились поздно. Часто, увлеченные затянувшейся борьбой, игроки не хотели расстаться с зеленым полем. Тогда завешивались плотно окна бильярдной, запирались двери, в подезде гасили огни

и играли с риском штрафа до утра. Под утро говаривал присяжный болтун и полуночник Поливанов:

— Вот шары остановились в доигранной партии. Момент статический. Покой, скажете вы? О мужи, покоя нет, покой — это условность, он познается, как и все, из движения... Что такое ритм? Это сходство повторных движений. Что такое статика? Это ритм, заключенный в бесконечную форму... Федор, голубчик, дай пальто!

И все расходились через черный ход. Там ждали извозчики; Поливанов, застегивая потертый бобровый воротник, одолжал у Димы полтинник и трясся на Фонтанку. Дима же — на Лиговку, задумчиво рассматривая бесконечный ряд ненужных на рассвете фонарей.

\* \* \*

Он жил в большом коричневом доме с черными гербами и орнаментами из знамен, палашей и секир, сплетенных в спокойный и сумрачный знак. Там, в третьем этаже, в небольшой, тесно обставленной квартире нес он свою вторую маленькую жизнь, никем не наблюдаемую, а потому полную противоречивых потешных вкусов и слабостей.

Все дело в том, что затянулась молодость, быть может, даже детство. Диме было под тридцать, но выглядел он мальчиком. Будь он чиновником или приказчиком, над буднями его тяготела бы служба, но он был независим даже от круга знакомых, которых в личной, домашней жизни не мог найти. Так, не имея нужды в том, чтобы о нем кто-то думал хорошо, не угнетаемый своей двусмысленной профессией, он делал то, что ему нравится, заботясь болезненно лишь об одном: уйти от всяких советов, всяких вмешательств и посягательств на свою личную жизнь.

Предлогов же к этому было множество. В нем была жилка коллекционера, он тратил большие деньги на покупку какой-нибудь редчайшей марки давно исчезнувшего государства. Прекрасные пальцы его искали пути не только к зримым движениям, но и к радости звука — он занялся музыкой, остановившись на странном инструменте — бала-лайке. Впрочем, возвысившись над дилетанскими ступенями, владел он им прекрасно. В чтении резче всего проявился его вкус: он до сих пор читал Жюль Верна, Густава Эмара; любимейшей книгой его был Конан-Дойль, попутно, впрочем, история войн. Дима никогда ничего не писал, не имея нужды в этом, но он любил, чтобы у него на письменном столе было все, что нужно и что совершенно не нужно. Письменный прибор его состоял из множества различных предметов: чернильницы с тремя сортами чернил, звонком для несуществующего лакея или небывалых заседаний, спичечницы, подсвечников, пресса, пепельницы, стакана для перьев, флакона с клеем, перочистки и еще каких-то совершенно неупотребляемых вещей. В стакане был большой выбор ручек и карандашей всех цветов. В бьюаре — запас почтовой бумаги и конвертов. Настольный календарь, настольные часы, баро-

метр, термометр — все это настолько загружало стол, что пользоваться им для работы было бы невозможно. Все это, впрочем, ревниво поддерживалось в постоянном порядке.

Остальное убранство комнаты соответствовало столу. На полу лежали коврики, — отдельно перед диваном с тумбочкой, где были туфли, и перед туалетным столиком. Деловитейший шведский шкаф с книгами, круглый полированный стол с альбомами марок стояли у одной стены. Напротив стену занимала карта всех частей света в виде полушарий и карта звездного неба — для чтения Фламариона. За ширмой над кроватью висели два скрещенных, как шашки, отделанных золотом и слоновой костью бильярдных кия. Под ними монтекристо, из которого стрелял Дима по утрам в мишени в дальнем углу комнаты. В шкафу хранился бинокль, микроскоп и кинематографический аппарат, развлекавший Диму в иные вечера.

Все это вызывало постоянное насмешливое осуждение со стороны матери, бодрой старушки, курившей по ночам за пасьянсами, вспоминавшей свое прошлое мелкой опереточной актрисы и увлекавшейся Ибаньесом Бласко. Саркастическим взглядом осматривала она слишком солидные костюмы Димы, его трости — был целый набор тростей, — и выразительно молчала. С тех пор, как существование зиждилось на его выигрышах, она перестала преследовать Диму вечными замечаниями, но в душе, жалея, не считала его ни мужчиной, ни положительным человеком.

Дима и сам часто глухо чувствовал, что зрелость запоздала. Он следил за собой, стараясь прививать себе привычки, присущие уравновешенным зрелым людям. Его восхищало самоуверенное спокойствие тех, кто умел так веско, императивно, как сказал бы Поливанов, изложить свое мнение, кто умел с такой подавляющей естественностью играть заметную и пустую роль в жизни, как-будто лучше ничего и придумать нельзя. Помимо того, что было наглухо закрыто от Димы китайской стеной общественных условий, мог бы он принять участие в той жизни, где доступ открывался рублем. Но, глядя на этих мужчин, с небрежной внимательностью провожавших своих содержанок под арками ресторанов, на спортсменов, открывших в спорте филиал порядочной жизни, на раздушенные благотворительные базары и даже демократическую толпу в воскресном Павловске, чувствовал Дима, что овладеть этим искусством, этой верой в естественное значение всего, что они делают, он был бы не в силах. С женщиной он не знал о чем говорить; стеклянным в своей наглости официантам не умел без робости дать на чай, шоферу бросить лениво и бархатно: — К Палкину! Насколько там, среди щелканья слоновой кости, в бильярдной был Дима прост и находчив, настолько же здесь натянута и скована. Ему приходилось думать и мучительно решаться на каждое незначительное слово или жест.

Однако, чувствуя себя часто пустым местом в кругу собеседников, лишним спутником в случайной компании, он хотел найти хоть огра-

ниченный круг жизни, где был бы он спасен от необходимости придумывать выход из чувства неловкости перед неожиданными искусами. С этой целью он усваивал умышленно то, что казалось ему признаком самодовлеющего равновесия людей: привычку к комфорту, вообще всякие мельчайшие привычки, упорядочивающие жизнь и дающие ей подобие самостоятельности. Он требовал, чтобы у него был собственный столовый прибор, стакан, ложечка, старался о том, чтобы его завтраки не совпадали с завтраками матери, отстаивая и в этом свою независимость.

Вставши часа в два, надевши серую пижаму, выпивши утренний кофе, сидел Дима перед трельяжем и, разложив сложный несессер, брился внимательно, оглядывая себя печальным и ласковым взглядом. Лицо было желтое ровного цвета: ночная жизнь не приносила румянца, но, будучи привычной, не давала и болезненной бледности. Каштановые волосы расчесаны в пробор, голубые глаза под тонким желтым веком, казалось, видели и сквозь веко.

Побрившись, он разбирал почту. Он получал все центральные газеты, читая лишь дневник происшествий в «Русском Слове», да фельетоны Дорошевича, остальное же тщательно подбирал в комплекты. Затем брался за балалайку. Играя с увлечением, он арранжировал знакомые мотивы, а там, где память изменяла, попросту фантазировал, будучи незнаком с нотами. Среди игры он старался уловить, к чему его тянет и, найдя, осознав свои желания, откладывал балалайку, чтобы перейти к занятиям, вытекавшим из его прямых склонностей: возился над устройством игрушки по рецептам «хитрой механики» или исследовал механизм музыкального ящика.

Часов в пять просыпалась мать. Превративши ночь в день, а день в ночь, она не знала солнечного света, проводя все вечера в чтении и воспоминаниях, ближайшим слушателем которых во время завтрака ее был Дима. Он выслушивал ее, поглядывая на часы, уходил завтракать в свою комнату и там читал или перечитывал, как всегда медленно, какой-нибудь из очередных романов Буссенара. Прочитанное принимал он горячо, оставаясь под впечатлением его весь день, чтению же отдавал не больше часа, а затем, сменив пижаму на пиджак, уходил из дома.

По стрелам улиц, по сырým торцам, под рваными облаками ехал Дима, учась дышать среди каменноугольных запахов столицы, в Гостиный Двор. Резко звенели трамваи, у Русско-Азиатского банка стояли глыбы автомобилей, памятники по-разному горячили холодных своих коней, и Екатерина улыбалась улыбкой самовлюбленной женщины над толпой своих любовников. А на углах гранитные городовые правили чинным уличным движением.

Купивши в магазинах, как всегда, что нужно и что не нужно, торопился Дима уйти и, отправив с рассыльным покупки домой, шел обедать, как правило, в «Квисисану». Здесь встречал его неизменный



сосед, отставной земский начальник, балагур и враль Дом-Домашний, уже хмельной привычным ресторанным хмелем.

Дима кончал обед, благодушно выслушивая анекдоты в духе кокоток ушедшего поколения, и пил с текущего счета своего в «Квисисане» Сен-Рафаэль. Затем, согласившись с Дом-Домашним, что смерти своей он дождется нигде как в Санкт-Петербурге, Дима расплачивался, застегивал глухой свой пиджак и отправлялся на Забалканский.

Было не мало в столице перворазрядных биллиардных, где мог бы Дима найти партнеров и оценку высокому своему дару. Но он был верен привычке. Поливанов же, ревнуя, говорил:

— Не место красит человека, а человек место. Вы не измените нам, о Дмитрий Алексеевич, это было бы цинично.

Впрочем, иногда, соскучившись, отправлялся Дима с Поливановым наугад в Гавань или на Петербургскую сторону и забирался куда-нибудь в третьеразрядную пивную. Там, в задней комнате, загаженной с лета мухами, на просаленных, залитых керосином биллиардах, кривыми расщепленными киями играли извозчики и городская шпана.

Бросив общий вызов:—Любому двадцать очков вперед!—Дима ставил крупный куш, и в случае проигрыша удваивал его. В этой игре выручала Диму смелость, а больше то, что он не знал цены рублю не только благодаря крупным выигрышам.

Под конец иному зарвавшемуся, понадеявшемуся на свои силы маркеру прощал Дима великодушно весь проигрыш. Но был безжалостен к жукам. Эту породу биллиардных игроков, видящих в игре не призвание, но профессию, и лучше всего изучивших ее коммерческую сторону, знал Дима хорошо и ненавидел ненавистью художника к невежде.

Жукам говаривал Поливанов в назидание:

— Вы наказаны за грех, страшнее которого нет в жизни,—грех насилия над свободным своим движением. *Procul este, profani!*

На что получал зловеший по вложенному пожеланию ответ.

После таких вечеров Дима всегда тосковал, словно жизнь его вдруг представала наблюдению другим своим краем.

— А знаете,—доверчиво замечал он,—как все в общем паршиво. Я чувствую себя, как в карцере, как-будто меня не пускают жить и держат у какого-то бессмысленного порога, заставляют все время сдавать какой-то ненужный экзамен. Подумайте, ведь это самое большее, что доступно мне, — притти и обыграть несчастного маркера, а у него полдюжины ребят.

Но Поливанов утешал:

— Полно, Димочка, спросите себя, — кто еще здесь, в столице, живет такой нужной и совершенной жизнью, как вы? Все роются, как кроты, кто высиживает геморрой, кто бессмысленно вертится вместе с колесом какой-нибудь машины, кто, осатанелый, следит за поплавком своего рубля, и лишь вы один в этом гнусном городе живете праведно

в законах движения, вы — тот праведный Лот, из-за которого пощажено это скопище потерявших корни людей. Полноте...

\* \* \*

Это было в городе Петрограде.

Свергнув вниз бронзовых воинов с германского посольства и утопив их в Мойке, столица зашумела «Асторией». В витрине фотографии на углу Гольшой Морской были выставлены новые портреты царской семьи.

Люди обростали защитным и черной кожей. Появились земгусары.

В биллиардную на Забалканском приходили теперь завсегдатаи ея, внезапно покрупнев и покруглев бритым литом, уже сменив студенческую тужурку на военный китель, и Казимир Казимирович неизменно встречал их фразой:

— О, и вас уже забрали! Боже ж мой, что это делается... Но, желаю вам быть пулковником. И прошу взять до внимания, что для господ офицеров у меня особая скидка.

С фронта приезжали созревшие в страданьи люди, оттуда легла красная тень. Героем дня стал раненый офицер. На лица пал отпечаток неугасимой жадности к жизни, как-будто злоба войны заставляла больше ценить и больше любить курчавые дни ея.

Женщины стали доступнее и в жизни заметней.

Ставки крупней, игра азартней. Дима за полгода выиграл целое состояние.

При виде военных с их мужеством, подчеркнутым осанкой, формой и налетом грубой прямолинейности, Дима испытывал живой рост зависти и всегдашней отчужденной печали: жизнь, покрепчав, проходила мимо. Каждый раз Дима вспоминал болезненную улыбку, с которой показал свое хилое тело врачам у воинского начальника, и это презрительное безмолвие, с которым его забраковали.

Поливанов же, укрывшись в санитарную форму, рассуждал:

— Конечно, война—изумительный пример движения, сведенного к единству. Но, увы, оно вычислено и взвешено на бирже в долларах и фунтах стерлингов. Желал бы я видеть, с каким кляпф-штосом влетит чей-то шар в угол, когда эти массы людей, вызванных к движению, поймут, что стоит лишь изменить направление и все полетит к чорту... Вы простите, поручик, это лишь частная беседа под сводами храма движения. В моих статьях я не имею возможности касаться этого.

Но поручик прощал. Поручик, одевши погоны, сам переставал чувствовать себя человеком и жадно хватался за все, что, казалось, возвращало его в привычное это звание.

Казимир Казимирович говорил:

— Бисмарк—это же голова! Вильгельм— это же д'ябэл! Один начал, другой кончил. У нас, знаете (голос понижался до шопота), в верхах не все благополучно: все фоны да бароны...

Казимир Казимирович верхним чутьем угадывал настроение своих клиентов.

В бильярдной все чаще вспыхивали политические споры. Однажды дело кончилось арестом, и лишь много времени спустя стали возвращаться участники его, уже с фронтов, уже полукалеками...

Только гвардейцы вносили с собою иной дух, иные речи.

Но Дима играл со всеми равно, не делая выбора. Однажды он с удовольствием обыгрывал целую ночь подпольщика, волей судеб отсиживавшегося в бильярдной, лстя ему, хваля отвратительный его удар. В другой раз хохотал над пьяной компаний из двух гвардейцев и юнкера Николаевского училища, вломившихся в бильярдную.

Гвардейцы, с трудом держась на ногах, упорно проигрывали смеющемуся Диме в бутефон; юнкер, оглушенный вином, сначала дремал на стуле, а после, шлепнувшись на пол, раскинув руки и ноги, захрапел густым, тембристым басом...

Безуспешные свои попытки привести его в чувство закончил маркер Федор следующей фразой:

— Они в роде как дохлый шар, который висит над лузой—как его ни ткни, он сам падает.

Дни проходили все более ускоренным бегом. В столице меньше продуктов, больше калек, очереди за хлебом, вереницы раненых.

Подшло время «глупости или измены», распутинского кукиша, полиция обучалась стрельбе из пулеметов, «ком войны катился, явно уже управляемый лишь собственной своей тяжестью».

Дима стал больше гулять. Ему доставляло удовольствие чувствовать под ногами погрязневшие теперь соты торцов. Столичная улица, посеревшая и опустившаяся, таила в себе что-то необыкновенное, как-будто сбрасывая с себя довольство и порядок, вынашивала она небывалые вещи, наполняясь предчувствиями и ожиданиями бунтарского материнства.

В студеной мгlistый день увидел однажды Дима, проходя по Измайловскому проспекту, солдат, занятых рассыпным строем. Они лежали на животах, шелкая затворами винтовок, в сапогах с недомерками-голенницами, в молескиновых шинелях летнего образца, в суконных защитных варежках. Один из них, улучив минуту, когда отошел офицер, закутанный в бекешу, отороченную серым каракулем, снял варежку, и синей, сочащейся кровью рукой вытер кровь с лица. Офицер, впрочем, тут же вернулся и вlepил ему еще два пинка бурковым сапогом. Дима, хрустнув пальцами в карманах ильковой шубы, подошел к хвосту первой попавшейся очереди к какому-то магазину и, по временам взглядывая на продолжавшееся учение, продвигался медленно вперед. Попав, наконец, в магазин, он понял, что очередь — за сахаром и купил себе положенные три фунта. Что делать с этой покупкой, он не знал.

С тех пор любопытнейшими глазами смотрел Дима на все, что творилось вокруг: на парады гвардейских и матросских частей, на

посольские автомобили, на кучеров собственных выездов, носивших на кушаках над толстыми своими задами обращенные к седоку часы. С изумлением наблюдал он теперь женщин. К ним всегда относился Дима очень издалека и очень ласково, как к детям, которых любят, но не умеют к ним подойти. За ласковостью его скрывалась пугливая робость, выливавшаяся в наружное отчуждение, удалявшее, вычеркивавшее из его жизни тех женщин, к которым мог бы он испытывать не одно лишь равнодушие. Теперь вдруг почувствовал он огромный интерес и уважение к ним, раскрашенным, крикливым и шумным.

В кафе Андреева на Невском однажды задумался Дима о той сцене взятия крепости Гермозильо тремя храбрецами, которую не дочитал он, прервавши чтение на самом интересном месте. Предприятие это безумно, но крепость будет взята, это Дима знал и переживал теперь предчувствие замечательного подвига, которому он будет трепетнейшим свидетелем. Роман Эмара лежал у него в кармане. Задумавшись, рассматривал он припудренную, взбитую, как сливки, толпу, оставив нетронутой лежавшую на столе сдачу. Через плечо его протянулась ручка, затянута в дешевенькую лайку, и, проворно скомкав хрусткую трехрублевку, исчезла.

Оглянувшись, вспомнил Дима, что в крикливом этом и злобном месте нетронутая сдача считалась условным авансом; увидел девушку с чуть нежно и порочно измятым полным лицом под завитыми русыми волосами и, потеряв нить своих мыслей, улыбнулся растерянно.

Девушка, порывшись в сумке, вытащила пудреницу и, обмахнув пуховкой лицо, рассматривая себя в зеркальце, сказала:

— Я вчера осталась без кавалера и задолжала вон тому идолу,— кивнула в сторону официанта.— Можно сесть за ваш столик?

Кафе жужжало, горело электричество, несмотря на то, что был еще день. Кафе, спрятанное в длинных зеркальных подвалах, хотело жить только ночной жизнью.

Дима спросил пирожных, кофе и с удовольствием смотрел, как девушка с толком, со знанием дела выбирала миндальные и кремовые, хрустя свежими ровными зубами. Откинувшись затем, стала болтать о том, как кутила она на прошлой неделе с морским летчиком, о том, что с фронта мужчины приезжают, как бешеные, и что лучше всех все же кавалеристы. Закончила:

— Ну, что же, поедем ко мне?

Дима болезненно подумал, как рядом с нею, стройной и мягкой в осеннем пальто, резко выделится его горб, сразу сжался и покачал головой. Она внимательно посмотрела на него и спросила:

— Не нужно,— может быть, после?

Порывшись в сумке, она вынула карточку и дала Диме. На ней стояло: «Наташа Оглоблина» и адрес—где-то на Охтенской стороне. Дима спрятал карточку в карман, но этот жест ему сказал, что прячет он вместе с карточкой еще полгода или год, и, внезапно побледнев,

он решил ехать тут же. И когда он расплатился, а она поняла, что он согласен, то улыбнулась очень просто и счастливо.

Эту улыбку наблюдал Дима всю дорогу, пока они ездили за коньяком, пока лихач мчал их на Охту.

Комната ее была невелика: половину занимала огромная никелированная кровать, покрытая алым атласным одеялом, напротив стоял небольшой ковровый диван с парой таких же кресел и овальным столом. Сбоку—зеркальный шкаф.

— Это все мое, — сказала Наташа с легкой гордостью, — кроме шкафа,—шкаф хозяйки. Я уже год как ушла из дома.

Дима понял, что дом не был родительским.

Радиаторы излучали темное тепло. Пока Дима раскупоривал бутылки, Наташа обернула лампочку, спускавшуюся с потолка, красной кисеей и заколола булавками плотные занавесы на окне.

Когда она села, Дима уловил ее взгляд, быстро оглянувший его горбатую спину и отвернувшийся, остановившийся на его прекрасных печальных глазах. Тут она улыбнулась снова своей нежной, порочной и простой улыбкой, а Дима с этой минуты почувствовал себя необыкновенно легко и уютно, сразу поверив, что она умеет простить все тягостное и ничего не хочет, кроме того, что есть.

Наташа, одним укусом закусив пол-яблока, села к нему на колени и прижала его лицо к своей пахнущей пудрой через тонкое полупрозрачное платье груди. Но, заметив, что его детски мягкие руки, обнимая ее, спокойны, а он сдержан, не стала навязчивой и ушла снова на диван.

Здесь она, занявшись собою, стала пить, опять с толком, с видимым знанием вин и алкоголическим смакованием. Опускала в коньяк очищенные ломтики груши и маленьким языком и губами обсасывала их раньше, чем проглотить. Мало-по-малу пьянея и раздеваясь медленными, величественными движениями, откинулась на спинку и из полной рюмки, ежась и щекотливо смеясь от холода, полила свой голый живот коньяком,—коньяк сбежал тонкими струйками вниз к ногам.

Дима пил мало, курил голландские слабые, пряные папиросы, голова его слегка кружилась от запаха разлитого спирта, он смотрел на Наташу и слушал ее несвязную болтовню, ее подчас грубые воспоминания. Он решил, что вот об этих женщинах с любопытством и подавленной завистью думают другие недаром,—среди скандалов и насилия испытала не раз Наташа. то, о чем лишь мечтают другие: звериную страсть, усложненные пороки, жуть и аромат преступления.

Наташа, побледнев от вина, что стало заметно даже при розовом свете, теперь уже совсем нагая, качаясь, разгуливала по комнате, вертясь перед зеркальным шкафом, касаясь грубоватым своим телом холодного зеркала и вздрагивая.

— Теперь, когда у меня своя квартира, я не люблю скандальных гостей, — говорила она, — я люблю таких, как ты, а если хочешь кутить, — едем в дом... Ты не скучаешь, миленький?

— Нет, — отвечал Дима, выжимая в рюмку лимон.

Вдруг Наташа, подойдя к столу, налила полный стакан коньяка и, залпом выпив, сказавши — На! — бросилась в кресло. Здесь она быстро сдала. Побледневшее ее лицо стало тоньше и потеряло бесстыдство, крашенные губы разрезали его тонкой счастливой чертой, а полузакрытые глаза, казалось, не смотрели, а слушали о каких-то невероятных желаниях.

Дима заботливо помог ей перейти на постель и, уклонившись от ее рук, оставил ее там в раскинутой позе, покрытую легкой испариной и уже совсем обессиленную. Сам же вернулся в кресло и, вытянув ноги, вынул из кармана и развернул роман Эмара на недочитанном месте.

Развязка близилась. Освободитель Соноры граф де Прэбуа Крансе, заключенный в цитадели, ожидал своего последнего часа. Между тем, выручая, Валентин Гиллуа с Анджелой и другом своим Курумиллой отважно готовили побег... Сразу захваченный повествованием, Дима, волнуясь, вчитывался в строки. Несправедливость судьбы к великодушным заговорщикам так сильно угнетала его, что он готов был бросить книгу, не дочитав. Но в нем жила еще надежда на удачу, хоть в то же время Дима знал, что Сонора не стала свободной. И когда граф де Прэбуа Крансе мужественно встретил смерть, — Дима больше не мог: он захлопнул книгу и застыл в глубоком переживании сочувствия и невыразимой печали. Личность Крансе всплывала перед ним во всем своем недоказанном, но таком вероятном величии. Любовь донны Анджелы, преданные друзья, измена гасиендеро, предатель испанец, крушение...

Дима вздохнул. Дымка вымысла и фантазии колыхалась вокруг него, заслоняя окружающее. В этом привычном мире мысли его были невесомы. Легко думалось обо всем. Было несомненно, что есть в жизни герои, что ими движут благородные и великодушные цели. И Дима переставал ощущать себя преодолевшим четырех классов гимназии горбатым недорослем, отверженным завсегдатаем биллиардной, а становился незаписанным участником всех этих прекрасных походов в диких девственных странах, сообщником тайных их планов, судьей жестокости, преступления и насилия...

Наташа шевельнулась, и Дима растерянно оглянулся. Все та же счастливая улыбка блуждала на ее лице. Это разрезало сразу его мысли, и они, как побеги, привитые к иному стволу, налились земными крепкими соками. В ее улыбке было такое веяние жизни и простоты, в Диминой душе столько мечтательного доверия к ней, что все это казалось вне действительности, каким-то краем присутствовал образ донны Анджелы, ушли вся робость и отчужденность бесследно. Когда же она протянула руку, незнакомая сила подхватила Диму. Покачнувшись, он встал, пошел к ней и прожил с ней безвыходно два дня, причем Наташа, просыпаясь, пила и целовалась с отражением своим в зеркале, а он курил и перечитывал начало и середину романа.

\* \* \*

Третье утро пришло резко, как барабанный бой.

В квартире кругом шумели и хлопали дверьми. Наташа, похмельная и растрепанная, едва одетая, где-то в коридоре громко тараторила с хозяйкой. Дима думал, что нужно, наконец, домой, представлял себе ироническую улыбку матери и чувствовал, что стал теперь иначе ценить и жизнь, и себя, и военную злобу.

Вернулась Наташа другой, — оживленной и торопливой.

— Слышал? Там на Петербургской фараонов бьют. А они с чердаков отстреливаются... — бросала она скороговоркой, холодной водой умывая свое слегка отекавшее лицо и тело до пояса. — Пойдем, миленький... Ты пойдешь?..

Дима вздрогнул и быстро, как-будто застеснявшись прихода неожиданного гостя, обвел глазами всю беспорядочную комнату, заспанную кровать, бутылки на столе, пепельницу, полную пепла и окурков. Он мгновенно оделся и, оглянувшись еще раз, заметил на столе раскрытую книгу Эмара, захлопнул и положил на окно, с удивлением поймав себя на мысли, что он еще вернется сюда.

На улицах было все по-новому. Дали не прятались за скукой расстояния, и широкие петербургские перспективы раскрывались с непонятной откровенностью. Стал виден воздух, обострился смысл существования каждого дома, каждого камня. Дима бежал с Наташей под руку, охваченный неясным огромным ожиданием и сочувствием к тому, что смутно угадывалось в уличной тишине, разрываемой любопытными и возбужденными прокриками бегущих людей. Что-то большое и незримое металось по улицам. Дима искал в каждом встречном ответа, смотря в лицо, в глаза, и бежал все дальше...

Вот по торцам загремела влекомая, как добыча, железная вывеска полицейского участка. Туда, откуда, подшвыривая ногами, бесцельно влекли ее, бросился Дима...

Перед домом стояла небольшая толпа. Окна участка были разбиты. Вороха бумаг и растрепанных дел летели из окон второго этажа. И в первый раз увидел Дима алый флаг, не колеблемый в руках нестройной толпы, но твердо, неподвижно укрепленный на камне хмурого здания.

\* \* \*

Только через неделю попал Дима опять в бильярдную. Его встретили, как воскресшего. Дима, отдохнув от кия, играл вдохновенно и пылко, развернув весь блеск и совершенство своего удара.

Поливанов после двух сухих кричал петушком:

— Нет, вы подумайте: он был полубогом, а вернулся богом. Почему вы играете триплет, когда у вас на ударе прямой?

Но Димочкин триплет ложился на сукно безупречно, как упавший чертеж.

— Вы помните, конечно, о юноши, — потирал Поливанов свою плешь, — как рады были математики, что пчелы в постройке своих сотов приблизились к математическому решению этого вопроса с точностью в углах до двух минут градуса. И как пришлось затем Реомюру и Кенигу убедиться, что поправку в две минуты следует вносить не пчелам в постройку сотов, но математикам в логарифмические таблицы. Не рискнет ли кто-нибудь научить Димочку, как сыграть заказанный им круазе в угол? Желających нет?.. Ну-с, тогда вернемся к текущему политическому моменту, сиречь, к вопросу о падении самодержавия. Ваше слово, товарищ маркер!

— Да что ж... Они в роде, как дохлый шар, который висит над лузой. Как ни пхни его — сам падает.

У Федора, как и у большинства присутствовавших, был приколот к борту пиджака красный бант.

Публика шумела, повторяли слухи о новых политических событиях и рассказы о пережитом в разных частях города. Дима слушал, играя, и ему хотелось быть всюду. Теперь по утрам бегал он с молчаливой жадностью, прислушиваясь к разговорам солдатских групп, ходил по залам Таврического дворца то с Поливановым, то под руку с Наташей. В разговорах он не участвовал, но слушал с удовольствием. Только раз, когда разнесся слух о разгроме университета, обмолвился:

— Это хорошо.

На что Поливанов ответил:

— Ого! Вы становитесь сознательнее.

Дима ласково улыбнулся, не возражая.

Бродя по улицам, слушая споры митинговых ораторов и комментарию Поливанова, доказывавшего, что речи—это пустое дело, что важнее всего теперь молчаливая работа, Дима чувствовал, что заведен в тупик. Ему и самому казалось часто, что что-то подкатывает под ноги, какая-то волна разливается повсюду, но митинги все стоят уже по пояс в воде с неподвижной тупостью и все хотят выдержать неодолимый, но ясный напор.

А жадные серые волны шли с фронта и, встречаясь с заводскими, всплескивали вверх, выбрасывая на трибуны и балконы людей с нелепыми выкриками, с нелепыми глазами.

Дима все реже бывал в биллиардной. Он бродил то у особняка Кшесинской, то у дома герцога Лейхтенбергского, бродил без мыслей в голове, наслаждаясь видом высокого зеленоватого весеннего неба, отблесками закатов на зданиях дворцов, ночными кострами на улицах, грузовиками, мчавшимися под стальным ежом оцетиненных штыков, и этой особенной широтой петроградских перспектив. Улицы гремели эхом многотысячных толп; Нева из-под мостов плавила свои вскипающие воды навстречу Кронштадту...

Порою Дима переставал понимать, как это случилось, как могла строгая и размеренная жизнь так невероятно раскочкаться. В нем еще жило чувство, что в жизни нет и не может быть ничего сверхъестествен-



ного, а если и появится что-то чудесное, то стоит вспомнить, что спишь, как сейчас же приходит пробуждение, и вместе с ним постылая скука, единственно достоверная в жизни. И Дима не знал, нужно ли протирать неверящие глаза, или поверить однажды накрепко и зажить так, как если бы случилось, что мир навсегда околдован сном, полным кривой новизны.

Все же в шумящих толпах Дима чувствовал себя одиноким. Порой он ловил себя на том, что, встретив распевающую на ходу толпу, отороченную каймой приплясывающих и весело орущих ребят, начинал и он подтанцовывать, и, лишь заметив это и вспомнив, как всегда в смущении, о своем горбе, спохватываясь Дима и, отравленный, отходил. Легче бывало ему с Наташей. Она, азартная и прямая, всегда с жаром отстаивала тот или иной список, всякий день, впрочем, меняя свои симпатии. Над ней посмеивались окружающие, посмеивался ласково и Дима, но она не теряла задора. А однажды сказала по поводу встретившейся демонстрации:

— Ты знаешь стишки Пуришкевича:

Не видать земли ни пяди,  
Все смешалось: шпики, б....,  
С красным знаменем вперед  
Оголтелый прет народ.

— Тебе не неловко? — усмехнулся Дима.

— Ничуть! Я — жрица свободной любви... Это о вас, о мужчинах... Все вы сволочи!..

И, вырвавши руку, Наташа, разгневанная, подбежала к остановившемуся грузовику, вскочила в раскачивающуюся грудку солдат и уехала с ними. С этого дня не видел ее Дима две недели, тосковал. Наташа с кем-то крутила, а вернувшись, наконец, домой, встретила Диму как ни в чем не бывало, с той снисходительностью, с которой всегда к нему относилась. Но Дима что-то понял и в ближайший же день привез ей столового белья и чайный сервиз. Этим ссора была исчерпана. Дима каждый вечер теперь пил чай у Наташи, а она заставляла принимать всех своих подруг, хозяйничая не без умения, не допуская, чтобы пили лишнее, и сторонясь мужчин.

По утрам попрежнему гуляли. Но, наконец, это Диме наскучило, — к тому же Наташа сорвалась и впала в запой, — Дима опять зачастил в биллиардную.

Там, между тем, еще раз изменился состав игроков. Казимир Казимирович, идя навстречу возросшему спросу, расширил помещение, добавил еще два биллиарда, и теперь сюда стекалась странная публика. Какой-то армянин с ад'ютантскими аксельбантами, бессмысленно и крупно играл, избегая сталкиваться с Димой, ему всегда сопутствовал старик, называвший себя отцом, — Дима, впрочем, был уверен, что родство их ограничивалось братским дележом выигрыша, не столько биллиардного, сколько карточного, за железкой, в номере гостиницы,

среди партнеров, вербуемых в билиардной. Вербовать было легко: в столицу хлынула толпа помещиков, отставных крупных чиновников и прочей шушеры, не привыкшей, чтоб деньги, хотя и последние, залеживались долго в карманах. Их жажду проигрыша обслуживал ад'ютант с папашей и два - три жучка помельче.

Зайдя однажды, скользя рассеянным взглядом по незнакомым лицам, Дима вдруг увидел кудрявого богатыря в расстегнутой синего сукна легкой поддевке, двигавшегося навстречу с протянутыми руками.

— Ага, вот и ты, а мне говорили, что ты сгинул, говорили, что ты комиссаром стал... Сыгранем, что ли?

И Грохотов здоровался долго своей твердой рукой подрядчика, нажившегося на военных поставках. Курчавый черными с проседью кудрями, загорелый нестоличным загаром, хранил он в лице что-то быстрое, цыганское, и теперь, отвернувшись, смотрел на столы с подавленной энергией.

— Ну, товарищи, ну, сукины дети, что понаделали, — шептал он, как-будто в забытьи, как-будто отвечая Диме на какой-то его вопрос. Кий выбрал быстро, одним взглядом оценив прямизну его, а подбросив и поймав, — вес; натирал мелом, ломая, разбрызгивая по полу осколки, и было ясно, что хоть обижен Грохотов смертельно, но имел силы уйти в себя и теперь грозит оттуда, из глубины души, расправиться, когда придет время, по-свойски и подзажать в свой волосатый кулак казнокрада все, что можно будет и что нельзя. Резким взмахом замахнулся он, но ударил осторожно и мягко, слегка лишь разбив пирамидку.

— Играй, Дима, игрушку, бей меня, плута, проиграл я тебе петеньку!

Дима начал нехотя. Его беспокоило что-то; казалось, что беспокоил старик, игравший за соседним билиардом, жилистый и медлительный, почти после каждого удара отходивший в угол прокашляться и плюнуть. С глухим раздражением смотрел Дима, как он целился долго, мешая пройти — билиарды стояли теперь тесновато, — брезгливо рассматривал нечистую одежду старика и желтые тупые ногти его.

Грохотов играл с прибаутками, но прижимисто. Дима, скучая, отыгрывался и стал больше следить за соседним столом, чем за своим.

На небритом лице старика неподвижно стояли глаза, мертвые для всего, кроме расчета; тихими накатами, бессильными, но методичными, обыгрывал он своего молчаливого партнера. Скоро заметил Дима, что не он один заинтересовался стариком: сидя в углу на диванчике, с него не спускал глаз коренастый, лет тридцати пяти, блондин в кожаной, с огромным красным бантом, куртке.

«Должно быть, держит мазу, — подумал Дима. — Но за кого?».

Старик тщательно целился, чтобы положить в среднюю.

— Не влез!.. Подставил я тебе!... — горестно воскликнул здесь Грохотов. — Ну, товарищи, ну, паршивцы - сопляки...

Но Дима вдруг увидел, что сидевший на диванчике блондин встал и, крадучись, подходит сзади к старику. Дима не успел подумать, что это значит, как все об'яснилось: блондин, изогнувшись, наотмашь ударил старика в ухо...

Старик упал на бильярд, схватившись за ухо рукой. Из-под пальцев быстро показалась кровь.

Все остановилось. Сквозь неясный ропот кто-то громко сказал: — Вот это так ахнул!..

Потом все заговорили. Старик все еще лежал на бильярде, блондин все еще стоял на своем месте и, покрывая шум, спросил ясным голосом:

— Ты знаешь, Сеня, за что?

— Знаю, Андрей Терентьевич, — тихо ответил старик не меняя позы.

Тем временем все уже столпились вокруг плотным кольцом. Толстяк с глазами на выкате и красной щекой кричал:

— Ты что же думаешь, на тебя милиции нет? Думаешь — революция, так можно людей в общественном месте калечить? А еще бант нацепил, бандит зуев!..

Блондин стоял неподвижно и спокойно, но тут все заметили торчащий из-под кожаной его куртки кончик замшевого револьверного кобура. Кружок несколько раздвинулся. Блондин же презрительно сказал:

— Вы на меня не кричите, я не собака... Лучше спросите, в чем дело. Сеня, скажи им, замотал ты у меня пятьдесят целковых золотом или нет?

Старик молчал.

Что толкнуло здесь Диму — он и сам не мог понять. Хрустнув пальцами, как тогда, на Измайловском, вытащив из жилетного кармана уже очень редкие в те времена пять золотых, зажав их в кулак, одним движением прорвал он кружок. На миг остановился он перед блондином трепещущий, тщедушный в своем порыве и, сразу разжав кулак, влепил вместе с сухим ударом монеты в его щеку. Золотые рассыпались, слабо звеня... Краем глаза заметил Дима, как торопливо забегали руки блондина по карманам. Не ожидая, не раздумывая, он перехватил кий, и тяжелой, налитой свинцом рукояткой дважды ударил его по голове. Дальше уже нельзя было двигаться: навалились окружающие, кто вмешался в борьбу, кто бросился поднимать золотые, — их разделили, — блондина куда-то поволокли и уже суетился встревоженный Казимир Кизимирович:

— Ради бога, ради бога, без скандалу, без огласки... Ай, что за люде пошли, что за публика, просто быдла какие-то...

Дима стоял дрожа, с остановившимися глазами, со взмокшим лбом...

В бильярдной шумели, оценивая случившееся, старик, обмыв ухо, пришел и с тем же мертвенным видом, так же методически продолжал обыгрывать своего партнера. Грохотов удивился:

— Вот ты какой хахарь! Ну, и Дима... Только понапрасну,—он тебя где-нибудь встретит, товарищек этот. Ты думаешь, у меня руки не чешутся? Но не время сейчас, не время, говорю, играть, дай бог отыграться... И золотые — ты знаешь, какой курс теперь?..

Старик уже кончил партию, выиграв в последнем, и принялся за новую, а Дима все еще не мог успокоиться. Наотрез отказался он продолжать игру, и, когда расплачивался, Грохотов сказал:

— Горяч ты очень. По справедливости, ты мне не проиграл, зря отдаешь...

Тем не менее спрятал пятисотку в бумажник.

А Дима, едва сдерживаясь, накинул пальто и выбежал на улицу. Здесь только, севши в извозчичью пролетку, уткнувшись в угол, зарыдал он тихо и безутешно, как если бы, приложив руку к человеку, лишился он какой-то нужной в жизни чистоты.

\* \* \*

С тех пор только раз поборол Дима свое родившееся отвращение к бильярду. Это было после того, как целый день накануне он провел на улицах с Поливановым, натываясь всюду на разведенные мосты. Группы солдат были как-то замкнуты, недоверчивы, публика немногословна. Видно было, что никто в точности не знал, что делается, все раздражены и хранят про себя догадки и отношение к совершающемуся.

— Давайте плюнем, — сказал Поливанов. — Это не для вас и не для меня. Россия стремится неуклонно к своему Наполеону. Ну и чорт с ней, иначе вас сделают конторщиком. А наше дело, вам — играть на бильярде, а мне — быть толкователем вашего искусства. Мы забыли об этом и лезем на улицу. Ну, вот и дождалось, что улица повернула нам спину. Надо вернуться в материнское ложе искусства, воспитавшего вас. Приходите-ка завтра на Забалканский, да тряхнем стариной.

Так и случилось, что встретились они у бильярда еще при дневном свете.

Со странным чувством взял Дима в руки кий. Тяжесть рукоятки еще живо напоминала о том употреблении, какое неожиданно получила она последний раз. За эти полтора-два месяца Дима несколько утратил технику. Правда, глаз видел очень зорко, рука сжимала кий и двигалась очень твердо, но было ощущение какой-то излишне затрачиваемой силы, несвободы, как-будто приходилось бороться с чем-то вязким, выросшим за это время. Однако, бывшее увлечение захватывало Диму. Он играл напряженно, выравнивая удар, партию за партией.

— Вот видите, — говорил Поливанов, — вам вредно забывать бильярд. Но с другой стороны полезно. Вы как-то созрели за это время. Вся моя чуткость к оттенкам вашей игры подсказывает мне, что вы оставили сегодня ваш мальчишеский задор... Не Наташа ли действует так на вас? Ваша мечтательная пылкость нынче похожа:

скорее на зрелое бесстрашие аргонавта... Хотите я подскажу? Игратьте семерку с выходом под десятого...

И Дима, играя по назначению Поливанова с прилежностью и старанием, вдруг почувствовал желание сыграть какую-то небывалую партию.

Казимир Казимирович, войдя, сообщал всем секрет полишинеля:

— Вы знаете, к Зимнему дворцу подошли броневики... Полно переодетых немцев!..

Кий затрепетал в руках Димы, как струна. Звонко перебежало по столу упругое щелканье шаров.

— Знаете ли, Димочка, что такое причинность? — проговорил Поливанов. — Это — инерция движения. Если движение выражено прямой, математическим рядом точек... Дуплет в середину!.. рядом точек, то положение точки *b* вытекает из положения точки *a*... Может ли *b* не притти?.. Туда же тройку!.. Может,—тут Поливанов лукаво улыбнулся, — если мы помешаем. И это будет покой. Покой — отсутствие и отрицание причинности. Не правда ли?

Публика расходилась, бильярдная пустела. Казимир Казимирович ходил тревожный, предупредил:

— Я закрыл вход, кто знает что може быть. Вы будете играть?.. Пожалуйста, пожалуйста, свои гости... Это просто мои меры, каждый должен быть на своем посту.

Игра продолжалась в пустой бильярдной.

Лишние лампы были погашены. Поливанов, достав из пальто бутылку водки, пил среди игры в углу, в полутьме, закусывая бутербродами, а Дима, забыв о нем, играл как-будто сам с собой, удар за ударом завоевывая гибкость, подавленную было косностью, возвращая былое мастерство.

— Я вас поймал, — сказал Поливанов, ероша редкие на плешине волосы, глубокомысленно глядя на стол. — Давно вы не уделяли мне своего внимания. Конечно, что значит для вас, смелого аргонавта, старый и хилый любитель мудрости и неуловимых, текучих во времени форм движения... Скажите; Дима, как ваша матушка?

— Я схоронил ее на той неделе, — ответил Дима. Голос его взвизгнул в полутьме, и только лишь поэтому пожалев, что спросил, Поливанов наклонился над озаренным сукном, тихо отведя биток к борту.

Дима же, нагнувшись, взмахнул бровью и взглядом измерил положение шаров—точнее взгляда нет ничего в мире,—измерив, ударил с назначением:

— Восьмерку в угол.

Рванулась восьмерка молниеносно, сгорели под нею два аршина зеленого сукна, со звоном врезавшись в лузу, пропал шар и, пролетев пространства, грохоча, взорвался в Зимнем дворце.

— Стоило отыгрываться, — пробормотал Поливанов. — О, смелый аргонавт!

Теперь уже ясно почувствовал Дима, что пришел какой-то пере-лом: удар вернулся к нему. Дима слегка устал, но голова горела, теплые руки чувствовали малейшую неточность, он, почти не целясь, взял партию с одного кия. В окна глухо и упруго ударились пушечные выстрелы — выстрелы с «Авроры», — окна ответили тихим звоном.

Маркер Федор едва успевал ставить пирамидку. Заметив гибельное оживление, охвативше Диму, он сказал с оттенком профессионального уважения:

— Вы, Дмитрий Алексеевич, как дочь пропиваете...

В самом деле, казалось, что это последняя игра. Поливанов только удивленно покачивал головой. Дима, кончая вторую партию опять с одного кия, остановился перед прямым ударом по висевшему над лузой шару. Ему хотелось одним взмахом раздробить вдребезги кий, вогнать шар так, чтобы либо он раскололся, либо отскочила медная обшивка лузы, и тем закончить партию. Он размахнулся и ударил изо всей силы... Шар сгинул, но кий не сломался, а лишь треснул во всю длину, пробковая наклейка отскочила, и первый раз в своей жизни Дима разорвал сукно на бильярде большим прямоугольным клоком, обнажив черный аспид доски.

\*  
\* \* \*

Два дня Дима пробыв в состоянии тоскливого беспокойства, пугливого недоумения перед совершающимся, доходившем до него эхом перестрелок и уродливым преломлением квартирных слухов. По ночам не спалось, он гасил огонь и смотрел в окна, закутавшись в тяжелый оконный занавес. Глубокая осень стыла над черными улицами, Дима вспоминал, как шел он один за гробом матери, как с той поры не оставляет его всеобъемлющее чувство одиночества.

Наконец, он не выдержал: в восемь утра уже оделся и побрел по туманной сумеречной Лиговке к Наташе. Еще горели фонари. Дома, как корабли на якорях, недвижно сырели по сторонам. Около Знаменской площади перед под'ездом гостиницы стоял одинокий извозчик. Первый человек, которого увидел Дима, был Грохотов, укладывающий чемоданы в пролетку. Дима несказанно обрадовался ему.

— Куда?

— В Москву, милый, в Москву, — ответил Грохотов весело, — она им, матушка, покажет...

— Кому?

— Жидам.

Дима повел удивленно глазами.

— Ну, да. Ты не знаешь, чем кончилось? На, читай...

И Грохотов вынул торжественно из кармана листовку Временного Совета Российской республики с призывом о сплочении вокруг комитетов спасения родины и революции.

— Понял?

Дима понял и взволновался глухим, томительным волнением. Сразу встала давно подавляемая мысль — что делать?

— Хочешь, едем со мной, — предложил Грохотов. — Вместе веселее.

Дима раздумывал, а он, схватив его за рукава, шептал горячим шопотом, поглядывая по сторонам:

— Правительство арестовали, блатных из тюрем выпустили. Банки прикроют, на-днях прикроют. Все, что потом-кровью добыто, — народное, говорят, достояние... Ах, черти полосатые!.. Ты деньги где держал? В банке, небось? Молодо — зелено... Ну, как же, едем? А то, того гляди, поезда станут.

— Я не один, — сказал Дима нерешительно.

— Чудак, ты что же думаешь, мы навеки, что ли? Через неделю с хоругвями, с иконами, с колокольным звоном вернемся... Кто у тебя, жена?

— Допустим.

— Женщина? Так бери с собой. Чем больше — тем лучше, веселее. Ты здесь живешь недалеко?

— Она на Охте.

— Далеконько... Ну, ладно, садись, доедем...

И, зайдя ненадолго к себе, заперев квартиру, Дима уже ехал на Охту. Грохотов хозяйственно оглядывал улицы, без умолку говорил, желая казаться веселым, заразить своим весельем. Он напоминал цыгана, дирижирующего хором, с печальным видом выкрикивающего зажигательное: эй, ходи, молодая!... Какие-то документы из Военно-промышленного Комитета помогли им сойти за снабженцев, возвращающихся на фронт, и избежать подозрительности патрулей.

Наташу, конечно, пришлось подымать с постели.

Она не удивилась.

— В Москву? Ну, что же, только ненадолго, у меня здесь мебель... Плагья тоже не возьму.

Она зевнула и стала одеваться, не стесняясь присутствием Грохотова, разглядывающего ее мимоходом, но с любопытством.

Назад ехали на том же извозчике, Наташа на коленях у Грохотова. Улицы все еще были пустынные, но на Николаевском вокзале было суматошно и тесно. Крупная взятка открыла им путь на перрон. Поезда, отходившие в Москву, были переполнены. Билетов нельзя было получить, да, повидимому, огромное большинство пассажиров ехало по документам. Тут же составлялись воинские эшелоны, подавляющее количество суетившихся и оравших людей были солдаты и рабочие-красногвардейцы.

Была единственная возможность уехать — это попасть в международный вагон. Но он свирепо охранялся проводником.

Тут выручил опять Грохотов. Необыкновенная легкость, с которой он умел дать взятку, соединялась в нем с правильно взятым тоном, напористым и шутливым. Проводник уступил свое купе, и они уселись

втроем в узком пространстве, стесненные обилием каких-то корзин и чемоданов.

Поезд тронулся. Грохотов, немедленно вытащив из чемодана водку, угощал проводника и Наташу. Выпил и Дима, думая все о том же: что Грохотов из кожи лезет, чтобы подогреть настроение, неуверенное и пустое внутри.

Было жарко. Наташа, захмелев, визжала; Дима, не захмелев, чувствовал головную боль; Грохотов, усталый, молчал, но и сквозь молчание проглядывала в нем та же неугасимая обида, та же незаживающая надломленная энергия.

Коридор вагона был набит пассажирами. На станции не выходили, лишь из окна наблюдая мелкое оживление, тревожную деловитость, вызванную приходом поезда из забурлившей столицы.

Когда настал вечер, — зажгли свечу и стало ясно, как тесно и неудобно будет спать, Наташа стала зла, ругалась — зачем и для чего в Москву, на чорта уехали, лучше бы сидеть в Питере и не рыпаться. Грохотов затеял с ней жаркий спор, а Дима, крепясь, подумал в первый раз отчетливо: в самом деле, что делать в Москве? Но поезд несся все дальше, купе же было островком света и тепла среди пустынной жути проезжаемых зимних полей, спор укачивался мало-по-малу, и Наташа, склонив голову на плечо Димы и уснув, пригвоздила его к дивану.

Ночью, разбудив всех, вошел смешанный контроль, проверявший документы и билеты.

— Кто такие? — не доверяя грохотовским удостоверениям, спрашивал в матросском бушлате увешанный гранатами минер.

Грохотов пространно объяснял, Наташа, проснувшись, зло прервала:

— Вы что ж, мужчина, не видите? Спекулянт, проститутка и бильярдный игрок... Из Питера в Москву от революции дерут... Дальше что?

Повидимому, этот ответ удовлетворил минера больше, чем грохотовская запутанная речь. Вернув документы, мельком взглянув на багаж, захлопнул он двери, и до утра их никто не тревожил.

Солнечный день глянул в окно, как-будто хотел сказать: ну, милые, как живете? Под солнцем зашевелились вяло пассажиры в купе, как дождевые черви на горячем сухом песке перед тем, как попасть начинкой на рыболовный крючок. Наташа начала с пудры. Эта будничная забота ее наложила отпечаток скуки на весь день. Только часам к пяти, подъезжая к Клину, заволновались.

— Ну вот, скоро и Белокаменная, — приговаривал Грохотов, увязывая чемоданы.

Сердце Димы дрогнуло. Там, где остановится поезд, ждет его то, что было так невозможно в Петрограде, то, что было так пропущено — осуществление каких-то надежд... Куда-то придет он и скажет: дайте мне оружие. Его ни о чем не спросят, не удивятся, дадут тяжелую



и жирную от смазки винтовку, дадут тяжелый подсумок, и он, легко вздохнув, победив и забыв свою робость, сольется, наконец, с неповторяемыми днями, с массой этих людей, по-своему правящих путями жизни... Вот что делать.

Поезд подошел к Николаевскому вокзалу. Сдав лишние вещи на хранение, с легким ручным багажом они вышли на темную площадь, изрезанную окопами. Грохотов только тихонько засвистал, поглядывая на красногвардейские патрули у костров.

Публика шла обходом, переулками. Подчиняясь общему молчаливому потоку, двигались и они.

— Началось и здесь, — угрюмо заметил Грохотов. — Надо на Тверскую, обязательно на Тверскую, там у меня в «Дрездене» свой человек, от него узнаем, как и что.

На Тверскую, однако, попасть не удалось. Пришлось бесконечно колесить, натываясь на заставы, обходя проволоку и окопы. Наташа отказывалась идти, надо было подумать о ночлеге.

Гостиницы были переполнены. Лишь с трудом разыскали они где-то в меблированных комнатах холодный нетопленный номер. Улеглись сразу, укрывшись шубами, а когда утром проснулись, во дворе ржал пулемет...

— Ну, скорей, Дима, скорей, — торопил Грохотов, умываясь и фыркая, — время не ждет... Волка ноги кормят!

Холодная вода придала Диме свежую бодрость. Этим утром, этим днем хотелось начать твердый ряд дней. Еще вчерашний вечер покончил с остатком неуверенности, впереди было все ясно, Дима уже чувствовал себя с краю вертящейся воронки водоворота; движение, пока еще медленное, захватило его, но скоро всосет его в середину, и Дима отдавался ему с радостным чувством. Жизнь как наново пришла и была дана без всяких условий.

Уходя, Грохотов на минутку остановился в нерешительности, не оставить ли за собой номер.

— Мы не вернемся больше, — сказал Дима, сжигая за собой корабли.

Им удалось быстро выйти из района перестрелки, и они очутились в спокойных сравнительно местах Цветного бульвара.

В тени было морозно, но с крыши капало. Дима улыбался навстречу солнцу и вел Наташу под руку, нежно поддерживая, жалея, что она с ним, что вытащил ее из Петрограда в сумятице отъезда. Но она, видимо, была довольна, чувствуя себя гостьей в принаряженном под солнцем городе. Дима же твердо хотел быть хозяином.

По дороге наткнулись на сцену разоружения офицера. Он стоял, прижавшись спиной к стене, с поднятыми руками. Это было уже у Дмитровки. Впереди все громче хлопала перестрелка.

— Дальше не ходите, — пугливо, нараспев предупредила какая-то старушка, — пули летают...

Страстная, однако, была полна народу. Военных не замечалось, перестрелка звучала где-то в стороне, и публика расплзлась, как тесто, вылезшее из квашни, по Тверской в сторону пустынной Скобелевской площади, где виднелась цепочка людей возле поблескивающего на солнце орудия.

— Пойдем, может, проберемся, — сказал Грохотов, воровски оглянувшись по сторонам.

Наташа взвизгнула щекотливо и схватила его за рукав. Они стали медленно продвигаться среди толпы, становившейся все реже и реже. В конце, где открывалось свободное пространство торцов, стояло двое одетых в кожаные куртки людей, один из них громко убеждал:

— Товарищи, осадите назад. Назад!.. Говорят вам, здесь стрельба. Хотите, чтоб в вас попало? Чудное дело: мешаетесь зря... Ну, что смотреть? Не видели, как людей убивают?..

Но публика, успокоенная тишиной, не верила и постепенно оттесняла патруль в сторону Скобелевской площади.

Вдруг сверху грохнул выстрел. Патруль моментально исчез, и публика шарахнулась. Сбоку из переулка лопнуло еще два выстрела. Толпа с воем хлынула к Страстной. Давя друг друга, бежали с выкаченными глазами еще за минуту до того спокойные люди.

Дима сразу потерял Наташу и Грохотова. Напрягая все мускулы тела, он остановился, прижавшись к стене углового дома. Улица быстро опустела, и он был уже на виду с двумя-тремя растерявшимися, отставшими зеваками. Со стороны Страстной застучал пулемет, она также быстро опустела, оставив лишь точки каких-то людей, западавших за тумбы и фонарные столбы. Сквозь грохот выстрелов вдоль по улице протянулось пение и свисты, как-будто серпантинные ленты, свистя, разворачивались вместе с полетом пуль.

— Уходи отсюда! — крикнул, перебегая вдоль по стенке из под'езда в под'езд, какой-то солдат.

Дима ткнулся вслед за ним, но двери были уже наглухо заперты. Он остановился, переводя дух, собирая силы для того, чтобы перебежать за угол в переулок. Что важнее всего казалось Диме, — это не слышать грома выстрелов, тогда, казалось, не попадет. Он бросился, очертя голову, и невредимый проскочил в Леонтьевский переулок. Здесь, осмотревшись, прижимая руку к вздымавшейся груди, он двинулся осторожно, вращая во все углубления стен, попадавшие по пути.

Пройдя так три-четыре дома, остановился Дима в сравнительно глубокой впадине ворот, собираясь отсюда двинуться уже в открытую по тротуару, как вдруг переулок сразу ожил перестрелкой. Кто и откуда стрелял, Дима не мог сообразить. Он слышал выстрелы с разных сторон, звон разбитых стекол и, прижавшись в угол, не находил в себе силы высунуть голову.

Внезапно, протоптав тяжелыми подошвами, в ворота влетел портупей-юнкер с винтовкой, а вслед за ним — полковник с наганом

в руке и биноклем, висящем на ремне, перекинутом через шею. Второй юнкер, пробитый пулей, сразмаху упал на тротуар, не добежав. Ноги его мерно колотили камень, руки трепетали, и он перевернулся навзничь, стихнув, открыв залитое кровью горло.

— Ты что здесь делаешь? — строго крикнул полковник, но, поняв все по виду Димы, не ожидая ответа, отвернулся и выглянул наружу. Сразу грохнули выстрелы, и отбитая штукатурка брызнула о листовое железо ворот.

— Прохвосты! — отшатнулся полковник.

Дима разглядывал его сизый затылок, поросший короткими, с сильной проседью, волосами. Полковник повернулся лицом, худощавым, небритым уже несколько дней, усталым, но молодо выглядывшим под румянцем мороза.

Затем взгляд Димы отяжелел и склонился книзу. Там, на тротуаре, рядом с убитым лежал предмет, привлечший его внимание, — винтовка. Он отводил глаза, но они упорно возвращались к этому стройному телу поблескивавшего оружия. В его очертаниях не чувствовал Дима ни тяжести, ни существа свойств, а лишь угадывал таинственные силы, дающие вооруженному человеку осуществление огромной власти над жизнью другого. Соблазн породниться с ними овладевал им безраздельно; он чувствовал себя остро, как никогда, судьей людских дел, вершителем судеб этого куска жизни, сгустившегося в уличном бое на Леонтьевском. И в эти секунды, когда жизнь самого Димы получала последние ускорения, все разворачивалось и росло так быстро, что каждый следующий миг Дима становился новым человеком, совершенно отличным от прежнего.

— Дайте винтовку мне, — вдруг попросил он, наполнившись удивительной решимостью.

— Что? — не расслышал полковник.

— Дайте винтовку мне и скажите куда стрелять, — крикнул Дима с нарастающей холодной бодростью.

Полковник испытующе взглянул на него, на дорогую шубу, на котиковую шапку.

— Пожалуй... Дорога каждая помощь... И господь вас храни!..

Быстрым движением он подтянул откатившуюся по тротуару винтовку убитого. На рукаве протянутой руки полковника виднелись четыре нашитых полоски галуна — знаки ранений и контузий.

— Цельтесь по окнам серого дома на той стороне, они там. Вы штатский?.. Заряжать умеете?

— Умею, — отрывисто сказал Дима, схватив винтовку.

Он выдвинулся слегка и, увидев в окне второго этажа человека в папахе и бекеше, вложил приклад в плечо. Человек, высунувшись из окна, целился маузером в сторону. Дима спустил курок, и маузер тут же, закачавшись, упал, а человек свесился с подоконника вниз головой и руками, как-будто ему подавали что-то снизу, и он, протянув руки, хотел достать и поднять к себе.

— Молодцом! — крикнул полковник. — Я думал — вы совсем шляпа.

Собственный выстрел и оглушил Диму и отдал сильно в плечо. Дима отшатнулся, ошеломленный выстрелом, результатом его и терпкой похвалой полковника.

«О, смелый аргонавт!..» — вспомнил он с ужасной душевной болью.

Но винтовку крепко держал в руках и ни за что на свете не отдал бы ее...

Вдруг Диме захотелось чихнуть. По старой привычке он поднял руку и сильно нажал верхнюю губу — по правилам бой-скаутов... Действительно, желание прошло, Дима не чихнул.

Прижавшись к стене, он мучительно резко переживал сразу и одиночество свое, и отголосок огромного сострадания к затерявшейся в толпе Наташе, и познанную в этом сухом прыжке винтовки, вложенной в плечо, технику уничтожения...

Между тем, кругом продолжали беспорядочно и настойчиво хлопнуть выстрелы. К глазам Димы тянулись лучи от всех пятен, от всех домов, равно ценные и зримые сразу. Так краем глаза заметил он на невысокой крыше кошачьими движениями пробежавшую фигуру солдата с красной повязкой на рукаве, но продолжал, несмотря ни на что, в отдельности как-то созерцать всю совокупность того, что было доступно наблюдению, не переставая в то же время следить за фигурой. Винтовка Димы была пуста, и он дрожащей рукой вложил новую обойму, — пули показались ему черными... Когда же солдат припал к трубе, Дима опять поднял винтовку, взгляд его вдруг заострился на куске серого сукна, видного из-за кирпича, он измерил положение взглядом игрока, — точнее этого взгляда нет ничего в жизни, — и подвел мушку. Солнечный отблеск играл на ней, она, поднимаясь, должна была вот-вот заслонить серое пятно, но в какой-то, ничем, кроме собственного чувства, неуказанный миг Дима спустил курок — солдат развернулся во весь рост и упал на крыше за трубой.

— Ааа... — завыл потихоньку Дима, осматриваясь.

Теперь только для него стало ясным все, что он сделает сегодня. Он улыбнулся, сначала искаженно, потом в движении своих губ почувствовал что-то напомнившее ему Наташу, почувствовал, что улыбка его проста и счастлива, как у Наташи...

Тем временем, сделав перебежку, в ворота с новым грохотом ворвались юнкера и поручик с забинтованной головой.

— Двое вперед, за мной! — крикнул одушевленно полковник, взмахнув наган. — Остальные прикрывайте! Чаше, чаще стреляйте, господа, надо показать, что нас здесь много... За мной!

Юнкера, бросившись на землю, стреляли лежа. Дима, припав на колено, выстрелил по оконным стеклам. Полковник бросился вперед.

Дима проследил его путь до следующих ворот и, когда он оглянулся, готовый скрыться, Дима, рванув винтовку, выстрелил в него



# Ночь на катке

ОСИП КОЛЫЧЕВ

Детство золотится  
теплыми баранками.  
В ротик  
так и просится леденец звезды.  
...Кто же это, кто же  
расчудесными рубанками  
Выстругал сегодня  
Патриаршие пруды?  
Пригоршнями звездными —  
за версту в окрестности —  
Наискось швыряется  
разнузданная ночь.  
Золотая путаница!  
Сутолока!  
Бестолочь!  
Как вас пересилить,  
как вас превозмочь!  
По льду —  
перекатами —  
шелковое шарканье...  
Щебетом и свистом  
исписан лед...  
Каблучки сшибаются,  
чокаются чарками,  
Сходятся — расходятся,  
вразброд — вразлет.  
Что же это, в самом деле?  
Что же это?..  
(Скажете:  
— Чудо...  
Я не верил и не верю в чудеса...)  
Но, куда ни кинешься, —  
кружатся ряженые,  
С бронзовым бряцанием  
Брянские леса.  
Косолапо топают  
кряжистые увальни.  
Пращуры оврагов,  
правнуки болот.

Пригоршнями звездными,  
звездными раструбами  
В эту полночь ломится  
Патриарший лед.  
С залихватским посвистом,  
на коньке серебряном  
Вон —  
шмыгнула юркая Москва-река.  
— Брянские угодия  
с лосями и вепрями,  
Провалитесь в прорубь  
распроклятого катка!..  
.....  
Как ты затесалась  
в этот хвойный хаос?..  
Поцелуем искрится  
девичий салют..  
Но, пока не поздно,  
с бега задыхаясь,  
Каблучком расписывайся:  
«Я тебя люблю».  
Кровь твоя —  
шипучка,  
пенистая, пуншевая,  
Вертится пунцовая  
вензелями вен.  
В рукавичках,  
в капоре,  
в ботах,  
в шубке плюшевой,  
Ты, моя затейница, —  
бескорыстный плен.

.....

## СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

Словно друг, сверчок за печью  
Тянет разговор...  
И глядит по-человечьи  
Маятник в упор!..

От тревог и неудач уж  
Желоба на лбу...  
Что ты плачешь, что ты плачешь  
На свою судьбу?..

От окна ложится тенью  
С неба синий свет...  
След далекого виденья...  
Память прежних лет.

От твоих слез сердце сжалось  
И стучит в крови...  
Значит, мне еще осталась  
Жалость от любви?!



# Последняя роза

О. ФОРШ

## I

**П**ред'являю вам, граждане судьи, свидетельство ветеринарного врача. По ему видно, что лошадь моя неработоспособная. Какой же я, говорю, вам кустарь, когда моей этой лошади восемнадцать лет, и она у меня в роде на социальном обеспечении? Вот и спросить, говорю, вас: а на что вы в вашем обвинении теперь облокачиваться будете?..

Это опять он, тот извозчик. Пока вез до вокзала, все гугнил о своей тяжбе за лошадь. А вчера снились наши курортные проститутки с розаном на груди. Каждый вечер на том же углу они предлагали сонными лунными голосами, как отбывая повинность:—Интересуетесь переночевать?

Да, пора домой, в наш никому непонятный, необычайный, свой быт. А здесь, в вагоне, такие иные разговоры...

Поезд из Парижа в Шартр сегодня битком набит. От этой тесноты, от раннего часа то и дело впадаешь в дремоту, — вот и перемежается наш быт с их бытом.

Даже в проходах чинно сидят на складных стульях, все едут на редчайший праздник Шартрского собора, который бывает раз в пятьдесят лет и к которому готовятся за целый год.

Когда все хорошо утряслись в вагоне, поднялся из множества аббатов один молодой, самый высокий, и, вознесясь над старухами с плиянами, над туристами, стал докладывать историю «дня покрывала».

Началось от Адама, еще с десятого века. Норманны осаждали город Шартр; епископ города заставил их отступить, вынеся ковчежец с покрывалом Девы, которое, как уверял аббат, подарил городу еще Карл Лысый.

В годы Великой французской революции члены конвента выколупали из ковчежца все драгоценные камни, а само покрывало изорвали в клочья; в начале XIX века духовенство спохватилось, и началось «чудо» восстановления покрывала.

— Разве это не провиденциально, — заключил аббат, — что самый большой кусок покрывала возвратился в Шартр именно в 1919 году, когда в большевистской России происходило безбожное изъятие ценностей. Какая провиденциальная компенсация!

О соборе Шартра, у аббата была особая речь для иностранных туристов. — О, это библия веков, это «Божественная комедия» Данте. Быть может, Реймский собор богаче, Амьенский — совершенней, собор Шартра — единственный, неповторимый. Это национальный канон красоты. Сюда надо притти, чтобы понять французскую мысль. Это более Франция, чем Версаль. Великий век Франции — век соборов. Наш Перикл не Луи XIV, а Людовик Святой! Запомните, мои дети, — молодой аббат обвел глазами всех старушек с четками, — ковчежец с серебряными ангелами, где хранится святыня, поднесен благородными дамами Парижа в день тысячелетия собора. И сегодня он появится перед вами... Длина куска, чудесно обретенного в 1919 году, — тоже необходимо запомнить, — два метра восемь сантиметров.

— Остальные гуляют, — крикнул веселый малый.

— Ткутся в Лионе...

Смеялись, хотя только что слушали с вниманием аббата. Кроме старушек, глухих и слепых к суете мира, публика ехала на редчайшее даровое зрелище, в красивый город, где у всех были знакомые и кумовья.

— Подумать только, целый год девушки всего города делали к этому дню цветы. Сорты розданы были по заслугам девиц: самые примерные работали над улицей роз, улицей лилий и глициний...

— Ах, мадам Каригу, огненный цвет гранаты идет тоже в первую голову. Им будет украшена площадь Революции, там, где мясная под вывеской «Rosa Mystica».

— Позвольте, но кто же так странно назвал мясную?

— Почему странно? Это очень хороший патрон для мясной — Rosa Mystica. Уже третье поколение роз цветет под священной эмблемой: старшая в роде, в семье Граденап всегда называется в честь патронессы: Роза. Граденап — самые почтенные мясники в городе.

— Скажите, мадам Каригу, были... После истории с «последней Розой» половина покупателей отхлынула от Граденап.

— Однако, мы можем отвечать за наших дочерей только пока они не попали в Париж...

— К тому же маленькая Роза не дочь, а племянница мадам Граденап.

— Но поскольку она носит имя патронессы заведения Розы, это ее обязывало...

— Будь она смиренница, ее б город простил, но господин аббат прямо ужасался — она о покаянии и слышать не хочет. Это передо мной, кричит, все виноваты, и сам бог в придачу, коли он есть.

Мне было интересно, изучая быт французской провинции, узнать, чем именно «последняя Роза» уронила мясную торговлю под любо-

пытной эгидой своей тезки — Розы мистической, — но шартрские ку-мушки уже заспорили на новую тему. К тому же под одной задремавшей старушкой подломился плиан, вагон поднял хохот и суматоху.

Перед Шартром аббаты засыпали всех, как конфетти, афишками с изображением совсем черной негритянской Девы, обожаемой еще галлами. Она, по тексту, каким-то путем оказывалась все-таки белой, и при том Девой Марией.

Собор Шартра, действительно, поражает, как никакой другой. Из-за него и весь город сделался сказочным, — так удивительно несоответствие между его гигантскими размерами и окружающими, обычного роста, провинциальными двухэтажниками. Цвета старой слоновой кости, как Гулливер над лилипутами, царит собор, раздавливая все кругом.

Местный кондитер, добровольный гид по Шартру, сказал: — Мы зовем его передние башни «папа» и «мама»; семья легких колонн — чем не дочери-красавицы? А вот и многочисленная родня — целые тучи скульптурных святых. Правду сказать, родня хоть и свята, да большей частью безноса. Еще бы, им уцелеть с таких древних времен! И все это под прикрытием старой бабки — переливчатой черепицы. Вот не забудьте поглядеть, что она вытворяет под лучами заката.

Девы города, между которыми, по словам местных жителей, поделены были улицы, действительно, целый год заготавливали цветы. Они наткали чудес. Вот улица роз, там — лиловой сирени, дальше нежно-персиковая, — яблонный цвет. Есть такая сказка Кота-Мурлыки, которая в детстве очень нравилась, и там на попугайных островах как раз такое убранство.

Вместо обычных названий: рю Гамбетта, пляс Карно, улицы зовутся сегодня именами цветов. Цветы ниспадаю гирляндами вокруг всех домов сверху донизу, они увивают столбы фонарей, водосточные трубы. Цветами завалены окна, балконы; их вплетают в гривы лошадей и ослов.

Под удары соборной колокольни вливаются в эту оргию цветов новые краски юбилейной процессии. Лиловые шелка епископских шлейфов, серебряные одежды их несущих детей-херувимов. За ними в тяжелой парче, с горящими глазами инквизиторов идут стремительные отцы, прибывшие из Испании. Улыбаются на все стороны своей особой одаряющей улыбкой итальянцы, прибывшие с нунцием; семеният мелкие французские аббаты, едва поспевая за размашистым шагом испанцев.

Наконец, драгоценный ковчежец с коленопреклоненными ангелами, про который аббат возвестил еще в поезде, всплыл над головами. Его несли на носилках. Между стекол, на золотой перекладине, качалось чудесного палевого шелка покрывало Девы в «два метра восемь сантиметров». Но в этот торжественный момент на площади «Красных гранат» произошло какое-то смятение. Все богомольцы повалили туда.

Под звон колоколов, высоко поднимая носилки, почти в уровень с золотым ковчезцем, четверо парней вынесли навстречу процессии молодую, истощенную болезнью девушку. Отчаяние было у нее в глазах. Поражали на бледном лице болезненно изумленные черные брови. Как бы защищаясь от ударов, готовых на нее просыпаться, девушка жалко подняла тонкие руки и заслонила лицо, по-детски топыря пальцы.

Пожилые женщины с искаженными гневом лицами трепетали кружевными чепцами: — Вон ее! Гулящим не место в процессии...

И бранились оскорбительной французской бранью: *chateau* — по-нашему всего лишь только — верблюд.

— Мадам Граденап, уберите вашу Розу! Из-за нее всем порядочным не будет удачи.

— Большая она и уж довольно наказана, — сказал один из мужчин. — Ну и ведьмы же наши наседки.

— Уберите гулящую... Идут «дети Марии»...

— Домой... несите домой, — умоляла сама Роза растопыренными детскими ручками.

Четверо мужчин, ругая злых баб, свернули с пути, по которому шла процессия, и унесли носилки обратно к угловой лавке. Над этой лавкой, осеняя развороченные кровавые туши быков, мозги, похожие на облупленные грецкие орехи, и трогательные, как малолетки, тела ободранных кроликов, — на синем фоне чудесных густых васильков белыми мелкими розами, как мозаикой, было выложено: «*Rosa Mystica*».

Толстая женщина в кисейном плоеном чепчике, чванясь перед иностранцами редким праздником, свежестью своей убоины и обилием с'ехавшихся из всех католических стран монсиньоров, отпуская котлеты де-волайль, верещала: — Роза, Роза мистикс — верный патрон нашего дома!

Было легко догадаться, что толстая дама в чепчике и есть та самая мадам Граденап, о почтенном доме которой была речь в вагоне, а девушка на носилках — «последняя» Роза, каким-то своим поведением уронившая честь дома и славу своей одноименной патронессы.

Мадам Граденап, увидав возвращавшихся мужчин с носилками и рыдающей девушкой, багово покраснела и еще издали гневно крикнула:

— Ставьте ее там, в палисаднике!

## II

На торжественной программе «*Fêtes Mariales*» вперемежку с чудесами, совершенными «покрывалом Девы», возвещались об'явления о гаражах, корсетных мастерских, кафе-ресторанах, — у местных жителей считается благословением для торговли напечататься на листке с соборным праздником. Желая уже непременно узнать историю «по-

следней Розы», я там стала искать фамилию Каригу, — так именовали вагонные спутники молодую женщину, говорившую про оскорбившую почтенный дом Граденап девушку. Действительно, на обороте листка, для пущей рекламы, стояло вкось: «Все обувайтесь у Жака Каригу, — шик гарантирован!».

На улице «Абрикосовый цвет» я без труда нашла в веселом маленьком городке румяную и пышную, как спелый абрикос, самое мадам Каригу.

Поздоровались как знакомые. Когда истощился первый поток красноречия хозяйки «местного шика» в восхвалениях праздника и процессии, я спросила ее, за что так обидели бедную Розу?

— Конечно, это было грубо, но согласитесь, что и со стороны Розы бестактно соваться вперед в праздник Девы, когда к тому же всем известно, что она неверующая? Все три дня ковчежец с покрывалом должны окружать одни лишь «дети Марии», чье целомудрие несомненно для всего города. Может быть, это суеверие, но народ думает, что будет удача торговле, урожаю и всем личным делам, если процессию не осквернит присутствие ни одной публичной женщины. А Роза такая.

— Но отчего же она стала такой?

— Ну, хорошо, я вам про нее расскажу. Я ведь ей была подругой, одно время мы вместе служили в Париже. До вечерней службы добрый час, а торговли уже, видно, не будет. И мужа еще нет. Пройдемте в палисадник.

Здесь при каждом доме садик, гамак и неизбежная клумба рододендронов. Сели на скамью. Мадам Каригу глянула на меня всем своим здоровым, как свежая пышка, лицом.

— Вы издалека? Понимаю, вам любопытно, как у нас тут живут. Ну, уедете, не расскажете, — что же, вам можно всю правду сказать. В молодости все погуливаем, но штука в том, чтобы гулять с умом, не сорваться. И, скажу вам по совести, срываются не самые плохие. О, нет, те заводят сбережения и выходят замуж, и тогда уж, мадам, они уважаемые. А молодым в провинции тоска. К тому же Роза еще не родная Граденап, а приемыш, ей вдвойне было плохо. Хоть у тетки ее патронессой Rosa Mystica, но баба она прелютейшая. Шпыняла Розу с утра до вечера, все куском попрекала. Ни ей погулять, ни копейку себе заработать. А хороша была Роза...

Один художник—портрет с нее рисовал—говорит тетке: «Что ваша Rosa Mystica, у вас своя живая, в цвету. В Париже цены бы ей не было...».

Может, он Розу и сглазил, художник-то? Прикинула в уме хозяйка и говорит: «Поезжай-ка ты в Париж, к крестной Жюли, неровен час, попадешь в первые манекены, себе «situation» сделаешь с южным американцем. Многим, куда хуже тебя лицом, а повезло. Здесь же не цыплят тебе выводить». А без приданого, мадам, у нас в провинции замуж не выйти.

Ну, приехала Роза в Париж, в наш мелкосортный *maison* — прямо скажу, не «дом мод», а кукольная буата. Заведение из двух комнат, без зала и, смешно сказать, с одним всего-на-всего манекеном, и то не слишком первого сорта. И эта несчастная буата туда же, как все, звалась «*Maison Fripet*».

— Я случайно знаю эту «буат», я живу рядом. Это напротив большого бара *Fantaisie*, с бильярдами. Еще на карнизах пять толстых женщин — пять частей света, у африканки в носу кольцо.

— Да, да. И старый крупье Жерар объясняет посетителям: это эмблема, говорит, что жителям всех пяти частей света одинаково интересно бывает в нашем заведении. Нахал!

Ну, раз вы знаете, вам легче представить себе все дело. Между Африкой и Австралией, неизменно в часы обеденного перерыва выглядывал самый красивый крупье, мосье Эжен. А окна Фантези пряمه-хонько в окна дома мод. Естественно, он пошел с Розой перемигиваться. Она так была тогда хороша. Ну, просто цвет нежно-розовой повилики. И с такой-то внешностью водить утюгом день-деньской по чужим нарядам!

Ну, и пошло... Роза с Эженом дальше — больше. Он стал посылать раздушенные записочки с мальчишкой-шассером. Может быть, вы заметили, эти мальчишки у нас при каждом большом заведении имеются, носят красный мундир и шапочку и, между прочим, на посылках, поверите, до двухсот тысяч франков в конце концов наживают и открывают уже свой дом.

И вот приносит такой шассер Розе просьбу от ее крупье о решительном свидании. Она мне показывала. Ах, какие этот подлец нашел слова, какие стихи! Уж много после, когда я хлопотала, нельзя ли по этой записке получить с него что-либо, умные люди мне со смехом сказали, что стихи вовсе не его, а поэта Виктора Гюго. Ну, да ведь тогда не знали мы, когда читали. И подпись не его, а придуманная тоже откуда-то: ты—моя Роза, я—твой соловей. Или просто «*rossignol*». Ищи с этого соловья, мало их, таких-то!

А ведь Розе все это впервые, будто для нее одной и придумано. Она, конечно, пошла. Вернулась — на ногах не стоит, всех нас взбудоражила. Ах, говорит, как он умеет разнообразно целоваться... Ведь это в Париже, мадам, целая наука, да какая! А мы знали пока одних наших парней... они чмокнут, как чавкнут, и все тут.

Однако, Розу мы научили его спросить, и она послушала. Если, говорит, ты, Эжен, так меня разнообразно целуешь, ведь это значит, не правда ли, что ты хочешь именно на мне жениться? Иначе, говорит, мне будет стыдно и вспомнить. Эжен засмеялся и сказал: ну, конечно, хотел бы на тебе жениться, но вся беда, малютка, что я эту глупость уже сделал.

Много Роза плакала. Однако, он ее уломал. Правду сказать, и мы, подружки, помогли. У всех у нас уже были кавалеры, и все женатые. Что поделаешь, мадам, после войны кавалеров ужасно мало, а франк

так упал, что жениться они могут только на богатых: самому едва хватает, а тут жена, ребенок, и винить никого нельзя. Хорошо, если найдешь себе милого друга по вкусу, — будет, чем молодость вспомнить, а то ведь иные англичанки и просто за любовь деньги платят. Вот мы и говорим маленькой Розе: подвернулся красавец Эжен, не зевай! Молодость вот-вот отлетит, а тебе давно пора se déboucher, — извините, мадам, за выражение, это у нас в ателье так называлось, если перестать быть девицей.

Уломали сообща Розу. Все через этого мальчишку шассера шло дело. Эжен занят, Роза занята, — шассер им и номер нашел в обеденный перерыв. Однако, именно с этого дня и начались все огорчения бедной девушки. И ей и всей нашей мастерской ведь это был, скажу прямо, афронт, что в номер Эжен ее приглашает не ночью, а днем — в роде, знаете, неуважения к женщине, хоть и боялся Эжен, что вечером ему нельзя, жена его вечерами выслеживает. Вторая неудача — гарсон непомерно переусердствовал: вперед кинулся и кровать им открыл. А Роза как заплачет... она нежная, знаете, мы ее повиликою звали.

«Обидно, говорит, до смерти стало: вспомнила вдруг, как богатые в мэрии венчаются, все в белом, с fleurs d'orange, в карете, и с таким почтением их за ручку выводят, и поздравляют, и уважают...». А Эжен как рассердится, что она плачет. «Ты дура, с тобой не стоит и связываться, ты в слезах меня утопишь. Чего, говорит, реवेशь? номер уж оплочен, и белье, говорит, совершенно чистое». Она ему: «Не уважаешь ты меня...». — «Если бы, говорит, не уважал тебя, я бы не номер взял, а такси бы нанял на час, — много дешевле стоит, и большинство так и делает. Только я, говорит, джентльмен. и считаю, что подвергать свою даму неудобствам мне неприлично. Вот я, говорит, выпью лимонаду, а ты приди в себя, потому что времени терять нам нечего».

Он позвонил, гарсон подал лимонад. А Розе в пору то ли ей в окошко кинуться, то ли горло ему перегрызть. Однако, ничего этого она не сделала, окаменела, как кукла. А Эжен выпил лимонад, и все случилось.

Ну, принесла Роза в мастерскую пирожных. У нас, знаете, такой обычай: кто из девушек s'est débouchée, так после этого в роде как свадебный торт от себя подругам.

С тех пор пошла бегать Роза к Эжену, а вернется — не спит ночи. И смех ее весь пропал.

— Отчего ты невеселая, говорим, разве он калоша? — Вот тут она про «лимонад» нам и рассказала. А глаза так и горят, как у волчицы. — Ненавижу его, а ходить буду из-за ребенка.... Ребенка хочу иметь, а мужчину к чорту!

Конечно, мы все на нее: — Сумасшедшая! Да неужто он мер не принимает? — Принимает, говорит, только я его перехитрю. А ребенка своего прокормить и сама сумею. Эжен меня уж такому парижскому шику обучает... Сам гордится: цена тебе будет немалая.

Тут, знаете, подруги от нее отделились — охладели, — кому завидно на ее смелость, — сами втайне ребеночка иметь хотели, — другие злились на ее глупость: живет в Париже, а жизни не понимает. Но пуще всего боялись подруги, что сердце не камень — помогать придется. А сами посудите — из чего? жалованья самим и на жизнь не хватает, вечно сидели впроголодь: у нас в ателье ведь форма — черное шелковое платье, и чтоб от старости шелк не блестел. Я дольше всех около Розы держалась.

Ну, забеременела Роза. Собрали мы совет мастериц. Нашли гречанку за двести франков, — доктор дешевле тысячи у нас не берет. Да мы уж привыкли к этой гречанке, хоть и долго повозится, однако, только две от нее померли. Последнюю услугу, однако, я Розе сделала: пошла без ее ведома к этому Эжену в Фантези, — будто с заказом заблудилась. — Давайте, говорю, на аборт Розе денег. — Он, правда, такой красивый, держит себя, как маркиз, — выбритый, надушенный. — Какая это, — цедит сквозь зубы, — Роза? Я такой вовсе не знаю. — Ах, не знаете, хорошо, в таком случае мы, служащие дома Фрипе, вам публичный скандал сделаем. Небось, узнаете! Придется вам тогда из вашей Фантези вон уходить.

Заскрипел зубами, однако, обещал пятьсот франков. — Не позже, говорю ему, чтоб сегодня вечером деньги были. Придем мы за ними все три мастерицы к статуе Жорж Занд.

— Зачем, говорит, целых три? я вам одной верю. И вы мне гораздо больше Розы нравитесь. Та — как *veau mariné*, а вы боевая. С вами уж, конечно, подобного пассажа не произойдет.

— Уж, конечно, смеюсь, от негодеев не стану рожать! Отгуляю в Париже свое, а на родине выйду замуж и рожу наследника по закону и от хорошего человека.

— Молодец, говорит, вот я вас уважаю, вы не плакса, руки не свяжете. И не угодно ли вам, говорит, пока срок гулянья вашего еще не истек, включить меня в число ваших партнеров? — Ей-богу, так и сказал. Ах, скоты они, эти мужчины! Чтоб не куражились они над нами, хлыст надо в руках держать. Я вот сумела. Ха-ха...

— А как дальше с Розой?

— А Роза только в первый раз нас послушалась. А потом ее кто-то испортил. В такую тоску впала. — Обратно, говорит, ребеночка мне отдайте. — И ведь не успокоилась, пока не забеременела снова. Уже не от Эжена, он на нее больше и смотреть не хотел, — а так, влюбилась она сдуру в кого-то проезжего. И тот отличный человек, жениться на ней хотел, только, вообразите, вдруг умер, разрыв, что ли, сердца. Об аборте Роза и слышать не хотела. Родила замечательного мальчика Диди. В деревню на выкормку отдала. Вот из-за него и попала...

— То-есть как попала?

— А получила желтый билет. У нас полиция нравов до тех пор смотрит сквозь пальцы, пока девица, гуляя, имеет определенную служ-



бу. Ужели вы думаете, кто-нибудь не гуляет в Париже? На чулки и туфли прирабатывают. Там плохих не наденешь. Что греха таить, из нас ведь в «Sourire» все объявления печатали: «согласна помещаю»... и приметы. Но, кроме Розы, ни у кого никаких хвостов. Надо поаккуратнее.

Но что поделаешь, если до смерти захотела она иметь собственного маленького Диди? А прокормить, вас спрашиваю, как? Печатались в объявлениях, предлагая себя уже не на длинный срок, а на короткий, и даже на один вечер. Но, как нарочно, через «Sourire» она все нападала на проезжих. Хуже такого нет — поживет две недельки и дальше. А на наслаждения жаден. Подавай ему все самое распарижское, чего он у себя дома не видит. И духи-то он любит, и пудру, девушек дарит не деньгами, одними вещами, чтоб на его провинциалку индюшку была непохожа. Ха-ха, они все своих жен зовут: цесарка, индюшка, гусыня, — весь птичник переберут. Это они за собственное, за домашнее лицемерие мстят. И денег такие ни за что не дадут. А Розе за маленького платить надо срочно. Стала она раздражительная, с мадам Фрипе то и дело не ладит. Еще к тому же болезнь подоспела, провалялась неделю. Пришла в ателье, а на ее месте сидит уж новая. Ей бы тут подержаться построже, а она с горя запила и уж пошла с кем попало... Ночью какой-то скандал, обход, ее со всеми вместе забрали и зарегистрировали, — песенка спета.

После этого, мадам понимает, конечно, и я с Розой дружить не могла. Что делать, все на краю пропасти ходим, сорваться боимся. Скоро меня домой отозвали, и я вышла замуж.

— А вы, мадам, если вправду врач, как мне сдается по внешности, навестите-ка Розу. Пилюли какие-нибудь там пропишите. Тетка, хоть ее приютила через силу, — она смерти боится, грехов на ней много, — но от скупости лечить не желает. А вам, чем в отель итти, переночевать у нее будет даже дешевле. Пройти к ним через три квартала в четвертый. Проситесь у тетки прямо к маленькой Розе — у нее мансарда большая. Так и скажите: по рекомендации бывшей подружки Розы Лолот Каригу.

### III

В соборе молодой епископ произнес проповедь оригинального названия: «Литературные заслуги шартрской Notre Dame». Ей приписывалось обращение Гюисманса, Пеги и, главным образом, поэта Психори, внука давнего, все еще ненавистного врага церкви — Ренана.

Вторая часть проповеди посвящена была доказательствам того, как церковь идет навстречу потребностям дня. На убыль населения, которая пугает все государство, церковь отвечает благословляющим зачатие агитфильмом «Лепестки розы». Для личного удостоверения присутствующих предлагалось сегодня же вечером посетить кино.

Мне предстояло провести в Шартре ночь, и, по рекомендации мадам Каригу, я пошла искать пристанища у хозяйки «Мистической

Розы». Мне было несколько неловко знакомиться с ее племянницей, как человеку, прочитавшему чужие интимные письма, с их хозяином.

Над знакомой выставкой разнорядного мяса, как утром, на слегка увядшем фоне синих васильков белели буквы: «Rosa Mystica», и толстая мадам Граденап в шелковом платье и жемчугах продавала котлеты де-волайль с завитушкой из белой бумаги на косточке.

Сначала она раздраженно ответила, что у нее не гостиница, но, сославшись на рекомендацию мадам Каригу, я сказала, что мне необходим только угол, чтобы положить свои вещи, на что в комнате мадемуазель Розы, наверное, есть место.

— В таком случае, проходите в мансарду, но прошу извинить, мадам, плата будет, как за отдельную комнату.

И, фальшиво улыбаясь, мадам Граденап прибавила:

— Ведь надо вознаградить большую бедняжку каким-нибудь благом за плохо проведенную ночь.

Комната, куда меня провели, была просто-напросто голубятней. В два чердачных окна, раскрытых настежь, вливались дуга и необъятные горизонты. На первом плане, пробужденная к жизни закатом, всеми цветами спектра переливалась черепица собора — «бабушка», так рекомендовал нам ее гид. Над ней большая башня — «папаша» — вонзала в легкое небо свою пламенеющую готику; другая башня — «мамаша» — пониже ростом, нежная, тающими линиями своего конуса сливалась с жемчужными облаками. Потолок комнаты был сводчатый, на больших добротных столбах из красного кирпича. На белоснежных стенах — фотографии в венках из иммортелей; все они изображали большогоголого смеющегося младенца. «Диди» — подумала я, вспомнив рассказ подруги Розы, мадам Каригу.

— Это ваш маленький Диди, неправда ли? — сказала я, подходя к постели, где, казалось, нет ничего, кроме облака белой кисеи.

Тонкая детская ручка раздвинула полог, и трогательное лицо молодой женщины с приподнятыми бровями, которое так запомнилось мне еще утром, засияло улыбкой.

— Разве вы знали его?

— Мне о нем рассказала ваша подруга — мадам Каригу.

— А, Лолот. Да, эта была верней прочих, только болтуха.

Она оперлась на локоть и вглядывалась в меня без той условной любезности, которую принимает невольно каждое лицо при встрече с другим, совершенно незнакомым. У нее были умные, увеличенные болезнью прекрасные глаза. Она спросила печально:

— Лолот вам рассказала всю мою историю?

— Но я из очень дальней страны, и, кроме глубокого сочувствия, поверьте...

Роза досадливо повела рукой.

— Ничего сочувствия мне уже не надо. Но вы его назвали, — она показала на фотографию в иммортелях, — вы запомнили имя моего мальчика, это очень мило с вашей стороны...

— Вас не стеснит, если я расположусь эту ночь здесь на диване? Сейчас я пойду посмотреть фильм «Лепестки розы», вернусь не поздно и уеду с первым поездом. Постараюсь вас не разбудить.

— У меня совсем нету сна. Зато есть несомненная чахотка. Вы не боитесь, как тетка? Она даже не входит, если что ей надо сказать, она мне кричит через всю улицу в окно.

— Я не боюсь.

— Настоящий человек ничего не может бояться, неправда ли? Ну вот...— она пытливо впиалась в меня, — если вы вправду настоящий человек, принесите-ка мне вина. Ведь все равно уж... а выпить охота. И приходите скорей, ночью мне легче дышать, а сегодня будет чудесная, лунная. Будем разговаривать. Я давно ни с кем не говорила, наши все индюшки или злючки. Они меня сегодня обругали перед самой процессией... идиотки. Я люблю красивое зрелище, а в чудеса я не верю. Это ребята из соседнего сада придумали. Прогуляйся, говорит, над их головами. Ты, даром что больна, и сейчас всех красивей.

— Однако, вам пора итти на «Лепестки розы». Католический фильм в защиту плодородия, ребята рассказывали. Ну и ловкачи наши аббаты: потрафляют и церкви и государству. Тула же — родить поощряют! А вот куда деть, родив, это уж не их дело. И это, выходит, роскошь, это одним богатым. А нам — в воспитательный, как щенка. Оттуда ведь не отдают. Ах, мерзавцы, все мерзавцы! Ну, вернитесь скорее. Буду ждать.

Агитфильм «Лепестки розы» оказался, действительно, фильмом на два фронта: с одной стороны, он соблазнял девиц в монастырь ореолом святости, с другой, по лозунгу дня «убыль населения — опасность стране» — натаскивал на материнство.

Девушка Жакелина любит женома, который уезжает в Америку; управляющий делами отца Жакелины любит ее миллионы. Он, воспользовавшись отсутствием жениха, ложно информирует отца о положении биржи, скупая его акции, делает его банкротом. Дочери же делает предложение, открывая по секрету, что разорение отца неизбежно, и он его не разорит только в том случае, если станет ему зятем. Девушка ради отца готова на жертву, но в то же время просит св. Терезу, чтобы избавила ее от злодея. Девушка усердно читает жизнь этой святой, чтобы дать сценаристу повод изобразить ее на экране вплоть до театрального пожелания святой «покрыть весь мир лепестками роз», что в инсценировке удастся очень эффектно. Не менее великолепна аудиенция у папы, торжество посвящения в монахини и процессии. Словом, девушка Жакелина так зачарована сказочной жизнью порвавших с миром людей и почестями, которые им оказывают обыкновенные смертные, что сама хочет в монастырь, по стопам св. Терезы, даже когда злодей-жених разоблачен первым любимым, — как полагается, миллионером, вернувшимся из Америки. Отец, мать, два аббата убеждают Жакелину итти замуж, — она не хочет. Тогда статуя самой Те-

резы сходит с пьедестала и без обиняков говорит, что Франции нужны сейчас не монахини, а хорошие жены и матери.

Публика аплодирует статуе св. Терезы, и, веселясь, что аббаты перехитрили сами себя, идет гурьбой глядеть на иллюминацию именинника-собора. А я, купив, угощение для «последней» Розы, иду на мансарду.

Я открыла дверь очень тихо, но Роза тотчас же отозвалась.

— Это вы? Ах, как прекрасно — вино, персики и даже розы! Я совсем забуду про свою болезнь. Смотрите в окно — луна, замок на горе, совсем как в сказке. Я хочу все, все забыть, стать очень доброй и думать только о них.

— О ком, Роза?

— О женщинах, которые вступают в жизнь, о подростках, о всех, которые остаются жить, когда я умираю. Я только ведь и делаю теперь, что думаю, и мне кажется, в словах того, кто жизнью заплатил за свой опыт, больше правды, чем в тысяче книжек, написанных из головы. Но мы выпьем, неправда ли?

У вас женщина свободнее, чем у нас, я слыхала, она имеет все права, и развод — суший пустяк... Когда еще у нас будет! У нас замужем теряют даже собственное имя. Если б Эжен на мне женился, я была бы не Роза Дрильяк, а мадам Эжен Дрильяк. Однако, я спрошу вас, счастливы ли ваши женщины? Я, знаете, думаю, что никакое внешнее, даже экономическое, освобождение, в сущности, не сделает женщину счастливее, пока она не освободится внутренне. Я говорю про самое интимное, о чем и себе не всегда скажешь.

Вы уедете далеко, я не увижу вас больше, я даже не хочу запоминать черт вашего лица... пожалуйста, не будем зажигать огня. Пусть вы тот, кто примет мою исповедь, мое заветное. Пока у меня от вина неожиданные есть силы, вы слушайте меня, не перебивайте, не противопоставляйте меня ходячей морали. Дослушайте просто, прошу вас. Ведь это же редкость, когда человек говорит окончательно искренне, это можно только перед смертью.

Знаете, в чем самое главное? В том, что женщины лицемерят: они вовсе не хотят быть матерями, они хотят быть только любовницами, конечно, если они не верблюды, ха-ха... Но таких больше, чем думают. Это принимают, обычно, за добродетель и невинность, но они только верблюды. А здоровые привлекательные женщины, понимающие любовь, они хотят быть матерями только после того, как тайно или явно обожгутся как любовницы...

Вам эта болтуха Лолот Каригу, конечно, рассказала и про «лимонад»?

Да, вот когда он пил свой лимонад перед раскрытой гарсоном постелью, куда ему в тысячный раз, а мне в самый, самый первый, во мне любовница сменилась яростной матерью... Ах, поверьте, у каждой женщины есть такой или иной свой «лимонад».

И кроме того, ведь женщины еще нет, еще не знает она себя совершенно, пока она не родила и не выкормила.

Вот, мадам, скажите вашим, новым, чтобы они подняли вопрос о домах для первородящих. Ах, не смейтесь надо мной... Надо, чтобы это были замечательные, великолепные дома, и, главное, чтобы считалось почетным родить в первый раз. Не скрепя сердце родить, не от лопнувшего презерватива, а свободно, желанно, от любимого... Да, родить в первый раз и родить прекрасно—самое важное во всем женском вопросе. Потому что, сколько вы ни равняйте, только это уж неотъемлемо, это исключительно наше.

Чудесный дворец для первородящих... Чтобы обеспечена была жизнь со дня беременности до окончания кормления. Со вторым и третьим пускай как хочет, — она уже все знает сама, она окрепнет, найдет свое место в жизни, она поборется. Но первенцы, мадам. Первенцам пусть само государство будет восприемником. Это в его же расчетах: первенцы — это самое удачное, это по любви, это от избытка жизни.

Подумайте, разве государству не важно, чтобы женщины могли прекрасно и свободно родить? Мадам, сколько бы мужчины ни ратовали за признание гражданского равноправия, только когда государство будет особенно почитать женщин, родивших и вскормивших первенца, они действительно дадут ей права. Да, только подчеркнув уважение к материнству женщины, вы ее делаете настоящей второй половиной, восполняющей то, что зовут человек. Не будем лицемерить, мадам, все существа неплодные, полные женских болезней, забот об аборте, на каком бы деле они ни стояли, они тайно сосредоточены только на своих половых делах, потому что жадно хотят быть любовницами. И сказать, что это они полноправны, что это они — люди! Нет, нет...

Я сейчас кончу, мадам, только налейте еще. Какое счастье не чувствовать этого ужасного озноба. Ах, как чудесно согревает вино, будто вернулось здоровье. Простите мою резкость, столько накипело. Но сейчас я больше не буду браниться. Я буду только мечтать вслух о Родильном Дворце. Ах, сколько тайных мыслей о нем, когда голодная, одинокая я носила своего Диди!

Это было в субботу, я торопилась на работу. По утрам так сильно кружилась голова. Я прислонилась к подъезду мэрии; подъехало большое авто, все в букетах, и из него, как козочки, запутавшись в цветущей черемухе, прыгнули белоснежные, нарядные, с огромными букетами девушки. Благородный отец — знаете, «le père noble», тот, что в «Травиате» в цилиндре, с моноклем, с шелковой сединой за руку вывел невесту... ту самую... ну да, бессмертную глупышку-дочку, ради которой загублена жизнь милой Травиаты.

Мадам, пусть старший доктор в Родильном Дворце будет всем, как этот père noble. Ах приветствуйте, обласкайте первородящих.

Женщина не опустится до проституции, если ей дадут хорошо родить и выкормить ее первенца...

У Розы начался бред.

Должно быть, и у меня тоже был бред или сон, потому что вдруг французский нежный лепет Розы перекрыл густой гугнивый голос московского последнего извозчика, который в'едливым мысленным спутником примкнул к моей заграничной поездке:

— Таких стервей стрелять надо. Дам ей тройк на алименты, и катись. Если ты, скажу, честная женщина, так не должна чужих мужей замухривать. А то скольких они позамухрили.

---

# Средиземноморская проблема

Б. МАЙЗЕЛЬ

## Новая вспышка итало-французской вражды

«Мягкий» приговор французского суда по делу итальянского эмигранта Модуньо, убившего итальянского вице-консула в Париже Нardini, послужил очередным поводом к анти-французским демонстрациям, имевшим место во всех частях Италии.

Итало-французские отношения вновь вступили в острую фазу. Нужно говорить: никаких непосредственных реальных последствий эта очередная вспышка иметь не будет, так как Италия в настоящее время политически совершенно изолирована, а Франция имеет за собой, кроме своих союзников, еще и Англию. Итальянская пресса полна выпадов против Франции, «стремящейся» свести на нет Италию. Орган Пуанкаре «Тан» от 2 декабря 1928 г. жалуется на орган фашистских профсоюзов «Лаворо д'Италия», зато это он пишет о Франции, как о «разлагающемся организме, который несет опасности разложения и войн».

Итальянская пресса дошла до того, что обвиняет французских империалистов в боязни Италии, которая «начинает занимать место Франции на мировой арене»

Это заявление весьма характерно, так как, действительно, итальянский фашизм проповедует миф об избранном народе—итальянцах и о фашизме, призванном вернуть Италию к величию древнего Рима.

И все это так возможно... но одно «обстоятельство» мешает осуществлению великодержавных планов фашизма: это — Франция, захватившая наибольшую и богатейшую часть Северной Африки и превратившая западный бассейн Средиземного моря в «французское озеро». И беда еще в том, что и восточный сектор Средиземного моря тоже подпадает под влияние Франции, стремящейся свести к минимуму итальянское влияние в этом секторе. Для лучшего уяснения сущности итало-французского соперничества необходимо остановиться на роли Англии в Средиземном море.

## Роль Англии в Средиземном море

В Средиземном море господствуют три силы — военные флоты Англии, Франции и Италии. Англия владеет в Средиземном море отдельными укрепленными пунктами: Гибралтаром, Мальтой, Кипром, Порт-Саидом. При современном развитии военной техники английские морские крепости в Средиземном море перестали быть неприступными. Стратегическое значение Гибралтара, кроме того, ослабляется непосредственной близостью Цеуты, Алжезираса и Танжера, являющимися серьезным противовесом Гибралтару-крепости, с другой стороны, расстояние от Гибралтара до следующего английского укрепленного пункта, Мальты, составляет 1.700 километров, при чем с одной и другой стороны тя-

нутя испанские и французские берега. Английские суда от Гибралтара до Мальты должны проходить в треугольнике французских морских крепостей: Тулон—Оран—Бизерта. Все укрепленные пункты Англии в Средиземном море непосредственно соприкасаются с французской территорией. Французские подводные лодки могут беспрепятственно проходить через Гибралтарский пролив—и, следовательно, помешать английскому флоту продвижение через Средиземное море.

А Средиземное море—это главная артерия Британской империи. Это—так называемый великий имперский путь, соединяющий Англию с Индией и другими важнейшими колониями. Достаточно сказать, что в 1928 г., по предварительным данным, прошло свыше 30 миллионов тонн грузов, подавляющая часть которых приходится на долю Англии. В эвентуальной войне значение Средиземного моря для Англии, могущей продержаться без привоза сырья и продовольствия только месяца, —еще более усугубится.

Для действий своего флота, в случае войны, Англия должна иметь в Средиземном море более реальную опору, чем отдельные укрепленные точки.

Английский флот должен иметь базу для снабжения и для укрытия от подводных лодок и мин. Такой базой может служить или Италия или Франция.

Отсюда естественно вытекает боязнь Англии итало-французского сближения.

Общезвестно, что английская дипломатия всегда последовательно проводила систему создания блока государств против наиболее сильной континентальной державы. Последний блок перед войной был анти-германский, так как чересчур сильная Германия, строившая мощный военный флот, становилась опасной для Англии.

В настоящее время наиболее сильным государством на континенте Европы является Франция. И действительно, искусно играя на франко-итальянских противоречиях, Англия сумела до крайности обострить взаимоотношения Италии и Франции, начиная с знаме-

нитого обдела Италии на Версальской конференции и кончая Танжерским, Тунисским, Абиссинским и Балканским вопросами. В 1925—26 годах англо-итальянская «дружба» находилась в апогее. Итальянские империалисты высоко подняли голову, и фашистская пресса по любому поводу грозила Франции войной. В самом деле, что значит Франция против объединенных Англии и Италии?

Но «неожиданно» Англия вынуждена была изменить свою вековую дипломатическую систему. Британская империя велика, ее внеевропейские интересы огромны: сильнейшая континентальная держава—Франция—по сравнению с сильнейшей и богатейшей в мире державой—С. Штатами—значит немного. Британская империя кое-где потрескивает. Доминионы проявляют чересчур много «своеволия», а главное, С. Штаты последовательно и неуклонно вытесняют английские товары с мировых рынков и овладевают мировыми ресурсами сырья и топлива.

Политическое и военное значение С. Штатов становится угрожающим. И Англия вынуждена была «повсрипуать» к французским берегам, чтобы застраховать себя в Еврспе для мировой игры. Благодаря этому соотношение сил в Средиземном море резко изменяется: в 1928 г. англо-итальянская «дружба» сменяется англо-французским военным союзом.

Прежде чем остановиться на значении этого союза с точки зрения средиземноморской проблемы, остановимся на центральном пункте этой проблемы — итало-французском антагонизме.

### Итало-французский антагонизм

Итало-французский антагонизм—дело не новое. Со времени объединения Италии она вступила в коллизию со «своей латинской сестрой»—Францией. Еще в 1870 г. Италия готовилась восвать с Францией и отнять у нее Корсику, Ниццу и Савойю. Захват Туниса Францией в 1881 г. еще более обострил итало-французские отношения.

Наиболее влиятельный премьер-министр Италии Криспи в 80-х и 90-х го-



дах проводил последовательную анти-французскую политику: больше 10 лет (с 1887 до 1898 г.) длилась таможенная война между Францией и Италией. Италия пошла на союз со своим злейшим врагом—Австро-Венгерской империей, поскольку этот союз был направлен против Франции. Индустриализация Франции и Италии во время мировой войны и после нее до крайности усложнила отношения двух средиземноморских империализмов.

Итальянский и французский экспорт имеет, в общем, одинаковый характер.

Италия вывозит, главным образом, ткани, искусственный шелк, галантерею, химпродукты, резиновые изделия, автомобили, электро-материалы, оборудование, аэропланы, железнодорожный материал, вина, фрукты, оливковое масло, пробковую кору и т. д.

Те же продукты составляют главнейшие статьи французского экспорта.

И если в отношении сельскохозяйственного экспорта Италия сравнительно удачно конкурирует с Францией, то этого нельзя сказать о фабрикатах.

В этой области конкуренция вообще труднее, да и сверх того, французская продукция значительно дешевле. В то время как золотой индекс цен на экспортные товары во Франции составляет около 120 проц. к 1913 году, в Италии он достигает 135—140 процентов, таким образом, Франция оказывается на внешних рынках значительно конкурентоспособнее.

Франция имеет значительные сырьевые и топливные ресурсы в самой стране и колониях, а именно: уголь, железо, фосфориты, руды цветных металлов, каучук, шерсть, а также большие нефтяные концессии в Румынии, Польше и 23,75 проц. эвентуальной добычи нефти в Моссуле (23,75 проц. Сосиете Франсез и 5 проц. Гульбенкян). Италия же вынуждена ввозить все главнейшие виды сырья и топлива, а также продовольствие.

Итальянский империализм в своих огромных планах экономической и политической экспансии наталкивается на важнейшие препятствия—бедность страны и отсутствие сырьевой и то-

пливной базы. Это отсутствие сырьевой и топливной базы до крайности выявляет противоречие итальянского империализма.

В настоящее время Италия является индустриальной страной. Огромная, разбухшая промышленность в условиях бедности страны и малой емкости внутреннего рынка вынуждена работать, главным образом, на экспорт. Между тем, итальянская промышленность должна снабжаться сырьем и топливом у тех же стран, с которыми она конкурирует на внешних рынках.

В некоторые периоды Италия платила за уголь, хлопок, шерсть, нефть, руду и т. д. в несколько раз дороже, чем в нормальное время. Это имело место в 1920—21 гг. и во время войны.

Отсутствие собственного сырья и продовольствия до крайности усложняет положение Италии в случае войны.

Если итальянские империалисты так настойчиво добиваются приобретения колоний и обеспечения Италии хотя бы главнейшими видами сырья, то к этому их побуждают не только экономические интересы, но и военные.

Из этих соображений Муссолини проводит огромную программу, сводящуюся к увеличению посевной площади и урожайности. Из этих же соображений огромные средства тратятся на мелiorативные работы и на поиски в недрах страны угля, нефти и железа. Пусть даже на большой глубине, ибо, если добыча будет нерентабельна в мирное время, то в случае блокады, во время войны дороговизна продукции не сможет служить препятствием. Но все поиски нефти, угля дают малоутешительные результаты.

Необходимость покупать за границей и сырье, и топливо, и хлеб приводит к тому, что торговый баланс Италии резко дефицитен. Платежный баланс сводится без дефицита только благодаря притоку иностранных займов.

Франция, наоборот, из года в год имеет резко активный платежный баланс. Франция вывозит за границу огромные излишки свободных денег, ссужая ими в последние два года даже американских банкиров (!), а в Ита-

лии нужда промышленности в сред-ствах так велика, что крупнейшие итальянские предприятия, как Сνια-Вискоза, Фиат, Монтекатини, Электрические общества: Эдиссон, Меридионале, Сип, Вальдарно, которыми итальянцы гордятся, переходят постепенно в руки иностранцев и, в частности, французов, американцев и немцев. Больше того, экономические условия Италии таковы, что она не может даже быть целиком независимой. Ее участие на стороне Антанты в мировой войне в значительной мере было вызвано угрозой блокады ее берегов со стороны Англии и Франции. Блокированная Италия не может воевать, так как ее сухопутные границы в большей своей части находятся под контролем Франции.

В 1926—27 г. и в первой половине 1928 года итальянская промышленность находилась в исключительном депрессивном состоянии, безработица достигла огромных размеров, а между тем, излишков населения девать некуда, в виду ограничительных иммиграционных законов в большинстве стран.

Эта хозяйственная депрессия усугубила напористость итальянского империализма. Муссолини охарактеризовал положение весьма внушительно: «Мы или распространимся или взорвемся». Когда Муссолини и другие вожди итальянского фашизма говорят о «распространении» и «взрыве», то двух мнений о толковании этого лозунга нет—это относится к Франции.

#### **Итало-французское политическое соперничество и военные флоты**

Франция, владеющая огромной колониальной империей и укрепляющая свое экономическое и политическое влияние в Европе, вовсе не заинтересована в том, чтобы в настоящее времявязаться в новую войну. Но французский империализм стремится к солидному обеспечению своего первенства на континенте Европы. Уже непосредственно после войны Франция вступает на путь военных союзов. Она заключила союзы с Польшей, Бельгией, Югославией, Румынией и Чехо-

Словакией, а для сохранения своего влияния в Балканских и Дунайских странах она создала Малую Антанту из Чехо-Словакии, Югославии и Румынии. Для этих стран смысл союза, именующего себя Малой Антантой, состоит в том, чтобы взаимно гарантировать себя от попыток Венгрии, Болгарии и Австрии вернуть незаконно захваченные у них территории. Итак, Малая Антанта под эгидой Франции формально призвана охранять нерушимость «мирных» договоров в Нейи, С-Жермене и Трианоне. А на деле же это—плацдарм французского империализма, ибо Венгрия, Австрия и Болгария, совершенно обезоруженные, бессильны воевать против государств-захватчиков.

Итальянский империализм учитывает свою слабость и несоответствие «мечты и реальности», он готов был бы пойти на компромисс с Францией, разделив сферы влияния в Средиземном море. Италия претендует на первенство свое в Балканах и восточном секторе Средиземного моря, обещая не мешать Франции действовать в западном секторе И шумиха, поднятая в свое время Италией вокруг Танжерского вопроса, имела целью больше заставить Францию пойти на уступки в других участках, чем непосредственно в Танжере. Для Италии Танжерская политика была, кроме того, вопросом престижа и услугой, оказываемой Англии за дружбу, так как Англия заинтересована в том, чтобы Танжер не подпал под влияние Франции, в виду того, что этот порт доминирует у входа в Гибралтарский пролив.

Франция, ведущая активную политику на Балканах, заинтересована в том, чтобы не дать Италии усилить там свое влияние. Еще Бисмарк в 1866 г., подстрекая Италию против Франции, писал итальянскому государственному деятелю Маццини, что: «Средиземное море—это наследство, которое нельзя разделить между двумя наследниками».

Бисмарк этим самым преследовал определенную задачу: восстановить Италию против Франции. Но, тем не менее, сущность его диагноза остает-

ся верной. И если уже непосредственно в первые годы объединения Италии соперничество между Францией и Италией было значительно, то тем острее оно выявляется в настоящее время, когда Франция и Италия являются двумя претендентами на первенство не только в Средиземном море, но и на европейском континенте. Острота англо-французской борьбы усугубляется тем, что Англия, отвлеченная своей мировой политикой и осложнениями внутриимперского характера, ведет линию на обострение итало-французских отношений. Итало-французская ссора наруку Англии, которая, таким образом, становится арбитром между ними.

Италия претендует на роль великой державы на равных правах с Францией.

В ответ на англо-французское приглашение о морском компромиссе, Муссолини в своей июньской речи (1928 г.) в сенате заявил: «Италия согласна заранее на любое ограничение вооружений, но при условии, чтобы цифра итальянских вооружений не была превзойдена ни одной другой континентальной европейской державой» (разрядка моя—Б. М.).

По этому вопросу велась весьма оживленная полемика между французской и итальянской прессой. В ответ на это заявление в «Журналь де Деба» и в других французских газетах появились статьи, показывавшие, что Италия не может претендовать на равенство флотов с Францией, так как Франция имеет большую колониальную империю, которую должна охранять. Фашистский официоз «Трибуна» ответил на эти статьи следующим образом: «Если Франция должна охранять колонии, то Италия должна завоевать их,— в мудро выбранный момент она это сделает».

Французский орган крупной индустрии «Энформасьон» от 16 октября по этому поводу писал: «Если Италия хочет завоевать колонии, то ясно, что за счет других держав, которые вовсе не имеют намерения дать себя ограбить».

Итальянский империализм не мыслит своего развития без могуществен-

ного флота, необходимого для будущих завоеваний. Больше того, Италия без могущественного флота, как уже отмечено выше, не вполне самостоятельна. Она заперта в Средиземном море, и блокада ее берегов может оказать губительное действие на страну. «Лаворо д'Италия» пишет: «Когда Италия колебалась, к какой стороне прикнуться в мировую войну, то Англия показала, что она может лишить ее хлеба и топлива, так как у Италии не было сильного флота».

Итальянские требования идут еще дальше: Италия требует равенства не только для морских сил, но для всех видов военных сил.

В отношении флотов Вашингтонская конференция 1921—22 г. установила равенство флотов для Франции и Италии (по 1,75). Французские газеты по этому поводу писали, что уже тогда Франция допустила «роковую» ошибку, согласившись на одинаковую цифру с Италией и создав этим невыгодный прецедент<sup>1)</sup>.

Фактически итальянский флот как военный, так и коммерческий не уступает французскому. Но требования Италии в отношении сухопутных, авиационных и других военных сил для французского империализма совершенно неприемлемы.

### Италия и Франция на Балканах

Военная сила Франции состоит не только в ее собственных вооружениях, но и в союзниках. Французскому империализму удалось объединить вокруг себя ряд мелких держав, долженствующих поставлять пушечное мясо для возвеличения и охраны Франции. В течение двух-трех лет Италия самым интенсивным образом делала попытки разложить Малую Антанту, она шла на всяческие уступки Румынии, чтобы добиться теснейшего с нею сближения

<sup>1)</sup> Орган фашизма «Трибуна» от 19 декабря, отвечая на статью Ля Бриера в «Ревю де Де Монд» от первой половины ноября приводит текст телеграммы Бриана французской делегации в Вашингтоне: «Что касается легких судов и подводных лодок, мы не возражаем против одинаковой цифры для нас и Италии».

и отхода от Малой Антанты. Одно время, непосредственно после ратификации Бессарабского протокола, итальянская дипломатия уже трубила победу. Но италянофильское правительство Авареску пало, и итальянские планы рухнули. Заигрывала и заигрывает Италия также с Чехо-Словакией.

Но все эти попытки оказались безуспешными, и Италия пошла на другой путь: создания блока малых держав, настроенных против Малой Антанты. Она заключила секретные союзы (наличие которых итальянское правительство не опровергает) с Венгрией и Болгарией и фактически оккупировала Албанию.

Югославия, являющаяся верным вассалом Франции и оплотом ее на Балканах, таким образом, окружена, и Италия стала твердой ногой на Балканы. Но этим Италия не удовлетворяется. Основной задачей фашистской политики на Балканах было вовлечение Греции в свою сферу влияния. Когда на политической сцене появился англо-французский союз, Италия в шуху Англии заключила 30 мая с. г. договор о дружбе с Турцией. С Грецией Италия заключила аналогичный договор. Редактор «Эко де Пари» Пертинакс в статье от 4 октября 1928 г. пытался сделать хорошую мину при плохой игре. «Итало-греческий договор,— пишет он,— намечает счастливый поворот в восточном секторе Средиземного моря». А далее он пишет: «Италия помогала Кемалю против греков, она повсюду ставила Греции палки в колеса: в Южн. Албании, Додеканезе, М. Азии, Восточной Фракии». На ряду с внешним искусственным выражением «удовлетворения» Пертинакс напоминает Греции, что Италия—ее враг, захвативший принадлежащий по праву Греции Додеканез.

Французская дипломатия была, по всем видимостям, очень обеспокоена итало-греческим договором. Бенитос для того, чтобы подчеркнуть свою лояльность по отношению к Франции, Англии и Югославии, в многочисленных интервью заявлял, что договор с Италией ни против кого не направлен. Чтобы подчеркнуть это, он сделал турне по столицам этих государств.

Французская дипломатия направила все усилия для достижения греко-югославского соглашения, а в свою очередь Италия усиленно работает в пользу сближения Греции с Турцией и Греции с Болгарией. Италия пугает Грецию опасностью насильственного захвата Югославией Салоник, так как в случае войны с Югославией Италия будет блокировать Адриатический берег Югославии, т. е. единственную морскую границу Югославии, о чем Италия неоднократно заявляла. В свою очередь, Франция стремится к тому, чтобы Югославия имела возможность наибольшего использования Салоник для экспорта и, главным образом, импорта военных материалов в военное время. Переговоры Греции с Турцией затрудняются сложностью и противоречивостью интересов обоих этих государств. Смысл современной политики Италии и Франции на Балканах сводится к следующему. Италия хочет создать блок: Турция — Греция — Болгария — Албания, а Франция — блок: Румыния — Греция — Югославия. В случае осуществления итальянского плана, Югославия будет буквально окружена тесным кольцом враждебных государств под эгидой Италии.

Франция, в свою очередь, направляет все усилия к тому, чтобы не только не дать Греции войти в анти-французскую группировку, но и отвлечь от Италии Болгарию.

Что касается Греции, то переговоры ее с Турцией прерваны. Нетрудно убедиться в том, что это прекращение переговоров вызвано нажимом со стороны Франции и Англии. Италия пытается все же достигнуть итало-греческого соглашения, для чего в Ангору приезжал со специальной миссией итальянский тов. министра иностранных дел Гранди.

Заключение союза с Англией способствовало упрочению Франции на Балканах. Кроме политического нажима на Грецию и Болгарию, Франция и Англия делают финансовый нажим. Балканские страны, и в особенности Румыния, Греция и Болгария, нуждаются в займах. Италия, при максимальном напоре, не может ссужать эти стра-

ны деньгами в такой мере, как Англия и Франция, так как Италия сама вынуждена делать займы за границей.

Французские и английские финансисты держат Грецию в полной финансовой зависимости. В настоящее время французская дипломатия пользуется своим финансовым влиянием, чтобы вовлечь и Болгарию в сферу своих интересов.

Французская официозная печать доказывает Болгарии и Венгрии невыгодность для них политической изоляции на Балканах и в Средней Европе. Мирные договоры в Нейи и Трианонский могут быть пересмотрены только в результате военной победы Болгарии и Венгрии над соседями, а так как это невозможно, то не целесообразнее ли им примириться с существующим положением и не давать себя вовлекать в авантюры. Таковы в общих чертах логические убеждения англо-французской дипломатии.

«Тан» от 6 сентября с. г. в передовице писал по болгарскому вопросу: «Надо полагать, что Болгария пойдет на балканское Локарно. Нужно отдать ей справедливость, она выполняет все пункты мирного договора — вся передовая подсласлена. Если бы Болгарию удалось вовлечь в проектируемое Францией балканское Локарно, то это означало бы полную изоляцию Италии».

Достижения французской дипломатии в этом направлении уже значительны.

Греко-югославский договор уже заключен, остается только вопрос о Салониках, почти улаженный. Франция, имеющая возможность экспортировать капиталы в огромном масштабе, постарается закрепить свои позиции на Балканах путем «финансовых уз».

Греко-итальянский договор расценивался в Италии как победа над Францией. И когда вслед за ним был заключен греко-югославский договор, итальянская фашистская печать не скрывала своего «смущения». В передовой «Трибуны» редактор этой газеты, лидер фашизма, Форж Даванцати, писал 14 октября, что Франция, для обеспечения итало-греческого договора за-

ставила Венизелоса пойти на пакт, рассматриваемый, как прямой союз с Югославией.

«Не наша вища, — пишет он, — что в то время, как повсюду гсворят о мире и Бриан произносит трогательные речи, Франция ведет политику войны и военных союзов, и все они имеют одну задачу — войну против Италии».

Обе стороны клянутся на всех перекрестках в своих мирных намерениях и обвиняют друг друга в подготовке к войне.

А между тем, все внимание, все ресурсы, вся энергия направлены к вооружениям, к вовлечению все большего количества государств в военные союзы.

### **Борьба в западном бассейне Средиземного моря и в бассейне Красного моря**

Борьба держав в бассейне Средиземного моря в настоящее время наиболее интенсивна в балканском секторе. С улажением Тажерского вопроса в начале 1928 г. у Италии отпал серьезнейший повод к обострению своих отношений с Францией в западном секторе, оживленная дипломатическая переписка ведется по поводу установления границ Триполи с французскими «протекторатами» Италия до сих пор не мирится с принадлежностью Туниса Франции. Укрепление Бизерты Италия рассматривает как угрозу Сицилии и морской связи восточного и западного своих берегов. В последний период фашистская печать нападает на Францию за закон о натурализации иностранцев, который обязывает итальянцев, живущих в Тунисе, принять французское подданство. Этим Франция хочет выбить козырь из рук итальянских шовинистов, доказывающих право Италии на Тунис, на том основании, что итальянцев в Тунисе в два с половиной раза больше, чем французов (свои претензии на Тунис итальянцы основывают и на другом). Новый таможенный закон, введенный недавно в Тунисе, ставит в тяжелое положение итальянский импорт в эту колонию. Этот закон итальянская пресса расценивает как «очередной выпад против Италии». Между Францией и Италией,

несмотря на обостренность отношений, в настоящий период ведутся переговоры, сводящиеся к тому, чтобы натурализация итальянцев, живущих в Тунисе, проводилась только для третьего поколения, считая со времени подписания соответствующего договора.

Еще в 1925 г. был выдвинут проект, по всем видимостям, исходивший от Чемберлена, о передаче сирийского мандата Италии. В самый последний период «сирийский вопрос» вновь выплыл. Вопрос о Сирии поднялся в связи с намеком Пуанкаре в парламенте, что имеется держава, желающая захватить Сирию. Намек Пуанкаре вызвал бурю негодования в итальянской печати.

Органы фашизма «Коррьере д'Италия» и «Джорнале д'Италия» разоблачают насилие Франции в Сирии. Франция привела Сирию к полному разрушению и обнищанию.

Итальянская пресса доказывает права Италии на Сирию. Исключительно характерна в этом отношении статья в органе крайнего фашизма «Империо». В статье от 6 декабря «Империо» пишет: «Италия должна получить мандат на Сирию уже за одно то, что ей одной Антанты обязана выигрышем войны. Если это понадобится, Италия завтра начнет войну, и если она захочет получить Сирию, то она возьмет ее, когда найдет нужным». Итальянская пресса допускала такой тон, учитывая, что Франция в настоящее время меньше всего заинтересована в войне с Италией. Такого рода статьи, конечно, не могут иметь реальных результатов, а служат только для внутреннего употребления. Фашизму нужно показать, что Италия стала благодаря ему могучей державой.

Серьезная борьба в последнее время вновь разгорелась в бассейне Красного моря в связи с итало-абиссинским договором. Еще совсем недавно фашистская печать метала громы и молнии против регента Абиссинии Раза-Тафари, опротестовавшего в Лиге Наций англо-итальянский договор о разделе сфер влияния в Абиссинии. Под давлением Франции этот договор был аннулирован. Второго августа 1928 г. Италия

заключила с Абиссинией пакт о дружбе и дорожную конвенцию.

Политическая сторона этого пакта затрагивает больше всего Англию. В свое время договор Италии с Йеменом вызвал недовольство в Форейн-Оффисе. Теперь же договор с Абиссинией, мало того, что еще больше укрепляет позицию Италии в бассейне Красного моря, приводит также к проникновению Италии внутрь Абиссинии, так как ведутся переговоры о предоставлении Италии горных, нефтяных и т. п. концессий, а также концессии по эксплуатации энергии реки Геби-Шельби. Дорожная концессия итальянцами уже получена, и они приступают к организации шоссе и автотранспорта из Абиссинии в итальянский порт на Красном море, Ассаб. Итальянцы предоставили Абиссинии в Ассабе свободную зону в 30.000 кв. метров. Автодорога в Ассаб призвана оттянуть все грузы, идущие во французский порт Джибути (на Красном море). Это грозит тем, что железная дорога Джибути — Адис — Абеба должна будет замереть. Теперь уже французы угрожают Абиссинии.

Французы восстанавливают Англию против Италии, базируясь на том, что Италия будет делать попытки получить концессию на шлюзование абиссинского озера Цан, питающего водой Нил. Об этом озере уже много писалось в связи с американскими переговорами об этой концессии.

Одно время обострившееся положение в Египте и Аравии теперь затихло.

Египетский парламент разогнан, новое египетское правительство ведет покорную Англии политику. В Аравии, после английской бомбардировки Йемена, вызванной отказом этого государства отдать англичанам 9 провинций, прилегающих к Адену, также наступило затишье. По данным «Таймса» от 8 декабря, король Неджда-Геджаса Ибн-Сауд снял шейха Фейсала и шейха Султан-Эд-Дина с постов начальников племен за их налеты на Ирак и Кувейт. Если это соответствует действительности, то это доказывает, что отношения между Ибн-Саудом и Англией улучшились. Массы населения

в Аравии ненавидят англичан. Их ставленники — владыки Ирака и Транс-Иордания — ненавидимы так же, как и англичане. Большую роль играет пан-арабское движение, которое в благоприятных условиях может принять широкие формы.

Опасение восстаний против Англии в этих странах и против Франции в Сирии, Марокко, Тунисе и т. д. привело к заключению между Англией и Францией секретного колониального пакта. Этот договор предусматривает единство действий и взаимную поддержку в случаях восстаний. Вдохновителями этого пакта, заключенного в середине 1927 г., явились Эмери и Франсуа Марсал.

Это колониальное соглашение было одним из первых камней в фундаменте нового англо-французского союза.

#### Реальные военные приготовления и временная фаза итало-французской борьбы

Военный бюджет Франции в 1928 г. официально составил огромную сумму в 7,3 миллиарда. Бюджет на 1929 год предусматривает увеличение военных расходов на 790 миллионов. Но это только формально принятый парламентом бюджет, не считая «чрезвычайных» и прочих негласных расходов на строительство военных заводов, дорог, укреплений. Огромнейшие средства тратятся на авиацию<sup>1)</sup>. Химическая и металлургическая промышленность субсидируются, чтобы иметь возможность во время войны использовать все достижения науки. Франция проектирует постройку огромной стратегической Транссахарской железной дороги, чтобы иметь возможность черпать из колоний миллионы цветных войск.

Италия учитывает, что вооружения Франции направлены, главным образом, против нее, и старается не отстать в вооружениях. Военные верфи обеих стран работают, как в военное время. Особенно интенсивно строятся подвод-

ные лодки (это при обязательствах, торжественно принятых не вести подводной войны). По данным английской «Белой книги», Франция в 1928 г. строила 43 подводных лодки при наличии 44 на 1927 г. Коммерческий флот строится с таким расчетом, чтобы иметь возможность вооружить его и превратить в военный. Отсюда — бешеное соперничество и в строительстве торгового флота, которое не диктуется экономической необходимостью. Но не одними вооружениями ограничивается подготовка к войне. Италия пользуется всеми внутренними противоречиями Югославии, которая напоминает в малом масштабе довоенную Австро-Венгрию. Сербь, составляющие около трети населения Югославии, пытаются властвовать над другими национальностями: хорватами, словенцами, македонцами, венграми, черногорцами и т. д. Италия пользуется национальными и религиозными распрями, чтобы осложнить внутреннее положение Югославии.

По этому поводу Розенфельд в «Полуполер» писал: «Рим поддерживает македонских комитаджей и Ляпчева, собирается женить короля Бориса (болгарского) на итальянской принцессе. Париж и Лондон стремятся разорвать кольцо, которым Италия хочет окружить Югославию, и противопоставить блоку Албания — Болгария — Турция — Венгрия блок Югославия — Греция — Румыния — Чехо-Словакия. Это — прямая дорога к войне» — заканчивает автор статью. Без сомнения, империалисты используют все сложные национальные противоречия на Балканах, когда они захотят начать новую войну. В виду своей политической изоляции, Италия идет теперь по пути примирения с Францией и Югославией.

В настоящее время ведутся переговоры между Италией и Югославией о заключении гарантийного пакта. Югославский посол предложил Муссолини продлить договор о дружбе, но Муссолини предложил взамен этого договора заключить политический договор более широкого и длительного порядка. Характерно, что третирование

<sup>1)</sup> Если верить итальянскому журналу «Фольо д'Ордине», в 1927 году Франция должна была затратить на все виды военных расходов 19 миллиардов франков.

Италии в Лугано со стороны Франции и Англии во время последних переговоров с Германией не только не вызвало протеста со стороны итальянской прессы, но даже обойдено молчанием. Об этом ехидно рассказывает Пертинакс в «Эко де Пари» от 16 декабря. Италия была отстранена от переговоров с Германией. Чтобы исправить положение, делегат Италии в Лугано и представитель в Лиге Наций—Шалоя—добился от Чемберлена подписания коммюнике о «единстве взглядов и Италии». От французской делегации такого подписания сообщения он не добился.

Характерна в этом же отношении статья в органе итальянских банкиров «Иль-Соле» от 28 декабря по поводу англо-французского колониального пакта: «Если искренни мирные намерения Лондона, то там должны серьезно продумать о справедливости наших колониальных требований и понять выгоду привлечения Италии к колониальному пакту».

Италии теперь невыгодно оттягивать тетиву — стрела может отскочить обратно, и поэтому тон итальянской печати стал смиреннее. Но это смирение вынужденное и временное. Франции не будет прощено очередное третирование великой державы — Италии. Больше надежды возлагает Италия на провал консерваторов на очередных выборах, так как либеральная печать ведет резкую кампанию против англо-французского союза.

Но всякие внешние проявления «миролюбия» с одной и другой стороны служат только для прикрытия реальных действий.

Пуанкаре пользуется поддержкой Англии для сведения к минимуму итальянского влияния. За последний год Италия потеряла позиции в Испании, Румынии (не считая самой Англии), теперь Франция ведет анти-итальянскую политику в Болгарии и Венгрии. Дошло даже до того, что выдвигается проект интернационализации Албании, т. е. сведения к нулю итальянского влияния в восточном секторе Средиземного моря.

Итальянская пресса полна требований об оплате Францией колониальных векселей. (По договору от 26 апреля 1915 г. за участие Италии в войне союзники обязались в случае победы наградить Италию колониальными прирезками. Если не считать клочка земли в районе реки Джубы, Италия никаких колониальных прирезок не получила. Богатейшие германские колонии в Африке и турецкие владения были разделены между Англией и Францией.) Из этих «колониальных соображений» Муссолини взял на себя пост министра колоний, и на должность губернатора Ливии назначил крупнейшего генерала Бадольо. Газета крайних правых фашистов «Режиме Фашиста» пишет о захвате Камеруна и проникновении Италии к Атлантическому берегу Африки. Эта же газета пишет о желательности постройки в Африке большой железной дороги — в противовес проектируемой Францией Транссахарской дороге, которая должна соединить Триполитанский берег с берегом Атлантического океана. В настоящих условиях эти «проекты» не больше, как пустые демонстрации, тем более, что Италия слишком бедна капиталами для осуществления таких проектов. Но они показательны, как определенные стремления итальянского империализма. Повсюду, на всех путях своих, итальянский империализм сталкивается с французским. Сегодня Италия бессильна, так как Англия находится на стороне Франции. Но Англия вероломна. Ее политика: разделяй и властвуй. И если сегодня условия таковы, что Англии невыгодно ссориться с Францией, то из этого не следует, что завтра Англия не объединится с Италией, чтобы совместно разбить чересчур сильную Францию, претендующую на первенство в Европе.

### Выводы

Англо-французский союз привел к перегруппировке сил в Средиземноморском бассейне.

Противоречия между Италией и Францией настолько глубоки, что совершенно исключается возможность



длительного примирения между этими двумя империализмами. Обе стороны в бешеном темпе готовятся к войне. И если даже между ними возможно соглашение, то оно будет временным и неискренним. В настоящее время соотношение сил явно не в пользу Италии, которая поэтому держится выжидательной тактики. Итальянская дипломатия рассчитывает на недолговечность англо-французского союза, основанного на довольно шатком фундаменте. Шаткость этого фундамента состоит в том, что Англия боится возрастающей военной и политической мощи Франции и, наоборот, итальянский империализм для Англии не опасен. В условиях изменчивых политических ситуаций возможны временные новые перегруппировки, могущие произойти в результате англо-американского и франко-американского соглашения или в результате взаимной ненависти всех империалистов к СССР.

Италия, вероятно, будет поддерживать Францию против Германии в вопросе о репарациях и по вопросу о недопущении объединения Германии с Австрией. Но эта общность интересов все же ничтожна по сравнению с итало-французскими противоречиями.

СССР заинтересован в средиземноморской политике, так как эта проблема и в экономическом и в политическом отношении касается Советского Союза.

Следует отметить, что как Италия, так и Франция усиленно стремятся вовлечь в сферу своего влияния Герма-

нию. Однако, опыт показал уже, что наиболее выгодная для Германии позиция — это сохранение самостоятельной от западных держав политической линии. Поэтому сомнительно, чтобы Германия была вовлечена в одну или другую группировку.

В развитии политики средиземноморских держав, которая есть, в сущности, европейская политика, большую роль должно сыграть стремление арабских и северо-африканских стран к самостоятельности.

Балканы, как и до войны, являются ареной всевозможных интриг. Балканские государства — игрушки в руках крупных империалистских стран. Запутанность политических, национальных, экономических и внутривосточных интересов на Балканах столь велика, что Балканы являются пороховым погребом, фитиль которого находится в Риме, Париже, Лондоне. И когда военная подготовка достигнет апогея, — этот фитиль будет зажжен. Это, однако, не исключает единого фронта империалистов против СССР.

Политическая изоляция Италии и наличие англо-французского союза может привести к необходимости для Италии пойти на поклон англо-французской антанте. Если это случится, — а это весьма возможно, — то это означало бы временное «умиротворение» Европы под эгидой Англии и, следовательно, усиление антисоветского блока.

# Неотразимый образ

Заметки о Ларисе Рейснер

НИК. СМИРНОВ

Ты билась с мужеством немногих  
И в этом роковом бою  
Из испытаний самых строгих  
Всю душу вынесла свою...

Ф. И. Тютчев

## I

Смерть Ларисы Рейснер была огромной потерей для молодой советской литературы. Прекрасная писательница, пламенная женщина-воин, она умерла в первичном расцвете своего творчества.

Вместе с тем, богатейшая ее жизнь и сверкающее ее творчество надолго оставят в литературе свой незарастающий след.

Ее книги, пахнущие порохом и земной радостью весны, долго будут вдохновлять, радовать и восторгать их читателя.

Ее необычная жизнь, подобная жемчужно-розовой радуге, быстро истаявшей над цветущими полями, даст редчайший материал не только для биографического исследования, но и для прекрасного исторического романа.

Этот поистине неотразимый образ должен быть сохранен во всей своей цельности, во всем своем многообразии.

В третью годовщину смерти Ларисы Рейснер<sup>1)</sup> советская литература снова должна вспомнить об одинокой могиле, затерявшейся в пушистых снегах Ваганькова кладбища.

## II

Поздней осенью восемнадцатого года, я, развернув свежий номер «Известий», не отрываясь, с настоящим вол-

нением прочел большой («подвальный») фельетон «Астрахань», подписанный именем Ларисы Рейснер. В фельетоне, очень живом, сгущенно-темпераментном и преизбыточно-образном, рассказывалось о волжских битвах с белыми, почему-то воскрешающими в памяти походы норманнов или даже очарованные поиски золотого руна; в манере письма, во всем уверенном словесном литье чувствовался большой художник, большой и несомненный мастер.

Лариса Рейснер... Новое и, отчасти, уже знакомое имя.

Вспомнился давний альманах «Шиповник» (за 1913—14 г.) и напечатанная в нем драма Ларисы Рейснер «Атлантида», вещь, от которой, несмотря на ее всяческую неопытность, веяло солнечным обаянием юности. Оставалось впечатление, будто в этой книге прозрачно сохли светлые, лазурные лепестки.

После фельетона «Астрахань» я с нетерпением стал следить за творчеством Рейснер. А через несколько лет пришлось лично встретиться с писательницей.

Она родилась в Польше (в Люблине) весной, первого мая 1895 года. Ее детство прошло в провинциальной глуши, в доме отца, нередко посещаемом известными революционерами, стариком Бебелем и юношей Карлом Либкнех-

<sup>1)</sup> Л. М. Рейснер скончалась 9 февраля 1926 года.

том, ее отрочество и юность протекали в блистательной и великолепной столице мглистого ледяного севера.

Знакомая, привычная и, вместе с тем, необычная, внутренне-бурлящая, ищущая и порывистая юность!

Тяжелые девические косы, душные коридоры классически-церемонной гимназии, святочные балы,—старинный вальс и рыцарская мазурка,—вьюжные зимы и грустные финские закаты над холодным зеркалом весенней Невы...

И тут же, на гимназической парте, источенной вензелями, первые литературные работы, хотя бы та же «Атлантида», герой которой своей смертью спасает человечество от гибели, или задорный, вызывающе-шутиливый памфлет на Корнея Чуковского в журнале «Рубикон», а на ряду с этим, чтение подпольно - революционной литературы, соединенное с увлечением Андреевым и лирически-мятежными строфами Блока, ищущего голубую «Незнакомку» в призрачных петербургских туманах.

Гимназистка Рейснер,—на портрете того времени она изображается лукаво-красивой девушкой в небрежной пелеринке, в круглой соломенной шляпе с синими васильками,—была исключительно неуспокоенной протестанткой, жаждущей борьбы, жертвенности и подвига.

Мятежная,—тогда еще неоформленная,—революционность — основное свойство ее натуры. Это признают не только ее друзья, но и враги.

Последний потомок акемистической школы, Георгий Иванов, ныне маскирующийся менестрелем в старых кабачках Латинского квартала, не так

давно напечатал в «Последних Новостях» П. Н. Милюкова претенциозно-апокрифические «воспоминания» о Рейснер<sup>1)</sup>. Но даже и этот герой «стоунущей лиры», сравнивающий Ларису Рейснер то с Психеей, то с Валькирией, не мог не отметить ее искренней мятежности, приведя ее слова, сказанные в разгар империалистической войны:

— Да, да, в ссылку, по этапу, в Сибирь, на виселицу, на костер... Я не могу так жить, я не хочу так жить...

Во время империалистической войны,

когда некоторые ее друзья-поэты зазвенели гвардейскими шпорами и палашиами, а костюм оперного Леля сменили на патриотически-национальный «армяк»,—она не сделалась ни «сестрой милосердия», «стынувшей» в изголовьи умирающего солдата, ни импровизированной «швеей», строчащей грубые рубахи из благотворительного, по преимуществу гнилого, полотна.



Лариса Рейснер

Февральская, и особенно Октябрьская, революция захватила ее целиком, без остатка. Лариса Рейснер работает как журналистка, — ярко, страстно и резко звучит в «Новой Жизни» ее очерк о Керенском, о политическом Пьеро в полумаске Кромвеля и наполеоновских ботфортах, — соединяя работу журналистки с культурной работой в пролетарских клубах и музеях.

Однако, темпераментная революционерка не могла уложиться в музейный футляр или в скромные рамки культурничества.

Литературная работа никогда не имела для Ларисы Рейснер самодевлеющего значения. В первые годы ре-

<sup>1)</sup> Эти «воспоминания» вошли в его книгу «Петербургские зимы» (изд. «Родник», Париж, 1928 г.).

волюции отточенное журналистское перо не удовлетворяло Ларису Рейснер.

С весны восемнадцатого года жизнь ее круто изменилась. Молодая, талантливая писательница, двадцатидвухлетняя женщина, похожая на героиню из баллады, опоясалась кожаными боевыми ремнями, стала отважным воином революции, героической участницей великой волжской эпопеи.

Позади осталось прошлое: северная петербургская юность, дымные литературные кафе, стихи о малиновом фригийском колпаке, фиалковая полумгла «белых ночей», далекие осенние зори, так грустно тревожившие своим облетающим, романтическим сияньем, — а впереди открылись выжженные киргиз-кайсацкие степи, грохот и гул орудий, бешеные кони, матросские ленты, черный браунинг в недрожащей руке и, может быть, — смерть?..

Лариса Рейснер не была авантюристкой, если даже брать это определение в его лучшем, в его настоящем смысле. Ее революционность не была обусловлена и тем интеллигентски-бунтарским антагонизмом со своей средой, который создает, обычно, трагических (а иногда и трагикомических), быстро погасающих «героев на час»...

Во всех ее поступках и действиях чувствовалась горячая органичность.

Один из ее спутников-красноармейцев просто и ярко описал ночную разведку при участии Рейснер и ее заботливость к своим боевым друзьям.

«Она была недосыгаемо высока в этот миг, с этой заботой. Хотелось целовать черные от дорожной пыли руки этой удивительной женщины...».

Здесь прекрасно выражено то теплое, благородно-товарищеское чувство, которое окружало Ларису Рейснер в обстановке фронта.

Она, вообще, умела создавать вокруг себя атмосферу товарищества, конечно, при условии ответной добросовестности и настоящей искренности.

Она нигде не терялась. Такт и выдержанность никогда не изменяли ей, ни в своем товарищеском кругу, ни в средневековом Афганистане, при сия-

тельном эмирском дворе, куда она попала в период относительного революционного затишья.

Окружающая роскошь людей и природы, узорные, как в арабских сказках, костюмы, лучистые, хрустальные фонтаны — ничто не наложило на содержание ее творчества своего мечтательного, изнеживающего отпечатка. Ее книга «Афганистан», экзотический стиль которой вполне естественно обусловлен внешней нарядностью отражаемого в ней быта, — принадлежит к числу литературных произведений, опять-таки больше пахнущих порошком, нежели розами Востока.

Никогда не успокаивающаяся, мятежная писательница долго не оставалась на одном месте. Смена впечатлений была ей так же необходима, как свежая влага — цветам. Она постоянно искала действительности.

Действительность и движение обуславливали ее литературное творчество.

После Афганистана — Германия, Гамбург, развалины расстрелянных баррикад, озлобление масс, накапливающих силы для новой схватки, а после Гамбурга — снова своя, знакомая и родная Москва.

Москва уже сняла свинцовый панцирь солдата, жесточайшие рубцы гражданской войны уже не сочлились кровью, — улицы, так недавно напоминавшие биваук, пестрели и сияли первыми ростками культурного и промышленного оживления.

Героическая эпоха революции окончилась, наступила «будничная», творчески-созидательная полоса, требующая от каждого революционера все той же зоркости и того же, только более сдержанного и углубленного, энтузиазма.

Лариса Рейснер, как, вероятно, и многие, переживала некоторый внутренний перелом, но, в конце концов, осталась все той же великолепной бунтаркой, сохранившей священный огонь трезвой, осмысленной романтики.

К этому времени относится и расцвет ее творчества.

## III

В начале января 1924 г., в сутолочный и шумный (т. е. обычный) редакционный вечер, зам. редактора «Известий ЦИК», передавая мне очередную рукопись, сказал:

— Прочтите и сдайте в набор.

Подумав несколько секунд, он улыбнулся и добавил, понизив голос:

— Под шумок можете подсократить...

Рукопись, написанная твердым и округло-четким, почти прямым почерком, называлась:

«Гамбург на баррикадах».

Я прочел ее все с тем же волнением, с каким читал несколько лет назад, «Астрахань». В очерках сильно и ярко изображалось недавнее, только что прошумевшее пролетарское восстание на улицах огромного портового города, изнемогающего в золотых цепях торжествующих, — надолго ли? — победителей.

С чисто художественной стороны очерки доказывали неуклонный, все крепнущий рост писательницы: слово уже не обременялось красочной пышностью, а сюжетное действие разворачивалось в четком, динамическом сверкании.

Очерки печатались почти без сокращений: я вычеркнул всего несколько казавшихся мне лишними слов, но Лариса Михайловна с показной строгостью говорила зам. редактору (а потом и мне):

— Не удержались, сократили...

И звонко смеялась, хлопывая по левой руке мятой темно-брусничной лайковой перчаткой:

— Профессиональный долг исполняете?

На ней была короткая шубка, мягко опущенная смуглым курчавающим мехом, высокая, гоголевски-казацкая шапка, ее свежее, совсем молодое лицо тонко розовело от мороза, — во всей ее фигуре чувствовалось что-то легкое, спортсменское, женственное, а в то же время ощущалась и некоторая строгость, может быть, даже суховатость. В ее голубовато-серых глазах было много живого, почти мальчишеского задора, в порывистых движениях —

много легкой, ненамеренной пластичности. Голос у нее был мягкий, спокойный, вызолоченно-певучий.

Лариса Михайловна, как всякий человек с большим художественным чутьем и вкусом, обладала сложным и прекрасным искусством, — возвращать заштампованным и, казалось бы, шаблонным словам их первоначальную свежесть и чистоту.

Слово «товарищ» нельзя, конечно, отнести к числу заштампованных слов, но иногда и оно звучит механически, не заражая заложенной в нем человечностью и силой.

Лариса Михайловна произносила это слово с незабываемой и глубокой простотой.

Она, вообще, держалась очень просто. Не лишенная известной хитрости, она больше всего и в себе и в других ценила прямоту, издали чувствуя всяческую, даже малейшую, неискренность. Она не любила похвал своим очеркам и статьям — и, надо сказать, очень редко хвалила чужие работы. Ее отношение к художеству — очерк и «фельетон» должны быть, прежде всего, художественными — было на редкость тщательным и строгим. Очень часто она не только внимательно перечитывала свои рукописи после машинки, но основательно перерабатывала их и в гранках.

Лариса Рейснер, обладательница большого художественного дара, была незаменимой журналисткой в том смысле, что могла писать коротко, отчетливо и быстро. Однако, необходимо заметить, что на «репортерскую» (вернее, корреспондентскую) работу она соглашалась только в исключительных случаях.

В конце все того же января Москва, сияющая густым и тяжким сиреневолучистым инеем, покрылась трауром, — пролетарская столица навсегда прощалась с гениальным вождем революции, лежавшим в скорбном зале под сдержанным шум проходящих перед гробом несметных человеческих толп, под тихий, как бы далекий рокот оркестра, игравшего за стеной песни борьбы, труда и разлуки.

Прозрачно-острые, солнечные дни с ледяным, голубеющим небом, звонкие и светлые ночи с огромной луной в столярных перстнях лютого, арктического мороза...

Непрерывно, — ночью и днем, — по улицам, среди старо-славянских костров и недвижных всадников на плюшево-холодеющих лошадях, — шли, шли, шли волнистые массы народа, молчаливо обнажающие головы у подъезда черно-золотого Дома Союзов.

Лариса Михайловна, непрестанно бродившая среди человеческих толп и несколько раз стоявшая в карауле у гроба Ленина, написала в эти дни одну из своих лучших статей. Статья выделялась экспрессивной энергичностью и глубочайшей выразительностью. Центральным образом этой статьи был взят образ России, опирающейся на рукоять боевого меча, а основным мотивом — мотив жизнеутверждения:

— Сегодня горе, завтра работа.

Утверждение жизни, ее радость, борьба и работа целиком переполняли Ларису Рейснер.

Ларису Рейснер было бы очень трудно представить старухой, бабушкой в уютном кружевном чепце, как, например, нельзя представить стариком с поседевшей головой и одиноко выстукивающим посохом Александра Блока.

Воспоминания о Ларисе Михайловне всегда связываются с солнечной молодостью, с полноценным счастьем здоровья. Большинство портретов очень верно передают ее лицо, — ясный блеск глаз, легкую лукавость в тонких складках губ и вопросительную остроту чуть приподнятых, чуть смурейных бровей...

Самым неудачным ее портретом следует признать портрет, приложенный ко второму тому собрания сочинений: женщину в средневековом бархатном берете, с изумленно-растерянным лицом. Портрет этот был, кстати, любительским: она снималась в небольшой комнатке информационного отдела «Известий» под вспышками ослепительно пугающего, серебристого магния.

Помню, приподнимаясь с кресла, она сказала, усмехнувшись:

— Кажется, буду изо-бра-же-на...

В 1924 году Лариса Михайловна работала в «Известиях» с перерывами.

Она постоянно мечтала о поездках. Была на Урале, — в результате поездки получилась книга «Железо, уголь и живые люди», — была в Минске, на процессе селькора Лапицкого, где выступала не только в качестве журналистки, но и как «прокурор».

Она умела брать очень острые, очень волнующие темы.

Однажды она с увлечением рассказывала мне об одном красноармейце из артиллерийской бригады, который, будучи, очевидно, психически больным, приписал себе ряд несуществующих и несвершенных преступлений (в том числе и идейное разложение).

— Обязательно напишу фельетон, — говорила она, по своей привычке опраяля гладко, на прямой пробор, расчесанные волосы золотисто-кофейного цвета.

Фельетон был написан, — я читал его, — но оказался ненапечатанным. Где он — неизвестно.

В другой раз она, быстро войдя в редакционную комнату, торопливо сбросила на письменный стол розовый кожаный плащ и гранатово-цветистый жаркий вязаный шарф и весело осмотрелась кругом.

— Знаете, есть возможность поехать в Непландию, — небрежно сказала она.

Она прошла (вернее: прокружила) по комнате, заглянула в окно, — за окном песочно золотился Страстной монастырь и солнечно искрилась весенняя Тверская, где продавали лимонно-горькие мимозы, — и опять сказала:

— А, правда, хороший заголовок: «Письмо из Непландии»?

Один из работников редакции, милейший В. М. В. иронически-молчаливо оглянулся на карту.

— Нет, голубчик, не трудитесь, эта «страна» на карте не обозначена...

Оказалось, что Лариса Михайловна встретила со своей бывшей гимназической подругой, живущей замужем за современным «нуворишем» и пригла-

павшей ее к себе. Слово «Нэпландия» оказывалось, таким образом, производным от слова нэп.

Письма же написаны не были: Лариса Михайловна больше не встречалась со своей «подругой».

Из своих частых и многочисленных поездок она привозила такой богатый запас тем и наблюдений,—наблюдательность ее была поразительно зоркой,—что иногда почти терялась...

— Ну, когда я буду все это писать?— задумчиво-капризно говорила она, прищуривая глаза.

Кроме того, она не была в своих поездках любопытствующей туристкой,—она была, прежде всего, общественной работницей, внимательно присматривающейся к быту и людям.

Как-то в редакцию зашел парень, похожий на пастуха, в рубчатых лаптях и старинной—двадцатых годов—широкотолой войлочной шляпе.

— Мне бы повидать Ларису Михайловну,—спросил он.

Он оказался селькором Липицким.

Потом зашел рабочий с Родниковской фабрики (Иваново-Вознесенской губ.), также ищущий адреса Рейснер.

В Рейснер всегда поражало ее уменье одинаково, без всякой натянутости и подчеркнутости, вести себя с самыми разнообразными людьми. В разговоре с родниковским рабочим и белорусским пастухом Лариса Михайловна, не позируя и не подбирая выражений для так называемой простой речи, держалась с исключительной естественностью, оставаясь человечески-простым, революционным товарищем.

Было бы ошибочным представлять Ларису Рейснер скульптурно-строгой или, с другой стороны, постоянно веселой, подвижной, смеющейся женщиной.

В ней проскальзывала иногда некоторая утомленная грусть,—она нередко была усталой и молчаливой, внимательно слушающей других... Слушая других, она чуть склоняла свою небольшую, гладко причесанную голову, слегка шурилась, неторопливо поигры-

вала бровями и подолгу смотрела в одну неопределенную точку.

Обычно же она завладевала разговором, ведя его с непринужденной легкостью. Она была редкостно-интересной собеседницей.

Мне, кроме редакции «Известий», не раз приходилось встречаться с Ларисой Михайловной в квартире В. П. Правдухина и Л. Н. Сейфуллиной, где в 1924 году часто собирались московские писатели. Здесь можно было увидеть и молодого крестьянского поэта, писавшего «гнедые стихи» о башкирских кобылицах, и солидную, похожую на институтскую классную даму, Ольгу Форш, читавшую своим мужским баритоном антологические стихотворения, и цыгански-смуглого М. М. Пришвина в охотничьих сапогах и синей толстовке, из левого кармана которой всегда выглядывала новая рукопись, а иногда, в качестве «воздушного деликатесса», и звонкого Виктора Шкловского, самолюбленно роняющего свои «бисерные» афоризмы, в роде:

— «NN» не критик, а знак восклицательный к Бабелю!

Нередко приходил сюда и степенный, неторопливый Исаак Эммануилович Бабель, очень подробно рассказывающий о залежах (!) своих рукописей, об удачной якобы охоте на русаков, — на самом деле он никогда не брал в руки охотничьего ружья, — и о своем герое Бене с нарядной и построй, цветущей Молдаванки.

Ларису Михайловну можно было узнать по звонку, — во всяком случае, Л. Н. Сейфуллина различала ее звонок безошибочно.

— Это Лариса, — говорила она, идя открывать дверь.

Лариса Михайловна и здесь, как всегда и везде, не могла сидеть спокойно: с кресла пересаживалась на диван, с дивана — к письменному столу, на котором лежала рукопись «Виринеи», написанная учительски-строгим, широким сейфуллинским почерком.

Она не могла допить чашки чая, бросалась к дремлющему в углу ирландскому сеттеру, пушистой, агатово-золотистой «Тайге», потом с такой же поспешностью переходила к

книжной полке, опытно и умело («на глазок») оценивая любую попадающуюся книгу.

О литературе она говорила увлекательно и горячо. В своих суждениях была прямолинейна, иногда — резка. Много рассказывала об Андрееве, собиралась даже писать воспоминания о нем. Собиралась также выпустить альманахи: «Мой любимый писатель» и «Моя первая любовь», — в которых должны были принять участие лучшие современные беллетристы. Альманахи должны были выйти под редакцией Сейфуллиной и Рэйснер. Это, как и многое другое, не осуществилось. Но говорилось обо всем этом по-настоящему: с темпераментом, с «огоньком».

Лариса Михайловна, постепенно оживляясь, успокаивалась, прочно осаживалась в кресле, — ее вызолоченный, напряженный голос звучал уверенно и удивительно ровно.

Слушали ее с неутомляющимся вниманием.

Сейфуллина, не мигая, следила за ней своими темными, ночными, древне-степными глазами. Сощурившийся Бабель, тонко сжав яркие губы, старался запомнить и певучий голос рассказчицы и играющий отблеск электричества на крыле птичьего чучела туманно-радужной горной индейки.

И только неугомонная «Тайга» беззаботно прохаживалась по комнате, жестко выстукивая восковыми когтями и, по очереди обходя гостей, тепло опускала на их колени молчаливую бронзовую голову...

С таким же вниманием слушали мы Ларису Михайловну и в редакции «Известий». Когда она подолгу засиживалась в редакции, — в секретариате неизменно собиралась группа сотрудников, тут же писавшая свои заметки или правившая рукописи. В дверях появлялась иногда высокая фигура Ивана Ивановича Степанова-Скворцова, в потертом френче, с полурасстегнутым воротником, — и добродушно гудело его незабвенное, человеческое, переливно-басовитое:

— Здравствуйте, товарищи...

Особенно близкое участие в работе «Известий» Лариса Михайловна при-

нимала осенью 1925 года, в последний период жизни.

В этот период были напечатаны замечательные ее очерки «В страле Гинденбурга». Тогда же писались и превосходные «Портреты декабристов». За «портретами», — далеко незаконченными, — должны были последовать художественные исследования о первых утопистах-коммунистах, а за ними — огромная историческая эпопея из жизни уральских рабочих.

Над своими статьями о декабристах Лариса Михайловна работала особенно настойчиво и упорно: изучала массу материалов, внимательно разбирала пыльные архивы, специально ездила в Ленинград — и, в частности, к одному известному историку.

— У него, — говорила она, — целый склад источников.

И тут же задумывалась.

— Только вряд ли он даст что-нибудь, — скуп, говорят, как пушкинский рыцарь!

Потом привычно (и очень женственно) оправляла волосы, лукаво сияя глазами.

— Впрочем, добрые люди советовали для щедрости угостить его сразу тремя обедами: почтенный... любит покушать.

В морозный зимний день она шла по Тверскому бульвару, — шла своей размашисто-быстрой походкой, мягко кутаясь в широкую доху из каштанового, посеребренного меха. В этот день, вероятно, все казалось ей очаровательным: и густой, малахитово-серебряный иней на старинных московских липах, и скрип полозьев по крутому сахарному снегу, напоминающий о зеркальном катке на Патриарших прудах, и низкое перламутровое солнце, пыльно золотящее задумчивого Пушкина.

Месяц назад она вернулась из Крыма, — вернувшись, скороговоркой напевала в редакции татарские песенки, — привезла медово-медную свежесть бахчисарайского загара.

В ее руке перезванивали коньки «снегурки», в глазах, за эти годы уже заметно поблекших, отуманенных, светилась все та же молодая радость, так удачно называемая м л а д о с т ь ю.



Встретясь со мной, она улыбнулась, посмотрела кругом и сказала с восторгом:

— Чудесный сегодня день.

Прощаясь, она, как всегда, крепко, по-товарищески пожала руку и быстро пошла вперед.

На ходу обернулась:

— А замечательно жить на свете...

Это было в декабре 1925 года.

Через две недели я встретился с ней в Камерном театре на «Жирофле-Жирофля».

Старинная музыка, великолепная изобретательность режиссера, лирические песенки Жирофле и Мараскина, — все молодило, веселило и радовало.

В антракте я спросил Ларису Михайловну:

— Вы, вероятно, смотрите тоже не в первый раз?

— Конечно, нет.

— И попрежнему нравится?

— Замечательно.

Во время действия в зале можно было различить ее смех, заразительный и веселый, каким смеются только в юности.

Утром я позвонил ей по редакционному делу. Ее голос был необычно усталым и тихим, вызывавшим в воображении побледневшее лицо, грустные глаза, узкую и нервную руку, непрочно державшую телефонную трубку.

— Вы нездоровы?

— Да, очевидно возвращается моя азиатская малярия.

Лариса Михайловна ошиблась. Она заболела брюшным тифом. Заболела смертельно.

Никто не мог и не хотел верить в жуткую, нелепую и страшную весть о ее смерти.

Эта весть почему-то будила в памяти гениального и трагического голевского «Вия».

На самом же деле в страдальческом лике мертвой Ларисы Михайловны не было ничего от этого потрясающего, «страшно-пронзительного» образа. Фотография, в тот же день прине-

сенная в редакцию и положенная на тот же самый стол, на котором Лариса Рейснер еще так недавно правила свои рукописи, пугала прежде всего своей бессмысленностью: исхудавшее, почти незнакомое лицо с заострившимся носом, в зловещем могильном чепце, так напоминающем багряницу...

#### IV

В жаркий июньский день я был на Ваганьковском кладбище.

На кладбище стояла мирная, забвенная тишина, тепло пробегал, веял, клоня и мотая ажурные ветви, пахучий ветер, мраморно и холодно белели в просветах листвы одинокие изваяния над заросшими могилами секунд-майоров и московских купцов, скорбно темнели на памятниках слова библейского владыки о преходящей и пересыхающей «реке жизни», переливно щебетали птицы с чудесным, нарядным крапом на вздрагивающих крыльях.

Изредка встречались молчаливые люди, проходили женщины в трауре, но тут же, на дорожках, розово осыпанных хрустящим сияющим песком, дети катали обручи, — легкий их смех так хорошо соединялся с милым щебетом птиц, говорящим о непрекращающейся жизни.

Мягко, с южной легкостью, синело тихое русское небо, благотивно и нежно цвели липы, молодо пахли раскидистые молодые березы, тонко зеленели юные черемухи над могилой Сергея Есенина.

Могилу же Ларисы Рейснер я нашел только случайно: на ней не было никакой надписи, никакого знака.

И, стоя над этим глиняным бугром, слушая птичьи переливы, ощущая на лице летнее тепло ветра, веющего с Воробьевых гор, — попрежнему странно было думать о мертвой Ларисе Рейснер и радостно вспоминать о ж и в ой женщине-бунтарке, оставившей будущему прекрасное наследство — несколько книг, пахнущих порошком революции и неугасающим ароматом земли, вечно молодеющей в смене своих синих весен и ледяных, метельных зим...

# Первый провокатор-профессионал

ИС. ТРОЦКИЙ

История жизни и приключений Ивана Васильевича Шервуда-Верного удивительным образом распадается на отдельные эпизоды, эпизоды любопытные и своеобразные. Жанр остается выдержанным в течение всего повествования: это авантурный роман; но роман, написанный самой жизнью на плотной цветной бумаге канцелярских отношений, представляет особый интерес для историка. Герои этого романа встают перед ним живыми людьми, живыми носителями взглядов и нравов своей эпохи. Одни из них внесли свои имена в обиход всякого исторически образованного человека; другие, может быть, не были известны даже современникам; но не прав ли был Герцен: «что может быть оригинальнее и разнообразнее биографий неизвестных людей?».

Шервуд для нас не просто искатель приключений. Его именем начинается список профессионалов-провокаторов в России. Он вошел действующим лицом в историю такого значительного движения, как восстание декабристов. И не мудрено, что, знакомясь с отдельными эпизодами его биографии, мы находим в них типическое отражение общественного быта эпохи. Пусть из отдельных осколков жизни одного человека мы не соберем целостного здания, но если в них откристаллизовались явления, характерные для всего социального уклада времени,—стоит, думается, извлечь документ из плена архивных стилажей и к цепи событий, на

первый взгляд случайных и не связанных, поискать недостающих звеньев. Элемент анекдота останется, но в том смысле, как его понимали в начале прошлого века: любопытное, но истинное происшествие.

Попробуем же бегло перелистать страницы этого романа; но разрешим себе иногда задержаться над наиболее интересными его главами.

1

Иностранцы в России—вот первая тема, с которой нас сталкивает биография Шервуда,—тема довольно примечательная. Начиная с конца XVI века широкий поток чужеземных искателей славы и наживы устремился в пределы Московского государства, преимущественно в центры—в Москву и позднее в Петербург. Постепенно изменялась физиономия иностранного элемента в России. Скопидомная Москва неохотно пускала пришельцев и принимала только тех из них, в ком испытывала подлинную нужду. Итальянский техник, купец «из немцев цесарские земли», английский и голландский коммерческие агенты, странствующий ландскнехт, вступающий в царскую службу,—вот типы иностранцев того времени. С начала XVIII века перед ними открываются совершенно иные перспективы. Реформированные по европейским образцам система государственного управления и военная организация, двор, стремитель-

но преобразовавшийся на чужеземный лад, дворянское общество, жадно покрывавшее себя лаком новой культуры,—все это создавало благоприятнейшую почву для возвышения людей с Запада. Собственно XVIII век и явился апогеем в смысле возможностей, которые Россия предоставляла иностранным авантюристам. Ответственнойшие государственные посты без труда занимались неизвестными проходимцами, умело вступавшими в круг дворцовых интриг и преторианских переворотов. Высшие военные чины беспрепятственно раздавались офицерам сомнительных итальянских и немецких армий. Особенно сильный приток иностранцев начался в последние годы века, когда не только центры, но и медвежьи провинциальные углы стали наводняться французскими эмигрантами, создавшими впоследствии столь распространенный тип иностранного учителя.

Однако, наряду с ними, бивший с запада поток выбрасывал на русскую землю и людей дела и знания, профессоров и инженеров, техников и агрономов, купцов и ремесленников. Со второй половины XVIII века и к началу XIX в особенности в русском хозяйстве начинают чувствоваться новые веяния. Старые, дедами завещанные формы, перестают удовлетворять требованиям молодых поколений. Появляются новые типы хозяйственных организаций в промышленности. Рост хлебного вывоза заставляет наиболее передовых хозяев задумываться о поднятии прибыльности своих земель, о рационализации способов их обработки и, отправляя в Англию хлеб и сырье, вывозить оттуда вместе с добротным английским сукном и машины, и хозяйственный инвентарь как мертвый, так и живой.

В числе прочих иностранных специалистов, вызванных из-за границы в те годы, был и кентский механик Шервуд, выписанный в 1800 году по повелению императора Павла и поступивший на службу на незадолго перед тем основанную Александровскую мануфактуру. В числе его детей находился и двухлетний мальчик Джон, которому суждено было впоследствии стяжать

довольно громкую и скандальную славу в летописях русской общественной жизни.

Биография Шервуда вплоть до самых декабрьских событий представляется нам чрезвычайно темной. Дальнейшая его судьба несколько выясняется в свете официальных источников, но и здесь мы находим пробелы, относящиеся к тем периодам, когда Шервуд переставал интересоваться III отделение. К этому надо добавить, что история его жизни, как и многих других, подобных ему авантюристов, еще современниками была окружена разнообразными слухами и легендами, в творчестве которых, впрочем, принимал деятельное участие и сам герой их.

Сохранились записки Шервуда, относящиеся, правда, только к участию его в деле декабристов. К сожалению, он, имея, вероятно, на то свои причины, начинает с сообщения: «Я поступил в 1819 году, 1-го сентября, в военную службу, в 3-й Украинский уланский полк, рядовым из вольноопределяющихся...». Таким образом, мы ничего не узнаем ни о его жизни до поступления на службу, ни о причинах, заставивших его избрать сомнительную в смысле выгоды карьеру рядового.

Подробнее касается этого периода жизни Шервуда его сослуживец и начальник И. П. Барк-Петровский в своих, впрочем, малоизвестных записках о нем. Переведясь в 1820 г. из гвардии в военные поселения юга России, именно в тот полк, где находился Шервуд, Барк-Петровский застал его там в качестве унтер-офицера и сразу выделил его по способностям, «нежному лицу и благородному виду». Однако, присматриваясь далее к своему подчиненному, он стал замечать в нем различные перемены к худшему. «Он сидел заспанный, нечесаный, с протертыми локтями и в дырявых сапогах, из которых высовывались голые пальцы». «В довершение всего он смертельно запил и однажды «грешел в канцелярию с лицом бледным и распухшим от продолжительного кутежа и вообще в таком отвратительном виде, что мною овладело чувство сострадания к этому

существо, близкому к совершенной гибели...».

Сердобольный Б.-П. тут же принялся за врачевание души Шервуда и настолько в этом успел, что довел его до слез и покаяний. Шервуд открыл начальнику полкового комитета свою скорбь и даже признался в желании дезертировать за границу, где собирался сражаться за свободу Греции. Оказалось, что он пошел на военную службу с единственной целью добиться офицерских эполет, и тут-то он и поведал Барку-Петровскому свою биографию.

Вызванный в Россию, отец Шервуда так удачно повел свои дела, что вскоре составил себе изрядное состояние, нажил в Москве несколько домов и дал своим детям хорошее воспитание. В дальнейшем, однако, у него начались конфликты с начальством, фабрика стала худо работать, он был признан виновником этого и заплатился конфискацией всего своего имущества. Старшие братья Шервуда, сами опытные механики, должны были пойти на службу по фабрикам, а молодой Джон решил вступить в военную службу; но, не имея протекции, оставался без дела и кормился у своих соотечественников, пользуясь существовавшей среди иностранцев в этих случаях круговой порукой.

Благодаря рекомендации знакомого англичанина, Шервуд попал к богатому помещику Ушакову в качестве преподавателя английского языка. Доверчивый отец поручил педагогическим способностям Шервуда двух дочерей, и отсюда-то и начинается тропинка бедствий нашего героя.

«Я сделался неразлучным собеседником моих милых учениц, — говорил Шервуд, — они лишились матери и состояли под надзором наемной компаньонки, просяживавшей почти безвыходно в своей комнате. Отец, занятый делами, виделся с ними только в положенные часы дня и не обращал на них никакого внимания. Мудрено ли, что, при полной свободе встречаться во всякое время и говорить на языке для других непонятном, мы быстро сблизались между собою? Обе сестры были прекрасны, мне особенно нравилась

меньшая — резвый, живой ребенок с пылким характером. Мы страстно полюбили друг друга, увлеклись и... забылись. Что было делать? Открыться отцу и просить его согласия на брак, значило расстаться навеки, потому что этот гордый и холодный барин скорее убил бы свою дочь, нежели позволил бы ей сделаться женой какого-нибудь Шервуда. Между тем, наша тайна приближалась к открытию, нельзя было медлить более, мы обвенчались тихонько. Но оставаться в таком положении было невозможно; следовало подумать о будущем нашей и нашего невинного ребенка, готового явиться на свет. После долгих колебаний мы решили, что я вступлю в военную службу и выслужу офицерский чин, представлявшийся нам единственным путем к умиловивлению отца».

Шервуд отправился в Москву и стал добиваться протекции для поступления в армию. Благодаря той же помощи соотечественников, ему удалось получить место учителя в доме генерала Стаала, который впоследствии и отрекомендовал его командиру 3-го Украинского уланского полка Гревсу. Так попал Шервуд в военные поселения.

Бедный, но благородный сердцем молодой человек, поступающий в знатный дом в качестве воспитателя и увлекающий свою ученицу, — довольно распространенный сюжет сентиментальных романов того времени, в которых, после долгих мытарств и бедствий, горемычные герои, наконец, получали заслуженную награду и к общему удовольствию сочетались законным браком. И цитированный рассказ мы склонны считать литературным приемом Шервуда. Дело в том, что какое-то отношение к дому Ушаковых он, повидимому, имел, ибо в 1826 г., когда он был в зените своей славы и возможностей, он, действительно, женился на дочери смоленского помещика Ушакова. Но вся рассказанная им история совершенно невероятна, ибо идея добиваться путем многолетней выслуги низшего офицерского чина только для того, чтобы смягчить сердце непреклонного родителя, кажется абсолютно

бессмысленной и неправдоподобной. Гордый барин, каким его рисует Шервуд, с одинаковым презрением отнесся бы к ничтожному армейскому поручику, как и к бедному педагогу-англичанину и, может быть, в последнем случае был бы снисходительнее, принимая во внимание необходимость покрыть уже совершенный грех. Самый же мотив многолетней горестной разлуки впредь до счастливого соединения любящих, был бы вполне уместен на страницах многотомного английского романа, но едва ли соответствовал внутреннему укладу энергичного и оборотистого Шервуда. Таким образом, весь этот рассказ, за исключением момента знакомства с Ушаковыми, приходится считать вымышленным.

Причина поступления Шервуда остается невыясненной, и цитированный рассказ приведен нами, главным образом, для того, чтобы иллюстрировать повествовательную манеру Шервуда, чрезвычайно для него характерную и как для писателя и как для собеседника. Мистификаторство и хвастовство коренились в его природе да, впрочем, в то время и не вызвали сурового порицания. Легкомысленное бахвальство Хлестакова являлось обязательным свойством лиц, именовавшихся в ту пору «вралями записными». Антон Антонович Загорецкий был «лгунишка, мошенник, вор», но в то же время светский человек, необходимый член своего круга, «огретый благосклонностью влиятельных старух. Сочетание лжеца, хвастуна и афериста находило, таким образом, различные воплощения и с сильным преобладанием последнего качества отразилось и в характере Шервуда.

Относительно же причин появления Шервуда в военных поселениях мы имеем ряд данных, позволяющих с большой уверенностью считать, что в полк свой он поступил в качестве тайного полицейского агента, одним из низших звеньев большой полицейской системы, организованной в 1819 году на юге России начальником южных военных поселений графом Виттом. На этом поприще он и набрал на тайное общество декабристов.

## 2

С легкой руки Барка-Петровского исторические романисты, начиная с Данилевского, создали легендарный образ «Шервуда в Каменке». В краткой статье мы не имеем возможности останавливать внимание читателя на этом варианте, сообщаящем о пребывании Шервуда в Каменке, имени Давыдовых, центре одной из составивших Южное тайное общество управ. Согласно этой легенде, именно в Каменке Шервуд узнал о существовании тайного общества, и здесь-то и началась его провокационная работа.

На самом деле, как показывал Шервуд следственному комитету, «поводом к началу моего подозрению... было то, что я, приехав в город Ахтырку к Якову Булгари по одному частному делу в декабре 1824-го года и подошед близко к двери той комнаты, где он, по словам людей, спал, внезапно услышал разговор двух лиц, из коих по голосу узнал Якова Булгари, рассуждавших о какой-то конституции, а после, вошед туда, увидел прапорщика Вадковского, который тотчас ушел от него в другую комнату. Я остался у Булгари на целый день и вечер, в продолжении коих он рекомендовал меня Вадковскому, и весьма свободно разговаривали при мне о правительстве и о разных его распоряжениях». Сразу ориентировавшись в положении, Шервуд стал спрашиваться на откровенность, прикинувшись свободомыслящим, и добился ее.

Прапорщик Нежинского конно-егерского полка Ф. Ф. Вадковский был незадолго только перед этим, в июле 1824 года, переведен в армию из кавалергардов за «неприличное поведение» во время маневров под Красным Селом. К этому времени он уже был членом не только Северного, но и Южного тайных обществ, и ревностным прозелитом последнего. Попав в армию, в серую среду провинциального офицерства, Вадковский почувствовал себя в пустыне и к тому же лишенным того живого дела, которому он только что собрался посвятить свои силы. Исполненный неослабным, неподдельным рвением, он

живет только сознанием той высокой миссии общественного служения, которую ему придется, может быть, рано или поздно выполнить. «...Память о моих клятвах наполняет все мое сердце; я живу и дышу только той священной целью, которая нас объединяет»—писал он впоследствии Пестелю. Человек кипучей энергии и инициативы, он даже попав в глушь, стремится не сидеть без дела. Как Соловей-Разбойник, он заложил дорогу прямоезжую и захватывает в плен путников, если они кажутся пригодными для целей тайного общества. Он старается поддерживать связь и с северными товарищами, и с южной директорией, и с случайными сочленами по соседству. Голова его полна идей, и ему хотелось бы осуществить их и вообще выдвинуться, показать, на что он способен, и получить одобрение человека «que j'estime et je respecte le plus dans le monde»—Пестеля. И вот счастливый случай сводит его с Шервудом.

Мы не знаем, каким образом Шервуду удалось убедить Вадковского в своей популярности среди военных поселений. Молодому заговорщику хотелось верить, и он поверил. Ему казалось, что благодаря ему, к группе, находящейся в I и II армиях, приобщится новая и решающая сила,—а о военных поселениях и желательности их восстания говорили и в центральной директории. Правда, на первых порах он все же соблюдал известную осторожность и, приняв Шервуда и рассказав ему о значении и планах общества, воздержался от сообщения персонального состава, лишив, таким образом, Шервуда главных козырей в его игре.

Распростившись с Вадковским, Шервуд в течение некоторого времени пытался увеличить круг своих сведений об обществе, но все его старания оказались безуспешными. Отправленное Вадковскому письмо осталось без ответа и, понимая, что терять времени нельзя, Шервуд решил сыграть ва-банк и послал донос. Понимая, что, обходя свое прямое начальство—графа Витта, он рискует навлечь гнев этого могущественного вельможи, и что, с дру-

гой стороны, только таким путем он сможет воспользоваться трудом рук своих, он адресовал письмо, где, впрочем, сообщал только, что имеет открыть важную тайну, относящуюся до особы государя, лейб-медику баронету Виллье, с просьбой передать по назначению. Расчет был верен: Виллье был одним из немногих среди ближайшего окружения Александра, не нуждавшихся для своей личной карьеры в использовании доноса Шервуда. К тому же он был соотечественником. И действительно, 25 июня 1825 года граф Аракчеев отправил фельд'егеря за Шервудом, и 17 июня последний имел аудиенцию у императора.

Дальнейшая история шервудовской провокации свелась к тому, что, получив монаршее благословение и годичный отпуск, он вернулся на юг, где и стал верно, но медленно опутывать Вадковского. Ему удалось достичь блестящих успехов. Вадковский отправил его курьером к Пестелю с горячей рекомендацией и просьбой познакомить его, Шервуда, с текстом «Русской Правды». Но когда это случилось—в начале декабря 1825 года—было уже поздно. Начальник главного штаба барон И. И. Дибич уже вел расследование на основании доноса Витта и Майбороды. Впрочем, хотя служба его и не принесла результатов, но добрая воля не была забыта. Он был сопричислен к лику Митинных, Пожарских и Сусаниных; в короткое время стал гвардейским офицером, получил дворянство и прибавку к фамилии—«Верный». Николай сам составил ему герб: «в верхней половине под российским гербом вензелевое имя в бозе почившего государя императора Александра I, в лучах; в нижней же—простертая сверху рука со сложенными пальцами, как у присяги». Рука эта указывала Шервуду путь к блистательной карьере.

Выросшие в период александровского царствования разнородные полицейские органы обнаружили свое полное бессилие в деле охранения спокойствия престола. О существовании охвативше-

го всю страну заговора начальника столичной полиции графа Милорадовича осведомила только пуля Каховского. Начавшееся в грохоте декабрьских мортир царствование прежде всего озабочилось реорганизацией полицейского аппарата, преданием ему большей централизованности и точности в работе. Так возникло знаменитое III отделение.

Переустроявая органы полиции, правительство прекрасно отдавало себе отчет в том, что основной его поддержкой в намеченных мероприятиях является консервативная дворянская масса, боящаяся народных волнений не меньше, чем сама власть. Старые полицейские методы вызывали недовольство дворянства, и, реформируя аппарат, правительство стремилось вовлечь побольше офицеров и дворян, привлечь интерес благородного сословия к жандармской службе. «Чины, кресты, благодарность служат для офицера лучшим поощрением, нежели денежные награды» — писал Николаю шеф жандармов Бенкендорф. Наиболее желательным типом сотрудника являлся тот, который соединил бы качество респектабельности с талантами тайного агента; одной из первых кандидатур и явился Шервуд.

Осиянный славою спасителя отечества и высканнный милостями и благоволением царской фамилии, Шервуд представлял фигуру хотя и несколько интригующую, но достаточно импозантную в глазах тех, кто сочувствовал разгрому декабрьского движения, — а такой являлась почти вся дворянская масса. Успехи его на поприще политического сыска, вызванные к тому же собственной инициативой, ручались за плодотворность его работы. Числясь формально в гвардейском драгунском полку, поручиком которого он состоял, он был откомандирован в распоряжение III отделения и вместе с жандармским полковником И. П. Бибиковым отправлен в начале 1827 года на юг с секретным поручением.

То было время многочисленных ревизий. Ревизор стал бытовым явлением; притом не просто ревизор, а ревизор-мистификатор. Этим мы не хотим

сказать, что все ревизоры были самозванцами. Но приехавший из столицы с небольшим поручением чиновник мог смело разыгрывать роль вельможи, приводить в трепет и без того перепуганных жителей и властно собирать дань, при чем не теми мелочами, которыми удовлетворился Хлестаков, ревизор поневоле. Правда, самый тип авантюриста-мистификатора коренился в предыдущих десятилетиях и был, быть может, занесен к нам иностранными сих дел мастерами. Но если при Александре наиболее удачной личиной для мистификации было звание царского флигель-адъютанта, то в николаевское время последнего заменяет ревизор. И в этом отношении представляют немалый интерес похождения Шервуда во время службы его в III отделении.

Посылая Шервуда в январе 1827 года с тайной миссией обследования умов и толков в южных губерниях, начальство недооценило ни кипучей его энергии, ни низости характера, вследствие которой он, попав на место, где ранее влачал безвестное существование рядового полицейского агента, не мог не показать свою власть и положение. При низменном и заносчивом характере он обладал еще и даром красноречия... Результаты не замедлили сказаться.

Уязвленный в своем самолюбии, бывший полицейский, глава юга, граф Витт не замедлил сообщить по начальству о предосудительных поступках Бибикова и Шервуда.

Оказалось, что 6 февраля они приехали в полковой штаб 3-го Украинского полка селения Панчево, где и остановились у полковника Гревса. «В сие время полковник Бибиков показывал полковнику Гревсу и артиллерии капитану Левшину данную ему от генерал-адъютанта Бенкендорфа инструкцию, а поручик Шервуд, показывая сию инструкцию повсеместно в округах, объяснял, что они имеют право входить во все предметы, по всем частям и отбирать жалобы».

Шервуд разошелся во-всю. Не удовлетворившись декларацией своего могущества, он стал держать себя за-

правским ревизором, опрашивал офицеров и собирал у них жалобы, милостиво обещая свою защиту и покровительство. Лично не состоя на службе в жандармском корпусе, он рисовал своим бывшим начальникам заманчивые перспективы жандармской службы и приглашал их записываться в нее. С подобными речами он путешествовал по округе, описывая свою власть и, повидимому, ссылаясь при этом на личную дружбу и приязнь к нему императора и великого князя Михаила. Он позволял себе вещи, подобающие только вельможе; так, «по возвращении из Елисаветграда в Панчево, Шервуд у полковника Гревса, в присутствии многих офицеров и посторонних людей, неприлично отзывался о генерале Мезенцове и прочих начальниках военного поселения и грозил, что он обнаружит все их поступки».

Хотя начальство и усмотрело в образе действий Бибицова и Шервуда превышение полномочий, но пострадал только первый, ибо Шервуд предусмотрительно заболел и испросил себе разрешение на длительный отдых на Кавказе. Правда, желая Шервуду «скорого облегчения от болезни», Бенкендорф вместе с тем просил его «соблюдать в поведении... всю возможную скромность и осторожность, уведомляя меня о примечаниях ваших и о случаях, внимания заслуживающих, с приличною безгласностью».

Во всяком случае, престиж Шервуда еще не был подорван. Приняв довольно скромное (в сражениях он был застенчив) участие в турецкой кампании, он осенью 1829 года оказывается в Киеве. Держа себя там с подобающей важной особе таинственностью и только намеками давая понять о серьезности порученных ему государственных дел, Шервуд настолько смутил жандармского подполковника Рутковского, что тот, сообразив, наконец, фальшивость разыгрываемой Шервудом роли, счел долгом представить Бенкендорфу «записку о составляемых здесь сведениях поручиком Шервудом-Верным,—полагая, что оные не достигнут к вам от него, а заключают такой предмет, по коему может терпеть невинность».

Как оказалось, Шервуд завел в Киеве свою собственную полицию, распространив ее на ряд соседних губерний, и обдумывал план новой провокации. Зная слабую струну правительства, он хотел создать новое тайное общество из остатков декабристов и масонских и пиетистских организаций. Он опутывал шпионской сетью и родственников декабристов, живших в тех краях, и таких вельможных дам, как сестру князя Голицына или графиню Браницкую...

Как можно судить из бумаг Рутковского, Шервуд не упускал вместе с тем случая пустить пыль в глаза, давая понять о благосклонности к нему высочайших особ, жаловался, что под него подкапываются, резко и самоуверенно отзывался о различных сановниках, в том числе и о самом Бенкендорфе, замечая, впрочем, о последнем довольно справедливо, что «хотя он предан всею душой и сердцем престолу, но по жандармской части не настоятелен»; по общему же заключению подполковника Рутковского, «незаметно откровенности Шервуда; но должно признаться, что Шервуд склонен к коварству и хвастовству».

Этих проделок Бенкендорф уже не мог выдержать. На полученной записке он начертил сентенцию: «Точная чума этот Шервуд», и таким образом положил конец пребыванию его под покровительством III отделения. Но в деятельности своей Шервуд еще долго находился под сенью этого учреждения.

## 4

Хотя хлестаковские похождения Шервуда и прервались, унывать ему было еще рано. Сыпавшийся над ним рог избылиа еще не оскудевал. Как раз в эти годы он последовательно получил чины штабс-капитана и капитана, изрядный пенсiон и мог бы жить припеваючи. Но мирное благоденствие не отвечало его натуре. Он все ближе сходится с тем миром петербургских трущоб начала XIX века, где ютились общественные отбросы, люди темного уголовного прошлого, спившиеся чиновники, промышлявшие писанием про-



шений, а подчас и доносов, тайные агенты, у которых трудно разобрать, где начинается преступник и где кончается полицейский. Наверху этот мир соприкасался с довольно знатным и избранным кругом, представители которого не гнушались подчас помощью выходцев из низов; Шервуд занял некоторое промежуточное положение и, являясь фактодумом одних, в то же время употреблял других в качестве своих агентов.

Так, Шервуд принял деятельное участие в предприятии кн. А. Б. Голицына, который в 1831 году подал огромный донос на всю почти Россию, правда, чрезвычайно путанный и нелепый. В качестве эксперта по различным делам, он все время ссылался на Шервуда. Донос кончился ничем, да так и надо было полагать заранее; и, конечно, Шервуд присоединился к этому делу не из чаяний успеха, а просто, чтобышний раз напомнить о себе и найти некоторый выход бурлившей в нем энергии полицейского партизана.

Далеко не всегда, однако, Шервуд удовлетворялся такими бесприбыльными делами. Он вел довольно широкий образ жизни, имел собственных агентов, а все это требовало денег. Появились долги. Правда, кредиторы еще не счель наседали на него, и обаяние «Верного» еще не утратило своего значения. Но уже приходилось изворачиваться, и у Шервуда рождается идея, по своей гениальной простоте превосходящая даже блестящий замысел Павла Ивановича Чичикова.

Знаменитые Баташевские заводы должны были после смерти их владельца, Андрея Баташева перейти в наследство трем его сыновьям: Андрею, Николаю и Ивану. Два старших брата сумели, еще в малолетство последнего, в начале XIX века, оттягать в свою пользу все имущество. Прошло много лет, пока за это дело взялся бывший министр полиции при Александре I, «русский Фуше», член государственного совета генерал-адъютант А. Д. Балашов. Любитель интриг и всяческих темных дел, он добился возвращения законной части наследства Ивану Баташеву, но, конечно, не да-

ром; новоявленного миллионера он оставил при себе, чтобы сделаться фактическим распорядителем его богатства. Это было не трудно, так как испытывший очень тяжелую молодость Баташев оказывался человеком забытым и вовсе слабовольным. На богатства его зарились многие, но наибольшего успеха достиг Шервуд, бывавший в доме Балашова, вероятно, в связи с какими-нибудь интригами последнего.

Может быть, Балашов и сам замыслил какую-нибудь аферу, в которой хотел использовать Шервуда, но тот опередил его. Он снискал дружбу Баташеву, подчинил его всецело своему влиянию, стал снабжать деньгами (процедура введения в наследство еще не совершалась, и деньги нужны были) и, по преимуществу, спавнать. В пьяном виде Баташев выдавал заемные письма на большие суммы денег, и Шервуд приберегал их до лучших времен. Но жадность одолела его, и он решился разбогатеть сразу. Именно, 17 июля 1833 г. он заключил с Баташевым сделку, согласно которой последний продавал ему все свое имущество, состоявшее из многих заводов и деревень и нескольких тысяч душ крепостных, за два миллиона двести тысяч рублей. Не говоря уже о мизерности самой продажной суммы, перлом шервудовского остроумия явилось то обстоятельство, что ему фактически не приходилось почти ничего вынимать из кармана (да и вынуть-то было нечего), потому что в задаток Баташев принимал свои собственные заемные письма, а основную сумму Шервуд обязывался выплатить только после залога имения, стоявшего, конечно, значительно дороже. Вся эта совершенно законно оформленная сделка сорвалась на том, что петербургская гражданская палата усомнилась в добросовестности условия, исходя из соображения, что Шервуд по своему состоянию и полной некредитоспособности не мог уплатить Баташеву 400.000 рублей. Шервуд перенес тогда дело во Владимир, где находилась часть баташевского имущества, и намерен был утвердить эту сделку там. Дело дошло, однако, до правительства, которому Шервуд уже стал

придаться, и продажа была приостановлена. Тогда Шервуд переуступил свои права на покупку имения отставному генерал-майору Пашкову, известному в то время сутяге, между прочим, занимавшемуся и исцелением путем «животного магнетизма». Последний, совместно с княгиней Юсуповой, перекушал имение Баташева за 2.900.000 рублей, при чем Шервуд, в качестве комиссии, получал от Юсуповой имение в Московской губернии и каменный дом в Москве. Правительство, однако, вмешалось и в это дело и наложило опеку на имущество, чем и положило предел проискам Шервуда. Впрочем, его не тронули, и, как гласит составленная в III отделении по этому поводу записка, «действия Шервуда, как человека, заслужившего имя Верного, остались негласными для публики». Из армии ему, однако, пришлось уйти в отставку.

Дело Баташева не занимало все же целиком всю энергию Шервуда. Он находил время и для продолжения своих полицейских авантур. Так, в 1833 же году был арестован некий шляхтич Горский, обвиненный в принадлежности к польским революционным организациям. Следствие о нем велось довольно долго, и в июне 1834 года в него вмешался Шервуд, самовольно явившийся в тюрьму и потребовавший пропустить к заключенному. Не получив разрешения, он секретным образом передал Горскому вопросы о причинах его несчастия, и последний написал пространные ответы, умоляя Шервуда принять его под свое покровительство, и клятвенно обещал, что при его помощи «господину полковнику» удастся «выкоренить все злые намерения, какие бы ни были, польского народа...». И вопросы Шервуда и ответ Горского были прерываемы, и Шервуд был запрошен, на каком основании он предпринял все это дело. Шервуд, ничтоже сумняшеся, отвечал, что давно уже привык самостоятельно выполнять обязанности «глаза и уха государева» и что делает это исключительно из «неограниченной преданности государю-императору», сославшись при этом на то, что

попущки его санкционируются его покровителем, великим князем Михаилом.

Чем кончилось это дело, мы не знаем, да и вообще Шервуд надолго исчезает с горизонта III отделения, и вплоть до 1842 г. мы узнаем только о некоторых незначительных его проделках, преимущественно в Москве.

## 5

В 1842 г. Шервуд попросился опять на службу. Понимая, что в III отделение, куда ему больше всего хотелось попасть, его не примут сразу после того, как ему было строжайше запрещено вмешиваться в какие бы то ни были политические дела, он сначала просил дать ему службу на Кавказе. При этом он ссылаясь на бедственное положение, а Кавказ был известен, как довольно доходное место службы.

Дело было уже совсем на мази, и даже III отделение не протестовало против нового назначения Шервуда; но страсть к авантюрам и на этот раз подвела его.

К тому времени Шервуд уже окончательно опустился. Лишившись правительственных милостей и оттолкнутый общественным мнением, переименованным его из Шервуда-Верного в «скверного» и пустившим вслед ему кличку «фиделька», он прозябал в своем темном кругу, сбившись с крупных афер на мелкие плутни. В этом кругу он познакомился и сблизился с разведенной графиней Струтинской, авантюристкой невысокого полета, и связь эта ввела его в новые прегрешения.

10 января 1843 года с.-петербургский обер-полицмейстер Кокошкин рапортовал шефу жандармов, что закончил следствие об отставном подполковнике Шервуде-Верном, при чем из производства выяснилось следующее:

«Служащий в комиссии прошений коллежский секретарь Дерош довел до сведения полиции, что неизвестный ему человек, познакомясь с крепостным его мальчиком Михайлою, просил сего последнего достать для прочтения хранящиеся в столовом ящике г. Дероша бумаги, обещая за это маль-

чику денежную награду, и, когда мальчик Михайло объявил, что ящик заперт и ключа от одного г. Дерош не оставляет, то неизвестный, явсь в другой раз и вручив мальчику тому кусок воску, просил приложить к замку и слепок доставить к нему, по которому обещал принести ему ключ.

Мальчик Михайло, будучи хорошего поведения и не желая домогательства этого скрыть от г. Дероша, объявил ему об оном, и, по изъясненному вследствие этого г. Дерошем согласию, слепок сдан был неизвестному, а сей последний через несколько времени явился с ключом и вручил оный Михайле, который, получив от г. Дероша пакет с запечатанными ненужными бумагами, отправился с неизвестным в трактир в Кирочную улицу пить чай, где, по словам неизвестного, был брат его, желавший прочесть сказанные бумаги.

Эти канцелярские периоды при всей своей неуклюжести довольно ясно говорили о том, что «неизвестный человек» предполагал совершить ограбление Дероша при помощи подобранного ключа. Явившийся в трактир полицейский надзиратель арестовал неизвестного и обнаружил в нем Ивана Мартынова, слугу подполковника Шервуда-Верного, при чем выяснилось, что действовал он по наущению своего хозяина, желавшего извлечь из ящиков Дероша какие-то документы.

Шервуд решительно отрицал свое участие в этом деле, — позднее он сознался, но мотивировал свой поступок все тем же патриотизмом и желанием уличить Дероша в противоправительственных деяниях. На самом деле, причина была та, что Дерош ухаживал за девицей Крыжановской, которой Струтинская должна была 17.000 рублей, и, повидимому, векселя хранились у Дероша. Они-то, очевидно, и составляли предмет поисков Шервуда.

Шервуду было отказано в ходатайстве и велено немедленно отправиться в свою деревню в Смоленской губернии и жить там безвыездно. Скрепя сердце, он поехал, заранее решив почитать с III отделением, проявившим по отношению к нему такую черную неблагодарность, а особенно с Ду-

бельтом, которого он считал главным виновником всех своих злоключений.

И, действительно, в том же году он послал своему старому покровителю, великому князю Михаилу Павловичу, обширное досье с рассуждениями о причинах происходящих на Руси неурядиц.

Описавши недостатки судопроизводства и сенатской волокиты, произвол городской полиции, беспорядки по откупам и рекрутским наборам, тягостное положение крестьян и в особенности раскольников, злоупотребления на сибирских золотых приюках, словом, нарисовав довольно правдивую картину внутренних болезней страны, Шервуд далее переходит к ее политическим недугам «внешнего» характера: подброженательству Европы и непрерывному росту революционных сил, особенно со стороны Польши. Но больше всего причиняет вреда государству остаток декабристов, крепко засевших в высших правительственных учреждениях и недопускающих к трону истинно-преданных ему людей, подобных автору доноса, Шервуду. «Кто же допустил все это зло, все эти беспорядки, все эти адские замыслы, все это лихоимство?» восклицал Шервуд и твердо отвечал: «III отделение собственной его императорского величества канцелярии», а в особенности его фактический начальник генерал Дубельт, относительно которого Шервуд писал, что «пока он в III отделении, ожидать хорошего нечего».

Шервуд сыграл крупную игру, но карта его была бита. Великий князь переправил его донос... Дубельту. Правда, III отделение немедленно начало расследование относительно поименованных Шервудом лиц, но сведения его были признаны ложными, и за свою неугомонность он был отправлен в Шлиссельбургскую крепость.

Оттуда он вышел только в 1851 г. нестарым еще, но уже совершенно разбитым человеком. Он прожил до 1867 года, почти ничем уже не занимаясь и кормясь подачками с царского стола, которые он все же не переставал получать до самой смерти.

Такова была судьба этого незаурядного человека, обладавшего данными, чтобы добиться положения в обществе, не запятнав своего имени. Но иностранец, чуждый русскому обществу, выросший в окружении беспринципной иностранной богемы, он продолжил традицию западного авантюризма в России по той линии, на какую его толкали его дурные инстинкты. Честолюбивый, алчный и изменный по характеру, но достаточно образованный, обходительный и ловкий, он вполне мог найти себе применение в ту эпоху. И мы видим, как он оборачивает к нам то одну, то другую личину из запаса театральных масок своего времени. Мы видим беззастенчивого вора, описывающего свою победу над неопытной

провинциалкой; ловкого и трезвого сыщика, провоцирующего восторженного юношу-революционера; ревизора, начальственно покрикивающего на старых и опытных служаи и вместе с тем блистающего «легкостью в мыслях необычайной»; шпиона и доносчика из любви к делу, афериста, наворачивающего миллионные спекуляции, и мелкого жулика, крадущегося к чужому письменному столу с подобранным ключом. И во всем этом Шервуду не хватает одного — чувства меры. Будь у него последнее, ему не пришлось бы кончить жизнь в ничтожестве. Николаевское время любило и холило людей, подобных Шервуду; но боялось их, когда они становились чрезмерно предприимчивыми...

# Идеология научной и технической интеллигенции

С. ДИНАМОВ

Развитие капитализма теснейшим образом связано с прогрессом так называемых точных наук и прикладных научных дисциплин—техники в особенности. К началу второй половины прошлого века в эти области были втянуты уже значительные интеллектуальные кадры, стал образовываться новый слой технической интеллигенции, общественно-экономическая функция которой заключалась в применении своих специальных знаний к процессу общественного производства. Техническая интеллигенция — это научно-организационная и научно-техническая прослойка общества (исследователи в области точных наук, инженеры, конструкторы). Люди делают вещи. Но и вещи «делают людей». Если техническая интеллигенция выполняет некоторые особые функции, создавая науку и технику, организуя по своей линии общественное производство, то, с другой стороны, особенности труда технической интеллигенции определили и особенности идеологии этой интеллигенции. Небесполезной, думается, будет попытка набросать в общих чертах эту идеологию.

Эмпирический подход к действительности—первая характерная черта идеологии технической интеллигенции.

«Принимая что-либо на веру, наука совершает самоубийство» — говорил Гексли. «Я готов выслушивать только

те теории, которые можно проверить»— говорил известный химик Гофман своим ученикам. «Я не желаю заниматься пустяками потустороннего мира,—заявлял Гумбольдт.—Если есть что-либо прочное в науке, то это факты».

«Необычайно наблюдательный, не упускавший из виду ни малейших подробностей изучавшегося им явления или процесса, идеально точный в производстве опытов, Дарвин в то же время отличался крайней осторожностью в своих выводах и гипотезах. Ко всяким дедукциям он относился недоверчиво, пока они не были подтверждены фактическими данными... Художественный вкус и воображение, склонность к религиозному созерцанию были всегда чужды великому естествоиспытателю, хотя в молодости он одно время и пытался заниматься богословием: с возрастом же любовь и интерес к природе решительно оттеснили на задний план все другие потребности»<sup>1)</sup>.

Э. Кречмер<sup>2)</sup>, набрасывая тип ученого, перечисляет его признаки: «Наглядно-эмпирическое направление в работе, склонность собирать, накапливать и описывать конкретный научный материал, наивная любовь к чувственному, к непосредственному созерцанию и

<sup>1)</sup> Проф. А. Ф. Лазурский. Классификация личностей. Изд. 2-е. ГИЗ, М.—Л, 1923. Стр. 252.

<sup>2)</sup> Э. Кречмер. Строение тела и характер. ГИЗ, М. 1924. Стр. 256.

«ощупыванию» самих предметов... Науки, которые они (исследователи циклотимического типа.—С. Д.) предпочитают, являются наглядно-описательными: ботаника, анатомия, физиология, геология, этнология». Современная техническая интеллигенция в большинстве отрицательно относится к метафизическим и мистическим построениям.

Правда, некоторая часть ее уклоняется в ту или другую сторону от эмпирического мировоззрения, но это не является типичным для научно-технической интеллигенции в целом. Напр., известный английский ученый Оливер Лодж пытается соединить естествознание с религией; автор ряда трудов по химии романист Артур Конан-Дойль имеет ряд «трудов» по спиритизму и в последнем своем романе «Земля туманов» («Land of Mist», 1926 г.) делает ученого-естественника сторонником спиритизма.

Эмпиризм, как метод изучения определенной научной области или дисциплины еще не противоречит буржуазному обществу. Но только разрыв с этим обществом позволяет ученому или инженеру перейти от этого частного эмпиризма к материализму. В результате—противоречие: будучи эмпириком на практике и не призывая в помощники священника при сооружении тоннеля или при исследовании строения вещества—техническая интеллигенция под давлением буржуазной философии отходит с подлинно-научных позиций к витализму, к механизму, когда пытается дать теоретическое обоснование науки.

Многочисленные примеры буржуазного влияния на науку приведены В. Егоршиным в статье «Естествознание и буржуазная философия» («Под Знаменем Марксизма», № 9, 1927 г.).

Профессор Пупин (M. Pupin) в книге «Новая реформация» («The New Reformation», Нью-Йорк, 1927 г.) пытается доказать, что молекулы жизни подчинены какой-то творческой высшей силе и что научное исследование, в конце концов, приводит к чему-то, что не может быть объяснимо, это необъяснимое может быть названо богом.

Несмотря на эмпирический подход к действительности, чаще всего в пределах специальности научно-техническая интеллигенция в смысле общественном является консервативной и не понимает природы и тенденций социального развития—это вторая черта ее идеологии.

Если русские ученые героически себя вели в период блокады и голода во имя науки, то даже Октябрьская революция многих из них не сумела вырвать из рамок цеховой ограниченности (ярким примером этого являются известные политические выступления академика Павлова, вызвавшие ответ Н. И. Бухарина). Чехов выводит в «Скудной истории» ассистента Петра Игнатьевича, научные интересы которого не шли дальше узкой специальности, ставившейся им, однако, весьма высоко. «Общественными делами они («чернорабочие науки». — С. Д.) интересуются мало, — пишет проф. Лазурский в цитируемом сочинении, — в тех же случаях, когда жизнь вынуждает их так или иначе высказаться по общественным вопросам, они оказываются или консервативными (незнакомство с жизнью порождает чрезмерную робость и осторожность) или же книжно-радикальными (стр. 124).

Говорят, что астроном Фалес Милетский, поглощенный наблюдением звездного неба, упал однажды в воду, на что служанка заметила: «Он так занят небом, что не видит того, что у него под ногами». Так зачастую поступает и техническая интеллигенция, не видящая из-за своей специальности той социальной почвы, по которой ей приходится ходить.

В процессе анализа положительных политических взглядов технической интеллигенции мы увидим, какое большое значение имеет эта черта научно-технической интеллигенции, определяющая и ряд других.

Научный интернационализм—третья особенность идеологии научно-технической интеллигенции, выражающаяся в признании един-

ства науки всего мира, независимо от национальности ее творцов, в отрицании национализма и национальных границ, в стремлении к мировому единству ученых. Находя свое практическое выражение во взаимном обмене опытом, в различных с'ездах и конференциях, в области политической научный интернационализм нашел свое выражение в идее мирового государства. Г. Уэллс в «Предвидениях» (1901 г.) высказался за эту идею, развив данную мысль в ряде последующих произведений. Ряд авторов социальных утопий также представляет себе будущее общество как мировое целое, напр., Шарлотта Халдан («Man's World», London, 1926), Теодор Герца («Заброшенный в будущее» и «Страна свободы»), Беллами («Взгляд назад»), Д. Лондон («Голлиаф»), Курд Ласвиц («На двух планетах»), Кэрилл («Socrates, or The Emancipation of Mankind», London, 1927).

Но интернационализм технической интеллигенции весьма существенно отличается от революционного пролетарского интернационализма. Научно-техническая интеллигенция представляет себе будущее единое мировое государство, как интернационал ученых, господство аристократов разума, с помощью науки уничтоживших национальную раздробленность, капиталистическую дезорганизованность и классовую борьбу. Именно на такой точке зрения стоят перечисленные выше авторы утопии, именно так обрисовывают будущее и теоретики научно-технической интеллигенции, как, напр., Уэллс, начиная с «Предвидений» (1901 г.) и кончая «Democracy Under Revision» (1927 г.). Интернационализм научно-технической интеллигенции, это — кастовый интернационализм.

Научный аристократизм — четвертая черта психологии научной интеллигенции, выражающаяся в преувеличенно-неправильном понимании роли научно-технической интеллигенции в общественном процессе, в признании возмож-

ности коренного преобразования общества исключительно путем изобретений и научных достижений, в социальном обособлении научно-технической интеллигенции от других классов общества как силы, могущей привести человечество к социальной гармонии. С особой очевидностью данная черта выразилась в утопическом жанре, на всем протяжении которого встречается идея о необходимости перехода политической власти к ученым (утопии Платона о государстве философов; «Новая Атлантида» Бэкона; утопия «Счастливая нация» — 1741, в которой высшая каста — изобретатели; «Emperor of the If» Гью Дента (Guy Dent), «Let Loose» Меллерша (H. E. L. Mellersh), «The Vicarion» Г. Хэнтинга (Gardner Hunting), «Повелители железа» В. Катаева, «Машина ужаса» Вл. Орловского и т. д., и т. д.).

Д. И. Менделеев в своих немногих высказываниях по общественным вопросам отвергал какие бы то ни было планы социального переустройства, только в науке видя возможности лучшего будущего. Вместе с тем он полагал, что конец всем общественным неурядицам может быть положен тогда, «когда правительства крупнейших государств всего света дойдут до сознания необходимости быть сильными и достаточно между собою согласными для подавления всяких войн, революций и утопических начинаний анархистов, коммунистов и всяких иных «больших кулаков», не понимающих прогрессивной эволюции, совершающейся во всем человечестве». Так гениальный химик, обратившись от науки к окружающей действительности, ничего в ней не понял, поставив во главе «прогрессивной эволюции», капиталистические правительства, помышляющие о подавлении не войн, но действительных прогрессивных — революционных — элементов общества. Невольно вспоминаются слова К. Пирсона в его «Грамматике науки», что несколько не следует, что человек, составивший

себе имя в естествознании, рассуждал всегда здраво о социализме, гомруле или библийской критике. Его суждения будут лишь правильны постольку, поскольку он будет распространять научный метод и на эти области».

Ярким выражением этой кастовой психоиологии научно-технической интеллигенции являются слова инженера Габруха в романе С. Семенова «Наталья Тарпова» (1927 г.).

«Знание всегда таково, что им владеют немногие. Знание неделимо. Это не капитал, который можно разделить между всеми и он будет составлять все одну и ту же сумму. Там, где все знают немного,—там и все знают мало» (стр. 263).

«— Итак, вы верите?—спросил инженер (коммуниста. С. Д.).

— Итак, я верю.

— Но я не верю. Слышите? Не верю!!!

— Почему же вы не верите? — спросил Рябев, вкладывая в свой голос сожаление.

— Не верю потому, что вы—масса.—Рябев засмеялся, но инженер остановил его.—Да, потому, что вы—масса. Массы всегда разрушали, но еще ничего не созидали. Вы ошибаетесь, думая, что созидание нового мира ляжет на плечи простых носильщиков. Массы, это—кирпичи в здании, еще не образующие самого здания (стр. 264). Железо, уголь, сталь—вот могучие вещи, что легли фундаментом нового мира. На них построен наш Интернационал! Вы же ничего не знаете о них, кроме того, что обливаются ежедневным потом. Я инженер, я технолог. Я лучше вас понимаю их страшную власть».

Та же мысль о чисто исполнительской роли пролетариата была выражена Писаревым в «Базарове».

«При теперешнем устройстве материального труда, при теперешнем положении чернорабочего класса во всем образованном мире эти люди не что иное, как машины, отличающиеся от деревянных или железных машин невыгодными способностями чувствовать утомление, голод, боль».

Т. Гоббс в свое время жаловался, что хотя наука создает «общепользные искусства, как-то: постройка крепостей, сооружение машин, но источником их происхождения считается рука ремесленника, как простонародье смешивает повитуху с матерью»<sup>1</sup>). На съезде английских инженеров несколько лет тому назад один из выступавших ораторов при одобрении съезда произнес речь, смысл которой сводился к тому, что только организаторы производства, инженеры, являющиеся «солью земли», должны иметь власть в своих руках, ибо капиталисты не нужны, как стоящие вне производства, а рабочие должны нести лишь исполнительные функции. Подобные же положения были сформулированы Уэллсом в его публицистических работах (управлять миром должна аристократия разума, нечто в роде современной касты самураев). Знаменитый английский физик Содди в одной из своих статей высказал такие же мысли.

Фетишизируя таким образом организационный принцип, научно-техническая интеллигенция представляет себе будущее видоизмененным лишь эволюционным путем, через науку и технику, через просвещение в широком смысле.

«Во всем мире нет ничего важнее умственных операций и пропагандистской работы просвещенных людей,—заявляет философ Семпак в романе Г. Уэллса «Meanwhile». — Без них ничего нельзя совершить». Из этого фетишизирования мысли, интеллекта вырастает и отношение научно-технической интеллигенции к социальным преобразованиям, которые для научно-технической интеллигенции в большинстве сводятся к интеллектуальной эволюции. Они солидаризируются в этом отношении с Кантом, заявлявшим, что «внешние революции, изменяющие лишь форму правления, есть только поверхностные и не имеющие цены случайности. Истинные революции должны совершиться изнутри наружу».

\*

<sup>1</sup>) Приведено К. Марксом в «Теориях прибавочной стоимости», вып. I. М. 1923. Стр. 187.



Упомянутый выше Семпак говорит: «Новый порядок наступает с достаточной постепенностью, чтобы сгладить все эти трудности... Прежде чем что-нибудь действительно сможет выкристаллизоваться в новом порядке вещей, необходимы перемены в представлении людей вообще. Вот за какое дело нам надо сейчас взяться. Перестроить представления людей». Трехтомный роман Г. Уэллса «The world of William Clissold» (1926)—это развитие идеи о «творческой революции», современная интерпретация положений французских материалистов XVIII в. о том, что идеи правят миром. Тот же Уэллс написал в октябре 1920 г. на квартире Максима Горького следующие строки: «Опыт моей работы по международным вопросам оставил во мне определенное впечатление, что прочного мира на земле не может быть достигнуто, пока в каждой отдельной стране школьное изучение истории останется, как это было в течение всего прошлого столетия, пропагандой самого интенсивного националистического патриотизма. Я пришел к уверенности, что только если будет реформировано изучение истории во всем мире—и никаким иным путем—можно добиться разумности в мире, можно создать «интернациональное» мышление, на которое только и может опереться прочный мир на земле»<sup>1</sup>).

Кэррилл в своей книге «Сократ или освобождение человечества» ставит будущую социальную гармонию в связь с развитием в человеке способности к совершенству управлять своей «психофизической машиной». Большинство авторов новейших утопий также видят спасение мира от настоящего социального хаоса в интеллектуально-научной эволюции. Известный исследователь Рональд Росс резко противопоставляет научный эволюционизм «ненаучному», по его мнению, разрушительному радикализму. «Нам нужно постепенно, шаг за шагом,—пишет он,—создавать твердое основание нашему существованию,—для этого мно-

го нужно знать, многое понимать, многое исследовать, чтобы рационально организовать нашу жизнь. Надо искоренять болезни тела, души и общества, облегчать чудовищную нищету наших собратий не ветреными догмами и учениями, а спокойной деловитостью науки».

Биология отрицает религию. Инженерное искусство отрицает частную собственность. Наука в целом неизбежно должна отрицать капиталистическое общество с его анархичностью и дезорганизованностью. Противоречия капиталистической системы, в особенности же противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением, отдаляют научно-техническую интеллигенцию от капитализма. «Буржуа—представитель дезорганизованного общества». Научно-техническая интеллигенция—представительница организационных научных тенденций современности, ибо цель каждой науки—это наивозможно более стройная организация материала данной науки. А. В. Луначарский с полным основанием пишет в своей «Истории западно-европейской литературы»: «Наука вырождающейся буржуазии уже больше не была так интересна. К тому же буржуазия уже догадывалась, что если продолжить дальше научную мысль, то выводы получатся социалистические» (II, стр. 194).

Одним из симптомов этого отказа буржуазии от выводов науки является наблюдающееся теперь на Западе антидарвинистское движение.

Буржуазия уже становится из стимула научного прогресса—тормозом последнего, ей, как гибнущему классу, уже не по силам даже научная революционность. Капитализм уже начинает бояться дальнейшего развития науки, он не прочь указать ей определенные границы. Другая сторона этого явления, которое неизбежно будет принимать все более широкий характер—это неверие в науку, стремление заменить ее в области общественной менее определенными, но зато более удобными положениями религии. Джемс Т. Адамс в американском жур-

<sup>1</sup> Опубликовано не было. Цитируем по имеющемуся у нас русскому переводу.

нале «Harper's Magazine» (февраль 1928 г.) в статье под характерным заголовком «Не есть ли наука глухой тупик?» пишет, что наша эпоха характеризуется в области интеллектуальной «научным климатом». Но, продолжает Адамс, наука не может удовлетворить глубочайшие духовные нужды человека, потому что она слишком ясна. Наука не безупречна,—атакует Clarence Ayers позитивные знания в труде. «Наука — это ложный мессия» («Science, the False Messiah». Нью-Йорк, 1928),—она не очень-то далеко ушла от старой мифологии. Нужно ли ей верить в таком случае?

Церковные круги Америки организовали знаменитый антидарвинистский процесс. Один из их деятелей, председатель баптистской конференции в Джорджии, Джон Д. Мелл, заявил в прессе в 1926 году:

— Если микроскоп в чем-либо противоречит библии, то очевидно, что неправ микроскоп. Я верю, что библия делает любую лабораторию на земле ложечом!

Его коллега, «преподобный» Ноэль Гэйнс, не менее решительно заявил:

— Профессора, которые учат, что человек произошел от обезьяны,—должны быть повешены.

«Преподобный» Альфред Шелдон (Америка) пытается «согласовать» религию и науку:

«Электричество, как сила природы, существовало еще до человека. Я не вижу причин, почему бы Адам, руководимый богом, не мог иметь радио в его доме, посредством которого он мог бы слушать пение ангелов».

Можно назвать целый ряд трудов, в которых производится это противоречивое соединение науки и религии.

Муссолини весьма определенно дает понять итальянским ученым, что их дело—применять науку к фашистскому режиму. В фашистской газете «Империо» были напечатаны следующие строки:

«С сегодняшнего вечера нужно раз навсегда покончить с глупой утопией, по которой каждый может думать своей собственной головой. Италия имеет

одну голову—фашизм; один мозг—мозг Дуче». А так как этот «мозг» весьма покровительствует религии, то дарвинизм становится крамольным. Наука вообще оказывается под запретом; в школах висит такой «приказ Дуче»:

«Я считаю, что каждая школа прежде всего должна заниматься воспитанием, образованием и моралью. Нет надобности вдабливать в мозги науку прошлого и настоящего времени».

Один из ученых, сумевший убежать из фашистского царства, пишет следующее:

«От учителя начальной школы до ученого мировой известности все обязаны в Италии только молчать, подчиняться и ластить сильным мира сего или же им придется очутиться в больнице с поломанными ребрами или быть в тюрьме до конца своей жизни».

Думается, что эти примеры с достаточной ясностью иллюстрируют наши положения. Но если научно-техническая мысль перерастает уродливые рамки буржуазного общества, то только немногие ученые делают из этого логически необходимые революционные выводы. Уэллс, напр., выступает против банкиров, называя их «перебесившимися детьми», но в то же время считает необходимым союз людей науки с капиталистами-организаторами и производственниками. П. Ами придерживается подобных же взглядов. Английский ученый Кер составил огромный «национальный план», изданный Оксфордским университетом<sup>1)</sup>, в котором разворачивает систему колоссальных преобразований экономической структуры Америки (изменение индустриальных центров, создание новых городов, устройство новых гаваней и т. д.), забывая, что этот проект немислим в условиях капиталистического хозяйства и общества. В чем причины этого своеобразного научного дальтонизма? В том, что развитие капитализма до известного момента связано с развитием так наз. точных наук и техники, в том, что капитализм

<sup>1)</sup> «A Nation Plan» By Cyrus Kehr. Oxford: University Press. 1927.

создал привилегированное положение для техников и ученых, в том, наконец, что условия труда научно-технической интеллигенции не позволяют ей усвоить теорию научного социализма в условиях «нормального» буржуазного общества.

«Экономическое развитие в конечном счете есть не что иное, как развитие техники, т. е. последовательный ряд открытий и изобретений<sup>1)</sup>».

«Возьмем какого-нибудь изобретателя нашей эпохи, например, Эдиссона. Он техник, вся его жизнь — мысль о технике. Но, это не первая ласточка, он думает не о том, что еще невозможно. Общество, по крайней мере, класс собственников, хочет того же, чего хочет он. Усовершенствование техники знаменует для капиталистов колоссальное повышение прибыли. Немедленно принимается всякое изобретение, делающее возможным более быстрое и дешевое производство. Это усиливает рабочую силу изобретателя и приводит к тому, что он сам может выдвигать перед собою проблемы, что он зависит уже не от случайности, а от собственной воли. Стремление к изобретениям, характеризующее какого-нибудь Эдиссона, — социальное стремление, его любовь к технике — любовь, возникшая в обществе и благодаря обществу, — общественная любовь, и базис, на котором он строит, — общественный базис, и тем, что он имеет успех, и тем, что он может сознательно наперед ставить свои цели, он обязан этому (добавим—капиталистическому.—С. Д.) обществу<sup>2)</sup>».

Характерно следующее место из романа Д. Лондона «Маленькая хозяйка большого дома»: «Это дешево, право же дешево,—уверял Дик, объясняясь со своими опекунами. — Неужели вы бы предпочли, чтобы я разорвался на скаковых лошадей и актрис вместо профессоров? Ваша беда в том, что вы не понимаете, как полезно покупать мозги, а я понимаю. Это моя специальность. Я наживаю на них деньги, у меня будут расти десять колосьев там,

где у вас, пожирателей, уже и полколоса не вырастает».

Большинство научно-технической интеллигенции, подобно Эдиссону, экономически переходит в капиталистические ряды, продается буржуазному обществу, и лишь немногие ученые и изобретатели отталкиваются от него.

Все м развитием науки, отрицающая таким образом буржуазное общество в силу того, что оно на данной ступени его развития является уже тормозом научного прогресса, научно-техническая интеллигенция практически примиряется с ним и служит ему. В этом заключается пятая характерная черта ее идеологии.

Капитализм угнетает большинство человечества во имя диктатуры меньшинства — идеалом пролетариата является бесклассовое общество. Капитализм вносит в экономику дезорганизующее начало и дух конкуренции—коммунистическое общество есть высшее и организованное развитие производительных сил. Частная собственность ставит преграды техническому прогрессу—пролетариат борется за уничтожение частной собственности и т. д., и т. п. Стремление научно-технической интеллигенции к возможно более полному внесению в мир планового начала, к возможно более глубокому и широкому интеллектуальному развитию человечества совпадает с коммунистическими идеалами пролетариата. «Чем беспощаднее и свободнее становится наука, тем больше приходит она в согласие с интересами и стремлениями рабочих» — пишет Энгельс<sup>1)</sup>.

«Подлинно просвещенная демократия, т. е. действительно власть народа, действительно устроившего свою жизнь по последнему слову науки, это и есть коммунизм» (Луначарский, цит. соч. II, стр. 21).

Но совпадение конечных интересов пролетариата с конечными выводами

1) К. Каутский. «Что хочет и что может дать материалистическое понимание истории».

2) Г. Гортнер. «Исторический материализм».

1) Ф. Энгельс. «От классического идеализма к диалектическому материализму». М. 1920.

науки отнюдь не означает совпадения практических интересов научно-технической интеллигенции и рабочего класса в капиталистическом обществе. Являясь часто по отношению к пролетариату командующей группой, занимающая привилегированное положение и связывая эти привилегии с существованием буржуазного общества, оторванная от политической жизни, не понимающая научного характера социализма и коммунизма, не приемлющая неизбежных революционных разрушений, — научно-техническая интеллигенция в условиях относительно нераспавшегося буржуазного общества относится отрицательно к научному социализму, а следовательно, и к пролетариату, низводя его, как мы видели, до роли исполнительско-подчиненной.

Незадолго до смерти Менделеев писал:

«Особенно боюсь я за качество науки и всего просвещения и за общую этику при государственном социализме».

Наша революция, давшая могучие импульсы науке, показывает всю неосновательность этих опасений, но узкий горизонт буржуазного общества скрывает от научно-технической интеллигенции, что революция дает колоссальные возможности научного развития.

— Республика не нуждается в ученых,—холодно заявил председатель французского Революционного трибунала, осудившего великого химика Лавуазье в 1793 г. на смерть.

Практика нашего социалистического строительства свидетельствует как раз об обратном. С первых дней существования советской власти Академия Наук начала свою работу при поддержке правительства. По-большевистски резко выступая против враждебных направлений в идеологических науках, коммунистическая партия оказывала всемерное содействие работникам науки и прикладных знаний даже в труднейших условиях интервенции и разрухи.

«Когда голодные 1918—1919 гг. выявили крайне тяжелое положение ученых, решительно не приспособленных

к такой тяжелой борьбе за существование, Владимир Ильич сразу дал пароль, что необходимо всеми мерами помочь ученому миру, по возможности обеспечить его» (В. Бонч-Бруевич. «В. И. Ленин и мир литераторов и ученых». Журнал «На Литературном Посту» № 20, 1927 г.).

Профессор П. А. Козьмин рассказывает (журнал «Советское мукомолье и хлебопечение»), что В. И. Ленин, встретившись с ним в ближайшие послеоктябрьские дни, говорил ему:

— Тащите инженеров, тов. Козьмин, тащите в Смольный. Без инженеров, без специалистов мы не проживем. Кто придет работать, отнесемся к тем лучше, чем капиталисты. Потом они поймут, что делают великое дело.

«Мы помним и знаем,—пишет акад. С. Ольденбург в статье «Ленин и наука»,—что именно благодаря В. И. Ленину 1920 и 1921 года стали поворотными годами в истории нашей науки революционного времени».

М. Горький в глубоко интересной статье «Музыка толстых», показывая, что буржуазия вырождается, что ее культура падает, противопоставляет ей рабочий класс, как единственного носителя дальнейшего прогресса.

«Погибает культура, вопят защитники власти толстых над рабочим миром,—пишет Горький.—Пролетариат грозит погубить культуру!—вопят они и лгут, потому что не могут не видеть, как всемирное стадо толстых людей выталтывает культуру, не могут не понимать, что пролетариат—единственная сила, способная спасти культуру и углубить и расширить ее (курсив наш С. Д.).

Если этого не понимают «толстые»,—то научно-техническая интеллигенция СССР видит это в своей каждодневной работе, от своего первоначального отрицания пролетарской революции (саботажи) придя к совместной плодотворной работе.

С полным основанием заявил тов. Юдин на Московской губернской конференции инженеров и техников в декабре 1927 г., что «разрешены исторические судьбы русской интеллигенции».

— Сейчас значительная доля интеллигенции,—сказал он,—особенно ее научно-техническая часть, буквально заучив рукава работает на создание социалистического строительства. Основные массивы интеллигенции с пролетариатом. Величайший процесс синтеза науки и труда осуществляется на наших глазах.

Н. И. Бухарин, выступая на Московской губпартконференции в ноябре 1927 г., подчеркнул факт советизации нашей научно-технической интеллигенции:

«В особенности среди технической интеллигенции, — сказал он, — уже имеется целый, довольно значительный кадр, который действительно идет с советской властью и хочет идти с советской властью, потому что он, выросший на дрожжах новых событий, довольно хорошо представляет себе размах нашего строительства, знает перспективы нашего строительства с его громадным будущим, с его громадными возможностями, с большим строительным пафосом. Это есть ядро советской интеллигенции, отчасти советских служащих, которых мы должны, разумеется, всемерно поддерживать».

А. В. Луначарский, ставя проблему взаимоотношения марксизма и науки, приходит к следующим выводам:

«Будучи гигантским социальным благом, наука временно попала в зависимость к господствующему классу. Буржуазия искадила лицо науки и социальное сознание отдельных ученых. Буржуазия, оказывая влияние на ученых, заставляет их подбирать идеи так, чтобы они звучали в унисон с интересами господствующих классов. Было бы, однако, глубоко ошибочным думать, что унаследованная нами от капиталистического режима наука органически связана с буржуазией. Эта связь теперь разрушается. Ученый, желающий освободиться от буржуазного плена и сознательных или бессознательных оков буржуазии, может только всей душой приветствовать пролетариат, который несет с собою подлин-

ное развитие науки и подлинную свободу научной деятельности... Между наукой и революцией имеется глубокая коренная связь (курсив наш.—С. Д.). Все стихийные революции, происходившие на Западе, всегда стремились утвердить свои лозунги и тактику на науке. Пролетариат, как класс угнетенный и лишенный в силу этого угнетения культуры, менее был подготовлен к научному обоснованию своих актов, тем не менее все чаяния свои и программы основывал на незыблемых научных данных. Пролетариат идет под знаменем той партии, для которой научный социализм есть теоретическая предпосылка всей его жизни...

Мы должны сделать вывод, что все действительно искреннее в среде ученых, быть может, не сразу, конечно, но в конце концов, должно понять, что пролетарская социальная революция несет за собою полную свободу науке... Опыт российской революции выяснил как характер тех недоразумений, которые могут получиться между представителями науки и революционной властью, так и то обстоятельство, что недоразумения эти, в сущности, случайны и для наиболее здоровой части носителей науки довольно скоропреходящими».

Факторы политические (общее укрепление диктатуры пролетариата), государственные - экономические (начало грандиозных технических сооружений как Волховстрой, Днепрострой и т. д., начало социалистической реконструкции всего народного хозяйства), идеологические (усиление влияния марксизма в научной области, в том числе и в так наз. точных науках), бытовые (улучшение материального положения научно-технической интеллигенции) — содействуют советизации научно-технической интеллигенции, сближают ее с пролетариатом. Значительные кадры нашей научно-технической интеллигенции уже не за страх, а вполне искренне участвуют в социалистическом строительстве. Но это не значит, что вся научно-техническая интеллигенция стала советской. Некоторые груп-

ны, которые до революции плотно срослись с капиталистическим обществом и были, в сущности, частью класса буржуазии,—после революции не могли примириться с утерей своего привилегированного положения, от явного саботажа перейдя к скрытым, но не менее разрушительным формам борьбы с пролетарской революцией (шахтинское дело).

Не понимая, что весь ход развития науки утверждает

научный социализм, большинство научно-технической интеллигенции только после победоносной пролетарской революции отходит от буржуазии к пролетариату, от капитализма — к социализму. В этом заключается шестая и последняя характерная особенность идеологии научно-технической интеллигенции.

# Горная страна Памир

## ПОГРАНИЧНИК

Предлагаемые заметки составлены по дневнику полугодового путешествия на Памир, совершенного мной весной и летом 1927 года. Работая в районах горного Таджикистана в качестве «регистратора демографической переписи ЦСУ, знающего туземный язык», я имел возможность близко сталкиваться с населением этой «западни народов», во многих отношениях представляющем этнографическую загадку. Для того, чтобы уяснить себе, что такое Памир, следует помнить, что он разделяется на две различные страны. Западный Памир — верховья реки Пяндж с притоками — страна головокружительных тропинок, зеленых долин, земледельцев, разводящих шелковицу и вспахивающих поля гималайского жита. Другой Памир — это Восточный, Крыша Мира, унылое, пересеченное горными хребтами нагорье, страна вечного холода, кочковатых лугов и мохнатых яков. Все это отделено от нас цепями высочайших в мире гор, примыкающих с юго-запада к узлу Гиндукуша и с юго-востока к высотам Каракоума. Выехав из Дюшамбе, столицы ТАССР, я попал в город Ош, проделав, таким образом, две тысячи километров верхом и сто пятьдесят километров пешком через весь Памир. Это было странное для меня лето, — четыре раза я переходил из страны ледников и снежных буранов к душным ущельям, где дозревали абрикосы и сладкий тут.

### 1. Перевал Бом

В Гарме снег почти стаял, хотя горы были белы, как меловые глыбы, и долина казалась сдавленной среди огромных стен, отливавших молочной синью. По утрам телеграфисты с почтовой станции согревались стаканом водки и шли купаться в бурный ледяной Сурхаб. Я ночевал в единственной гармской чай-хане, на крохотном базарчике, где два раза в неделю собирались окрестные торцы, приторговывая спички, мыло, табак для жевания и свечи в обмен на свои непромокаемые чекмени, высокие чулки, деревянные туфли, посохи, гребешки и проч. дребедень. Покупателями на этом базаре были, главным образом, русские, которых в Гарме наберется человек с 50. К чай-хане примыкала маленькая улочка, заканчивавшаяся зданием исполкома гармского вилайета (области) и небольшим тенистым садом, принадлежавшим прежде наместнику Каратегина, столицей которого когда-то был Гарм.

Здесь, от последней телеграфной станции в горах, должно было начаться это путешествие. Я жил в Гарме 10-й день и никуда не мог тронуться. Зимние перевалы в Дарваз были закрыты из-за распутицы, а летние еще не открылись. Я валялся в чай-хане без дела, дожидаясь известий об открытии перевалов. Наконец, мне это надоело. Я отправился в вилайетский исполком,

чтобы попросить верховую лошадь. Я по опыту знаю, что наем лошадей в селениях, по приказу исполкома о доставке «улюя» (средств передвижения), сопряжен с большими трудностями. Меня встретил Азизулло Азизбеков, член вилисполкома.—Таксыр,— сказал он мне, по неистребимой привычке каратегинцев титулуя своего собеседника,—есть пословица, что никогда не надо торопиться в ад. Вы всегда успеете попасть в Дарваз! Посидите в Гарме еще месяц, попейте с анджинорами (инженерами) вино, а потом потихоньку возвращайтесь в Дюшамбе, и не надо вам ни Дарваза, ни Памира.—Я отвечал сухо и твердо, что еду по делам службы и отменить поездку не могу.

—Пожалуйста, как хочешь, душак-командир!—продолжал тогда Азизулло,—не отменяйте поездку! Поезжайте в Дарваз. Мы достанем лошадь. Здесь есть один дарвазский горец, владелец прекрасного коня. Мы попросим вас взять три пуда казенной почты. Она лежит у нас месяц и никто не брался ее доставить. Оставьте ее — скажем спасибо. У нас есть другая пословица: если надо посылать в ад, то пусть едет один человек, а не два. Один человек долины,—горцы не в счет.

Через час после этого разговора рослый светлоглазый таджик из Даштака, в красной чалме и коротких штанах, привел мне коренастую и ободранную горную лошадь. Мы выехали в тот же день, после полудня, по дороге к узкому мосту через Сурхаб. Хозяин лошади шел за мной пешком, покрикивая на лошадь и говоря: «Эй, командир, скорее, гони коня!». Я гнал коня, неудобно устроившись на «палане» (вьючном седле), через который была перекинута переметная сума с почтой. Однако, долго гнать не пришлось, потому что за селением Хумдон начался крутой и ровный подъем. Горы были завалены рыхлым снегом, и с перевала в долину дул ледяной ветер, иголками впиваясь в лицо. Почти все время приходилось пускать коня вперед и самому, держась за его хвост, плестись сзади и вязнуть в сугробе по колена. Особенно трудно дался мне перевал Иофуч, где я чуть не сорвался со скользкой, заледенев-

шей тропы, зигзагами подымавшейся на невообразимую крутизну. Вдобавок я обнаружил у себя признаки горной болезни, имеющей здесь название «ту-так». Било в висках и в ушах, и со всех сторон раздавался беспрерывный шуршащий шум. Грудь сдавливало какое-то смутное беспокойство.

Путь мой, однако, продолжался без всяких приключений. Ночевку в каждом кишлаке охотно предлагали таджики, приводя меня к закопченным сложенным из камня мечетям, одна половина которых всегда была отделена под «Алау-Хану» — Дом Огня. Эти Алау-Ханы довольно своеобразное учреждение и исполняют одновременно обязанности и гостиницы и клуба,—в них останавливаются проезжие и собираются по утрам односельчане, перед тем как отправиться на пастбище или на пашню. В долине Хингоу или Голубой реки я сделал остановку в жалком пустующем поселке Тоби-Дара, где помещался волостной центр, у подножия скалы Ходжа-Шонд-и-Бурдж, остробашенной и похожей на развалины старинного замка.

Как выяснилось, из Тоби-Дары приходилось свернуть с обычной конной тропы, ведущей к перевалу Сагир-Дашт. В это время года он непроходим. Жесткие метели на самом перевале и частые обвалы в ущельи за ним преграждают доступ в Дарваз на целый месяц. Другой перевал, Хобуработ, считается для этого времени сравнительно более удобным. Но, на мое несчастье, по словам горцев, и этот перевал был для меня закрыт. В Хире-Дарре, Ущельи Медведя, обвалилась лавина, засыпавшая снегом и камнями 30 человек жителей кишлака Хоб, утаптывавших тропу, или, как говорят таджики, делавших дорогу.

Я оставил лошадь в кишлаке Хизонак. Мне оставалась дорога только через перевал Бом, для всадника недоступный. Арбоб (староста) поселка дал мне трех носильщиков, распределивших между собой почту из переметной сумы. Мы пошли по крутой тропинке, не более полуаршина шириной над ущельем, на дне которого слышалось пробивающееся из-под огромного сне-

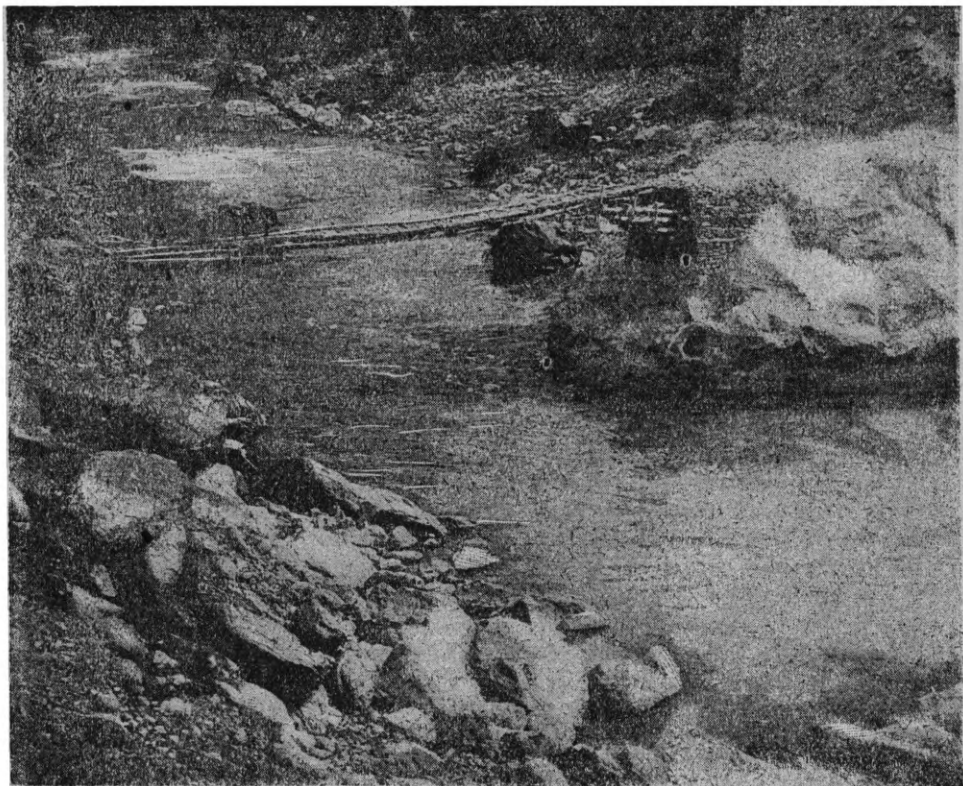


гового сугроба журчанье воды. В расщелинах скал сверкающими ледяными столбами висели замерзшие водопады. Наконец, по узкому и темному, как коридор, ущелью мы вышли в долину Бома. Горизонт здесь несколько расширялся. На отлогом скате горы, над скрытой речкой громоздились какие-то груды камней. Из рыхлого, слепящего белизной снега торчали голые черные

чтожный и жалкий урожай, и они выкапывали из земли корни, сохранившиеся с минувшей осени.

Наше прибытие не осталось незамеченным. Толпа зашевелилась, и многие подняли головы, глядя на нас с тупым равнодушием и скукой.

— Салом-алейкум, товарищ! — сказал один из них, стоявший к нам ближе всех. — Ты, наверно, хочешь у нас оста-



Памир. Река Гунт и мост через нее, один из наиболее благоустроенных в горной стране.

остовы тополей и хвойно-зеленые кусты можжевельника. Это и был горский кишлак Бом, на половину занесенный снегом.

Мы спустились со скалы вниз. Возле самого кишлака, на небольшой каменной площадке, с которой ветры сдули почти весь снег, толпились люди. Они были одеты в рваные чакманы и в серые дерюжные чалмы. Желтые и худые, они ковыряли ножами твердую замерзшую землю, усеянную льдом и камнями. Их скудная почва дает ни-

новиться, но у нас ничего нет. Иди в этот дом. Здесь живет староста Бома. Один он достоин тебя принимать.

Я пробрался сквозь узкую снежную нору внутрь указанного мне дома. Самого дома не было видно, — из сугроба торчала только крыша, сложенная из неотесанного камня. Отверстие в крыше, заменяющее горцам окно, было для теплоты забросано камышом и соломой. Я вошел внутрь. В глаза мне ударил черный едкий дым. На полу комнаты, в углублении очага, догорали, чадя и

трескалась от смолы, сучья можжевельника. В нише стены был укреплен железный «чирок» (светильник), состоявший из наполненной маслом плошки и фитиля. В комнате царил грязь. Неосвещенные углы скрывали бедность и нищету. На полу, на затоптанном обрывке кошмы, валялся старик. Он лежал согнувшись и тяжело дышал, глядя вверх тусклыми белыми глазами, покрытыми какой-то мертвенной пленкой. Казалось, он был тяжело болен и не заметил моего прихода.

Когда глаза мои несколько притерпелись к дыму, я заметил в комнате еще одно живое существо. Это была женщина. Она была молода, и лицо ее, изможденное и худое, было довольно красиво. Она возлилась у очага, бросая в кипящую воду сухие, побуревшие корни и солому. Пышные черные волосы, немывые с прошлого года, сбились в колтун. Одета она была в красную ситцевую рубаху с разорванными рукавами, открывавшими слабые и тонкие, как палки, руки, и в желтые дерюжные штаны, доходящие до пяток.

Я поздоровался с нею и сказал несколько слов, прося гостеприимства. Робко и нерешительно она поднялась на ноги и отвесила низкий поклон, сложив руки на животе, в позе покорности.

Носильщики из Хизонака сбросили вьюки у очага. Я расплатился с ними, и, один за другим, не говоря ни слова, они вышли из дому в светлую морозную вьюгу ветряного дня.

Усталый и разбитый десятичасовым переходом, я повалился на землю.

— Ты дочь «арбаба»?—спросил я у девушки.

— Да, господин. Мы бедные люди, скажи, откуда ты едешь?

— Издалека,—ответил я,—из самого Ташкента.

— Сын счастья, — воскликнула она, всплеснув руками.—Тошканд—джон бекан, пуль бегир—закопай душу и бери деньги,—вот как живут в городах на равнине. И какие там женщины! После них ты, верно, и не захочешь смотреть на нас, бедных горянок.

На лице ее появилось подобие улыбки. Она сказала это с каким-то животным кокетством, прикрывая свое лицо

обрывком рукава, так что видны были одни глаза.

В это время старик зашевелился.

— Проклятая шлюха, шайтан, пусть будет волк твоим мужем!—закричал он громким и хриплым голосом,—где научилась ты разговаривать с мужчинами? Ты делаешь лицо мое черным. Хороши эти гости, которые оскорбляют нас в наших домах.

— Я думал, что ты болен, хозяин,—сказал я,—я бы не стал разговаривать с женщиной. Я знаю закон.

— Да, я болен, болен,—неожиданно хныкающим голосом заговорил старик.—Я болен и беден, как и все мы в горах. Я стар, как же мне не быть больным, если я питаюсь соломой и травой? Эй, проклятая!—заорал он на дочь, — покажи высокому гостю нашу еду.

Девушка поднесла мне заржавленную железную миску, наполненную горячей водой, в которой плавали какие-то травы. Это была травяная «атоля»—похлебка из горьких корней ривоча и кисловатых чукури. В похлебке не было даже соли. Соль дорога в горах, ее привозят с соляных копей Сурхаба и Верхней Вахьи.

— Видишь нашу пищу?—снова заявил старик.—Высокотемперенный господин, дай нам что-нибудь от своих богатств! Ты господин, а я слуга. Ты мой отец, а я твой сын. Я буду вытирать своей седой бородой пел с твоих ног.

— У меня ничего нет,—сказал я растерянно.—Все мое имущество состоит из бумаги в переметных сумках. Когда я приеду в центр, я расскажу о ваших бедах. Вам помогут. Вам пришлют семян и дадут денег. Сейчас царя нет, и правительство заботится о народе!

— Не надо нам вашей помощи,—завизжал он, — вы приезжаете каждый год и жжете нам. Но мы еще—прославлен Аллах!—не потеряли ума, мы смеемся над вашими хитростями. Я прожил в горах 80 лет и видел дарвазских князей и басмачей, и царских солдат, и турок Энвера. Все они грабили и убивали и говорили, что завтра наступит счастливое царство. Они—волки, а мы—овцы. Мы так же ответили в прошлом году, когда ж нам приезжал, от имени

теперешнего государства, Сельхозбанк-эффенди. Он предлагал нам деньги и сказал, что не хочет с нас пользы и еще пришлет весной людей, которые дадут нам семена пшеницы. Но я открыл мусульманам его тайные планы. Мы выгнали его. Он также говорил, что падишаха больше нет и что чиновники будут о нас заботиться. Зачем станут русские о нас заботиться?

Я был поражен и удручен его чудовищным невежеством, его страстной

Я наскоро поел кислой и отвратительной похлебки и лег на землю, прикрывшись сырой бараньей шкурой. С новой силой зашвырянул ветер над крышей дома. Сквозь щели в камышах чернело низкое небо. Снаружи была тьма.

Бессонно и тревожно прошла ночь. Несколько раз где-то поблизости прорывался хриплый лай, визг собак и затем надорванный протяжный вой. По кишлаку бродили волки.

На утро, невыспавшийся и утрюмый,



Западный Памир. Праздник дня Советской Конституции.

слепотой к тому, что делается в мире, ненавистью и фанатизмом этого человека, живущего в диком ущелье, куда годами не попадает никто из дальних долин и городов.

— Какал разница, кто они?—смущенно ответил я.—Коран говорит, что все люди—братья.

— Вы не наши братья!—сказал он с жестким убеждением в голосе.—Вы собаки! Наш брат тот, кто на наше «аминь» ответит: «Омин! Алло-Акбар» («Аминь. Бог велик»).

Он прекратил со мной разговор и снова откинулся на кошму. Казалось, он спит с открытыми глазами.

я потребовал новых носильщиков. Они явились очень скоро. Не прощаясь с хозяином, я вышел из дома. За ночь снегу намело еще больше, и о жилищах можно было догадываться только по входным норам, из которых валил черный дым. Передо мной лежал хребет Петра I, который во что бы то ни стало нужно было перевалить. Носильщики шли согнувшись и тяжело ступая по снегу.

## 2. Над рекой

В ясный жаркий день я выехал в котловину Кала-и-Жумба, наполненную приторным и свежим дыханием распу-

стившихся почек. Я устал и чувствовал себя плохо. Переход от ледяного перевала Бом к поздней весне Дарваза отражался во всем теле вялостью и утомлением. Я не стал, однако, задерживаться в самом Кала-и-Хумбе. Лошадь для дальнейшего пути достал мне Василий Иванович Гортовик, агент Узбекторга и почты в Дарвазе. Он был единственным европейцем в Кала-и-Хумбе и считался «урусом». В действительности это был военнопленный чех, во время гражданской войны попавший на Украину и затем заброшенный в Таджикистан. Ему я сдал корреспонденцию, порученную мне гаремским исполкомом. Я пил чай в старой цитадели, окруженной стенами, спускался на берег быстрой реки Пяндж, отделяющей Дарваз от Афганистана, сидел под деревьями Иряма, сада прежних князей, о котором преувеличенная и пышнословная идет слава по всем горам. Когда-то этот сад был полон павлинов, перелетавших с ветки на ветку, распускаявших огромные радужные хвосты и лунными ночами раздиравших окрестность криками, похожими на мяуканье мартовских кошек. Теперь их осталось только два, остальных пожарили басмачи да перебили ребята, после бегства эмирских чиновников разукрасившиеся павлиньими перьями.

Я выехал из Кала-и-Хумба вверх по Пянджу. Дорога шла над самым берегом реки, то стелясь по рошам шелковицы и ивняка, то подымаясь на высокие каменные холмы. Мы проехали афганский Кала-и-Нусай, расположенный на той стороне бурного и неширокого потока. На крыше небольшого домика, где помещался афганский военный пост, сидел трубач, на хриплом крикливом рожке трубя зорю. Какой-то сипай (солдат) в желтом жилете и опромных сапогах гнал перед собой осла, подталкивая его в хвост прикладом винтовки. Ровный шум реки не заглушал шороха повседневной жизни за рубежом.

Мы въезжали в цветущие зеленые кишлаки с темными беззаконными домами, над которыми высились покатые соломенные крыши на шестах, называемые «баллоч» и напоминающие огромные насесты. С каждой верстой

становился уже Пяндж. Вода кипела и рвалась белой пеной вокруг огромных скал, торчавших из воды. Здесь начались «овринги» — узкие карнизы над обрывом, кое-где подпертые камнями и балками. Они сменялись крутыми откосами, где из-под ног лошади грохотала гулкая осьпшь.

На этом пути особенно памятна мне одна ночевка, когда я спал на крыше ветхого развалившегося дома в кишлаке Жорфф. Мы не застали в этом кишлаке никого из мужчин, кто мог бы оказать нам гостеприимство. В домах остались только женщины, мальчики-подростки лет 10-12, да один старик, совершенно глухой и слепой, сидевший у мечети и перебиравший четки. Женщины приняли нас без удивления и смущения, может быть, потому, что нас было только двое — мой коновод и я. Сейчас же на высокой земляной «дуккон» (буквальный перевод: «лавка»; в таджикском языке это слово, как и в русском, имеет два значения), над берегом арыка, была настлана кошма. Мальчик принес блюдо с сушеными тутовыми ягодами и деревянную миску с водой из ключа. Со всех сторон к «дуккону» собирались женщины, чтобы посмотреть на чужестранца. Они несли с собой длинные остроконечные веретена и маленькие ручные прялки — «чархи», продолжая поворачивать резную ручку и наматывать нитку на нитку. Подойдя к нам, они садились на корточки, с безмолвным любопытством глядя на меня. Сначала они молчали, но затем одна из них, худая и смешливая девушка лет так 15, задала мне вопрос — кто я и откуда я. Я ответил. Преодолевая смущение, они спрашивали меня о разных пустяках, о казавшихся им смешными мелочах моей одежды — широкой кавказской папахе, больших круглых очках, суконной шинели. Затем наперебой начали они рассказывать о своем кишлаке. Разговор их был полон насмешливого веселья и чудовищно непристойных шуток, которые они произносили с бессознательной непосредственностью джарок. Они спрашивали меня о моих женах, об их одежде, и о том, как я провожу с ними ночи. Мои рассказы о русских городах,

о жизни женщин, о широком мире казались им смешной и замысловатой ложью. Эти женщины чувствовали себя с нами совершенно свободно. Для них было праздником обменяться несколькими словами с чужим человеком.

Стало темнеть и один за другим начали возвращаться мужчины, топя перед собой с тоскливыми криками низких, широкожестных буйволов, впряженных в тяжелое ярмо. Я не успел

таджика-крестьянина, с тяжелой ношей на спине, или афганского чиновника верхом на стройном каттаганском коне, кричавшего нам встречный салам и осведомлявшегося: «Чи хабар аст дар доулят-и-алия-и-русия? Что за новости в высоком государстве русских?».

На третий день пути после выезда из Кала-и-Хумба мы подехали к котловине Водхуда, за которой виднелся широкий отлогий Ванч. Воды его пробива-



Хорог. Состязание в стрельбе таджиков и красноармейцев. У таджиков кремневые ружья на рогатках.

оглядеться, как женщины, так же легко и незаметно, разлетелись во все стороны. Ни одной из них я больше не видал до самого моего отъезда из Жорфа. Несколько раз за стеной дома или каменным забором мелькало улыбающееся лицо и опять исчезало.

Из Жорфа мы выехали дальше на Тогмай, Кирговат и «овринги» Пшихарва. Пяндж был заключен здесь в узкий скалистый коридор, по обем стенам которого лепились опасные тропинки, укрепленные камнями и ветками. Изредка на тропе, проходившей с афганской стороны, можно было видеть

лишь откуда-то с востока в желтому и беспокойному Пянджу. Впереди лежал базар Кала-и-Рохарв, где в эмирские времена был центр амляка и жил бухарский чиновник, собиравший с горцев подати. Это была столица Ванчской долины — богатого Ванча, торгующего ножами, косами и серпами, родины кузнецов и железоплавов.

### 3. Железная болезнь

Рауф отпер огромным ржавым ключем старинные окованные ворота крепости, окруженной каменными стена-



ми. Мы вошли на узкий глинистый двор, к которому примыкали низкие мазанки, с резными деревянными колоннами и сине-золотым узором на сводах. Крепость была пуста, но носила явные признаки недавнего присутствия людей. На пристройках висели плакаты с надписями на русском языке: «Цейхгауз», «Красный уголок», «Политкомиссар». Везде валялись пустые патроны и продырявленные мелкие котелки.

В углу двора, возле деревянных конюшней, белело объявление: «Товарищи! Выступление в Гарм назначено на 17 мая 1925 г. Наш исторический долг перед бедной и крестьянством долины Ванча выполнен. Контрреволюционное движение ликвидировано полностью, и озверелые орды басмачей... Рядом висела бумага, на которой большими буквами было написано: «Приказ № 98».

— Это было 2 года назад. Они ушли, и каждый подал мне руку,—сказал Рауф, покачивая седой козлиной бородой, — а командир говорил: «Смотри, Рауф, береги крепость, мы еще вернемся. Здесь книги и много вещей. Не позволяй никому ничего брать». И я провозжал их до самой реки Пянджа и подарил им на память железо из наших рудников, первых рудников в мире. Вот их книги, смотри, товарищ.

Он открыл маленькую, низкую дверь. Я увидел обитые алым ситцем стены «красного уголка» и небольшую этажерку с книгами. Это были по большей части книги по политэкономии и военному делу.

Удивленный, я остановился. Меньше всего я ожидал найти здесь книги, тем более русские книги,—и эта библиотечка в глухой долине, куда и путь-то открыт всего несколько месяцев в году, не могла меня не поразить.

— Я все сохранил! Все!—продолжал Рауф. — Иначе наши крестьяне все бы разграбили. Они говорят, что это—книги ада.

Мы вышли из крепости. У ворот ждала нас целая толпа ванчских таджиков, тихо переговаривавшихся между собой. Они были одеты в грязные лохмотья из самодельной бязи. У них была желтая одутловатая кожа, и поступь

их странно напоминала индюков. Близи это объяснялось очень легко. У каждого под подбородком висел мягкий и дряблый зоб, заставляя их поднимать голову выше и держаться прямо. Это придавало им гордую и, я бы сказал, величественную осанку.

— Что так пристально смотришь на нас?—спросил меня улыбающийся старик, такой худой, что зоб его и голова казались двумя пузырями, надетыми на палку.

Я смутился и не знал что ответить.

— Не беспокойся, — продолжал старик,—эта болезнь—зоб, и ею страдают все в наших деревнях. С давних пор, времена наших дедов, было так же. Каждый поселок нашей долины страдает какой-нибудь болезнью. У нас зоб, и это хорошая болезнь, потому что она никому не мешает, а есть кишлаки, в которых все мужчины идиоты и одержимы злым духом. Есть кишлаки, в которых женщины кликуши, и такие кишлаки, в которых мужчины не способны производить детей. Такой кишлак—Гумас, куда ты едешь.

— Отчего это?—спросил его я.

— Кто знает. В прошлом году сюда приезжали трое русских—собирали наши сказки и песни; с ними была одна женщина, которая знает все языки,—они говорили, что наши болезни происходят от дурной воды. А мы сами думаем по-другому. Мы думаем, что это от того, что в нашем краю слишком много железа. Посмотри, возле каждого поселка—железные копи, и нет ни одного человека в Ванче, который не занимался бы выделкой железа. Послушай, звенят молотки кузнецов!

Я прислушался. Со всех сторон доносился тонкий и назойливый стук молоточков, похожий на громкое и звонкое стрекотанье кузнециков.

В горах Ванча с незапамятных времен занимаются кузнечным делом. Переписчик из Дюшамбе, работавший здесь в марте 1927 года, не отметил во всей долине ни одного человека, который не показал бы своим подсобным промыслом изготовление железных орудий и выплавку железа.

Деды и прадеды нынешних ванчцев, по преданию, современники царей Су-

лаймона и Дауда, отца железных мастеров, вырыли глубокие шахты. Они начали разрабатывать руду в каменных скалах, один цвет которых, ржавый и красноватый, говорит о присутствии в породе железа. С тех пор способы добычи и выплавки руды несколько не изменились. Так же, как и прежде, в зимние дни горцы спускаются с тусклыми плешками в руках в шахту и, проработав целый день «тешой» (небольшая кирка), возвращаются по врытым горным спускам с грузом в несколько пудов железной руды и зажигают огонь в жалких первобытных печах для плавки.

На следующий день мне предстояло ехать в деревню Гумас, где, по рассказам, жил стодвадцатилетний старик — Бакир-бек, помнящий древний язык Ванча. Язык, на котором сто лет назад говорили жители этой долины, теперь принявшие наречие таджиков.

В полдень я под'ехал к домам Гумаса, спрятавшимся в узком ущельи, — зеленом и благоухающем нежным сладким запахом синджида (местное дерево, с мучнистыми, похожими на финики плодами) и абрикосов. В куч-хану (гостевую) набилось несколько человек. Бакир-бека не было в Гумасе. Он уехал в верховье, к сыну. Две женщины с несчастными глазами и трясущимися руками подали железные кувшины с чаем и светлый рассыпчатый тутпуст (толокно из ягод тувовника). Затем они сейчас же скрылись, прикрыв руками лица.

— Вот сидит хозяин, — наклонившись, шепнул мой коновод у двери, — это — единственный человек в Гумасе, одаренный обширным потомством. Не вздумай говорить при нем о дочерях. Его зовут Умар-бек, прозванный Чильдухтарон — Сорок девственниц.

— Откуда такое странное прозвище? — заинтересовался я.

— У него три жены. Он брал их одну за другой, и они принесли ему 18 дочерей и ни одного сына. Он — посмище всего Ванча и отмечен всевышней печатью. Ни одна из них не умерла. Бедный человек!

Однако, не все, повидимому, были так деликатны, как мой коновод. Из глу-

бины куч-ханы раздался чей-то ележный тонкий голос.

— Расскажи почтенному гостю, Умар-бек, как ты назвал своих дочерей. Зваете ли вы, — обратился тонкий голос уже ко мне, — что первую дочь он назвал Большая Луна, вторую — Разумная Луна, и так до двенадцатой. Но потом у него пошли дочери — Госпожа Умри, Девочка Довольно, Последняя Луна и, наконец, в прошлом месяце у него родилась дочь, которую он назвал Зогча — Ворона.



Хорог. Делегация ущелья Баржанг, явившаяся просить об установлении в ущельи соввласти.

Умар-бек отвечал проклятиями и ворчливой бранью.

В это время снаружи раздалось нестройное пение и громкие возгласы: «Йо Алла! Йо дуст! Йо какк!». Я вышел за дверь. По осыпавшейся тропе, спускавшейся с перевала, гуськом, легкими скользкими скачками, шли горцы соседней долины Язгулома. Через несколько минут они стояли на площадке перед домом, куда высыпало все население Гумаса. Я заметил, что никто из них, вопреки обычаю гостеприимства, не предложил новопршедшим сесть. Заметив, что я смотрю на

гостей, один из стариков взял меня за рукав и отвел меня в сторону.

— Ничтожный народ, — сказал он шамкающим и скучным голосом, — жалкие язгуломцы. У них у самих ничего нет и они ходят к нам нищенствовать. Они выпрашивают у нас железо и хлеб и каждую минуту упоминают имя бога для того, чтобы мы поверили в их доброе благочестие. Но мы им не верим. Еще тридцать лет назад они были шитами. Они и люди хыгни (памирцы). Они стали поклонниками Четырех Друзей (суннитами) только по настоянию эмирских войск.

— От лица веры мусульманской! — захныкал язгуломец, стоявший впереди. — О Четыре Друга! О Абубакр, Умар, Усман, Гандар! О народ Ванча, наши благодетели! Вы — наши господа, мы — ваш «раят», ваше стадо. Без вас мы живем, как звери. Пожертвуйте нам железа от своего изобилия.

— Вот горы, — усмехнувшись, сказал юноша-ванчец с отекившим лицом, — ломайте красный камень и выплавляйте железо сами. Запрета нет никому.

— О, аллах, — снова нараспев загнусавил язгуломец, — мы факиры (нищие), мы не обладаем искусством выплавлять железо, у нас нет печей и нет мастеров. И недаром вашу землю называют Дом Кузнецов, и бадахши удивляются вашему искусству. Во имя благочестия мусульманского, подайте нам, вашим братьям!

Все новопришедшие хриплыми головами подтягивали ему, умоляя и упрашивая. Жители поселка, громко выражая презрение, выходили из своих домов на обрывистый берег Ванча. Теперь никому из них не приходило на ум жаловаться на страшные болезни, поражающие их край. Они больше не чувствовали себя загнанными и вырождающимися бедняками. На лицах их появилась какая-то уверенность и неуловимая гордость. Они выходили из садов, вынося — кто обгрызанную и окаменевшую лепешку, плоскую как подкова, кто ржавый кусок железа, кто осколки железного кувшина, топор без топорища, бурдюки с полусгнившей мукой. Это были дары изобильной долины Ванча. Подаячка бедняку. Лицемерная попытка откупиться от судьбы.

#### 4. Долина тени

Переход через перевал Гушкон, ведущий в ущелье Язгулома, продолжался два дня. Мы надевали шубы и из шарной духоты долины выходили к рыхлым, глубоким и нестерпимо сверкающим снежным сугробам. В руках у нас были длинные «охотничьи палки», помогающие горцам балансировать на откосе. Назарихудо, — так звали моего коновода, вернее, проводника, так как мы шли пешком, — скользил по снегам перевала, нацепив на ноги небольшие лыжи, сплетенные из веток какого-то кустарника. Этот тип лыж, специально назначенный для перехода через «кутали», или перевалы, называется у местных жителей «барф-моляк».

За перевалом дорога спустилась в лежащее уже в пределах Язгулома урочище, где находились первые летовки язгуломцев. Это были маленькие пастбища. На небольшом, покрытом травой пространстве, среди камней, паслось несколько тощих коз и баранов. Их сопровождал мальчишка-пастух и несколько женщин, доивших овец и приготавливавших на зиму сыр и масло. Здесь нас встретил «председатель волостного совета язгуломской долины» старый Махмадулло-бек. Не знаю каким образом, но, очевидно, еще до нашего прихода разнесся слух о нашем прибытии, иначе он не выехал бы нам навстречу, в сопровождении нескольких пеших язгуломцев, одетых в рваные серые чекмени. Председатель ехал верхом и при нашем приближении спешился. Это был благообразный старик, в пестром богатом халате. На носу его торчали большие разбитые очки в кожаной оправе. Не дойдя до нас шагов десяти, он крикнул на певучем дарвазско-таджикском наречии: «Ассалом-алейкум! Ваше благородие, по какому делу изволите нести свою милость? Джаноб-и-шумо. ба чи кор ташриф ми орид?».

Отдав ему ответный «салам», я начал запутанно объяснять, что приехал-де в Язгулом по делу службы, чтобы посмотреть, кто как живет, хорошо или плохо.



— Об этом вам расскажет старец Шах-Камон,—с улыбкой отвечал председатель,—мы что можем вам рассказать? Мы не ученые люди. Мы можем только принять вас, вы—вилайетский человек. Для нас великий гость. Вы расскажете нам о нашем начальстве, которое никогда не доезжает до нас, так суровы наши горы. Кто нами правит? Кто великий «раис» (глава) государства? Кто его «наибы»? Сам я ничего об этом не знаю.

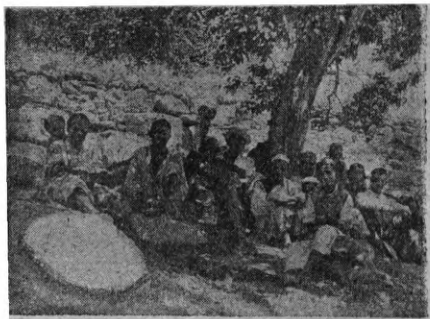
— Но ведь вы председатель «аджрокума» (исполнительного комитета)!—удивился я.

— Да, сударь, я—раис этой земли. Я был здесь и во время эмира, который пожаловал мне капитанский чин. Эмир был великий тиран и притеснитель, — последние слова он произнес скороговоркой и кланяясь мне, — нынешняя власть — Советы — утвердили мое главенство, когда мы послали скорохода с бумагой о моем избрании в Кала-и-Хумб. Вот и все, что мы знаем.

Мы шли по тропе все время вниз и, когда дорога повернула в ущелье, раздвинувшееся в не-



Западный Памир. Старуха Рушан-Оробогу с внучкой.



Язгулом. Семья Махмадулло-бека.

широкий колодезь, на дне которого текла река и зеленели тополи и тутовники какого-то поселка, председатель, протянув руку вперед, сказал:

— Река Язгулом и мой кишлак Джафак!

Мы остановились возле расцветенного узорами растений глинобитного дома, где жил сам председатель. Махмадулло-бек указал мне место на ковре под навесом с резными деревянными колоннами. Остальная толпа расположилась перед домом, под развесистыми деревьями тута.

Старшина деревни вынес чай и угощение, состоявшее из тутовой халвы и урючных косточек. Все набросились на лакомства, и в минуту на разостланных по земле платках ничего не осталось. Затем в огромных мисках подали «атоля» — пресное хлебово из воды и муки.

— Вот пища Юздома, — сказал мне старшина деревни,—пища, которой у вас в стране долин никто не ест. Это халва — «тут-пуст». Не правда ли, он вкусный и сладкий. Но он не кажется нам таким вкусным и сладким зимой,



Хорог. Заезжие афганские купцы.

когда у нас хлеба и мы по несколько месяцев едим только его и пьем воду. Такова пища Юздома и таков же язык Юздома, который, кроме нас, никто не понимает в мире.

— Что такое Юздом? — спросил я. — Я никогда не слышал о таком языке и о таком народе. И разве вы не говорите между собой по-таджикски — на языке фарси, на котором говорят везде в горах?

— Юздом — это мы, — отвечал старшина деревни, и председатель важно кивнул очками в подтверждение его слов, — вы зовете нас язгуломцами и язык наш — язгуломским, но действительное имя нашей страны есть Юздом. Обо всем этом тебе расскажет старец Шах-Камон, если ты захочешь его видеть.

Во второй раз я слышал упоминание о Шах-Камоне. — Кто это? — спросил я. Все вокруг заахали и заудивлялись. Неужели я никогда не слышал о Шах-Камоне? Действительно, из далеких мест приехал я. Шах-Камон — это слава Язгулома. Быть может, это один из самых старых людей в мире. Давно прошел год, когда он считал свой возраст перешедшим за 120 лет. И он помнит всю историю Язгулома.

Наступил вечер. Солнце зашло за горы, и через полчаса стало совершенно темно. Перед домом зажгли костры. Встречавшие меня горцы затянули тоскливые таджикские песни. У юздоцев нет собственных песен.

— Слушайте, — сказал мне Махмадулло-бек тихо, — пойдемте в сад, чтобы никто не знал, о чем мы будем говорить. И пусть с нами пойдет мулла Хакназар — секретарь совета. В доме нехорошо. В стене есть мышь, а у мыши есть уши, говорит пословица. Скажите нам одно слово правды.

Я приготовился слушать.

— Вот что! — продолжал он. — Я говорил вам о том, что мы ничего не знаем, что делается в мире. И это правда. Но кое-что все-таки достигло наших ничтожных ушей. В нынешнем году из дальних городов Кокандского ханства вернулся наш язгуломец Ноуяр-Шо, пробывший там 15 лет. Он нищий и дерзкий человек, и он говорит

нам о нынешнем государстве невозможные вещи. Правда ли, что в Коканде разделили землю и воду и хотят делить у нас? Может ли это быть, и справедливо ли это? У всех нас, кто в почете у народа и может читать Писание, — много земли. Большие, чем у других. И наши отцы заработали ее потом и кровью. Отвоевали ее у пустынных ветров и холодных камней. И теперь к нам придет сын греха Ноуяр-Шо — нищий — и захочет ее отобрать. Правда ли это?

— Не знаю, — ответил я нерешительно. Я не доверял председателю и был осторожен, — может быть. Может быть, и правда. Сейчас поздний час. Завтра мы отправимся туда, где живет старец Шах-Камон.

Прошла еще одна ночь. Холодная молчаливая ночь долины. На следующий день, в сопровождении Назарихудо, я отправился в верховья Язгулома по направлению к области неисследованных ледников и стоков горных рек.

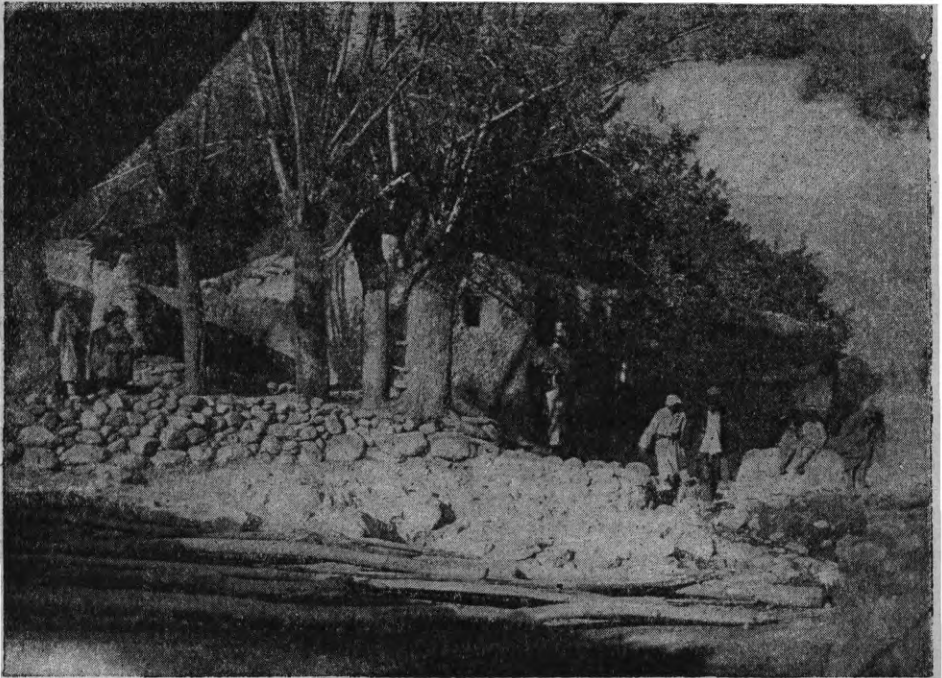
Всадник может проникнуть в Язгулом только от устья реки и до Джафака. Выше идет исключительно пешая тропа, в некоторых местах исчезающая совсем. И тогда приходится карабкаться на четвереньках, хватаясь руками за острые выступы камней. На ногах у нас были «чоруки» — мягкая, похожая на мокасины обувь, помогающая по-обезьяны цепляться ногой за выступ тропы. На второй день пути по этой дороге мы пришли к селению Бар-Нават, в четырех верстах от урочища Хазрати-Зюлькарнайн — могилы Александра Македонского. Язгуломцы твердо убеждены, что завоеватель мира, о котором говорят все народные песни и старинные мусульманские книги, окончил свои дни именно здесь, в диком верховьи Язгулома. Селение — это, впрочем, сильно сказано, так как все селение состояло из двух домов. Меня приютил Одина — странствующий кузнец, каждый месяц с мешком инструментов за спиной обходящий все поселки родного ущелья. Он был единственным кузнецом в ущельи и, кроме того, пользовался славой знахаря и чюдодоя.

В честь нашего прихода Одина устроил «базм»—пирушку. Это был маленький бородатый человек, напоминавший гнома, суетливый и лстивый. Каждую минуту он выбегал из дома и возвращался с новыми «лакомствами». Там был неизбежный «тут-пуст», безвкусная лапша из ячменной муки, блюдо с кислым молоком, куда за неимением ложек все по очереди макали грязные пальцы и, наконец, дорогое блюдо—соль, разведенная в

— Все, все ушли дорогой Адама,—в исступлении кричал хозяин дома,—все ушли и никогда не вернуться. Одинаковая очередь приходит для солнечной стороны и для теневой стороны. Знаешь ли ты, что это значит?

— Нет,—ответил я. И это была правда. Я мало понимал в его словах, произносимых на ломаном таджикском языке.

— Солнечная сторона,—это сторона счастливых. Это северная сторона, на



Дом, где курят опиум.

горячей воде. Соль—редкость в кухне язгуломца.

Сыновья Одины били в барабан и играли на странных первобытных инструментах, с грифом длинным, как тело змеи. Один из них, рябой и страшный, затянул нежным гнусавым голоском начало какой-то старинной песни.

— Где нынче свита трона Сулеймана?—пел он.—Где тени падишаха? Войско хана?—Где слава Кайсара (Цезаря), Дары и Рустама?—Где властелин короны Бадахшана?—Кто вспомнит их и кто споет им славу?—Они ушли дорогою Адама!

которую падают лучи солнца в полдень. Пашни солнечной стороны зеленеют, и хлеб на них рано созревает, и поселки, живущие на солнечной стороне, процветают и счастливы. А те, кого судьба поселила на стороне вечной тени, живут в голоде и нищете. Дарваз—солнечная сторона, мы—сторона теневая.

Я вышел из дома Одины. Вокруг, на спускающихся к реке крохотных клочках земли, были расположены скудные пашни: Отовсюду из земли торчали острые камни и рос пышный бурьян, заглушавший посевы хлеба. Над бур-

ным и шумным потоком, с ровным грохотом ворочавшим тудовые валуны, был переброшен узкий мосток, состоявший из скользкой и полусгнившей доски. По нему шел дряхлый сгорбленный старик с тяжелым мешком на спине. Он шел уверенным и бодрым шагом, не глядя в стремнину, кипящую под мостом.

— Вот идет старец Шах-Камон, — сказал мне Одина, — он достиг глубокой старости и совершает «зиорат» — паломничество к могиле святого Александра. Если хочешь, расспроси его о прошлом нашей страны.

Я отошел в сторону. Прошлое? Оно было передо мной — прошлое этой страны: тусклая, полная бедствий жизнь, вечный голод, непроходимые горные тропы, заслоняющие небо горы. Этот суровый и безнадежный порядок.

### 5. Мистер Саид-Гулом-Махмад из Индии

Я ехал по Пянджу. Было начало мая — время праздника ластбищ. Прошло семь дней после выгона скота на летовки, и язгуломцы справляли праздник молока, — торжественный и веселый праздник. На камнях зажгли костры, и молодежь прыгала через них. Бродячие «ражкосы» (профессиональные танцоры) из Роушана, украшенные дикими тюльпанами, исполняли Танец Коня и Танец Сабля, и женщины разносили кислое молоко в бурдюках и овечьий сыр. У женщин были открыты лица, как у всех женщин в Язгуломе и в странах выше по Пянджу. Они совершенно свободно принимали участие в танцах и сборищах, наравне с мужчинами. Хор доношей, стройный и громкий, затягивал начало хоровой песни: «Гюль пиши-ту андохыт, — Нозуи бада-ниро. — Я бросил к твоим ногам розу, — Твоему нежному телу». — И встречный хор, хор девушек, пониженным строем тихо отвечал: «Бюльбюль зету амухы — Ширин соханиро. — Соловью бы у тебя научиться — Нежным словам».

На ровной лужайке, у самого устья реки Язгулом, в месте, называемом Дашти-Гуйбози, жители нижних кишла-

ков устроили игру в поло. В глубине лужайки стоял высокий остроконечный столб, вытесанный из камня. Вокруг столба из стороны в сторону металось несколько десятков всадников с длинными шестами. Эта игра — излюбленная игра памирцев. Отсюда в древние годы она перекочевала в Индию, а из Индии через англичан распространилась по всему миру.

По бокам лужайки теснились оборванные толпы зрителей в чалмах и в черных чекменях. Всадники, очевидно, разделялись на две враждующие партии, выбивавшие друг у друга маленький, невидимый для глаза, мяч, катившийся по земле.

Я не стал дожидаться конца игры и выехал дальше. Тесные, выходящие над самой водой овринги Кун-и-Гоу — Коровий Зад — выводили меня за последние летовки язгуломцев, к границе Роушана. Здесь начинался собственно Памир, кончалась Восточная Бухара и Дарваз. Пейзаж был, однако, все тот же. Только выше становились горы, и один из-за другого выходили новые снежные хребты, сплетающие великий узел Гиндукуша. С правой стороны дороги, из Афганистана, здесь вливался какой-то многоводный поток, по берегам которого не было ни пути, ни тропинки. Это была река Даррай-Шир, одно из верховьев Пянджа, чертания которого разные на всех картах. Вдали показался первый памирский кишлак — Шипат.

Как ни странно, Пяндж был здесь шире, и течение его было спокойнее, чем ниже по реке, в Дарвазе, где он прорывает каменный хребет Петра I. В первый момент мне показалось, что я въехал к водам какого-то неширокого, спокойного озера. Но бурно проносящаяся по поверхности рябь, крутящиеся травы и ветки по середине течения говорили о том, что это все-таки горная река.

Шипат был небольшой, весь в садах, поселок, с тенистыми деревьями, крошечными полями и огородами, пересеченными во всех направлениях маленькими ручейками, с холодной и прозрачной водой. Я остановился у дома старосты деревни. Поводья у меня при-

нял какой-то маленький человек, с белокурой бородкой и голубыми глазами. На нем была большая светло-желтая чалма, завязанная на индийский манер — хвостом сзади, и за ухом торчал цветок. Он помог мне слезть и чмокнул меня в руку, кланяясь и бормоча таджикски: «Ничего, ничего, товарищ, такой у нас обычай. Мы темный народ, а вы, наши отцы, принесли нам свободу, независимость, благоденствие. Советская власть — защита бедняков. Хуш омадид, добро пожаловать!».

— Обод бошид, процветайте, — ответил я традиционной фразой. Я не был смущен его льстивой и подобоострастной манерой, прекрасно зная ей цену. Вся эта «бухарщина» — наследство бескипий и ханских времен, и трудно ее изжить народам гор.

Когда подали чай, вокруг меня собралось несколько стариков, заведших со мною разговор. Они также обращались ко мне с рабской вежливостью и привставая при каждом слове. Тем не менее, по предметам, занимавшим их, я сразу мог увидеть, что я покинул Восточную Бухару и нахожусь в другой стране. Они говорили о переделе земли, произведенном горно-бадахшанским исполкомом. Особенно горячился один из них.

— Передадим на суд высокого гостя, — сказал он, глядя на меня, — пусть сам он скажет, кто из нас прав. Речь идет о зякете, который мы отправляем Присутствию Имама. Этот зякет не обязательный, размеры его не определены. Это — добровольная подать, которую мы отправляем каждый год в Индию, ради службы богу. В этом году мы получили новые наделы земли. Приезжал русский «анджинор» из Хорога и провел нам воду. Теперь нам нужны семена и нужны быки, чтобы обрабатывать землю. Поэтому мы хотим в этом году дать меньше денег, чем всегда, для отправки Ага-хану. Правы ли мы?

В это время откуда-то из-за угла дома послышался чей-то острый и насмешливый голос.

— Ты почтенный и достойный человек, Иор-Мухаббат-Шо. В минутном разговоре с чужеземцем ты успел на-

рушить две заповеди веры: тайну исповедания и поверженность к Имаму. Ты отказался жертвовать от своего изобилия на утверждение Буквы и ты открыл нашу связь с тем, в ком живет душа Пяти. Могу тебя одобрить.

К айвану (террасе), где мы сидели, подошел высокий стройный таджик, произнесший эти слова. Он был в богатом черном чекмене и высоких сапогах. Лицо его было тщательно выбрито, и черные жирные усы были закручены вверх. При его приближении все встали. Жаловавшийся мне на зякет старик также вскочил и поцеловал ему торопливо руку.

— Простите меня, превосходительный ишан-Саид-Гулом-Махмад. Я согрешил по невежеству и неразумию.

Не глядя на него, ишан сел рядом со мной и попросил у меня папиросу.

— Я из рода Ходжа — ишан, — сказал он. В его голосе совершенно не слышалось подобострастия его односельчан, скорее это было самодовольство и высокомерие. — Я езжу каждый год в город Бомбей к нашему великому имаму. Слыхали ли вы о нем?

Я знал об Ага-хане довольно много, хотя, вероятно, немногие из жителей СССР слыхали о том, что собой представляет верховный глава секты исмаилитов. Между тем, о нем следовало бы знать. Нити его могущества, основанного на поддержке англичан, тянутся до самых наших пределов и проникают даже к нам. Ага-хан — это римский папа, далай-лама и хутухта для последователей древней мусульманской секты Исмоилия. В наших пределах его последователи сплошной массой населяют всю Западную половину автономной Горно-Бадахшанской области Таджикистана. Сам Ага-хан живет в индийском городе Бомбее, носит титул принца британской империи, председательствует на всемусульманских конгрессах и владеет огромными заводами в бомбейском резидентстве. Время от времени он наезжает в Европу, танцует в Париже последние модные танцы, держит лошадей на лондонском дерби, и все европейские журналы помещают фотографии «его высочества

принца Ага-хана на принадлежащей ему яхте «Гималайя».

Вера исмаилитов называется тайной и имеет несколько ступеней посвящения — «давват». Посвященные получают, главным образом, только «ишаны» — наследственная духовная аристократия памирцев. Простые таджики-крестьяне не посвящаются в «тайнства веры». Их обязанность — знать только основной догмат, а именно: Ага-хан есть имам, наместник пророка на земле, и основные правила — плати зякет (подать) и скрывай свою религию от иноверцев. Они не обязаны даже произносить молитвы — считается, что бог и Ага-хан всезнающи и не нуждаются в молитвах. Ишаны получают свои знания от старших в роде.

В общем, рядовые исмаилиты довольно безразлично относятся к своей религии. Все догматы и правила заменяются у них обожаньем ишанов и Ага-хана. Соседние с памирцами сунниты — дарвазы и афганцы — упорно утверждают даже, что исмаилиты считают своего Ага-хана богом. «Оно ар соль ба Худо-и-Худшон пуль-и-пайса рои микунанд — они каждый год посылают последние гроши своему богу», говорил в Гиссаре афганский таджик Хаджи-Рахматулла, описывая мне отсылку памирцами зякета (подати) в Индию.

Советизация застала на Памире глухую невежественную массу, бывшую в полном подчинении у своих наследственных старшин. «Завоевание Памиров», закрепленное царским правительством в 1895 году, сказалося для памирских таджиков тем, что они были отданы на произвол бухарских чиновников, преследовавших и грабивших исмаилитов, принадлежащих к еретической секте. Советизация была воспринята исмаилитами, как провозглашение «государства Свободы». Исмаилиты по собственному почину образовали отряды добровольной милиции, отбившие без помощи красноармейцев от Памира отряды бухарских басмачей. В волостях были избраны исполкомы и налажен советский аппарат. Но влияние Ага-хана от этого не пошатнулось.

Каждый год в июле месяце посланцы Ага-хана привозят письменные грамоты-указы, обращенные «ко всем верным», и каждый год особые выборные представители, «вакили», везут налог, собранный с каждого двора, в казну бомбейского живого бога. Они снаряжают караван и получают визу уполномоченного Наркоминдела и отправляются в дальний путь, через Баругиль и Сархад, дорогой, от века считавшейся непроходимой.

Я глядел пристально на ишана. Передо мной и был один из тех, кто поддерживает связь диких горцев с их «сверхкультурным» вождем. Ишан заметил это.

— Вы смотрите на мой «васкат» (жилет)? Он «куайт вэлл». Я купил его на базаре в Блэктоуне, там, где живут хунды Бомбая. Каждый раз я привожу оттуда много вещей: «бутс», розовое масло, «динамо» — фонарь, с заключенной в него молнией. Не правда ли, я не похож на диких людей — «дарвози», которых приходилось видеть саибу?

— Совсем не похожи, — ответил я, — как много вы говорите английских слов! И я вижу — вы бреете бороду, разве это разрешено законом?

— Все разрешено законом, что хорошо. Мы, исмаилиты, родные братья фарангам (англичанам) и, конечно, урусам, саиб, — так говорил нам его святейшество имам Ага-и-хан на последнем приеме в его загородном «бангалю» на Малабарском Холме. Сам имам бреет бороду и мы, ишаны, тоже стали брить бороду.

— А когда вы снова едете в Индию? — спросил я.

— Мы едем скоро. Через неделю будет окончен сбор зякета. Последним его привезут жители ущелья Бартанг. Они привезут его в «карбосах» (отрезы бязи, по двенадцати аршин каждый), потому что в Бартанге не ходят деньги, и вместо наших рупий или «сум» (рублей) там ходят карбосы. Затем мы составим караван, и «товарищ начальник» в Хороге даст нам бумажку с пропуском, и мы отправимся в Чатрор. Там читральский властитель «михтар» даст нам проходные бумаги, и саиб-резидент поставит на нем печать ингриссов

(англичан). После этого нас пропускают в Пешавур. А оттуда мы садимся в «вагган» и едем по Дороге Огня в самый город Бомбей — Джойдод-и-Бомбаи — Источник Справедливости. Перед лицо самого имама.

— А как, не притесняют вас англичане? — спросил я.

— Нет, сайб, совсем не притесняют. Там хорошие порядки, сайб. Там ученым и богатым людям оказывают большое уважение, и нищий не сможет сказать против них слова. Господин наш Ага-и-хан пользуется поклонением даже англичан, хотя они язычники и ходят в бутханы (кумирни). Я видел эти бутханы, украшенные крестом, много раз, когда был в Хиндустане. Сам Джан-Вуд, наместник английского падишаха, ездил к нашему имаму из Лагора в Бомбей. И наш имам...

— Наш имам, наш имам, — раздался откуда-то со стороны насмешливый и передразнивающий голос. Я оглянулся. Перед айваном остановился какой-то всадник в белой тюрбейке, с винтовой и в форме шугнанского милиционера. Он слез с лошади и закинул поводья за луку.

— Наш имам,—продолжал он,—я знаю, откуда ты берешь свои рассказы.

Он покровительственно и презрительно похлопал ишана по спине, отчего тот испуганно сжался.

— Я знаю, что такое наш имам. Я один из всех шугнанских милиционеров не плачу от зякота. Все другие платят. Мне известно, как возят золото в Бомбей. Вы везете с собой золото и по дороге вьюки становятся легче. Затем вы приезжаете в Бомбей и поселяетесь в богатом «бангало» (загородном доме) и вас кормят и поят на таджикские деньги—из казны Ага-хана,— и вы едите столько жирных вещей, сколько не ели за всю свою жизнь. Потом вам устраивают маленькое чудо. Только о толковом, хорошем чуде я что-то не слышал. Ни разу еще его святейшество не воскресил мертвецов, а все чудеса в том, что имам появляется сразу в нескольких местах в одно время. Да кто же проверял это время?

— Чудеса бывают внешние и внутренние, — сурово сказал ишан, — са-

мо существование нашего владыки есть внутреннее чудо. Каждая эпоха имеет своего имама. Страшно подумать, что было бы с миром, если бы в Бомбее не жил наш заступник!

Ишан замолчал, недовольно надувшись. Он развязал широкий пояс, в котором лежало у него зеркало и были завязаны мази для усов, и стал пристально рассматривать свое отражение. Он был оскорблен и обижен. Я не стал больше надоедать ему разговорами и попросил старосту кишлака устроить мне ночлег. На следующий день я выехал в Вамар, столицу Роушана.

Был ясный вечер, когда я стоял у стен угрюмого замка Кала-и-Вамар. Его высокие двухсотлетние стены, сложенные из серого обтесанного камня, были тяжеловесны и давили, а огромные, обитые железом, ворота напоминали неприступные стены Вавилона. Вокруг лежали дома, селения и маленькие разгороженные поля. На одном из них стоял старый таджик, с тяжелым трудом ковырявший землю мотыгой.

— Погляди вокруг, — сказал он, — наш край носит название Роушан, что значит — Светлый. Видал ли ты что-нибудь светлее нашей родины?

Я огляделся вокруг. Солнце заходило. Низкие и мрачные надвигались со всех сторон горы. Это было какое-то торжище холодных ущелий и каменных скал, пересеченных глубокими синими тенями. Наверху, как облака, маячили вечные снега, излучая грязноватое сияние. На горе, на севере, намечалась головокружительная тропинка Ходуд, по которой, уменьшенные отдалением, двигались какие-то фигурки с огромной ношей на спине. Это были крестьяне ближних селений, переносившие ослов на собственной спине. Они шли к высокогорному пастбищу Андарафк...

## 6. Город в облаках

Передо мной стелилась узкая зеленая долина. Голые лобастые скалы, тополя, тутовники. По бокам были отвесные коричневые гряды гор, из-за



которых торчали, как гигантские сахарные головы, какие-то остроконечные снежные пики. По середине долины текла зеленая, взмученная мыльной пеной, головокружительно быстрая река Гунт.

В прибрежной зелени — серые и бурые — толпились грубые, сложенные из неотесанного камня, домики небольшого поселка. Посреди поселка было разбито что-то в роде улицы, с несколькими оштукатуренными одноэтажными домами европейского типа. Вдоль домов, в линию, торчали слабенькие, тоненькие деревца, посаженные, очевидно, всего лишь этой весной. За углом последнего европейского дома находилась небольшая квадратная площадь, где на огромном постаменте с эстрадой стоял маленький бюст Ленина.

Этот поселок был город Хорог, центр автономной Горно-Бадахшанской области, в просторечии Агбо. Его называют городом, несмотря на то, что в нем нет и тысячи жителей и что бывают дни, когда единственный торговец съезным не выходит на базар, и все служащие руководящих учреждений Памира ходят по целым дням из дома в дом и не могут купить еды на обед. Тем не менее, по своему значению это все-таки город — город с большим будущим.

По вечерам в Хороге горит электричество и в красноармейском театре устраивается спектакль или показывают киноленту, и тогда в клуб приходят таджики из кишлака. В четыре часа дня на «главной улице» Хорога бывает даже довольно оживленно. Проходят члены исполкома — шугнанцы в черных пиджаках, галстуках и белых тубетейках. Затем стучит барабан, и с пением «Кирпичиков», на персидские слова Лахути, выходят пионеротряды, состоящие из таджикских девочек и мальчиков, учащихся в хорогской школе. Это дети исмаилитов — отцы их поклоняются Ага-хану и отсылают ему закят.

Несмотря на темноту и забитость памирских таджиков, во многих вещах они проявляют гораздо меньше косности, чем соседние с ними бухарцы или

киргизы. Особенно это сказывается на положении женщин. Жены памирских таджиков не закрывают лиц. Они совершенно свободно встречаются с мужчинами и также охотно идут в школы или курсы по ликвидации безграмотности. В Хороге есть даже учительницы из шугнанских женщин. Семейные отношения таджиков также довольно свободны. На Западном Памире также часты, как в России, разводы и вторичные браки. При чем не редки разводы по инициативе женщин. Надо заметить, кроме того, что исмаилитский закон — по крайней мере, их «урф», обычное право — запрещает многоженство.

Однако, жизнь памирских женщин тяжела и полна грубых непосильных трудов. Их давит суровая природа, вечное недоедание и чудовищная нищета, подобной которой нет во всем мире. Женщины ткут и прядут на первобытной «чархе» — индийской прялке. Той самой, при помощи которой Махатма Ганди хотел сласти свою родину. Они идут на поля, где им приходится выпалывать камни, торчащие отовсюду из земли. Они пробираются на пастбища, закинутые в даль на чертову высоту, и несут на спинах овец, потому, что предоставленные самим себе овцы сорвались бы с тропинки в пропасть.

Приезжавшая на Памир весной 1927 года комиссия от таджикского ЦИК'а имела задание предложить жителям некоторых ущелий переселение на свободные земли Переднего Таджикистана — в Гиссарский район. Таким образом, разрядилась бы теснота и жестокая борьба за ничтожные клочки земли среди камней. Мне рассказывали о приезде этой комиссии бартангцы. Они говорили в обычном приподнятом стиле, как всегда говорят памирцы, когда им приходится применять не свое наречие, а персидско-таджикский язык (фарси).

— Каждый из нас отказался, — говорили они, — мы не можем покинуть милую родину. Не уйдем из нее никогда. Здесь жили наши деды и здесь пили свое дедовское хлебово (атоля-и-бобаги) и ели тутовый и ячменный



хлеб. Пусть отдадут нам деньги, которые хотели дать на переселение. Мы купим себе опиума и муки. Не так ли, товарищ?

У здания исполкома Агбо над которым недавно построена новая цинковая крыша и в небо поднят красный флаг, — постоянно толпятся горцы, пришедшие из самых отдаленных дребей Памира для подачи своих «ариза» — прошений. Я просматривал не один десяток их. Все они составлены по-старинному, заведенному беками и эмирами, образцу: «Я, такой-то, сын такого-то, подаю свою униженную аризку защитнику бедных — исполкому и прошу, от лица моей нищеты и слабости, рассудить мое дело» — таково обычное начало. По большей части это споры о выгоне скота к Жилищу Дивов, т. е. на пастбище. Иногда это просьбы ишканинцев или ваханцев разрешить им отправиться в Индию или в Афганский Бадахшан за солью и за галантереей для хорогских купцов. Среди этих людей, приходящих за «правосудием исполкома», встречаются иногда странные и необыкновенные люди. Одного из них мне случилось встретить в самый день моего приезда в Хорог. Это был Зайн-Убадин-Шо, поэт Роушана — тот самый, который написал песню «Увы, родная земля» — «Афсус, хоки-ватан».

Зайн-Убадин-Шо пришел в Хорог из Роушана пешком, в поисках славы. На нем был грязный рваный чекмень и мягкие сапоги — «пехи», подвешенные на веревочке за спину. Для экономии поэт шел в город босиком.

— Где тут самое большое начальство? — спросил он у меня на изысканном персидском языке. Зайн-Убадин и стихи свои писал по-персидски, а не на «хыгни», местном наречии.

Я указал ему на здание исполкома, куда как раз в это время входил т. Зиннат-Шо, образованный таджик, секретарь исполкома.

— Не он мне нужен, друг, — тордо ответил Зайн-Убадин, — мне нужно видеть «джаноб» (превосходительного) русского товарища, которого зовут Асоб-Адил.

— А зачем же вам нужен Особый Отдел? — заинтересовался я.

— Государственное дело, — произнес поэт, — важное государственное дело.

Перед начальником Особого Отдела ОГПУ Зайн-Убадин-Шо вытащил из-за пояса толстую книгу, с переплетом из кожи яка. Это была тетрадь его стихов.

— Слушай, — сказал он, — я знаю о том, что русские — ученый народ и поэтому пришел к тебе, а не к таджикам из исполкома. Я — Зайн-Убадин-Шо, слава Роушана.

Он прочел посвященную начальнику Особого Отдела оду, написанную по всем правилам восточной риторики. В начале говорилось о восходе солнца, осветившем верхи памирских гор. Солнце он сравнивал с революцией, а горы называл тьмой невежества. Затем в дело искусно вводился автор, легший отдохнуть за трубкой опиума, затем автор засыпает и в видении ему является дух Ленина. Кончалась ода следующими строчками: «О, товарищ Особый Отдел, с моей совершенной бедностью ты не поступишь так, как поступали султаны — эти кровопийцы и николай (Зайн-Убадин протодушно считал, что Николай не имя, а бранное прозвище), — султан Махмуд обещал поэту Фирдоуси по червонцу за каждый стих, но не исполнил обещания, и султана покрыв позор. О, товарищ Вейзагер, сияющий, как солнце, будь щедрее султана».

— Прислушайся к звону рифм, — сказал Зайн-Убадин, кончив читать, — что за сладость «вичора» (бедняк) и «хунхора» (кровопийца).

— Чего же вы, собственно, хотите? — сказал начальник Особого Отдела. — Я ведь не очень-то разбираюсь в персидских стихах.

— Верь мне, — отвечал Убадин-Шо, — я великий поэт. И если советская власть не возьмет меня штатным поэтом — у меня всегда есть место у афганского «кифтона» в Кала-и-Барпяндже. Дай мне из казенных денег по червонцу за стих.

Ответ был краток, но убедителен. Обиженный отказом, Зайн-Убадин-Шо повернулся и зашагал назад, по направлению к своей родине Роушану. Он покинул негостеприимный Хорог.

## 7. Крыша мира

Я ехал на восток по Гунту. Дорога подымалась круто в гору, подходя к порогам и водопадам реки и уходя в густые заросли кустарников, покрытых росой. Ото дня ко дню становилось холоднее, несмотря на месяц июнь, по мере того, как я подвигался к верховьям Гунта. На пятый день я миновал широкое холодное ущелье, где были последние таджикские пастбища на этом пути. В некоторых местах берега реки были покрыты толстым синим льдом. С перевала вниз дул ветер. Стали попадаться серые войлочные курты памирских киргизов. Эти места на карте отмечены, как перевал Кон-Тезек. Однако, этот перевал не был похож на все другие перевалы, которые мне приходилось переходить. Гунт здесь исчезал и превращался в узкий быстрый ручей. Тропа стала зигзагами подыматься на склон огромной, поросшей травой горы. И, когда я доехал до вершины, передо мной открылось ровное унылое нагорье, с мягкими очертаниями невысоких гор на горизонте. В другую сторону с перевала не было слышно. Я попал на плоскогорье.

Это была пустынная, лежащая на уровне нескольких верст высоты, равнина, которой начинаются нагорья Восточного Памира. Езда по этим местам требует выдержки и крепкого здоровья. Здесь нет ничего, что напоминало бы Шугнан и Роушан, с зелеными долинами, бурными речками и водопадами, свергающимися с высоты в ущелья, рассыпаясь водяной пудрой.

Моего спутника звали Худай-Берды. Он был киргиз, присоединившийся ко мне в Хороге, куда он ездил по каким-то делам своей родовой группы. За дни дороги мы очень сдружились, и он по целым часам угощал меня своей доморощенной философией.

— Друзья одинаковы везде, — говорил он, — когда вы почтенны и богаты и у вас китайские ковры, и молодая жена, и стадо в двадцать яков, и пятьсот баранов, — они толпятся в вашей юрте и суют жадные руки в котел, где варится жирное соленое мясо. А когда вы в беде, они откочевывают за сто

верст на север и за сто верст на запад и ни за что не проедут мимо вашей стоянки, хотя бы сам Пророк указал им путь к вам.

Я был удивлен его словами.

— Неужели это правда? — спросил я, — а мне говорили, что киргизы Восточного Памира — народ дружный, гостеприимный народ, помогают друг другу.

— Посмотришь сам, — отвечал он, — увидишь, как живет Исмаил, сторож вон того пикета, что белеет на повороте. Это добрый киргиз — кости Кара-Аяк из рода Мангыт.

Сказав это, он замолчал и закутался в огромную овечью шубу. Дул ледяной пронизывающий ветер. Ветер, одинаковый для лета и зимы. Начинаясь снежный буран.

Мы под'езжали к пикету Чока-Бай, около которого мирно паслись несколько овец, и два яка, широкогорых и мохнатых, мирно щипали траву, засыпаемые снегом. Мы были разбиты и устали от семидесятиверстного перегона с озера Сасык-Куль, где мы видели тысячи плавающих уток и воду, то ядовито-синюю, то нежно-серую.

Здание пикета состояло из трех полуразвалившихся помещений с каменными стенами. Когда-то, когда прокладывалась Большая Памирская дорога, по всему ее протяжению были выстроены такие «пикеты» или почтовые станции, обслуживавшие «высоких проезжающих». Сейчас большинство из них развалилось. К сохранившимся бадахшанский исполком выставил сторожей. Жалованье им было назначено пять рублей в месяц.

Возле пикета никто нас не встречал. Мы стреножили коней и без стеснения, через низкую, без порога, дверь вошли в здание. Внутри стоял черный, раз'едающий глаза дым. В окна с выбитыми стеклами проникал ветер и снег. Мебели не было никакой. Она была разграблена алайскими басмачами в 1920-м и 1923-м годах. Не было и бесчисленных сундуков, войлоков и ковров, обычных в киргизской юрте. Это было жилище бедняка, лишенное всего. Постель для гостей заменял затоптанный обрывок кошмы, по которому ползали жир-

ные белые вши. В углу была набросана груда тряпья и мусора. Хозяин угрюмо сидел у костра, разведенного на глиняном полу. Наш приход не заставил его пошевелиться.

— Приготовь нам что-нибудь поесть и вскипяти чай, хозяин,—обратился я к нему.

Он поднял на меня тусклые глаза.

— Если я вскипачу тебе чай,—ответил он,—то я достоин немедленной смерти. Лучше уж сразу убей меня, а не заставляй отправляться в ад. Помолчал, он прибавил:—Моя женщина рождает, я должен молиться, чтобы это был сын. Я учился и знаю молитвы.

— Оставь его,—шепнул Худай-Берды,—мы сами все сделаем,

Я кивнул головой и повалился на кошму. Здесь на полу густой дым как будто меньше ел глаза. Худай-Берды вытащил из походной сумки провизию, отвязал чайник, засыпал зеленый чай и разворошил в костре сучья терескена. Затем и он лег рядом со мной, обессиленный движением. У него начиналась болезнь высоты—«стутак».

В этот момент из груди тряпья раздался громкий крик, перешедший затем в вопль и бульканье. Я подошел ближе. Крики все усиливались. Груда тряпья, сложенная в углу, заметалась, как-будто одержимая припадком падучей, и ударилась о дверь. Через комнату пролетел порыв холодного, сырого сквозняка, мгновенно оледенивший воздух. Пламя костра зашаталось, перебрасывая чудовищную тень хозяина от потолка к земле и в окно. Казалось, что все вещи ожили и заворошились в пространстве в смертельной тоске и удушья.

Тряпье полетело на пол, и из него поднялась голова женщины. Рот ее широко раскрылся, а глаза налились кровью и были выпучены. Это была, повидимому, жена хозяина. Окинув комнату невидящим взглядом, она застонала и снова откинулась на пол.

Она разбрасывала весь этот жалкий хлам вокруг себя и металась и билась. Рваные шаровары были спущены и открывали желтые, жилистые ноги. Она упиралась затылком в землю, и все ее тело содрогалось мелкой, болезненной

дрожью, источаясь в почти беззвучном натужном крике. Я отвернулся. Что я мог тут сделать? Я поглядел в угол. Худай-Берды сидел там скорчившись и накрыв голову полой халата.

Хозяин пикета стоял в черном едком дыму. На лице его, плосконосом и изможденном, ничего нельзя было разобрать. Он был похож на ожившего мертвеца, как их представляют себе в детстве. Его руки, с большими пальцами, приложенными к мочкам ушей, были подняты вверх. Он стоял в позе невозможности, быстро и ровно раскачиваясь, и бормотал непонятные слова арабских молитв.

Так прошло больше часа. Я впал в какое-то состояние полукошмара. Дым не давал свободно вздохнуть. В ушах стоял то усиливавшийся, то затихавший шум, в котором я по временам различал звериные вопли женщины и молитвенный фальцет ее жалкого мужа.

Наконец, все затихло, и откуда-то из дымного отдаления раздался детский крик и ясный, звонкий голос: «Огул!» (сын!).

Я открыл глаза. Хозяин все еще стоял в молитвенной позе, не отрывая взора от странного паукообразного комка, копошившегося в тряпье.

Шатаясь и шаркая по полу грудью, киргизка стала на четвереньки, стремясь подняться. Левою рукой она шаряла по животу, пытаясь сделать что-то в роде повязки из грязной окровавленной тряпки. Затем, нетвердо управляя своими движениями, она встала.

Не переставая бормотать, муж ее одной рукой подал бурдюк с водой. Роженица наскоро умылась. Затем она схватила плоское деревянное блюдо, в котором желтело свежее овечье молоко, и вытащила из маленького тайника под кошмой серый обслонявленный кусок сахара, многие месяцы хранимый для этого торжественного дня. Она развела сахар в воде и, вздыхая от ноющей и неперестающей боли, стала кормить новорожденного с пальца. В этом киргизский закон. Первые три дня киргизка не смеет кормить грудью.

На лице женщины, усталом и в синих пятнах, горела какая-то скрытая ра-

дость, светлым румянцем озарявшая ею всю. Бессмысленно улыбаясь, полная животного удивления, она рассматривала сына.

Ребенок был худ. Его тоненькие ручки и ножки были желты и висели, как сломаанные лапки пылленка. На глазах, узких, как щелки, лежала морка сукрови, предвещавшая в будущем трахому. Несмотря на это, в нем было какое-то эфемерное очарование. Он был сложен пропорционально и казался маленьким взрослым, только что появившимся на свет, чтобы сразу подвергнуться всем невзгодам и ударам нищеты.

— Слава богу,—распевал, между тем, муж.—Жена не что иное, как мешок, я же его хозяин. Женщина—бурдюк, а я—владелец овцы. Я дал ей сына, и ничего другого не могло выйти.

Он снова запел и забормотал молитвы. Затем он опять стал кричать, обращаясь неизвестно к кому.

— Я—новый гость, я—новый гость на земле,—орал он, приплясывая,—я буду богачем и князем, и солдатом, и буду учиться и буду жить! Я снова буду жить в моем сыне!

— Смотри в окно,—тихо сказал мне Худай-Берды, с усмешкой глядевший на эту сцену.—Коршуны летят по сте-

пи. Почему они не приехали раньше, когда нужна была помощь?

В окне я увидел несколько всадников, скакавших со стороны Мургаба.

— Что это значит?—спросил я.

— Режь барана, Хотун,—заорал киргиз жене.—У меня всего два барана и три овцы. Пусть все знают, что я ничего не жалею. Сегодня я гость, новый гость на земле!

Киргизка поклонилась и с ножом в руках направилась на двор. Это было через полчаса после того, как она родила ребенка.

Послышался топот. Всадники остановились возле пикета. Чорт их знает, какими путями они разведали, что здесь готовится еда, что можно пить бузу и есть мясо.

Одного из этих людей я знал. Это был Яры-бек—«кази» (судья) рода мангыт. Тот, к кому обращаются киргизы, минуя советский суд, в важных шариатских делах. Богач и владелец скота, он был скуп и так же, как другие, ехал попользоваться даровым угощением. Это был старый, почтенный человек. Все они были богатые, почтенные люди, и они ехали с лицемерным приветом к ребенку—новому гостю на земле.

# Дома и за границей

## ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. Листки из блокнота. — 2. А. ШЕСТАКОВ. На историческом фронте. — 3. Б. СКВОРЦОВ. Спутница Л. Н. Толстого. — 4. Я. ФРИД. Миссионер призывает к оружию. — 5. Б. ЛЕВИН. Деревенские очерки. — 6. ЕЛИЗАВЕТА КОКИЕВА. По горной Осетии. — 7. С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету.

### 1. ЛИСТКИ ИЗ БЛОКНОТА

Вяч. Полонский

1

В «Земле Советской» (№ 1) П. Замойский пытается внести ясность в вопрос о крестьянской литературе. Его не удовлетворили мои заметки «Октябрь и художественная литература», напечатанные в юбилейном номере «Известий» (ноябрь, 1928 г.). Больше того: они вывели его из состояния равновесия. Именно этим обстоятельством можно объяснить разнужданность его тона. Статья П. Замойского помещена в отделе «Дневник писателя». Но озаглавлена она «Кнутом направо». Это опрометчивое заглавие обнаруживает ее нелитературную природу. Правильнее было бы поэтому завести для нее отдел: «Дневник извозчика». Если, конечно, извозчики не запротестуют. Тогда «стиль» т. Замойского получил бы надлежащее оправдание.

Но статья появилась в органе «Всеобщего общества крестьянских писателей». Это заставляет отнестись к ней дружественно. Поэтому — оставим грубость в стороне и попытаемся разобрать вопрос по существу.

2

Наш автор возражает: «У Полонского... в понятие «настоящей, доподлинной» крестьянской литературы входит,

главным образом, та литература, которая отображает самые темные стороны нашей деревни и выражает стремления кулачества».

П. Замойский неправильно понимает и неверно излагает мои мысли. Дело не в том, темные или светлые стороны «отображает» литература. П. Замойский, который умеет писать слово «марксизм» без «ять», должен знать, что художественной литературой называется не всякая литература, «отображающая» известные явления, но такая, которая отображает определенным, специфическим образом. Именно — с помощью образов. Когда перед нами образное произведение, мы, анализируя характер образов, их социальную природу, выясняем классовое зрение художника. Например, «Деревня» Бунина «отображала» крестьянство. Это было подлинное художественное произведение. Но, несмотря на то, что Бунин отображал деревню, повесть его не была явлением «крестьянской» литературы. Ясно почему. Не только точка зрения автора, но характер художественного образа, средства художественной образительности были созданы не крестьянской, а дворянской помещицкой психологией, барским взглядом на мир. Природу художествен-

ного произведения надо оценивать не только с точки зрения того, что изображено, а под каким углом зрения, с помощью каких изобразительных средств это сделано. П. Замойский, который осмеливается свою статью печатать в отделе «дневник писателя», должен это понимать. Так что «подлинной» крестьянской литературой будет не всякая литература, «отображающая» деревенский быт, темный или светлый—равно, но такая, средства изобразительности которой будут крестьянскими (социальная природа художественного образа).

## 3

П. Замойский как-будто хочет кулачество лишить права называться «крестьянством». Но это ошибка. Кулачество—эксплуататорский слой крестьянства. Эта деревенская буржуазия отличается от городской именно тем, что эксплуатирует она не в промышленном производстве, а, главным образом, — в сельском хозяйстве. Это делает ее взгляд на мир крестьянским. Если не считать «кулака» крестьянином,—это значит совершить насилие над фактами, извратить истинное положение дел. В нашу эпоху борьбы за реконструкцию сельского хозяйства это значило бы смазывать, устранять вопрос о крестьянско-кулацких слоях деревни, противоборствующих реконструкции.

Может ли иметь этот слой советской деревни свое искусство? Он уже имеет его. По силе художественной образности, характерно деревенской, крестьянской, Клюев — один из сильнейших поэтов русской деревни. Клычков—повторяю — замечательнейший прозаик, выдвинутый русской деревней. Можно ли отрицать крестьянскую природу их творчества? Оба они выдвинуты верхним, зажиточным слоем деревни. Оба они отражают его взгляд на мир. Оттого-то они реакционны. Касательно Клычкова я сформулировал это так: он тянет назад, примерно, в средние века. Но П. Замойский именно по этой причине тщится доказать, что проза Клыч-

кова—не «настоящая, подлинная» крестьянская проза. По его, Замойского, мнению, Клычков—не «подлинный, настоящий» крестьянский писатель. По какой причине?

На этом следует остановиться подробно.

## 4

В этом вопросе т. Замойский обнаруживает несомненную развинченность мысли. Ему как-будто хорошо известно социальное расслоение деревни. Он, например, толково рассказывает о том, что в деревне есть кулаки, середняки, бедняки и батраки. Он понимает, что трактовать деревню как однородное целое нельзя. Но, задавшись целью как можно скандальней извратить смысл моих замечок, он чуть ли не на той же странице со слезой в голосе (наигранной!) вопрошает:

«Клычков, тяготеющий к «средним векам», отражает лик современной деревни? Что же это такое? Неужели наша деревня, в которой имеются тысячи колхозов, коммун, артелей, в которой закрываются церкви, прогоняют попов, вводят многополье, работает масса агрономов, врачей, ветеринаров, где такое количество изб-читален, клубов, активно работают сотни тысяч партийцев и комсомольцев, делегатов и вообще всех наших новых людей,—неужели советская деревня у нас еще средневековая?».

П. Замойский умалчивает о том, что, хотя церкви и закрываются, но закрыты еще не все, что, хотя в деревне работают тысячи партийцев, но иные из них погибают от кулацкого террора, и т. д. Замойский как-будто забывает, что в деревне происходит жесточайшая классовая борьба и что кроме деревни новой, которая идет с нами, есть деревня старая, которая идет против нас. Если бы вся наша деревня была «новой», если бы все церкви были закрыты, а попы изгнаны, если бы вся деревня перешла на многополье, если бы совхозы и колхозы уже получили в ней преобладание, если бы кулачество перестало сопротивляться, если бы деревня уже избавилась от суеверий и темноты, ко-

торых в ней еще достаточно,—тогда не было бы трудностей в нашем социалистическом строительстве, тогда мы как по шоссе катили бы к социализму. Но этого нет. В деревне есть враг: темнота, классовое своекорыстие кулака, влияние суеверий и попов, некультурность, держащая в плену, к несчастью, не только кулацкую часть деревни. Есть все это в деревне? Есть. Замазывает эти явления т. Замоийский? Замазывает. Не надо недооценивать наших успехов в деревне. Есть успехи. Но не менее вредно преуменьшать трудности, стоящие перед нами. Это ли не «правая» опасность, идущая под знаком благонамеренности. Именно про таких друзей революции, как П. Замоийский, писал я строки о мечанстве, которые он с наивным удовольствием цитирует. Именно т. Замоийский прикидывается «тихоньким и скромненьким паймальчиком, страшно благонадежным, послушным и кротким». Он и за резолюцию политбюро, он и за марксизм, он и за ленинизм, а поскреби слегка этого «марксиста-лениниста»—под ним окажется невежда и правый уклонист.

## 5

Он бьет себя в грудь и спрашивает: «Неужели советская деревня у нас средневековая?». Презренная демагогия, т. Замоийский! Этого никто не утверждал. Деревня наша не однородна. В ней происходит классовое расслоение. Вы знаете превосходно, что элементы средневековья (отсталые формы хозяйства, суеверия, знахари, церковь, сектанство) еще не исчезли начисто. С ними-то и приходится вести борьбу. Элементы «старинны» и чинят препятствия «новизне». Эта именно старая деревня дала в искусстве Клюева, реакционного, но замечательного поэта, и прозаика Клычкова, реакционного, но замечательного прозаика. Оба они «подлинны», потому что полновесными крестьянскими художественными образами с яркостью показывают нам внутренний лик этой деревенской «старинны», еще не изжитой, еще цепляющейся за жизнь. В этом «показе»

социальный смысл творчества Н. Клюева и С. Клычкова.

Что ж: откажем им в праве называться «крестьянскими» писателями? Тов. Замоийский отвечает: да. Лишите их этого права.

## 6

Вот как он это мотивирует: «Своей особой идеологии, отличной от марксистско-ленинской, крестьянские писатели иметь не должны». Простите меня, но какая это антимарксистская, антиленинская **чепуха!** Не должны иметь,—когда не могут ее не иметь. Знание П. Замоийским марксизма, оказывается, не идет дальше умения написать это слово без буквы «ять». Другое дело, если бы т. Замоийский говорил о сельскохозяйственном пролетариате, о батраках, о деревенских наемных рабочих. Их положение в сельскохозяйственном производстве аналогично положению рабочего в промышленности: но даже сельский пролетариат в своем мироощущении, в психологии, в навыках имеет черты, отличающие его от индустриального рабочего. Почитайте, Замоийский, что писали о крестьянах и рабочих Маркс и Ленин, вы, дерзко называющий себя марксистом и ленинцем! Даже городской рабочий класс не является идеологически и психологически однородным. Он имеет отсталые слои—именно те, промышленный стаж которых невелик и которые либо недавно вышли из деревни и вообще из мелкобуржуазной среды (ремесленники, кустари), либо не потеряли еще деревенских связей. Идея «смычки» в том-то и заключается, что промышленный пролетариат, социально дифференцируя деревню, ведет за собою деревенский пролетариат, бедняков и середняков, руководит ими, заключает с ними союз, но не забывает, что перед ним деревенский рабочий, деревенский бедняк и середняк. Когда мы хотим «научно», «по-марксистски-ленински» рассуждать, мы не должны забывать азов марксизма-ленинизма. В особых чертах крестьянского «сознания», вырастающего на

основе крестьянского «бытия», и заложены трудности перевода на коммунистические рельсы даже сельскохозяйственного пролетариата. Здесь одной пропагандой много не сделаешь: надо параллельно изменять базу, т. е. создавать материальную основу, благоприятствующую такому переходу.

Потому-то Ленин настаивал на удлинении кандидатского стажа для вступления в коммунистическую партию, считал необходимым дать льготу только тем рабочим, «которые не меньше десяти лет пробыли фактически в крупных промышленных предприятиях». Об этом совсем неднях П. Замоиский мог прочитать в «Правде». Слышал об этом или не слышал П. Замоиский? Если не слышал,—какой же он «марксист-ленинец»? А если слышал,—как он может отказывать «крестьянским писателям» в художественной идеологии, которая отличалась бы от марксистско-ленинской? Откуда он вычитал это? Как это согласовать с тем, что писал Ленин?

## 7

Тов. Замоиский извращает марксизм и ленинизм. Он извращает также смысл резолюции Политбюро ЦК. Резолюция подчеркивает, во-первых, наличие «крестьянских писателей», а, во-вторых, необходимость оказывать им «дружественный прием». Надо подразумевать под этим: не всякому «крестьянскому писателю»—и не в одинаковой мере. Задача состоит в том, чтобы «переводить их растущие кадры на рельсы пролетарской идеологии, отнюдь, однако, не вытравляя из их творчества крестьянских литературно-художественных образов, которые являются необходимой предпосылкой для влияния на крестьянство». У Замоиского эта цитата приведена, но он ее явно не понимает. Если бы дело обстояло так, как утверждает он, не стояло бы перед нами задачи «перевода» «крестьянских» писателей на «рельсы пролетарской идеологии». Он не понимает далее, что «художественный образ» связан с идео-

логией, и если резолюция ЦК предлагает «не вытравлять» этих образов,—этим самым признается и наличие крестьянской художественной идеологии и необходимость относиться к ней дружественно. Дружественно, это значит—тонким и умелым воздействием приближать к пролетариату «растущие кадры» крестьянских писателей, борясь с их заблуждениями, неверными точками зрения, отрывая их от традиционных крестьянских воззрений, критикуя и исправляя их ошибки, но без кнута в руке. А Замоиский пишет: за-претить!! Он становится в позу учителя Пришибеева и вопрошает: «Где в законах показано, что крестьянские писатели могут иметь свою идеологию!».

Иначе, как головотяпской, обозвать такую позицию нельзя. И если ее разделяет «Всесоюзное общество крестьянских писателей»—печаль!

## 8

В том-то беда и заключается, что когда мы обращаемся к крестьянской художественной литературе, мы видим, что за истекшее десятилетие наиболее художественно яркие вещи были написаны именно Есениным и Клычковым. Если бы, скажем, Ф. Панферов был не пролетарским, а крестьянским писателем,—это было бы хорошо: Панферов — талантлив, Панферов — художник. При этом Панферов — «левый», т. е. очень близко подошедший к «рельсам пролетарской идеологии». Но Панферов объявлен писателем пролетарским. То же самое происходит с М. Шолоховым, с А. Караваевой. Но, быть может, можно одновременно быть и крестьянским и пролетарским писателем? С точки зрения т. Замоиского, «крестьянский» и есть «пролетарский». Но ведь на то он и Замоиский, чтобы не понимать того, что говорит. Крестьянство и пролетариат—два класса, вырастающие на разной экономической почве. Различное бытие—разное сознание. Разное сознание—различная психология, качественно различные художественные образы. А значит, и разный художественный стиль. Все это—азбука, которой т. Замоиский не знает.



Впрочем,—не один т. Замоийский. Эта ошибка повторяется многими критиками, не видящими разницы между буржуазным литературным стилем, пролетарским и крестьянским. Марксистская критика сейчас и должна этим заняться. Надо выяснить, какова подлинная социальная природа художественного зрения, например, Шолохова и Панферова? Не являются ли они именно «крестьянскими», а не пролетарскими писателями? На такое разрешение вопроса в моих «заметках» намеки есть. Я лично склонен считать и Шолохова, и Панферова писателями, выдвинутыми революционной частью крестьянства. И эта большая победа советской литературы. Потому что, кроме реакционного крыла крестьянской литературы, художественно мощного, мы получаем крыло революционное, не уступающее в художественной силе. Если же мы все левое и талантливое, что дает крестьянская литература, будем без обиняков зачислять в разряд «пролетарской литературы»,—в рядах крестьянской, естественно, останутся одни талантливые правые. В «заметках», кроме того, я имел дело с картиной первого десятилетия: ни Шолохов, ни Панферов в этот первый период советской литературы еще не завоевали тех мест, какие занимают сейчас. В крестьянской поэзии не было поэта по таланту, по силе равного Есенину. Другое дело, был он революционным поэтом или реакционным. Этого вопроса здесь я не касаюсь. Но что Есенин был поэтом именно крестьянским,—это можно отрицать, лишь имея вместо головы—кувшин.

У Клычковых, Клюевых, Есениных, Орешников, Завадовских, Дружининых—есть книги. Книги—литературный факт. Это большое преимущество писателей, которые работают в литературе с пером в руке, а не с кнутом в руке. Даже если человек с кнутом стоит обеими ногами на какой-нибудь платформе.

«Творческие платформы», т. Замоийский, как бы они «новы» ни были и сколь бы ценных мыслей ни содержали, не могут заменить творчества «настоящей» художественной литературы.

Мы не против «платформ». И не против писательских «организаций». Было бы ошибкой так понять мои слова. Но мы за то, чтобы «платформы» сопровождалась «творчеством» художественных вещей, чтобы «организация» не превращалась в бюрократическую машину, а помогала бы художественному производству. Делает это ВОКП? Скажу по совести: не видно. Здесь т. Замоийский прав: я (да один ли я?) не знаком с творческой работой, которую ведет «Всероссийское о-во крестьянских писателей».

В качестве журналиста я слежу за литературой. По явлениям литературным сужу об ее движении. Но перемены, происходящие в недрах различных литорганизаций, меня мало интересуют. Я проглядел даже, что ВОКП исключил из своих рядов своего собственного председателя. Но разве это отразилось на литературе? Разве «Бруски» Ф. Панферова, или «Тихий Дон» Шолохова, или проза А. Караваевой, или поэзия И. Доронина—вышли из ВОКПа? Нет. Они возникли и выросли вне его. В ВОКПе председательствовал Деев-Хомяковский, происходили заседания, склоки, драки,—а в это время Клычков и Шолохов, Панферов, Караваева и другие писатели, а не «ходатели»,—делали свои вещи.

ВОКП, получается, сам по себе, а крестьянская литература—сама по себе.

Это именно я и утверждал, высказав положение, что «доподлинная крестьянская литература... развивается в стороне».

И протестовать тут нечего: факты, говорят, великие нахалы. Так что даже т. Замоийский, который в этом именно смысле может поспорить с любым фактом, должен перед ними снять фуражку.

Кроме того, говоря об обществе крестьянских писателей, я имел в виду старый состав, именно с Деевым-Хомяковским во главе, бывшим «председателем крестьянской литературы». Разве я был не прав, заявив, что не Деева-Хомяковского, а Клычкова упомянет

будущий историк литературы? ВОКП не только сняло этого председателя с «поста», но исключило из своих рядов. Деев-Хомяковский, как-будто, лишился прав называться крестьянским писателем: оно давалось ему его бюрократическим положением. Но этого звания нельзя лишить С. Клычкова—оно заработано им с помощью его книг; будь они трижды реакционны, от этого не изменится их крестьянское естество.

Ахиллесова пята многих товарищей, в том числе и П. Замойского, заключается в том, что они отождествляют художественное творчество, т. е. производство идеологических вещей, с бюрократическими организациями, заседаниями и разговорами о творчестве. Новый ВОКП принял «совершенно новую творческую платформу» — пишет Замойский. Но ведь литературная «платформа»—это такая платформа, на которой далеко не уедешь, если в нее не впряжена живая творческая сила. Платформа у ВОКП'а есть. А творчество? Ведь все то, что мы считаем сильной и подлинной литературой, — имени я приводил, — выросло не на платформе ВОКП'а, а вне ее. Билетом для входа в литературу служат не членские карточки литературных организаций, а книги,—полновесные, настоящие, художественные. Есть такие книги, например, у П. Замойского? Или Ф. Березовского? Не говорю, что они безнадежно бездарны, но то, что ими написано, легковесно и бесцветно. Это не крестьянская литература, но удобрение для крестьянской литературы. Одной ведь «идеологии», чтоб быть произведением искусства,—недостаточно. Надо, чтобы «идеология» была воплощена в «образах». А какие же «образы» у Ф. Березовского? или П. Замойского? Сплошное без-образие! Достаточно прочитать рассказ т. Замойского, напечатанный в том же номере «Земли Советской», чтобы убедиться, что он рожден владеть кнутом, а не пером.

## 11

В «Безбожнике» № 37/291 за прошлый год была произведена среди деятелей науки и искусства интересней-

шая анкета об антирелигиозной пропаганде. Среди многочисленных ответов обращает на себя внимание ответ писателя Ефима Зозули.

«Три вопроса,—пишет т. Зозуля,—никогда не вызывали во мне никаких—ну, просто никаких—дум и сомнений: вопрос о религии, национальный вопрос и вопрос о социальном неравенстве. О «боге» я просто не думал, даже трудно объяснить, как это происходило, не думал, и все... О национальностях тоже не думал, т. е. ни разу не думал, что могут быть «худшие» нации или «лучшие». В моем сознании это не укладывается, и «искренних» националистов я считаю сумасшедшими.

Затем о социальном неравенстве думы мои тоже были весьма необильны: с самых ранних лет я всем своим существом ощущал, что это вопиющая гнусность и чепуха, которую надо искоренить».

Читая, я недоумевал: хорош или плох Зозуля? С одной стороны, как-будто хорош: родился, так сказать, передовым человеком. Но, с другой,—как-будто плох: о чем же думал наш маститый писатель? Рабочий класс разбивает цепи религиозных и национальных предрассудков, напластовавшихся веками,—а он об этом «не думал, и все». Борьба против социального неравенства потрясает мир, а думы Зозули об этом вопросе «также были весьма необильны». Быть может, Зозуля так велик, что с его точки зрения все эти «проклятые вопросы» чужь и пустяки? И его «думы» были посвящены более высоким материям?

Впрочем, заключительные строки ответа т. Зозули рассеивают сомнения:

«Таким образом, антирелигиозная пропаганда, антишовинистская и пропаганда классовой борьбы являются, по-моему, самым срочным, самым необходимым и самым важным делом до тех пор, пока об этом перестанут думать значительные слои человечества».

Но если все это—«самое срочное, самое необходимое и самое важное дело», не мешало бы, следовательно, и Ефиму Зозуле уделить ему хоть чу-

точку внимания. Нехорошо, в самом деле, быть таким гордым и предоставлять «значительным слоям человечества» в одиночестве изживать свои коренные заблуждения, не оказывая им ни малейшей помощи.

Нехорошо, кроме того, быть советским писателем и не иметь понятия о таких существенных вещах.

## 12

Вновь споры о попутчиках. Иногда ставится вопрос: да есть ли оно, попутничество? При этом «смаху» попутчик отождествляется с попутничеством? А это вещи разные.

Неправы поэтому те товарищи, которые, борясь с уходящими вправо отдельными попутчиками, наносят удары попутничеству.

«Попутничество» — величина постоянная (относительно, конечно). «Попутчик» — переменная. Одни попутчики могут уходить вправо или влево, другие приходиться справа или слева. Но «попутничество», как литературное течение с переменным составом, будет долго следовать за революцией.

В резолюции Политбюро ЦК очень хорошо сказано о нашей политике по отношению к попутчикам:

«По отношению к попутчикам необходимо иметь в виду: 1) их дифференцированность; 2) значение многих из них, как квалифицированных «специалистов» литературной техники; 3) наличность колебаний среди этого слоя писателей. Общей директивой должна здесь быть директива тактичного и бережного отношения к ним, т. е. такого подхода, который обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого перехода на сторону коммунистической идеологии. Отсеивая антипролетарские и антиреволюционные элементы (теперь крайне незначительные), борясь с формирующейся идеологией новой буржуазии среди части попутчиков сменовеховского толка, партия должна терпимо относиться к промежуточным идеологическим формам, терпеливо помогая эти неизбежно многочисленные формы изживать в процессе все более тесного товарищеского

сотрудничества с культурными силами коммунизма.

Устарела ли эта резолюция? Нисколько. Она продолжает быть актуальной.

Разумеется, общественная обстановка изменилась. Усилился отряд пролетарской литературы. Вместе с тем заметен рост антиреволюционных тенденций среди интеллигенции. Возросло давление мешанских и реакционных настроений. Но изменения эти не изменили существа тех процессов, какие отмечены в резолюции. Они усложнили состав попутничества. Они усилили дифференциацию в его среде. Иные отходят вправо. Другие, наоборот, стремятся ближе подойти к пролетариату. Третьи продолжают вести линию, так сказать, принципиально «попутническую». Так что попутничество, по существу, продолжает оставаться явлением революционно-положительным. Это — литературный отряд революционной интеллигенции, близкой революции, крепко связанной с революцией. Оно, кроме того, полезно и необходимо, как отряд квалифицированных «специалистов» литературной техники. Литературная борьба между попутчиками и пролетарскими писателями ведется не только идеологическая, но еще борьба за мастерство. С этой стороны пролетарская литература заинтересована в существовании попутчиков. «Рекорды», устанавливаемые попутчиками, есть рекорды, которые надо преодолеть.

## 13

Журнал «На Лит. Посту» провел анкету среди писателей, которую можно было бы озаглавить «смотри журналов». Напечатанные ответы дают возможность журналам произвести «смотри писателей».

Михаил Алексеев, например, сочувственно относится к журналу «Октябрь». Это хорошо. Плохо лишь то, что он в таких выражениях изъясняет свои чувства:

Журнал «Октябрь» ...«дает диалектические абрисы политических явлений на литературном «поле брани». Но

иногда «редакция... затмевает блеск и чистоту «ортодоксального» лица журнала». Кроме того, «реверансы», направленные в сторону «иноязычных» (помещение некоторых литературных портретов, рецензий), даже в незначительной «пропорции» способны закончить зеркало вапповской литературной непримиримости».

Нельзя сказать, что тов. Алексеев владеет своим «инструментом» как «мастер». Впрочем, т. Матэ Залка «способен закоптить зеркало литературной непримиримости» т. Алексеева.

Так, напр., он уверяет, будто «Молодая Гвардия» превратилась в скучную «акадешку». С другой стороны, «Печать и Революция» его не удовлетворяет: «от этого органа веет пылью и тухлостью»—пишет он. Журнал, по его мнению, «должен служить зеркалом для нашей литературы и искусства». В журнале, кроме того, «вяло тянутся усталые ведомственные статьи».

Т. Матэ Залка, вероятно, редко заглядывает в «зеркало для литературы», т. е. в журнал. Если бы чаще заглядывал, он, во-первых, остерегся бы так уродовать язык, а, во-вторых, не объявлял бы во всеулышание новостей, которых не существует в природе. Мы можем уверить т. Матэ Залку, что «ведомственных» статей, да еще «усталых», в журнале этом не встречается.

Нельзя также писать: «кликотвенные тенденции», «голоса групповых дрызг». В конце заметки т. Матэ Залка высказывает пожелание: «Хочется, чтобы журналы служили воротами советской литературе, а не служили проходом для мещанских идей».

Мы добавим к этому: хочется, чтобы писатели, которые пишут о литературе, проходили бы в журнал через ворота грамотности, иначе журнал может сделаться проходом, который засорит нашу литературу всевозможной трухой.

14

А неунывающий Ефим Зозуля, который безмятежно прожил свою бездумную молодость, с важностью замечает: «Толстых журналов у нас почти не читают». Далее он уверяет, будто на-

ши толстые журналы «связаны по рукам и ногам давно истлевшими традициями», хотя традиции, если они истлели, да еще «давно», вряд ли могут крепко связать что-либо.

Он замечает далее, что писателю все равно, где печататься—в альманахе, журнале или в газете, и тоже не попадает в точку. Дело не в писателе, а именно в журнале. Газета вообще не печатает «писателей». А журнал печатает далеко не всякого,—независимо от того, все ли равно писателю или не все равно. Тем не менее, милостиво соглашается Ефим Зозуля, наши журналы, хоть и связаны по рукам и ногам,—все же «нужны как прилавки для писательской продукции». Вот он, пуп земли, расейский писатель, извергающийся на рынок «продукцию»! А коли есть продукция,—должен быть и «прилавок». Ясное дело—журнал прилавков и есть.

В заключение т. Зозуля восклицает: «Довольно ходить в дедовских широких штанах «русских богатств» и «современных миров!».

Приветствуем, но предостерегаем: не следует совлекать с себя старых штанов, не запашись новыми, дабы не понасть в положение известного щедринского мальчугана.

15

Осип Брик в той же анкете сравнил толстый журнал с автобусом, набитым незнакомыми людьми.

Отличается журнал, по его мнению, от автобуса тем, что у последнего есть маршрут, а у журнала маршрута нет.

«Новый Леф»—не автобус. Это скорее литературный «Рено», человек на 7, не больше.

Однако... Далеко ли уехал на этом «Рено» товарищ Брик? Кончил свое существование «Н. Леф». А почему бы? И пассажиры—друзья с детства, и маршрут был.

Толстый журнал мог бы сказать по этому поводу:

И автобусу живому лучше, чем мертвому «Лефу».

Потому что, будучи живым, можно и маршрут верный найти и пассажиров перезнакомить.

А заехать туда, откуда нет возврата,—это опорочивает преимущества, какие, с точки зрения Брика, были у тонкого «Рефо» перед толстым «автобусом».

## 16

У «Нового Лефа» была большая задача, которой он не осуществил. Развитие литературы, как и всякого другого ремесла, не может происходить без опытов. Именно лабораторией слова и должен бы быть «Н. Леф». Круг его читателей не мог быть большим. Но и небольшого круга у «Н. Лефа» не оказалось. Почему? Именно потому, что лефы смотрели на свое дело как-то по-семейному: не хотели, очевидно, иметь дело с «незнакомыми» людьми. И журнал, да и все литературное направление превратилось в замкнутый кружок. Интересы литературные в широком смысле подменились интересами кружковыми. «Н. Леф» оторвался от читателя и от писателя. Литературная политика превратилась в политиканство. Журнал можно было спасти, если бы хоть сами-то лефы его поддерживали. Но вышло так, что, имея свой «орган», «лефы» печатались где угодно, только не в «Н. Лефе». Последний превратился в тощее собрание критических, полемических и заезжательских статей, отрывков из подготовленных книг, теоретических опытов, которым не хватало как раз теории.

Все это знаменовало, разумеется, разложение боевой когда-то литературной группы. Потеряв свое особое место в литературном нашем движении, растратив капитал былого авторитета,—«Н. Леф» должен был сойти со сцены.

Не высказываем по этому случаю никакой радости. Напротив. С полной искренностью о прекращении выхода журнала сожалеем.

Нас утешает лишь, что потребность в литературной группе, которая боролась бы против штампа за обновление литературных форм и за левый курс в литературе, со смертью «Н. Лефа» не исчезла. А это значит, что кто-то другой должен будет выполнять функции, которые не сумели выполнить «лефы».

## 17

Раз зашла речь об умерших, можно ли умолчать о смерти «Чипа»? Вот покойник, на могиле которого не раздалось ни одного доброго слова. С «Лефом» «Чип» сравнивать, разумеется, нельзя. При всех недостатках и промахах у «Лефа» были заслуги. «Чип»—никаких заслуг решительно не имел.

Газета работала на снижение литературного уровня. Она противоречила главному требованию культурной революции—«борьбе за качество». Квалификация газеты была чрезвычайно низкой,—в своих нападках на нее «На Лит. Посту» был совершенно прав. Газета не имела ни лица, ни плана, ни направления. У нее не было литературной линии. Читатель ждал от нее руководства. Газета вместо этого беспомощно протягивала руки и ждала руководства от читателя. Она не имела понятия о деле, за какое взялась. Оттого на ее страницах перемешались встречные и поперечные. У нее не было собственных мнений. Оценки ее менялись быстрее, чем погода. Она была, наконец, образцом малой грамотности в наши дни борьбы с безграмотностью.

Все это необходимо подчеркнуть, чтобы опыт с «Чипом» не пропал даром. На двенадцатом году пролетарской революции мы обладаем достаточно высоким культурным уровнем. Всякое снижение его есть шаг назад. Всякий шаг назад должен встретить решительное сопротивление. Мы недостаточно чутки в этом последнем смысле. Не только не боремся (иногда), но попустительствуем. Вина поэтому в некоторой мере лежит на нас. Многие из нас умывают руки: «моя хата с краю».

## 18

Иллюстрация к популярному толкованию «социального заказа».

«Вечерняя Москва» передает такой случай. Писатель некий представил «идеологически выдержанный» рассказ. Но рассказ оказался переделкой ранее

написанного варианта. Когда оба варианта были сличены, результат получился «ошеломительный».

«Обычный батальный рассказ, повествующий о злокозненных немцах, доблестных офицерах-летчиках, сражающихся под царским трехцветным знаменем, превратился в новеллу из эпохи польско-советской войны».

Газета высказывает искреннее негодование. Но автор с полным основанием мог бы оправдать себя: новый «социальный заказчик»!

Перед нами яркий, в чистом виде, пример литературной мимикрии. Приятно констатировать, что «опыт» не удался.

## 19

В «Журналисте» т. В. В. Маяковский напечатал интересную статью. Смысл ее: поэты—в газету! Вопрос этот заслуживает внимания. Но он более сложен, чем это кажется тов. Маяковскому.

Газете нужна «литература». Литературе нужна газета. Об этом говорилось не раз. Но разрыв между газетой и «литературой» продиктован не принципиальными мотивами. Газета в наши дни «не вмещает» литературы. Это печально для литературы. Еще печальней для газеты. Маяковский говорит о литературе «эстетской». Тут с ним споров нет. В самом деле: долой эстетов с проповедью аполитизма, отбраженный задним числом и прочей архаической и мистической чуши! Но ведь «эстетством» не исчерпывается «литература»! Эстеты нынче—в роде зубров, хотя и не потерявших еще способности к размножению. И Маяковский прав, предавая «эстетизм» поруганию. Но «литература», которую Маяковский, в припадке иронии называет «чистой»,— есть литература в широком смысле, очевидно, высокого мастерства и социального значения. Такая литература, попади она на страницы газеты, заставила бы подтянуться «газетчиков». Работа над словом, как «инструментом», проходит мимо газеты. С другой стороны, порвав с «литературой»,—газета отталкивает «чистых литера-

торов» от текущих, сегодняшних, боевых тем. «Чистые литераторы» уходят в «монументализм». Поток сегодняшней жизни пробегает мимо. «Литераторы» сидят на берегу. Не хочет их газета. И они не хотят газеты. В конце концов страдают и газета и «литература».

Поэтому призыв В. В. Маяковского «поэт—в газету» своевременен и полезен. Но Маяковский не прав, стирая разницу между «газетчиком» и «писателем». Подобно прочим «лефам» он—«формалист», прикрывающий свой формализм фиговым листком. Разницу между «газетчиком» и «писателем» он видит только в разнице «словесной обработки».

Это не так. Их разделяет также «целевая разница». Газета вся в сегодняшнем дне. Круг «литературы»—шире. Газета вся в конкретности. Литература хочет обобщений. Газета имеет дело с «фактами». Литература устанавливает их связь. Она стремится к синтезу. Литература, кроме того, озабочена повышением своего технологического уровня. Газете до литературной «технологии» дела нет: она пользуется готовыми инструментами. «Чистые» же литераторы, если перестанут ежедневно «точить» и обновлять свои «инструменты»,—превратятся в шаблонщиков. Тогда они перестают быть нужными, хотя бы и не были эстетам.

Маяковский говорит не о простом «включении» литературы в газету. Это—хорошо. Газете поэт необходим не просто как штатный поставщик рифмованной каши для читательского питания. Газете поэт нужен как «боец». Последний должен не только «переклЮчить» внимание на «сегодняшнюю» тематику. Он обязан «научиться» работать для газеты. Дело не в одной «тематике». Газета требует от поэзии газетного «строга».

## 20

Говоря о разрыве между газетой и «литературой»,—мы не совсем точны. «Писатели»-газетчики существуют. Большая роль фельетона несомненна.

Сила его—в художественной образности. Это именно и отличает «литературу» от «газеты». Последняя не работает «образом». Но инструмент фельетона—именно образ. Стиль фельетона—не стиль передовицы. Иначе, чем фельетон, делаются экономическая статья, репортаж, хроника. Фельетон—жанр «чистой литературы». Этот жанр завоевал газету. Именно потому, что «писатели» создали свой газетный жанр,—без них газета обойтись не может. А без поэта? Сколько хотите. В. Маяковский и его друзья появляются иногда в газете. Выигрывает она что-нибудь? Нет. Когда же «поэзия» находит «газетные» средства выражения, —она получает пристанище «меж газетных полей». Зубило в «Гудке»—на своем месте. Демьян Бедный—«газетчик».

Поэтому лозунгу: «качай, ребята, в газету»—следует противопоставить: «научись, ребята, работать для газеты».

Газету «поэзия» должна завоевать.

«Лефы» говорят о «поэзии факта». Но то, что этой поэзии нет,—тоже факт.

В этом вся сила. Газета ждет поэта. Но он не является. Маяковский приглашает в газету так, как если бы она нуждалась в рифмованном переложении передовицы и репортажа.

## 21

Маяковский прав, говоря: «Мелочность темы—это мелкота собранных фактов». Но разве дело в размере факта? Крупный факт—лучше мелкого,—кто ж спорит! Суть в том, что поэт должен в газете подать «факт» так, чтобы никто, кроме поэта, «крепче» подать его не сумел. Иначе—зачем поэт газете? Он нужен, если дает ей то, чего она не имеет. Речь ведь идет не о том, заводить или нет «литературный» отдел в газете. Такого отдела, к сожалению, сейчас в газете не будет. Вопрос стоит так: поэт не умеет работать для газеты. Он должен научиться это делать. Надо поэту не просто «переть» в газету (дверь может быть заперта), но работать над газетным жанром поэзии. Под

газетным небом поэзия завоеует свое место только как фельетон. Точнее: фельетон сатирический. Газете сейчас не нужны ни эпос, ни лирика. Газета ищет стремительных и могучих воздействий. Тончайший лирик на страницах «Правды» прозвучит в лучшем случае, как «гавайская гитара». Но гитара, даже если исполняет марш Буденного,—инструмент никудашный. Поэзия не имеет своего инструмента в газете. Вот в чем беда. Газета—орудие борьбы. Поэзия в газете должна стать таким же орудием. И газета права, закрывая дверь перед поэтом, который не научился говорить ее языком. Научись,—приходи.

Я думаю, задача именно в создании поэтического газетного жанра.

Напомню:

Как смеее вы называться поэтом  
И, серенький, чирикать как перепел!  
Сегодня  
Надо  
кастетом  
кroitся миру в черепе!

Превосходные строки: газета требует кастета. Она ждет Ювенала. А ей предлагают рифмованную брандахлысту.

Маяковский пишет: наши поэты «изошрены в поэтической технике и способах владения словом». Маловато! Беда поэтов, которых имеет в виду Маяковский, в том, что не столь они «владеют словом», сколь «слово ими владеет».

## 22

В призыве Маяковского, кроме хорошей, есть дурная сторона: поплевывание на «литературу». Но он плюет в «колодец». Если «поэзия—путь к социализму»,—а это хороший путь,—то разве лежит он только через газету? Все дороги ведут в Рим социализма. Но путь «литературы»—труднейший. Потому-то с него не надо сходить. Кто сказал, что к социализму ведут изъезженные шоссе? Автомобильного сообщения с социализмом пока еще не открыто. С тернистого же пути «литературы» Маяковский как-будто намерен сойти. Он капитулирует перед трудностями. Поворачиваясь к «искусству» задом, он

обзывает его «чистой литературой». Он удовлетворяется «запасом поэтических ередств и заготовок». Фигурально выражаясь, он хочет жить на проценты с старого капитала. Он превращается в поэтического «рантье». Жить «запасом поэтических оборотов и загото-

вок» — это значит стричь купоны, вместо того, чтобы пускать «капитал» в оборот.

Но упрек этот — к слову. Обидеть им т. Маяковского не хочу. Напротив. Желаю ему «стоцентного» успеха в борьбе за «газету». Дело полезнейшее!

## 2. НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

### А. Шестаков

Пятое февраля 1925 года.

На Малой Дмитровке в доме бывшего Купеческого клуба, там, где старый купеческий быт был крепко выкорчеван буйной порослью Свердловки, в одной из комнат с тяжелой дубовой мебелью собрались первые немногочисленные организаторы общества историков. Они назвали себя «совещанием представителей научно-учебных учреждений города Москвы по организации исторического общества». Среди присутствовавших неизменный зачинатель общественных организаций, вечно молодой «старик» — М. Н. Покровский. Он фигурирует в качестве представителя Наркомпроса. Пожелтвший от времени протокол совещания не совсем точно передает мотивировку М. Н. Покровского о необходимости организации общества историков. Он говорил тогда об оживлении, казалось, похороненных идеологических направлений в области истории, доказывая крайнюю важность борьбы с этим возрождением теней прошлого.

«К созданию общества, — говорил М. Н., — необходимо подойти серьезно. Первоначальное ядро нужно создать из коммунистов-историков и только затем приступить к вовлечению беспартийных, постоянно помня, что «звание члена общества не следует продешевить».

Представители комвузов указывали, что создание исторического общества является актуальным вопросом. «Общество, — говорил тов. Зайдель, — сплотив в своих рядах историков-маркси-

стов, должно занять видное место в борьбе с поднимающимися реакционными настроениями».

26-е декабря 1928 года.

Волхонка 14. В просторном, заново отделанном зале разрастающейся Коммунистической Академии полно народу. А на улице, от ворот по всему двору растянулся хвост делегатов на первую всесоюзную конференцию историков-марксистов, — задерживаются у вешалки.

И в переполненном на сто процентов зале гудят голоса делегатов, а на трибуне все тот же, неизменно молодой, воинствующий историк-большевик М. Н. Покровский. Он проводит четкие грани между «ними» и «нами». «Они» тоже устроили летом этого года свой очередной шестой съезд — международный конгресс историков в Осло.

Буржуазная историческая наука в Осло совсем не скрывала своих политических целей. Две линии этой политики особенно ярко вскрылись на конгрессе в Осло: национализм со всеми его звериными шовинистическими масками и борьба с большевизмом, в который в одну кучу сваливались и коммунисты и беспартийные советские историки. Националистическая борьба империалистической науки доходила в Осло до смешного: смена докладчиков по национальностям вызывала уход одних и приход других участников конгресса. Говорил немец — демонстративно уходили поляки, и наоборот. Конгресс в Осло — это сплошная демонстрация, как буржуазная наука привешена к буржуазной политике.



«Если бы были какие-нибудь наивные люди, — говорил М. Н. Покровский, — которые верили бы в историческую науку, оторванную от политики, то полагаю, что теперь, после конгресса в Осло, их не может быть, а если они и будут, то это люди патологические, которых нужно лечить».

И со всей решительностью М. Н. Покровский подчеркивал, что и наша историческая наука не может быть оторвана от политики, наши задачи в области истории есть прежде всего классовые политические задачи пролетариата, строящего социализм и ведущего борьбу за мировую пролетарскую революцию.

Громом аплодисментов были покрыты эти слова Михаила Николаевича.

Его призывы к консолидации сил, к объединению фронта воинствующих историков-марксистов также встретили единодушное одобрение всех делегатов конференции.

Основной лейтмотив работ конференции — политическая борьба на историческом фронте.

Отсюда и те выводы, которые были так четко подчеркнуты в общей резолюции — манифесте конференции. В ней говорилось, что марксистская историческая наука есть один из важнейших участков идеологической борьбы пролетариата за социализм, что в нашей стране уже имеется обширный контингент историков, стоящих на точке зрения Маркса, Энгельса и Ленина. «Можно с полным правом говорить о советской школе историков-марксистов, все более и более пополняющейся свежими молодыми силами, тесно спаянных по своей идеологии с рабочим классом и нередко вышедших из его среды и применяющих метод исторического материализма в полном и цельном виде без всяких урезок и оговорок» — так определяли делегаты конференции свои силы.

Влияние советской школы историков-марксистов далеко выходит за пределы исторической науки в тесном смысле этого слова и распространяется все более и более на соседние области (лингвистика, археология и т. д.). Блестящей иллюстрацией этого положе-

ния и роли советской школы историков-марксистов на конференции явился содержательный доклад академика Н. Я. Марра «Исторический процесс в освещении афетической теории».

Если пролетариат СССР создал первое в мире советское государство, ведущее страну по путям строительства социализма, если это строительство является базой для мировой пролетарской революции и примером для пролетариата других стран, то и та работа, которую провели советские историки-марксисты, их научная продукция имеет не только местное, но и мировое значение. Советская школа историков-марксистов — это первое ядро революционной исторической науки, вокруг которого должны объединиться историки-марксисты и других стран. И не даром конференция вынесла решение о необходимости созыва через 2—3 года международного конгресса историков-марксистов.

С революционной беспощадностью советские историки на своей конференции вели борьбу и со всеми теми «уклонами», которые обнаружили и в их среде. Главными из них, как указывается в той же резолюции, являются «некоторая заакадемизированность отдельных наших работников, склонность рассматривать свою работу не как часть общей пролетарской борьбы на определенном участке фронта, а как деятельность «объективно-научную», даже противопоставляя ее политике; во-вторых, неизжитость кое-где националистических точек зрения на историю вплоть до подмена классового объяснения истории этнографическим».

Это последнее, между прочим, выразилось также и в том, что по вопросу организации всесоюзного общества историков-марксистов, как единого руководящего центра с республиканскими филиалами на местах, одна из делегаций выдвинула проект создания Ассоциации историков-марксистов, объединяющей отдельные национальные федерации. В этом сказался, хотя и в слабой степени, некоторый национальный перегиб при недооценке необходимости централизованного руководства.

В целом ряде речей на конференции был дан решительный отпор старым «профессорским» привычкам и в той же резолюции еще раз было подчеркнуто, «что при всей важности академической выдержанности наших научных работ образцом для них должны быть не знаменитости академического мира, всегда являющиеся прислужниками эксплуатарских классов и в самом лучшем случае искавшие в «объективности» убежища от политики, но ученые-революционеры, типом которых в нашей стране являлись в старые годы Чернышевский, а в новейшее время — Ленин, сделавший для понимания русского исторического процесса больше, нежели все обладатели всех исторических кафедр всех «российских» университетов».

И как бы в подтверждение этого последнего положения неутомимый М. Н. Покровский сделал свой «гвоздевой» доклад конференции «Ленинизм и русская история»<sup>1)</sup>. В борьбе с «уклонами» конференция обнаружила чрезвычайную чуткость и настойчивость не только по отношению к чуждым марксизму и вредным пролетариату идеологиям старых историков, но и по отношению к своим собственным рядам, которые проявляли подчас пассивность и недооценку растущей опасности на идеологическом фронте в области истории. Фракция коммунистов конференции в особой резолюции одобрила революционную линию общества по борьбе с правыми и примиренческими тенденциями, которые имели место на историческом фронте и среди коммунистов. В этой резолюции говорилось: «Особенно значительный вред нашей боевой работе приносит оппортунистическая политика отдельных историков-марксистов и коммунистов, которые вместо выполнения прямой задачи большевиков — борьбы за сплочение подлинно марксистских сил и решительного отпора всем выступлениям анти- и псевдомарксистов — пытается сглаживать противоречия, заменяя тем самым воин-

ствующий марксизм академически приглаженным марксизмом».

Так шла на конференции консолидация сил одного из отряда пролетарских борцов на идеологическом фронте. В результате конференция сыграла огромную политическую роль, выработав организационные и идеологические директивы, по которым будут сейчас строиться ряды и работать историки-марксисты всего нашего Союза. Общество историков-марксистов превратилось отныне во всесоюзную организацию с централизованным руководством. Конференция вынесла решение о координации работ исторических институтов и учреждений, об организации отделений на местах, о более частом выходе журнала общества, об издании популярного исторического журнала, о выезде на места докладчиков из центра и т. д. Сплочение марксистских исторических сил сделало новый этап в своем быстром поступательном движении. Это усилит научноисследовательскую работу на местах, это даст возможность выполнить и то постановление фракции конференции, в котором говорится о создании института истории при Коммунистической Академии СССР.

О научном значении конференции можно судить по ее работе по заслушанию и обсуждению многочисленных докладов, представленных на пленумы и секционные заседания делегатов. В докладах и прениях были подведены итоги состояния современной исторической науки, выявлены анти- и псевдомарксистские течения в ней, установлены тактические линии историков-марксистов на фронте борьбы против буржуазной науки как в международном масштабе, так и внутри страны, намечены новые проблемы для разработки в различных областях истории. На конференции выявились группы историков, которые работают в смежных областях, и тут же на конференции состоялось несколько совещаний по организации коллективов по разработке отдельных исторических вопросов. Так создались комиссии по изучению истории Великой французской революции, по изучению рабочего

<sup>1)</sup> Напечатан в журнале «Пролетарская революция» № 1, 1929 г.

вопроса в СССР, по разработке истории стран зарубежного и советского Востока и др.

Наибольшее число докладов на конференции имели целевую установку — вскрыть и объяснить те или иные моменты классовых битв пролетариата. К этому разделу докладов в первую очередь должны быть отнесены все доклады по истории партии, начиная с докладов В. И. Невского «История партии как наука» и «Северо-Русский Рабочий Союз», тов. Крамольникова «Конференция большевиков в Таммерфорсе 11—17 декабря (стар. ст.) 1905 г.» и кончая докладами В. Рахметова «Происхождение меньшевистской концепции русского исторического процесса», С. Е. Рабиновича «Военные организации большевиков в 1917 г.» и др. К этой же группе докладов, сближающихся с русской историей, должен быть отнесен вышеупомянутый доклад М. Н. Покровского «Ленинизм и русская история», в котором был дан анализ ленинских высказываний как по отдельным моментам русской истории, так и по тем методологическим принципиальным вопросам, которые проводят резкую грань между историками-марксистами ленинцами и историками не марксистами, буржуазными эклектиками, хотя бы и прикрывающимися марксистской фразеологией.

М. Н. Покровский говорил: «Экономический материализм плюс борьба классов — это все-таки еще не марксизм. И только тот, кто признает политические выводы из марксизма, признает диктатуру пролетариата, тот настоящий марксист». Вспоминая слова И. И. Степанова-Скворцова о «неприветренных углах» мировоззрения, М. Н. подробно останавливается на примере типичного «экономического материалиста» Н. А. Рожкова, заявляя, что «экономический материализм есть источник больших ошибок в марксизме», которые могут привести к большим политическим последствиям. Н. А. Рожков, как известно, из большевиков попал в лагерь ликвидаторов.

Ссылаясь на Маркса, Энгельса, которые указывали, что «политическая власть есть тоже экономическая потен-

ция», М. Н. Покровский цитирует Ленина и вслед за ним утверждает положение: «Настоящий марксизм допускает очень сильное вмешательство политического момента на всех стадиях развития».

Далее в серии докладов, затрагивающих вопросы классовой борьбы пролетариата, прочитанных на конференции, на первое место должен быть поставлен доклад А. М. Панкратовой «Основные проблемы изучения истории пролетариата СССР». Доклад Н. Н. Ванана «О характере финансового капитализма в России» вызвал горячие прения и внес много нового в освещение этой до сих пор еще темной проблемы русской истории, имеющей огромное значение для понимания всего процесса развития классовой борьбы, закончившейся Октябрьской революцией.

Ряд других докладов по истории народов СССР освещал отдельные вопросы исторического процесса все в том же разрезе классовой борьбы общественных сил в нашей стране. К таким докладам следует отнести работу П. Г. Галузо «Периодизация истории национально-освободительного движения Средней Азии», Т. Игнатовского «Главные моменты в истории восстания 1863 года в Польше и Белоруссии», тов. Янчевского «Аграрный вопрос на Дону в связи с историей колонизации», и др.

Большую ценность представлял из себя относящийся к этой же серии доклад К. А. Попова «Об исторических условиях перерастания буржуазно-демократической революции в пролетарскую». В последнем тезисе своего доклада он говорит: «Пути к пролетарской революции для стран со средним уровнем развития капитализма, для колониальных и полуколониальных стран Азии и зависимых стран Южной Америки намечаются программой Коминтерна в полном соответствии с тем учением о перерастании буржуазно-демократической революции в пролетарскую, которое заложено было Марксом, Энгельсом и развито Лениным, а затем оправдано было историей русской революции».

Программа Коминтерна, опираясь на новый исторический опыт после нашего Октября, в частности на опыт китайской революции, идет в наметке путей развития революции в странах с пережитками феодализма по стопам Ленина, по-ленински уже конкретизируя одну из основных частей его теории пролетарской революции».

Доклады по истории Запада носили также актуальной научно-политический характер, подтверждая тем тот принцип, что историки, стоящие на позициях пролетарской революции, выбирают в своих научных работах темы, нужные рабочему классу в наши дни для его борьбы с капиталистическим строем.

В первую очередь из докладов историков Запада необходимо отметить доклад Н. М. Лукина «Проблемы изучения эпохи империализма». Он подвел итог огромной литературе буржуазных историков Запада и Америки, указав при этом, что для историка-марксиста эпоха империализма не исчерпывается своеобразными явлениями в области экономики, экономической политики или явлениями новейшей колониальной экономии: эта эпоха, сверх того, характеризуется рядом специфических изменений в общественной структуре империалистических государств, в политических группировках, в значении государства и парламентской системы в рабочем и социалистическом движении; наконец, изменением международной ситуации и рядом дипломатических и военных конфликтов, подготовивших мировую войну.

Н. М. Лукин ставит задачу установления хронологических рамок империалистической эпохи, выявления условий возникновения империалистской войны, социальных корней империализма и, наконец, ряд проблем по истории изучения самой войны и периода послевоенных революционных потрясений.

Выдвинутые докладчиком задачи огромны. Для их осуществления нужны годы и огромный кадр работников.

Неутомимый М. Н. Покровский и по этому докладу дал чрезвычайно важные указания. Он отметил, что исто-

рики Запада недостаточно увязывают свою работу с той, которую уже ведут русские историки по этому вопросу. Затем М. Н. указал на необходимость выделения особо актуальных проблем с политической точки зрения: «Москва, — говорил он, — является одним из центров, где разрабатывается пред- история империалистической войны; влияние этого центра без всякого преувеличения колоссально... На Западе всю ответственность за войну хотели свалить на Германию. Мы же выдвигаем совершенно противоположную точку зрения. Мы это делаем не потому, что боремся за интересы Германии, а потому, что нам нужно разоблачить империализм, а самым опасным империализмом сейчас является английский. Мы его разоблачаем и разоблачим, я надеюсь, последней нашей публикацией документов империалистической войны. Это чувствуют решительно все. На историческом конгрессе в Осло это особенно поражало, особенно перераспределяло соотношение сил...

А в Москве наши западные историки этого не знают. Это вопрос чрезвычайно важный, это показывает, до какой степени законсервировались наши западные историки, — до такой степени, что сами создали себе какое-то гетто. Ни одна из публикаций, которые буквально встряхнули весь мир, не принадлежит западным историкам... Группа наших историков Запада в вопросах изучения империалистической войны и империализма вообще идет в хвосте».

Приводим эту длинную выписку из стенограммы М. Н. Покровского в качестве образчика, как напряженно страстно историки-марксисты вели на конференции «самокритику», как они «выравнивали» линии своей борьбы, своей работы.

Те же заявления, те же ноты звучали в прениях и по другим докладам историков Запада, из которых следует отметить работу тов. Фридлинда «Итоги изучения Великой французской революции за десять лет и задачи историков-марксистов СССР», тов. К. Добролюбовского «Дороговизна в Париже в 1796 г. — после отмены максимума»,

т. Зайделя «Бабунизм и марксизм», т. Молока «Июньские дни 1848 г.», Ф. В. Потемкина «К вопросу о методологии истории промышленной революции» и др.

Доклады представителей делегаций о положении исторической науки в отдельных республиках Союза носили такой же характер тщательного анализа положения дел с научной работой в области истории на местах с выявлением всех недочетов, прежде всего, у самих себя. В этом отношении большую ценность представляли выступления т. Яворского о «Современных антимарксистских течениях в украинской исторической науке» и т. Маликлина «О состоянии современной армянской исторической науки». К этой же серии докладов можно отнести и доклады тт. Махарадзе и Натадзе по истории Грузии, т. Ратгаузера «Социальная сущность партии мусават». Все эти доклады вызвали оживленнейший обмен мнений как по методологическим вопросам, так и по существу затронутых вопросов.

Делегаты конференции волновались, когда им по жесткому регламенту конференции приходилось в 5—10 минут изложить свои замечания, навести «критику» на тезисы докладчиков. Жесткий регламент приучал конферентов точно и сжато формулировать свои мысли, приучал их к своеобразной «рационализации».

Так было и на заседаниях пленума и на заседаниях секций. Всюду полные аудитории, всюду огромное количество желающих выступить.

Даже в такой секции, как социологическая, где, кроме доклада Н. Я. Марра, было сравнительно небольшое число докладов, страстно дебатировались такие, напр., темы, как «Марксизм и этнография» — доклад В. Аптекаря, направленный против новой буржуазной теории общества, сконструированной Таном-Богоразом в особую науку — «этнографию».

Большое внимание уделили конференты докладам методической секции — вопросам преподавания истории в вузах и комвузах, об учебниках и учебных пособиях по истории и т. п.

Ст. С. Кривцов весьма убедительно доказывал в заседании этой секции, что в университетской методике педфаков до сих пор всюду господствует «обществоведческое направление», которое должно быть заменено преподаванием специальных методик, и методики истории в частности. Его слушал переполненный зал. Так же много делегатов и московских гостей-обществоведов привлекли доклады Л. М. Мамета «Основные направления в вопросах преподавания истории», А. Иоакимяни «Организация педагогического процесса в преподавании истории», т. Зиммельфарб «К истории социалистического воспитания».

Недаром в заключительном заседании конференции все тот же М. Н. Покровский, снова вспоминая конгресс в Осло, провел параллель между этим конгрессом и конференцией. Там, — говорил он, — историки «отбывали» часы на заседаниях, конгресс буржуазных ученых больше развлекался, чем работал, на нашей же конференции шла самая настоящая, самая серьезная работа, о развлечениях и отдыхе наши конференты и не думали.

Эта бросающаяся в глаза разница в настроениях между «нами» и «ими», этот подход к науке наших товарищей, поставивших себе целью быть борцами и революционерами, гарантирует нам победу над буржуазией и на этом участке идеологического фронта. И как бы напутствием раз'езжающимся делегатам звучали заключительные слова принятой конференцией резолюции:

«Конференция напоминает всем историкам-марксистам, что мы являемся воинствующими марксистами, и первой нашей обязанностью является борьба с чуждыми марксизму и классово враждебными пролетариату идеологиями и их пережитками, в чем бы они ни состояли и кто бы их ни распространял. Такого рода борьба является особо настоятельной в настоящий момент, когда представители идеологий, чуждых пролетариату, поднимают голову и переходят в наступление. Никакой «нейтралитет» и никакие уступки, никакого рода оппортунизм не мо-

гут быть допущены нашей школой, которой недостаточно быть только материалистической, — историков материалистов имела и имеет буржуазия, — но которая должна быть ленинской в полном смысле этого слова, все подчиняющей основной цели — борьбе за освобождение пролетариата во всем мире и строительству социализма...».

Группа в десяток-другой учредителей общества историков-марксистов за 3—4 года разрослась в мощную организацию с сотнями членов. Конференция не только сплотила их ряды, но дала толчок и дальнейшему росту числа членов общества. Скоро мы бу-

дем иметь их вдвое, больше, скоро объединим всех марксистов, работающих в области истории как в нашем союзе, так и за его границами. И тогда на нашем международном конгрессе историков-марксистов — своего рода историческом интернационале — мы сумеем показать нашим врагам, как могучи силы пролетариата не только в области экономического и государственного строительства, но и в одной из важнейших областей идеологии. Пока же нужно работать, работать и работать.

31—I 1929 г.

### 3. СПУТНИЦА Л. Н. ТОЛСТОГО

#### Б. Скворцов

«...Тяжелые дни тогда жились в Ясной Поляне. Теперь вон уж сколько лет прошло, восемнадцать или боле, и в усадьбе теперь новый порядок, и в Рассее... а вот как вспомнишь про это... и весь тут израсстроишься до последнего дна...»

Конечно, графиню теперь, после гроба, легко осудить, и мало таких людей, у которых в характере заключается совершенство. Ежели графиня перед Львом Николаевичем и была виноватая, то какая жена своему мужу не виноватая? Виноватость ее ей горькой бедой вышла... Вы, как знаете, думайте, а я Софье Андреевне бессознательно сочувствую», — такой суд о семейном разладе Толстых вынес их повар С. Н. Румянцев<sup>1)</sup>.

Давно прошли времена безоглядного умиления перед пресловутой «мужичьей мудростью», и ни кто иной как сам Л. Н. Толстой был последним, наиболее ярким представителем этого ложного отношения к крестьянству. Но для истории имеют цену всяческие свидетельства, — во всяком случае, она обязана их выслушать, — и немаловажное значение приобретают слова повара, неискушенного в психологических сложностях и тонкостях, но бывшего много-

летним свидетелем яснополянской жизни.

Этот повар, портрет которого можно было видеть в толстовские дни чуть ли не во всех иллюстрированных журналах, отметил немало верного: действительно, Софию Андреевну осуждали, кажется, все, и не только «после гроба», но и при жизни. Мучительным судом осуждала, прежде всего, себя она сама, осуждал ее муж и идущие за ним дети (не все), «толстовцы» всяческих калибров, прислуга. Не далее как минувшим летом пишущему эти строки бывшая горничная Толстых, В. С. Ляпунова, с иронией рассказывала в Ясной Поляне о попытке самоубийства Софии Андреевны после ухода мужа: «Только ножки замочила».

Но повар Румянцев нарушил традиционное представление о Софии Андреевне, как о черном демоне Льва Николаевича.

Близкое к румянцевскому складывается у читателя впечатление от опубликованных ее дневников: действительно, «тяжелые дни жились тогда в Ясной Поляне», и «горькой бедой» обернулись они для долголетней спутницы великого писателя.

В литературной методологии операции с дневниками — один из трудных и

<sup>1)</sup> См. статью А. Дроздова «Три свидетеля» в «Красной Ниве», № 37, от 9 сентября 1928 г.

скольких путей исследования: он всегда таит соблазн поспешных заключений, замалчивания одного и непомерного выдвигания другого. К осторожному обращению с дневниками С. А. Толстой призывает в предисловии (стр. VIII) М. А. Цявловский. Предостерегая от опрометчивых выводов, известный толстовед ссылается на запись С. А., сделанную 31 августа 1868 г.: «Смешно читать свой журнал. Какие противоречия, какая я будто несчастная женщина. А есть ли счастливее меня?». Правда, эта запись как будто бы вполне категорически дезавуирует все предшествовавшие записи, но ведь все же это—только единичная запись, сделанная, вероятно, в минуту наступившей семейной гармонии. А какое множество за этой записью идет других, совершенно ей противоположных! Мы подсчитали все упоминания С. А. о своем счастье, и за все отраженные в дневнике 29 лет супружеской жизни таких упоминаний нашлось только 13. Большинство их падает на 1866 год. Из этого скромного количества только семь говорят о счастье безоговорочно, при чем счастье понимается, как синоним «мирной» жизни, без супружеских ссор: «Зима (1872 г.) была счастливая, мы опять жили душа в душу» (стр. 102); «он желчен и вял, но мы дружны и счастливы» (24 ноября 1878 г., стр. 118), и т. д. Другие же признания в «счастье» либо имеют своим основанием материнство (19 июля 1866 г.: «В детях я так счастлива... что грешно требовать еще большего счастья...», стр. 94), либо сопровождаются весьма характерными оговорками: «Мне хорошо, надолго ли? (12 июля 1886 г., стр. 91); «опять в Ясной Поляне то же спокойное, немного грустное, но невозмутимое счастливое чувство» (12 марта 1886 г., стр. 93, разрядка наша).

«Я пишу журнал всегда, когда мы ссоримся... если бы не любили, то так бы и не ссорились» (стр. 100). А в некоторые годы, как сейчас увидим, Софья Андреевна весьма часто обращалась к своему «журналу», и так же часто, следовательно, происходили супружеские ссоры. Любовь же под со-

мнение никем, кроме самих супругов, не бралась, но все же это была столь обычная неровная любовь, «любовь со ссорами».

Дело будущего исследования обставить дневник Софии Андреевны всевозможными сопоставлениями с другими текстами и материалами (и, прежде всего, с частично сохранившимися за эти же годы дневниками самого Л. Н.), проконтролировать его ими и, после кропотливого сличения и вдумчивого психологического анализа, развернуть всю историю этих «тяжелых» дней. Пока же возможно лишь наметить господствующий фон семейной жизни, характеризующий обе стороны. В интересах необходимой осторожности будем опираться лишь на мотивы устойчивые, проходящие сквозь не одну, а ряд записей.

Свадьба состоялась 23 сентября 1862 года. Через две недели после этого события София Андреевна заводит свой дневник и шесть раз обращается к нему в течение первого года. В следующем году записи принимают систематический характер, достигая за год количества 35. Но в дальнейшем дневник ведется крайне нерегулярно: в некоторые годы нет ни одной записи, в другие — по одной, и лишь много позднее количество записей значительно возрастает (22 в 1871 г., 40 — в 1878 г., 25 — в 1890 г. и 19 — в 1891 г.).

В записях 1862—63 гг. нет ни единого упоминания о радости и счастье. Образ «молодой» уже с первых месяцев вырисовывается подозрительным, ревнивым и самомучающимся. Вся история семейных отношений за это время так обычна для большинства неудачных браков. 8 мая 1863 года это сознает и сама София Андреевна: «Ведь это всегда так бывает. Это та ужасная общая колея, по которой все проходят и которую мы прежде так боялись» (стр. 70). Здесь и взаимное чтение дневников, и взаимные сомнения в любви, и люта ревность жены даже к прошлому мужа, сохраненная до старости (напр., запись от 16 декабря 1890 г. «Я, как пьяница, запоем переписываю его дневники, и пьянство мое состоит в волнении рев-

нивом там, где дело идет о женщинах», стр. 155), и постоянные упирания на то, что она отдала мужу все, кроме детства. Чаще же всего проходит опасение, сохраненное опять-таки до старости, что Лев Николаевич не любил ее, а просто увлекся<sup>1)</sup>, что она для него — «кукла», «мебель». Лишь однажды, 14 января 1863 года, мелькнуло желание «испытывать свою власть над ним», «т. е. просто желание, чтобы он меня слушался. Но он всегда меня в этом осадит, чему я очень рада, и это пройдет» (стр. 63). И «это», судя по записям, на самом деле скоро «прошло».

Не раз София Андреевна сознает, что она — не ровня своему мужу, что она — ни умна, ни талантлива, что любит его «снизу вверх».

13 ноября 1862 г.: «Он счастливый, потому что умен и талантлив. А я — ни то, ни другое. Одной любовью не проживешь, а я так ограничена, что куда только и думаю о нем» (стр. 59).

14 января 1863 г.: «...Я очень бедная натура: отдалась одному чему-нибудь и никогда бы не сумела найти себе, помимо этого, другой мир» (стр. 61).

13 ноября 1863 г.: «У меня будничная жизнь, смерть. А у него целая жизнь, работа внутри, талант и бессмертие» (стр. 80). Те же ноты встречаются и позднее, 12 марта 1866 г.: «Все больше хочется гнущься от своего ничтожества» (стр. 93).

Правда, в дальнейшем С. А. не раз приходила и к самоутверждению, к признанию своей самодовлеющей ценности, но «гнущься» перед своим гениальным мужем ей, несомненно, приходилось нередко, как приходилось и другим, близко с ним соприкасавшимся<sup>2)</sup>.

Только однажды, 3 марта 1863 года, словно в экстазе, София Андреевна записывает: «Сильно влияние Левы, и радостно чувствовать мне его над собой» (стр. 65). Гораздо же характернее следующая запись, пока еще достаточно осторожная: «Иногда мне ужасно хочется высвободиться из-под его влияния, немного тяжелого» (запись от 23/XI—62 г., на 58 стр.). С годами «тяжесть» влияния будет измеряться все большими и большими дозами, и в 1890 г. дойдет до трагического крика: «Я... любящая его, боюсь его страшно, как преступница. Боюсь того отпора, который больше всяких побоев и слов, молчаливого, безучастного, сурового и нелюбящего» (стр. 148).

Вполне понятно, что в первые годы замужества София Андреевна инстинктивно стремится найти такую область, где бы она могла чувствовать себя проще и непосредственнее, без постоянного утомительного ощущения своего ничтожества и «сгибания».

24 июля 1863 г. она испытывает «ужасное желание отдохнуть, наслаждаться природой» и сравнивает свои чувства с чувствами заключенного в тюрьму (стр. 74). Ей хочется шума, веселья, а в Ясной Поляне — «тишина, тишина мертвая». Уже став матерью, она временами еще так полно ощущает свою молодость (и немудрено — в 19 лет), что ей хочется «чего-нибудь сумасшедшего: вместо того, чтобы ложиться спать, мне хотелось бы кувыряться, а с кем?.. Лева стар и слишком сосредоточен» (стр. 81). Тишина и одиночество — вот первые ее ощущения Ясной Поляны. Жалобы на одиночество проходят буквально через весь дневник, но источники и формы этого одиночества в разные годы были различны. В первый год супружеской жизни единственным постоянным обществом Софии Андреевны была 67-летняя тетка Льва Николаевича, Т. А. Ергольская. Лев Николаевич как раз в это время усиленно увлекался хозяйственными делами: «Если он не ест, не спит и не молчит, он рыскает по хозяйству, ходит, ходит, все один. А мне скучно — я одна, совсем одна» (запись от 24/IV—63 г. на

<sup>1)</sup> См. стр. 54, 147, 160, 163, 165, 170—171.

<sup>2)</sup> Об этом деспотизме «непомерно разросшей личности» Толстого писал и М. Горький: «Он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и — повторяю — деспотическим намерением усилить гнет своих религиозных идей, тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и вставить их принять ее, вы понимаете — заставить». М. Горький. «Лев Толстой. А. П. Чехов. В. Г. Короленко». Гиз, 1928 г., стр. 44.



68 стр.). И чуть ли не тургеневскими *senilia*'ми звучит запись, сделанная через месяц: «И часы даже жалобно бьют, и собака скучная, и Душка несчастная такая, и старушки жалкие, и все умерло!» (стр. 72).

И в первый же год у Софии Андреевны складывается тот жизненный идеал, какой только и мог сложиться у женщины ее круга и воспитанной, попавшей в глухое поместье и встретившей те же идеалы в своем муже: семья — дети и муж. В этом идеале ее более поддерживали шереховатости в отношениях с мужем: она объясняет их как раз тем, что он не знал семьи (см. стр. 65 и 57). «...Через несколько лет я создам себе женский, серьезный мир, и его буду любить еще больше, тут будет муж, дети, которых больше любишь, чем родителей и братьев» (13 ноября 1862 г., стр. 56). Ее жизнь будет здесь, в Ясной Поляне, без людей, в семье (стр. 59). Постепенно она приходит к твердому убеждению, что «жить надо в самом тесном кружке» (22 мая 1863 г., стр. 71). Любопытно, что в этом представлении будущего хозяйственные заботы совсем не рисуются как неотъемлемая часть жизни в семье и для семьи.

«Женский, серьезный мир» был создан: София Андреевна родила 13 раз. Семья росла, и С. А. постепенно втягивается во всю хозяйственную суету. Начинается с мелочей: с пеленок, с починки белья и носков, с выдачи провизии прислуге. На первых порах С. А. пронизывает над тем, как ей придется заводить кур, солить огурцы и брэнчать на фортепиано, затем несколько раз пытается убедить себя, что хозяйственные заботы Л. Н.—вещь интересная, внушает себе мысль, что и ей очень интересно ходить за яблонями и пчелами, но 6 июня 1863 года прорывается, заноса в свой дневник, что «хозяйство — это сущая каторга» (стр. 72). Но избавления от «каторги» не было и быть не могло; жить в семье и хозяйстве — единственное назначение женщины; к этому приучали Софию Андреевну и буржуазно-патриархальный быт ее родителей, и гипноз воззрений мужа, сохранных им почти до конца 70-х го-

дов, и собственное убеждение, что только добросовестнейшее выполнение этого назначения способно наладить нормальные взаимоотношения с «Левочкой». И София Андреевна начинает входить во все хозяйственные заботы — и в обслуживание семьи и даже в более сложные дела по имению. Нескончаемой вереницей тянутся теперь такие записи: «Взяла чинить носки, о которых он упомянул, что плохи»; «сидела, чинила носки, скучно»; «кроила Левочке рубашки, была неприятная история: мне показалось, что у меня отрезали от куска полотна»; «я осталась кроить мальчишам куртки», и т. д. и т. д. Понятно, что результат всех этих хлопот мог быть только один: «Унылая апатия, равнодушие ко всему, и нынче, завтра, месяцы, годы — все то же и то же. Проснешься утром и не встаешь. Что меня поднимет, что ждет меня? Я знаю, придет повар, потом няня будет жаловаться, что люди недовольны едой и что сахару нет, надо послать, потом я с болью правого плеча сяду молча вышивать дырочки, потом учение грамматики и гамм... Я к ужасу своему вижу, что это переходит в такую страшную апатию и такое животное, тупое равнодушие ко всему, что это пугает меня больше всего» (запись от 12 окт. 1875 г. на 106 стр.). Все эти мелочи с сахаром, кройкой и вышиванием тянутся в дневнике до самой последней страницы. Но в 1884 году Лев Николаевич официально передал жене и все управление обширным имением. Теперь у него совсем иные взгляды: отречение от собственности, от комфорта, от образования детей. Исполнить эти требования Софии Андреевне было, конечно, не под силу, тем более, что к этому времени она уже вполне усвоила прежние, диаметрально противоположные взгляды мужа на обязанности семьянина. К тому же новое мировоззрение Льва Николаевича оставалось в достаточной мере неопределенным, и Софии Андреевне пришлось самостоятельно решать конкретные вопросы о том, что делать с имением, на что содержать все разрастающуюся семью, чему учить детей и т. п. На первых порах ей особенно

тягостными показались заботы по имению, так как у нее нехватало ни времени, ни умения решать такие, например, вопросы: нужны ли в данный момент в хозяйстве лошади или нет? А между тем, чуть ли не вся семья переходит на позиции отпа, не переставая в то же время пред'являть к матери определенные хозяйственные требования. Вполне понятно, что Софья Андреевна опять считает себя поставленной в невыгоднейшее положение, и в дневниках ее (как, конечно, и в реальных отношениях) вспыхивает резкий протест: «Свалив всю тяжесть и ответственность детей, хозяйства, всех денежных дел, воспитания, всего хозяйства и всего материального, пользуясь всем этим больше, чем я сама<sup>1)</sup>, одетые в добродетель, приходят ко мне с казенным, холодным, уже вперед взятым на себя видом просить лошадь для мужика, денег, муки и т. п.» (запись от 25 окт. 1886 г., стр. 132).

Чтобы реальнее представить себе все то поистине ошеломляющее количество всяких хозяйственных дел и иных забот, выпавших на долю Софии Андреевны, приведем еще запись от 16 декабря 1890 г.: «Да, я совершенно потеряла всякую способность сосредоточиться на чем-нибудь, на какой-нибудь мысли, чувстве или деле. Этот хаос бесчисленных забот, перебивающих одна другую, меня часто приводит в ошалелое состояние и я теряю равновесие... Во всякую данную минуту меня озабочивают: учащиеся и болящие дети, гигиеническое и, главное, духовное состояние мужа, большие дети с их делами, долгами, детьми и службой, продажа и планы самарского имения, издание новое и 13-я часть с запрещенной «Крейцер. сонатой», прошение о разделе с овсянниковским попом, корректуры 13 тома, ночные рубашки Миши, простыни и сапоги Андруши; не просрочить платежи по дому, страхование, повинности по имению, паспорта людей, вести счета, переписывать и пр., пр.» (стр. 155). Через месяц новая запись: «Трудно и тоскливо делать дела, легче сказать: я — христиа-

нин и ничего делать не могу, это не в моих правилах» (стр. 167).

А между тем, Софья Андреевна знает, что ее энергия «могла бы тратиться на лучшее», и Лев Николаевич раньше сам давал направление для выхода этой энергии: общеизвестен тот факт, что С. А. семь раз переписывала «Войну и мир». Аналогичные факты встречаем и в дневнике. 25 окт. 1878 года: «Вечером вдвоем делали обзор всей Левочкиной жизни для биографического очерка. Он говорил, а я записывала» (стр. 118). Она гордилась тем, что он делится с нею планами своих художественных произведений, ей даже кажется, что он «верит и слушает» ее суждения (12 ноября 1866 г., стр. 97), она мечтает быть «нянькой его таланта», сознает, что она могла бы быть полезной для потомства, записывая его умственную жизнь, «насколько способна следить за ней» (стр. 30). Но теперь все переменялось. 20 ноября 1890 г. С. А. отмечает: «Бывало, я переписывала, что он писал, и мне это было радостно. Теперь он дает все дочерям и от меня тщательно скрывает. Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни, и это невыносимо больно» (стр. 147). И каждая сторона еще крепче замыкается в свое: муж — в свои моральные искания, жена — в детей и хозяйство. Но если и раньше хозяйство казалось ей «каторгой», то подавно такое его восприятие остается и сейчас: «Всякий раз, как мне говорят, что меня ждут, что я должна что-то решать, на меня находит ужас, мне хочется плакать, и точно и в тиски попадаю, некуда выскочить; это навязанное мне по-христианству<sup>1)</sup> хозяйство, дела, это — самый большой крест, который мне послан богом» (11 дек. 1890 г., стр. 153). «Если спасение человека, спасение его духовной жизни состоит в том, чтобы убить жизнь ближнего, то Левочка спасся» (там же).

Этим гнетом хозяйства нужно объяснить, прежде всего, нелюбовь Софии Андреевны к моральным исканиям мужа («не могу полюбить его религиозно-

<sup>1)</sup> Вероятное преувеличение, вызванное раздражительностью. В. С.

<sup>1)</sup> Разрядка С. А.

философские статьи и всегда буду любить его, как художника») и прямо-таки ненависть к толстовцам, «темным», как она их называла: и толстовцы обернулись для нее, прежде всего, в их личном—хозяйственном и семейном—отношении к ней: «тяжелая повинность—принимать всех и вся» (стр. 145); «все они—народ тяжелый в семейной жизни» (стр. 176). Ей, привыкшей к материальному благополучию, претят внешние проявления толстовского опрощенчества: «... сапожные инструменты, сапоги, судно, грязь... Нет, никогда к этому не привыкну» (9 дек. 1890 г., стр. 151).

Муж чужд и непонятен, но около нее — дети, которых она так любила. Нет, конечно, ни малейшего преувеличения в ее словах от 27 авг. 1866 г.: «Я люблю детей своих до страсти, до боли, всякое малейшее страдание приводит меня в отчаяние, всякая улыбочка, всякий взгляд радуют до слез» (стр. 96). Но дети вырастают—и София Андреевна с ужасом чувствует, что и с ними она теряет общий язык: часть решительно стает на сторону отца, часть тревожит ее увлечением Стрельной, вином, картами и другими «пошлыми, противными страстишками» (стр. 134); она в отчаянии цепляется за самых маленьких и боится, что не сумеет воспитать и их, как не сумела воспитать и старших. Natura, несомненно, меланхолическая, она, под влиянием всех этих «тяжелых дней», не раз задумывается об уходе из дома и даже об уходе из жизни: «У нас в доме какой-то на всех и на всем тяжелый нравственный гнет... Мне тоскливо, больно и, как говорится, вот как дошло: думала нынче поехать к Илье, проститься со всеми и спокойно лечь где-нибудь на рельсы» (18 дек. 1890 г., стр. 154). Не забудем, что в это время ей уже было 46 лет — годы, когда тяга к самоубийству встречается чрезвычайно редко.

Так созданный «тесный кружок» со всем сдавил одну сторону и, несомненно, причинял немалые страдания и другой. «Работающая машина» — так совершенно точно определила себя София Андреевна в записи от 18 ноя-

бря 1878 года (стр. 123). Машина безостановочно работала в данном когда-то ей направлении, но тот, кто это направление дал, ушел теперь совсем в другую сторону. Но машина изнашивается, и С. А. с грустью замечает наступающее физическое потухание: «грудь болит, дыхание тяжело, женское состояние тоже тревожное и болезненное» (6 дек. 1890 г., стр. 149). Было время, когда молодость требовала своего. 29 лет от роду она записывает: «Меня радуют бантики, мне хочется кожаный новый пояс, и теперь, когда я это написала, мне хочется плакать» (стр. 105). Как характерно это желание плакать и еще характернее предыдущая оговорка о том, что она «с криком в душе» отрывается от всего, чем ее, «как и Еву, соблазнял дьявол». Собственно, весь дневник — свидетельство непрерывного отречения именно «от всего» во имя детей и мужа. Но много позднее «дьявол» опять начинает свои искушения, и Софии Андреевне, уже пожилой, кажутся ненужными и беспечными все ее многолетние отречения: «Сегодня гуляла... день удивительно красивый. Морозно, 14°, ясно; на деревьях, кустах, на всякой травке тяжело повис снег. Шла я мимо гумна... налево солнце было уже низко, направо восходил месяц. Белые макушки деревьев были освещены, и все покрылось светло-розовым оттенком, а небо было синее, и дальше на полянке пушистый белый-белый снег. Вот где чистота. Как она красива везде, во всем. Эта белизна и чистота в природе, в душе, в правах, в совести, в жизни матерьяльной—везде она прекрасна. И как я ее старалась блисти и зачем? Не лучше ли были бы воспоминания любви—хотя и преступной—теперешней пустоты и белизны совести?» (9 дек. 1890 г., стр. 150).

И еще и еще раз, уже перед закатом, отношения с мужем заставили ее страдать от его непоследовательности. В 1890 г. София Андреевна опять забеременела — уже после того, как была написана «Крейцера соната» и разработана в деталях теория аскетизма. В записи 25 дек. 1890 г. мы читаем: «Страшно забеременеть, и стыд этот узнают

все и будут повторять с злорадством выдуманную теперь в московском свете шутку: «Voilà le véritable «Послесловие» de la sonate de Kreutzer» <sup>1)</sup> (стр. 158). Совершенно ясно, что Софии Андреевне было «страшно и стыдно» не за себя. Предположения ее оправдались. Несколькими днями позже она заносит в свой дневник: «Очень нездоровится; сердцебиение, дурнота, дыхания нет и спина болит. Ужас берет, что все это признаки беременности. И немудрено бы было. Левочка нежен и все меня помнит, где я и что делаю. Ах, если б без этого были бы те же отношения! Но у него это редко бывает» (стр. 163).

Эти интимные моменты укрепляли Софию Андреевну в ее отношении к мужу. Она считает проповедуемую им простоту деланной, не настоящей, не раз говорит о его эгоизме и самообожании и возмущается намерением уничтожить старые дневники. Не раз с ее пера срываются резкие эпитеты, но на них мы останавливаться не будем, так как они вызваны очевидным раздражением, и делать из них какие-либо выводы было бы чрезвычайно неосторожно.

Но в представленном обзоре было немало мотивов устойчивых, уполномочивающих на определенные выводы. Эти выводы пытался сделать В. А. Жданов в книге «Любовь в жизни Льва Толстого» <sup>2)</sup>. К сожалению, характер отношений между супругами он считает только «результатом логического развития душевных склонностей Толстого, его жизненного опыта» <sup>3)</sup>, даже и не пытаясь показать, — что в таком большом труде было бы вполне возможно, — как эти душевные склонности и жизненный опыт, в свою очередь, неутомимо были обусловлены определенными экономическими, социальными, политическими и бытовыми

моментами. Кроме того, В. А. Жданов делает явную ошибку, утверждая, что София Андреевна после рождения первого же ребенка втянулась в хозяйство и лишь дважды проявила «минутный протест» <sup>4)</sup>: мы уже видели, как медленно и с какими частыми и мучительными протестами происходило это втягивание.

София Андреевна, несомненно, от семейного разлада страдала глубоко и постоянно, но выхода для нее быть не могло. Выше было сказано, что еще в родительской семье, типичной для патриархально-буржуазных семей, ее приучили к мысли, что не подлежащее сопоставлению назначение женщины — жить для самого «тесного круга». Ее мораль исчерпывается знаменитой фразой: «Привез с собой еврейку-любовницу, которую назвал своей женой только потому, что с ней живет» (стр. 151). В крестьянах, с которыми она так долго жила бок-о-бок, она чисто по-барски видела только темноту и грубость (см. стр. 162—163).

Но в то же время, пожалуй, не кто иной, как именно Софья Андреевна нанесла первый сокрушительный удар позднему толстовству, или «толстовизму», как она называла его иронически в своем дневнике: гораздо легче сказать: я — христианин и тем отмахнуться от наболевших жизненных вопросов. Своей собственной невеселой судьбой она нанесла удар и толстовству раннему, превращавшему женщину только в жену, мать и хозяйку.

Предложенный обзор с несомненной достоверностью свидетельствует о том, как своевременно поднят вопрос о перестройке семейных отношений. Грядущее социалистическое общество, конечно, не откажет женщине ни в высоком чувстве материнства, ни в праве на любовь, но оно даст ей возможность гармонически слить эти чувства с ее интеллектуальным и общественным самоопределением.

Старые устои семьи сгнили и не годятся; дневник С. А. Толстой — лучшее и яркое тому доказательство.

<sup>1)</sup> «Вот настоящее «Послесловие» к «Крейцеровой сонате».

<sup>2)</sup> В. А. Жданов. *Любовь в жизни Льва Толстого*. Кн. 1-я. М. Изд. Сабашниковых. 1928 г. Стр. 248.

<sup>3)</sup> Указ. сочин., стр. 236.

<sup>4)</sup> Указ. соч., стр. 114—115.

## 4. МИССИОНЕР ПРИЗЫВАЕТ К ОРУЖИЮ

Я. Фрид

Перед нами один из крупных современных писателей, счастливцев, который, будучи в расцвете сил, уже кажется читателям полуклассиком. Среди стилистической сутолоки современной французской литературы Жорж Дюамель сумел удержаться на островке спасения, сделал уравновешенность, гармоничность основными чертами своей писательской манеры. Для его художественной прозы характерны: лаконичность, прозрачность, отшлифованность, струя иронии и юмора, тонкий психологизм, настоящий лиризм. Магистральные мотивы его творчества—любовь к людям, искреннее сочувствие ко всем страдающим, обиженным, замученным войной, к существам ущемленным, придавленным капиталистическим строем, — все это дало Дюамелю право занять очень видное место среди гуманно, пацифистски, либерально настроенных писателей французской буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции — писателей, группирующихся около Ромэна Роллана.

Не ограничиваясь чисто художественной работой, автор «Жизни мучеников» и «Полуночной исповеди» занимается размышлениями философски-моралистского характера; среди «военной сутолоки» призывает к раскаянию и успокоению; не без надежды помочь уменьшению социальной сутолоки путешествует, как бы в качестве неофициального раз'ездного полпреда французской либеральной интеллигенции, посещает почти все страны Центральной и Южной Европы, Данию, Швецию, Финляндию, Голландию, СССР, Грецию, Тунис. Его отвращение ко всевозможным крайностям<sup>1)</sup>, ко всякому насилию над личностью, к разрушению, к любой социальной ломке, которая может совершиться, окончательно оформилось благодаря близкому созерцанию империалистической войны.

Технический характер этой войны, смахивающей на заводское производство, дал повод Дюамелю при помощи внешне логичных умозаключений обвинить современную высокую научно-техническую культуру в самом возникновении войны. Подобная реакция на войну 1914—18 гг. характерна для писателя, связанного с некоторыми слоями средней и мелкой буржуазии, с нисходящей социальной группой, которую индустриальный расцвет заставляет сжаться, отодвигает на задний план. Идеалом такой социальной группы является спокойствие, хотя бы относительное, неизменность положения, купленная, хотя бы ценой бездеятельности, пассивности. В полном соответствии с такими устремлениями Дюамель научно-технической цивилизации противопоставляет «моральную цивилизацию», «царствование сердца», призывает к бездеятельности, «культивированию мечты». «Только религия может восстановить мир в сердцах, во Франции и на земле. Но какая религия?»<sup>1)</sup>

Вполне логично было предположить, что в случае наступления революционной ситуации наш защитник спокойствия и права каждого человека на счастье в кругу близких встанет на сторону охранителей буржуазного порядка и спокойствия. Он действительно сделал этот шаг, даже не дожидаясь революционной сутолоки во Франции, в Европе. Только так и следует понимать речь о «духе Европы», произнесенную им перед французскими учителями, и опубликованную в немного дополненном виде<sup>2)</sup>.

«Беседа о духе Европы» распадается на три части (из которых больше всего внимания привлекает средняя).

1. Дюамель сообщает, что им проделана «смена вех». Он и теперь считает «истинной цивилизацией» только мо-

<sup>1)</sup> Неслучайно в его последнем романе «Грозовая ночь» проведен знак равенства между анархизмом, сумашествием и фашизмом.

<sup>1)</sup> О творчестве Дюамеля см. журнал «Печатать и революция» (1928 г., кн. VII).

<sup>2)</sup> Georges Duhamel. Entretien sur l'esprit européen. Aux éditions des «Cahiers libres». Paris. 1928.

ральную. Но абсолютный отказ от научно-технической культуры, от материальной цивилизации, оказывается, нужно пересмотреть. Невозможно ограничиваться одними «моральными ценностями»; для того, чтобы можно было жить, пришлось снова положить в «мешок цивилизации» и «некоторые» материальные ценности, без которых не обойдется даже «самая девственная мысль», — например, бумажные фабрики. (Восхитительная наивность. В таком случае, даже не изменяя узко-профессиональной точки зрения, необходимо амнистировать производство пишущих машинок и автоматических перьев.) «Я знаю, что для того, чтобы мысль шествовала по миру, в настоящее время необходимы: ужасная индустриальная сутолока, этот жгучий запах серы, это принесение в жертву целых лесов, ворчливость машин, дисциплина трудового народа».

Вместо проклятий по адресу «индустриального чудовища», — «почетное» перемирие с ним, подсахариненное самоутешением, что сие чудовище играет подчиненную роль, служит жрецам «чистой мысли», к которым принадлежит и почтенный автор «Беседы о духе Европы».

Нужно только не забывать, прибавляет он, что в самой двойственности современной «морально-материальной» цивилизации таится первая в н у т р е н н я я опасность, грозящая «духу Европы». Народы глубоко заблуждаются, переоценивая значение материальной части цивилизации, и он, Дюамель, относящийся к Европе как «внимательный врач», считает предостережение своим долгом.

Не грустно ли, напр., созерцать, как далеко ушли цветные народы в своем нелепом стремлении усвоить основы современной западной цивилизации. Япония, обладающая собственной древней и прекрасной культурой, приложила огромные усилия для того, чтобы в четвёрть века приобщиться ко всем практическим победам западной цивилизации. Стоило ли пускаться в «авантюру», из-за которой могут потускнеть прекраснейшие сокровища национальной культуры, — если все равно умение строить автомобили и

радиостанции не поможет овладению «тайнами» западной цивилизации? Культурнейший Дюамель не может не знать, что та же Япония набросилась не только на «практические завоевания», машины, изобретения, но и на собрания сочинений европейских классиков, в роде Флопера и Толстого, великих европейских мыслителей, в роде Маркса и Ленина. Но нашему спасителю «духа Европы», пропагандисту и «защитнику» великих мыслителей нужно показать, что тянущиеся к культуре цветные народы — дети, играющие с огнем европейской цивилизации. А детей допускать к огню нельзя, — это твердо знает каждый из слушавших Дюамеля французских школьных воспитателей.

2. Итак, — внутренняя опасность, грозящая «духу Европы», европейской цивилизации, заключается в том, что европейцы и подражающие им цветные народы преувеличивают значение «материального сектора» этой цивилизации. Но существует гораздо более серьезная опасность — внешняя: «восстание мира против Европы».

До «Беседы о духе Европы» Дюамель не был склонен к отчетливым высказываниям о колониальной проблеме. Правда, рассказывая в «Князе Жаффаре» («Prince Jaffar») о своем путешествии в Тунис, он не умалчивает о том, в каком тяжелом положении находятся работающие на плантациях туземцы, с которыми заведующие плантациями обращаются, как с беззащитными стадами рабов. При этом заведующий плантацией охарактеризован в «Князе Жаффаре» как единственный друг темных, беспомощных дикарей, как герой культуртрегерства, за огромное жалование не жалеющий своих сил. Но Дюамель заставляет об этом рассказывать самого заведующего плантацией, а собственное отношение к описываемому скрывает. Его дело — лишь информировать об этом интервью и окаймить информацию лиризмом пейзажа и своих переживаний. «Моя вила с краю, ничего не знаю».

Теперь Дюамель откровеннее. Его беспокоит «древняя вражда между Востоком и Западом», существование

которой он заметил еще в свои студенческие годы, в начале века. Эта вражда долгое время—до первого случая—не проявляла себя. «Европейские державы разделили между собой власть над миром. Они обладали средствами безусловного господства. Европейские знамена развевались над землей и над водами, от раскаленных пустынь до пустынь ледяных. Война 1914—18 гг. тяжко ослабила авторитет Европы. Западные державы должны были прибегнуть к помощи всех своих колоний. Для этих людей европеец всегда был несомненным господином, полубогом, ослепляющим и страшным. И вот цветные попали в Европу и вдруг открыли нового европейца. Не полубога, а жалкое животное, окровавленное, теряющее иногда даже надежду и гордость, боящееся холода, зноя, эпидемий, бесчисленных опасностей, подчиненное другим европейцам—своим господам, вождям. При этом в сердцах цветных не всегда рождалось чувство жалости к европейцам, потому что в их положении поддаться жалости трудно... Чаще всего они испытывали презрение. Кто был в колониях, тот хорошо знаком с этим презрением. Цветные поняли, что Европа—маленькая страна, раздробленная, терзаемая тяжкими несогласиями. Так зародился проект будущего освобождения».

Бесконечное усмирение Марокко, волнения в Египте, Сирии, Индии, восстания в Индонезии, которая щеголяет кровавой арифметикой, десятками тысяч восстающих, тысячами истребляемых и бросаемых в глубь Новой Гвинеи, бурное дыхание Китая, который то и дело пытается вести себя, как выходящий из берегов океан («в танец вступил Китай», игриво говорит Дюамель), признаки зреющего волнения в Индо-Китае, замеченные большинством побывавших там французских писателей, «тихоокеанская проблема», — возникновение всего этого объясняется по-дошкольному просто: пришли—увидели—ушли—решили.

Внимание привлекает, конечно, не это обывательское, «иловайское» объяснение, а резко отчетливое отношение Дюамеля к проблеме Востока-Запада.

Здесь—мы, повелители, там—они, рабы. Они пытаются выйти из повиновения, и это грозит гибелью нашей цивилизации. «Восстание начинается... Цветные надеются в один прекрасный день вполне пристойно, без всякого насилия, воспользоваться нашим оружием (материальной культурой.— Я. Ф.), чтобы напасть на нас и уничтожить. Но, несмотря на недостатки Европы, заблуждения европейцев, западная цивилизация содержит великоценные сокровища, хранителями которых являемся мы и исчезновение которых мы допустить не можем». Типичная предвоенная увертюра. Цветнокожий океан собирается выйти из берегов. Чернорылые, желтопузые, косоглазые хлынут на «нас» слоняют «нашу» древнюю цивилизацию, наши размышления, романы, наш философский уют. Необходимо спастись. Нужно....

Прежде всего нужно попробовать огородиться Советским Союзом.

Француз, приезжающий в Берлин, чувствует, что столкнулся с родной цивилизацией (читайте: «капиталистической»—Я. Ф.), находит один из обликов родины. От Парижа до Москвы не больше трех дней езды. «Но я смог убедиться, что Москва ужасно близка к Китаю, что дальневосточные события зарождаются именно там, под светом, о котором в Западной Европе имеют слабое представление». Отсюда не следует, что Европа должна отплатиться от Москвы. Отбрасывать большой СССР от маленькой Европы—значит способствовать ее «смертельному ослаблению». Как и в «Путешествии в Москву», Дюамель протестует против этого. СССР должен остаться в «европейской семье», должен защищать ее от Востока. Получится приятная комбинация: Запад, затем—1-й буфферный слой (Польша и другие государства-буффы), далее—буфферный СССР и, наконец,—Восток. Нечто в роде водонепроницаемой переборки.

3. Дюамель изменил бы своему философскому «методу», если бы не придал к своей речи в качестве концовки некую словесную туманность, до отказа насыщенную человеколюбием.

Он бросает укоризненный взгляд на тех, кто откровенно предлагает расправиться с восстающими рабами при помощи оружия. О, нет, он против оружия, он против войн! Наоборот, он предостерегает! Все можно легко уладить, воспитать в себе неистребимую способность любить ближних. При помощи умиротворяющего, просветляющего чтения и удовлетворяющих любознательность путешествий нужно выработать в себе «европейский патриотизм», «интернациональный патриотизм». Колониальную проблему необходимо перевести на новые «рельсы»—моральные; на туземцев следует влиять добром. Спасение в идеализме, а не в холодной рассудочности. Вот чему должны учить своих воспитанников школьные учителя.

Эти прекраснодушные расплывчатые фразы не дают никакого ответа на самим же Дюамелем поставленный вопрос: как избежать «цветной опасности»? Разве, «задабривая» «низшие» расы, можно отбить у них охоту приобщиться к современной цивилизации? А ведь в этом—половина опасности. Если, как говорит Дюамель, колониальная проблема слишком сложна, чтобы ее можно было разрешить одним словом, а отказаться от колоний он «не хочет»,—то как будет пытаться разрешить эту проблему фантастическая, любвеобильная империалистическая Европа, ежели опять-таки не силой оружия? Бесполезно искать ответ в «Беседе» Дюамеля, держащейся не на логическом каркасе, а на эмоциональном.

Неопределенные, сладковатые пасторские фразы Дюамеля прочно забываются, а резкая постановка вопроса о близкой опасности и необходимости защищаться (вернее—наступать), должна была врезаться в память и слушателей речи о «духе Европы» и читателей ее.

Занятнее всего, что положение Дюамеля трагикомично. Подите-ка, докажите этому маститому, презирающему заводчиков, банкиров, грубых «людей действия», что он, защищая свое возлюбленное спокойствие, выступает в качестве их пропагандистов. Невидимая, эластичная, крепкая пуповина, соединяющая «философа» с его классом, незаметно для него регулирует его действия. А субъективно он прав, невинен, чист, как облако в штанах,— он, «хранитель сокровищ древней цивилизации», спасает врученное ему, старается предотвратить войну.

Этот полуклассик, опытный специалист по любви к людям и сочувствию страдающим, речи которого полны благолепия, даже несмотря на его остроумие, этот миссионер французской либеральной интеллигенции, вероятно, сам того не замечая, делает классический жест всех миссионеров, носителей любви и культуры,— жест, которым благославляют и одновременно приглашают к следованию за собой вымуштрованный порох и исполнительную, быструю сталь.

В то время как лучшие из либерально настроенных европейских интеллигентов участвуют в конгрессах «Антиимпериалистической лиги», стремящейся помочь колониальным народам,— Дюамель, тоже один из «лучших», исполняет нечто в роде довольно неблагоприятного дуэта с маршалом Лиотэй. То обстоятельство, что видный пацифист, человеколюбивейший буржуазный интеллигент, занял явно непацифистскую позицию, свидетельствует о росте психологической подготовленности западной не только крупной, но и средней, а отчасти, быть может, и мелкой буржуазии к новой войне, к усмирению мятежных рабов всех оттенков кожи, при чем заранее привыкают к мысли, что эта процедура не удовлетворится меньшим размахом, чем мировой.



## 5. ДЕРЕВЕНСКИЕ ОЧЕРКИ

Борис Левин

### Адыгум

Дорога на Тамань. Исторический путь отрядов Ковтюха. Путь, по которому неумоимо лился героический человеческий поток.

Десятки верст едем остывшей степью, золотыми садами, рдеющими виноградниками. Южное солнце греет поднимающуюся озимь, отдавая земле последние запасы настоящего тепла перед непогодой, норд-остами, дождями. И сюда, к югу, придвинулись дни дремного ненастья.

Обгонит наша тачанка длинную цепь телег на дороге,—и безлюдно в степи, об'ятной величественной тишиной. Идут длинно вытянутые казачьи станицы, богатые хутора, крепкие дома под железными крышами, с кряжистым бытом, замкнутые в себя дома.

Тишь, немота в широких степных просторах. Где жизнь? Ушла ли она с последним знойным закатом за далекий тын, затихла ли с последней жатвой, спряталась ли на зиму в крепкие дома? Людно только у дома с широким крыльцом, где—сердце деревни—сельсовет, где уполномоченные хуторов получают избирательные повестки, спорят об избирательных списках, о лишенцах. Людно еще у кооперативной лавчонки, где толпится народ за ситцем, за гвоздями. А минешь эти редкие людные пункты, и опять тихо, грустно в необ'ятных степных просторах.

Недалеко от Павловки, где нужно остановиться и узнать место ближайших выборов, тишину степную вдруг неожиданно, некстати пререзает лихой свист, горланистая хрипая песнь под пьяную гармонику.

— Смотри, — говорит возница, — свадьба.

Вскачь, в бешеном вихре проносится свадебный поезд. Лиц не видать, мелькают пестрые платки, кубанки, цветы на людях, на лошадях, ленты, иконы. Глухие удары в бубен. Неистово бьют люди ложками в медные тарелки. Жутким эхом отдается этот

пьяный карнавал далеко на горизонте и стынет в прохладной синеве.

С последней повозки отставший от свадебного поезда человек, с красными вздувшимися скулами, тяжело кричит:

— Дид Михайло, куда едешь?

— Везу людей до вас на выборы.

— Да какие выборы, когда скрозь гулянки, свадьбы.

Добродушный, лукавый дид Михайло качает головой, оборачивается к нам:

— А револьверты у вас есть?

— А зачем, дед?

Дед Михайло молчит, а потом так, мимоходом, роняет:

— Да лучше в кармане иметь... Места буйные и хмельные... Вот как бы нам спокойно ворота Адыгумские проехать...

Второй свадебный поезд остановился недалеко от в'езда в Павловку. Без песен. Без музыки. Оказалось, повозка с невестой наскочила с разгона на пень, разнесло бричку, переломаны в куски оглобли, искалеченная невеста увезена в больницу.

Павловка встретила третьей свадьбой. А в сельсовете павловском, у секретаря узнаем, что центр свадеб на хуторе Адыгуме. На том самом хуторе, на котором назначены сегодня перевыборы. Предвыборная агитация хуторских кулаков провалилась, вот и решили в противовес перевыборам сюрприз устроить — свадьбы. Время как раз свадебное. Пospело молодое вино. Смолотили хлеб. Можно разойтись безбрежным пиром, и если накануне школьные ребятишки прыгающими строками выводили избирательные повестки и сами же разносили их, то пьяные шафера, разодетые, напомаженные, занесли адыгумцам шишки из теста — своего рода пригласительные билеты на свадьбу.

Дед Михайло подстегнул лошадей и в предчувствии отдыха, овса лошади внеслись в Адыгум.

Адыгум. Огромный хутор из двухсот хозяйств, с каменными избами,

широкою улицей очумел от сивухи, виноградного вина, пляшет, исходит пьяными песнями, бабьим визгом, дракою, хохотом.

Не описать адыгумского веселья, размашистого, пьяного, буйно-веселого, богатого скоморошьими чудачествами.

Вдоль улицы шатается черная фигура. Идет парень, лицо густо вымазано сажей и кровью. В руках трепыхается курица с оторванной головой. За этой фигурой еще несколько таких же, в окружении гогочущей толпы. Что это такое? Это переодетые под цыган шафера ходят по домам, собирают свадебную дань живьем. Кто не даст, у того просто побьют птицу, пустят по двору перинную метель. Бьют без разбора цыплят, кур, уток, гусей. Бьют с шумом, визгом, сладострастием.

Из свадебного дома несется хохот, перемешанный с криками и стонами. Гостей в рядне качают. В широкое рядно повалили мужа с женой и качают. Качают до обморока. Качают до тех пор, пока не добьются большого свадебного могорыча.

— Даю полведра, отпусти ребята, заморили...

— Мало...

— Ведро...

— Мало! Качай, ребята!

Один из парней сел на мучеников тяжелым неповоротливым медведем.

На двух ведрах договорились, оставились, выпустили из широкого полотно двух смертельно бледных людей. Бывали случаи, на Адыгуме качивали до смерти. Вот она, средневековая жестокость, могучая страсть, исконный казачий быт.

Отыскали уполномоченного районно-избирательной комиссии, тов. Куриллов. Толковый парень, заведующий райземуправлением. Донецкий шахтер, бывший красноармеец. Рябое, энергичное, мокрое от усталости лицо. С утра человек носится по хутору. Обессилел.

— Понимаете, перевыборы назначены на 2 часа. Уже 5, а собрания созвать нельзя... Ну, и народ... Что подедаешь, свадьбы, пьянки.

Адыгум потонул в свадебных пирушках, в пьяном разгуле. Адыгум не

хочет перевыборов. Адыгум, его зажиточная часть, злобствует, гогочет над тем, что его зовут выполнять избирательный долг.

— Подготовка к перевыборам, — рассказывает тов. Куриллов, — шла туго...

На 15 сентября назначено начало отчетной кампании. До октября предполагали провести отчетные собрания на 14 участках. Но это только план. В действительности к 20 октября с большим трудом удалось собрать избирателей на 9 участках. И при этом 20 процентов явки. В продолжение двух недель пять раз на Адыгуме собирали отчетные собрания и не могли созвать. Каждый раз собрания срывали хуторские кулаки. Срывали, не стесняясь. Срывали нагло, открыто. Срывали организованно, какими угодно методами. Отчетные собрания срывались под видом выпивок, на которых спаивалась беднота, под видом крестин, именин, поминков, продажи коров с могорычем. Зажиточная часть Адыгума освистывала тех, кто приходил звать на собрания. Запугивали бедноту на Адыгуме. Зажиточный хлебоборок встретит бедняка и спрашивает:

— Куда собрался?

— На собрание.

— Ну, бисова душа, я тебе запахаю, ковырайся теперь палкой...

Беднота на Адыгуме в загоне. Она до последнего года без земли. Очень мало усилий проявила павловская ячейка, чтобы организовать бедноту в период избирательной кампании.

«Первая отчетная кампания, — пишет в своем докладе тов. Куриллов, — не была достаточно подготовлена сельсоветом и партийной ячейкой. Отчетная кампания началась без соответствующей работы с беднотой и активом, а также не был достаточно предвительно подготовлен вопрос об инструкторов отчитывающихся членов сельсовета. А самое главное, что члены ячейки отнеслись, в общем, безответственно к поручаемой им работе».

Павловские коммунисты отнеслись безответственно к избирательной кампании. Зато с полной ответственностью, с избытком энергии, инициативы работали лидеры кулачества.

На хуторе Адыгуме собирается ряд групповых кулацких собраний. Первое заседание у Кульсенко, Ивана Кузьмича, второе — у Савченко. Собрания созываются под видом соседской выпивки.

На этих заседаниях широко разрабатываются планы проведения избирательной кампании. В первую очередь — поднять широкую агитацию среди населения за неявку. А если собрания соберутся, их нужно дезорганизовать через бедноту и женщин. Эта ставка на женщин — не зря. Женщины — активная часть населения Адыгума. Революция подняла бабу, в особенности партизанскую вдову, от печки, коромысла к общественному делу. Баба рвется к брадам правления, в сельсовет. Баба организуется на Адыгуме в коллектив. Но есть на Адыгуме остальные женщины, цепляющиеся за старину, за суеверия.

Методы проведения кулацких затей через женщин на Адыгуме не новы. Они были использованы кулаком Савченко и Дехтеревым при проведении землеустройства.

— Сельячейка вела себя пассивно, — возмущаясь, говорит тов. Курилов.

— И потому, что коммунисты в начале кампании были в стороне и не давали отпора разгулявшемуся кулачеству, и потому, что никто не ударил по рукам бывшего атамана, кулак напел больше, укреплял свои позиции. Выходил на широкую деревенскую улицу, протягивал щупальцы к бедноте. Боролся с беднотой и советской властью, думая что-нибудь выгадать для себя. Боролся не в одиночку, а группами. Боролся не исподтишка, а открыто.

В шестой раз удалось на Адыгуме собрать отчетное собрание. На этом собрании выступает бывший председатель вика, изгнанный в последнюю чистку по Черноморью из партии, с резолюцией по докладу сельсовета.

— Работу сельсовета признать удовлетворительной... С наших ничего не возьмешь... А работу ЦИК СССР и всей советской власти считать неудовлетворительной...

Беднота и середняки возмущались, выступали против такой резолюции.

Во вторую отчетную кампанию ячеек усерднее взялась за дело. И работа пошла другая. В 21 населенном пункте Павловки созываются собрания с отчетами сельсовета и в 2 пунктах с отчетами рика. Явка около 60 процентов.

Соберутся сегодня на Адыгуме или придется отменить выборы? Что возьмет верх — свадьбы или перевыборы?

Часам к семи, к темному вечеру, хутор затих. Слышен был только лай собак, да на краю села лилась мирная голосистая песнь молодежи, тех, кто сегодня без дела, тех, кто не достиг еще избирательного возраста.

Открыли два собрания. Одно в школе, другое под навесом сарая у зажиточных братьев Баранчиков. На широком дворе кончили доить коров, напоили коней. Бесшумно толпились в темноте народ. Главным образом, бабы. Говорили между собою втихомолку, похоже — шептались. Прислушался. Думаешь, о горшках бабы беседу вели, о бабьих горестях? Далеко не об этом. Тема была важная. Речь шла о том, чтобы использовать приезд человека из района, власть, и устроить сегодня организационное собрание нового коллектива «Партизанская вдова». Внесли из избы скрипучий стол. Сложили бумагу, поставили склянку чернил с мухами. Уселся народ, кто как мог. Одни на скамейках, другие — на корточках. Кто пришел в новом люстриновом пиджаке, стоял и стерегся, чтобы где не обмазаться, чтобы не унести следов навоза на себе. Покачивался зацепленный за крючок фонарь, бросая маслянистые блики на смушковые кубанки, на строгие, натруженные лица, на румяные щеки молодых хозяек, на коренастые бороды, на человеческие морщины.

Уполномоченный пересчитал присутствующих и объявил заседание открытым. Кто-то поднялся в углу и сразу стал говорить о налоге, выкладывать жалобы. Из другого темного угла раздался недовольный голос:

— Агронома нужно, насчет озими посоветоваться.

— Да, урожай дело главное, — подержали другие голоса.

— Подождите, граждане, — прервал уполномоченный, — сначала наказ зачитаем.

Читали наказ долго.

Другое собрание в школе, более многолюдное. Школьная комната далеко не вместила всех присутствующих. Пробрался я в коридор. Горячий баный воздух густо ударил в лицо. Ударил и оставил. Душно до дурноты. Раскрасневшиеся потные лица. Мокрые спины. Тяжелый дух человеческой испарины. Зачитывали наказ. В наказ вошли прения и предложения, взятые из отчетных собраний. Говорилось о правильном обложении сел.-хоз. налогом: кое-кого из кулаков в этом году недообложили и наоборот. Говорилось в наказе о большем руководстве со стороны рика и сельсовета сельским хозяйством и землеустройством.

— При более правильном землеустройстве на хуторе Адыгуме и Новогеоргиевском можно охватить больше населения колхозами.

Поручали будущему сельсовету правильно распределять кредиты. В последнюю посевную кампанию некоторые середняки получили вдвое больше бедняков. Поручали правильно распределять лес и следить за тем, чтобы зажиточные не занимались лесной субарендой.

— Курс на поднятие сельского хозяйства, на колхозы, — так гласил один из основных пунктов наказа.

— Кто за наказ, прошу поднять руки, — говорил тов. Куриллов, делая ударение на слове прошу.

Медленно, неровно, в разных концах в разное время, поднимались руки, грубые, с пожелтевшими от махорки пальцами, натруженные землей, горшками, кизяком.

— Единогласно.

— А нас чего не считаете, чего забыли? — голосил коренастый человек из коридора.

Потом выбирали членов сельсовета. Выкликали с мест фамилии. Горячилась преобладающая на собрании женская часть, баб чтобы не обидели. И собрание не обидело. Выбрали в сельсовет женщин-беднячек, партизанских вдов. Выбрали Екатерину Гребенюк,

Надежду Милашенко, Анну Павлюченко. Выбрали и из мужчин — одного бедняка и двух середняков.

Выбирали еще общественного прокурора.

— Человек этот должен быть кристаллически честным, понимать наши задачи, пользоваться доверием, — громко, подчёркивая каждое слово, объяснял тов. Куриллов собранию.

Молчало собрание минут-другую. А потом пошептались и выбросили в напаренный воздух несколько фамилий. Из них одна прозвучала разноголосым хором:

— Морозова, механика с мельницы... Рабочий, дело понимает...

Большинство поддержало. Только с первой скамьи поднялась женщина со свалившимся с головы платком, растрепанными волосами:

— А забыли, что у него в кооперативе недостача была в 11 руб. и что корову для этого продавал?

Но сразу выяснилось, что — клевета, что Морозов ничем себя в глазах хутора не осрамил, что человек он достойный. Отвод не удался.

— Неправильностей, граждане, не было? Никто не имеет заявления о неправильном ведении собрания?

— Правильно, все правильно...

\* \* \*

Ночь. Слепо смотрят на улицу хаты, дома враждебными, настороженно-прикрытыми окнами. Крепко закрыты калитки каменных заборов, двери. Злые клыкастые псы стерегут скот, хозяйское добро. Подойдешь к забору, и накинется на тебя зверь с ревом. Обычно в эти часы хутор спит. А сегодня встревожен.

Ночуем вместе с тов. Курилловым у братьев Баранчиков. Просторная хата из нескольких больших комнат. В комнате, в которой угощали нас обильным ужином, длинный стол, крепкие скамейки, большие старые иконы в углах. На одной из стен двуглавый орел, в который всажен портрет отца Баранчиков. Портрет того, кто поставил этот крепкий дом, кто завел богатое хозяйство и завещал его двум сыновьям.

Завещал вести культурно, крепко, в сытости.

До глубокой ночи вспоминали братья, как приходил через Павловку Ковтюх, как старшее поколение организовалось в адыгумскую роту, как бросали хозяйства, жен, детей и на своих лошадях уходили бить калединские казачьи части.

— Нам, гамселам, плохо доставалось.

Гамселы — не казачье население. И между казаками и гамселами веками идет глухая вражда, временами доходящая до кровавых драк, до побоищ.

Подробно рассказывали братья, где и как шел бой, сколько людей где погибло. Во время разговора открылась дверь, стукнула о пол тяжелая палка.

— Вот это — брат наш, без ног... В 1926 году только отыскался. Отец погиб от пули, другой брат пропал неизвестно где. Нас всех перепорол телефонным проводом...

В комнате, в которой уложили нас с Курилловым спать, на стене висят старый опачканный мухами портрет Калинина, портрет Маркса, плакаты о займе индустриализации, о коллективизации сельского хозяйства.

Крепок был сон на широких кроватях, на вздутых перинах после шумного, богатого впечатлениями дня.

\* \* \*

Ранним серым утром тонул хутор в кизляковом дыму, в пряных запахах печеного хлеба. Светились окна огнем из печей. Далеко, на краю хутора, у Анны Гребенюк собрались те, кто организуется сегодня в коллектив. Собрались бабы в возрасте 30—50 лет. У Анны Гребенюк тесная низенькая хатенка с глиняным полом, небольшой стол, легкая прыгающая скамейка.

Агроном открыл заседание и представил слово товарищу из района. Всяческую поддержку обещал тов. Куриллов от районного земстдела. Обещал выхлопотать долгосрочный кредит, кое-что из машин, огородные семена.

— А скажите нам напрямик, — землю получать или нет?..

Запугивали бедноту на Адыгуме тем, что советская власть в 1929 году

кончатся и землю отнимут. Да, это на хуторе Адыгуме, на собрании беднячек у нас серьезно, с тревогой спрашивали, правда ли, что советская власть может кончиться в 1929 году и можно ли получать бедноте вновь отрезанную землю. Ибо всем этим бабам, без посторонней помощи, сознанием и нуждой дошедшим до мысли об организации коллектива, угрожали:

— Не радуйтесь вашей организации. Получите землю, все равно отнимем.

И вот,—получать землю или нет? А беднота без земли. Только в 1928 году в Павловке проходит социалистическое переземлеустройство. Только в этом году явились землемеры, техники, чертежники, стали отрезать десятки гектаров у одних и делить их между безземельной беднотой. До этого года население было наделено землей по мощности. Кулаку, имевшему несколько сложных машин, несколько лошадей, трактор, полагались десятки гектаров, а бедняку, с худой лошаденкой, отрезали где-то далеко жалкий кусочек земли, негодные солонцы.

И когда мы вместе с тов. Курилловым раз'яснили всю нелепость выдумки врага, прошел по хате не то легкий гул возмущения, не то вздох облегчения.

Анна Гребенюк, женщина с городским лицом, острыми серыми глазами, инициатор создания коллектива, сидела сначала спокойно, подперши рукой щеку, слушала, что-то про себя размышляла, а потом заговорила:

— Разрешите, товарищи... Первым делом раз'ясните нам, будет ли куда коллективу овощи сдавать. Слух такой идет, что в Крымской консервный завод закрывается.

И этот слух оказался провокационным. Какими угодно слухами хуторские кулаки отбивали бедноту от организации коллектива.

\* \* \*

В станице Крымской, в большом каменном доме рика, среди бесчисленных столов, бумаг, людей, отыскивали мы районного статистика и получили цифровую справку о Павловке.

Павловский сельсовет объединяет

1.214 крестьянских хозяйств—6.198 человек.

Доходность облагаемых хозяйств по Павловке:

Доходность на 1 хозяйство:

	Число хозяйств	Число едоков
От 5—50	78	245
» 50—100	88	293
» 100—150	102	388
» 150—200	138	275
» 200—300	244	1.189
Свыше 300	654	3.814

Таблица эта навела на раздумье. По этой таблице в районе и округе судят о социальном лице Павловки. По этой таблице выходит, что большая часть хозяйств в Павловке имеет доход почти не свыше 300 рублей. Что означает это «свыше»? Ведь только на Адыгуме около двух десятков хозяйств имеет каждое доходу 1.200—1.500 руб. И нет ли среди 654 хозяйств, относящихся к последней группе, десятков и даже сотен хозяйств с доходом свыше 1.000 руб.? И если самые зажиточные хо-

зяйства почти не выходят из нормы дохода в 300 рублей, значит, на Павловских хуторах, которые издавна слывут во всем районе кулацкими, нет ни кулаков, ни зажиточных. Не есть ли это замазывание острой классовой борьбы в крепких, еще не изживших глухой вражды к новому казачьих станицах? И нельзя ли к этому еще присоединить широко распространенный в Крымском районе термин «крепкий середнячок».

— Кулака настоящим именем называть бояться, — объяснил нам этот термин один из районных работников.

\* \* \*

К концу дня узнали мы в рике, что на остальных Павловских хуторах выборы прошли с большим успехом. Явка около 80—90 процентов. Узнали, что кулаки, несмотря на агитацию, на свадьбы, на могорычи, остались ни с чем. Беднота, батраки, середняки заполнили советы.

Черноморье. Декабрь.

## 6. ПО ГОРНОЙ ОСЕТИИ

(Путевые заметки)

Елизавета Кокиева

Из Лаца через Мизур, Садон и Эгид, в Фаснал, Махческ, по всей Дигории, почти до истоков могучего и грозного Уруха. Какое богатство образов и типов! Как ярко вырисовывается весь внутренний мир северной, горной Осетии — этой своеобразной, затерявшейся в горных громадах страны. И каждое из трех ущелий — Куртатинское, Алагирское и Дигорское — имеет свой резко очерченный облик, свой определенный характер и быт, сложившийся под влиянием местных экономических и природных условий.

Везжаем в Куртатинское ущелье. Медленно двигается, то утопая в грязи, то немилосердно подпрыгивая по каменистой, прорытой фиагдоном долине скрипучая осетинская арба. С первых шагов поражает безлюдье. Вот

Дзивгис, Далакау, всюду заколоченные, полуразрушенные хадзары<sup>1)</sup>, на первый взгляд аул кажется вымершим; но вот, привлеченная скрипом колес, с бешеным лаем выскакивает откуда-то собака, за ней другая, третья, — целая стая, раздается голос хозяина, появляются редкие оставшиеся обитатели, из дверей выглядывают с любопытством женщины, и грязные, полуодетые мальчуганы большими, изумленными глазами из-под нахлобученных войлочных шляп-лопухов оглядывают приезжих, девочки сгрушировались поодоль.

«Уа бон хорз!».— «Куда вы едете?».— «В Лац, в Лац, на родину отцов».— «Валлахи, биллахи! Это не родина отцов, а

<sup>1)</sup> Жилища горцев.

родина собак!...». Так характеризуют сами пронцы это обиженное природой, полупокинутое населением ущелье. Недостаток пахотной земли и севокосных участков заставляет жителей заниматься исключительно мелким скотоводством, далеко не обеспечивающим семью; в результате—массовое выселение, бегство на плоскость наиболее передовых, предприимчивых жителей, на месте остается или обеспеченная или наиболее консервативная часть населения без всяких перспектив на будущее, остается бездействовать, продолжая раз навсегда установившийся порядок жизни, целыми днями строгая палочка из нихасе<sup>1)</sup>, изредка справляя полужызыческие кувды<sup>2)</sup>.

Лац—исключительно ценное в археологическом отношении место, но жители ревностно охраняют неприкосновенность старинных склепов, приписывая их своим предкам и боясь осквернить память последних. Подземные могильники, от времени сравнявшиеся с землей и едва заметные по торчащим уголкам шиферных плит даже опытному глазу археолога, местные жители считают принадлежащими древнему народу царциа, по преданию задолго до прихода осетин населявшему ущелье, и позволяют произвести в них раскопки, считая, впрочем, своим долгом предупредить исследователя о грозящих ему неприятных последствиях: «В молодости я тоже был смелым, думал найти золото в этих могилах и стал копать. И что же? В ту же ночь пришли ко мне потревоженные мною покойники и мучили меня так до тех пор, пока я, весь в холодном поту, не поклялся им справиться поминки. На следующий же день зарезал много баранов, сварил 3 котла пива и много араки. Помянули их всем ущельем. С тех пор—как рукой сняло, не приходили больше ко мне». Тщетно пытались мы найти работников, — даже за деньги (а деньги так редки в горах) не находилось охотников помочь нам в раскопках: «Гробокопатели не пользуются у нас доброй славой» — говорили вокруг. Согласились двое, — один из них местный хра-

нитель древностей, назначенный музеем Краеведения, очевидно, считал себя обязанным помочь исследователям в их изысканиях, другой — беднейший в ауле, безлошадный бобыль, повидимому и так уже не дороживший своей репутацией.

Как раз над Дзивгисом высится искусно сложенное, вделанное в скалу укрепление; оно так хорошо замаскировано, что приходится только удивляться стратегическим познаниям народа, соорудившего его. Заглядываем внутрь, — широкая вначале арка через несколько шагов начинает быстро суживаться до размеров тесного тоннеля и вскоре разветвляется надвое. Дальше следовать жутко. Кто блуждал по этим катакомбам? Какую историческую тайну хранят они? Куда же, наконец, выходит этот тоннель? И как бы в ответ на последнюю мысль проводник сообщает легенду: «Один раз из Куртатинского ущелья пустили в эту пещеру кошку, и много времени спустя она вышла в небольшое круглое отверстие в скале Алагирского ущелья, значит, кошка прошла насквозь под хребтом, отделяющим нас от соседней долины».

Есть в селенье Нихас «трибуна нартов» — местная достопримечательность и гордость стариков. По преданию — это место сборищ древних «царциа». Кто принес сюда и поставил в кружок около 20 гигантских камней-кресел, обточенных и сглаженных, словно от долгого и частого употребления? Чья рука искусно выдолбила это «председательское» кресло с круглым отверстием — коновязью в спинке, удобной подножкой и местом для трубки? Не донесла до нас память народная.

Царциа, древний народ царциа. Сюда собрались со всех ущелий могучие нарты, привязывали своих коней к спинкам кресел, а сами садились в кружок по старшинству, вот так же, как и сейчас сидят старики.

Может быть, оттого, что усталость так сладко сковала все члены, а заходящее багровое солнце фантастическим светом обливает утесы, и предметы бросают преувеличенно большие тени или потому, что из ущелья медленно, медленно, словно дымовая завеса,

1) Место, где собираются посидеть старики.

2) Пыры.

клубясь, выползает туманная пена, оттого, что взор этого старика то теплится тихой таинственной грустью, то гордо вспыхивает в ответ тем подвигам любимых героев, о которых он повествует, — кажется мне, что в этот вечер древние нарты вновь посетили свой нихас, собрались еще раз, чтобы приоткрыть нам завесу далекого прошлого. Вот он — старый Урузмаг, борода которого ослепительнее снежно-белых вершин Кавказа. Вот Сослан и Батраз и лукавый, злоязычный Сырдон, опершись на свои крючковатые палки-жезлы, изредка кивают головами, с улыбкой вспоминая героические дни своей молодости. И хочется, чтобы больше, больше рассказали они, боишься, что не успеют: вот-вот приблизится эта белая пена и ревниво скроет от нас то, что принадлежит неведомому седому прошлому.

Спит ущелье в плену вековых традиций и суеверий, веянье революции мало коснулось его. Правда, христианские церкви закрыты, население легко отказалось от них: православие не пустило в горах глубоких корней, но полуязыческие верования еще крепки в народе.

Мистицизмом, выработанным постоянной зависимостью скотовода от природной стихии, от капризной случайности, проникнут весь быт. Свято оберегаются от нескромного глаза древние молебны, обвешанные священными амулетами, лоскутками и рогами принесенных в жертву животных; только трое избранных имеют доступ к их сокровенным тайникам. А там, у дороги, лежит камень, огромный камень древнего мифического народа царциа, и всякий проходящий должен возложить на него маленький камешек, иначе не будет ему счастливой дороги; даже некоторые травы приносят несчастье: «Бросай эту траву, нехорошая трава, все дело твое не удастся, — тщетно уговаривает меня старик, указывая на высокий молочай, — не носи ее в дом, случится несчастье».

Давят горы, маленьким и бессильным кажется среди них человек, он не пытается подчинить себе силы природы, он трепетно склоняется перед ними, слепо ввераясь судьбе...

На ишаке через Кевонский перевал поднимаемся в область альпийских лугов, пушистых и красочных, словно богатый персидский ковер. Перевалили в Алагирское ущелье. Вот и Унал, слышится изредка русская речь, свободнее и проще держатся женщины, навстречу группа комсомольцев, о чем-то горячо беседуя, возвращается с собрания. По широкой шоссеной дороге тяжело потянулись арбы, нагруженные сероблестящей свинцовой рудой. В день из Садонских рудников в Мизур на одной лошади можно доставить пудов 50, а за каждый пуд привезенной руды платят 12 к. Хороший заработок для местных жителей! Темнеет, за поворотом дороги в сгустившихся сумерках горного вечера вырастает перед нами весь залитый электрическим светом Мизур — своеобразный рабочий городок, приютившийся среди отвесных скал, вблизи цинковых рудников. Трехэтажное каменное здание завода день и ночь своим железным, мощным гулом соперничает с сердитым рокотом Ардона. В тесной маленькой школе работает кружок политграмоты, шахтеры приходят сюда усталые после целого дня мучительно-трудной работы; а там, на площадке, обсаженной деревьями, в уютном зеленом уголке на берегу реки под наблюдением руководительницы играют их дети, звонким смехом оглашая ущелье. Несколько в стороне от Военно-Осетинской дороги — другой, еще более крупный рабочий поселок — Садон. Странное, непередаваемое впечатление производит сопоставление сложных технических достижений с первобытной дикостью природы и примитивным укладом жизни соседних аулов. Мощная электростанция, подающая энергию в шахты, освещает сотнями электрических лампочек весь рабочий поселок; бурные горные потоки, заключенные на протяжении нескольких верст в турбины, аптека, амбулатория, клуб, кооперативы с московскими товарами, общественная столовая, дом для приезжающих, прекрасные, почти шоссеные дороги, телеграфные столбы, автомобиль из города, — а там поодаль, на недосыгаемой высоте, прилепившись к скале, словно птичьи гнезда, ютятся



аулы и редкими, подслеповатыми огнями мигают в ночной темноте, словно старики из-под седых нависших бровей с осуждением, а может быть, и с тайной завистью поглядывают на полную творческих сил молодежь, бодро идущую вперед вразрез со старыми устоями отцов. Там и сям в брезентовых плащах с капюшонами, с карбитными лампами в руках мелькают фигуры шахтеров, — это не только жители местных аулов: заработок привлекает сюда обитателей таких отдаленных селений, как Ардон, Христиановское и др., им даются квартиры в стандартных рабочих домах; здесь не место родовому, патриархальному быту, над всем ущельем носится веяние заводского центра, дух пролетаризации и бодрых начинаний. Здесь легче дышится, здесь человек не чувствует на себе гнета стихий, это он заключил в турбины и направил по своему усмотрению бурные воды горных потоков, он взорвал динамитом сокровенные недра гор, это он прорезал снопами яркого света вековую тьму ущелья...

Древняя Дигория — страна легендарного прошлого и сказочно-фантастичная в настоящем.

Усталые под проливным дождем стучимся в ворота первого попавшегося хадзара и встречаем радушный прием. Во внутреннем дворике, куда в летнее время, очевидно, переносится центр хозяйственной деятельности, приветливо теплится очаг, над ним священная для дома надочажная цепь с крючком и подвешенной на него сковородой, в которой жарится, купаясь в масле, круглый сырный пирог — лучшее угощение, какое только есть в доме. По стенам и в углах много самодельной утвари: кадушки, жбаны, чаши, ковши, все деревянное, — как видно, недостатка в лесе здесь не испытывают, — ведь все Дигорское ущелье и склоны ближайших гор поросли частым орешником и сосной, недалеко и «черный лес». Еще надолго хватит наследия того могучего бора, о котором так свежа еще память в народе, да и надзор теперь строгий, упорядочено лесное хозяйство.

У очага на низких скамеечках широ-

ким полукругом разместились гости и старшие мужчины в доме. Один из стариков держит на коленях маленького, худого и полураздетого ребенка с жесткими, светлыми волосами и черной кожей и осторожно, заботливо, с ложечки кормит его молочной кашей. Другой старик, вооружившись ножом, снимает лыко с груди положенных возле липовых прутьев, — из лыка потом будут вить веревки себе и на продажу. Позади, поодоль, образуя второй полукруг, стоят женщины (сесть в присутствии мужчин даже и пожилым женщинам не позволяет обычай). На левой руке у каждой из них намотана кудель, правой на приподнятом колене ловким и быстрым движением закручивают веретено и, пока оно опускается до земли, торопятся вытянуть и ссучить возможно более длинную нитку. Равномерно, бесшумно взлетают и опускаются веретена, редко у кого обрывается нитка. Наравне со старшими, так же ловко и скоро работает небольшая девочка лет 12. При появлении старика — хозяина дома — все почтительно поднимаются со всех мест; он здоровается поочередно с каждым из мужчин, не обращая никакого внимания на женщин, ни на своих, ни на гостей. Тут же у очага ставится невысокий круглый, трехногий столик — «финга», на нем кукурузный, совсем без соли, чурек и молодой сыр, угощают аракой<sup>1)</sup> всех из одного гравеного стакачичка и пивом из общего, переходящего из рук в руки деревянного ковша, пьют много, но очень чинно, не забывая порядка старшинства, уважения к гостям и сложного порядка тостов: первый — «во имя бога», второй — «за здоровье старших в семье», далее — в честь гостей; «фалвара»<sup>2)</sup>, т. е. за благополучие этого дома, «берекет» — заключительный и, наконец, «Уаскирги», т. е. в честь св. Георгия. Конечно, перечисленными тостами далеко не исчерпываются все пожелания гостей и хозяев, количество их варьирует в зависимости от изобретательности и красноречия пирующих.

1) Арака — водка из кукурузы местного изготовления.

2) «Фалвара» — бог изобилия.

На ночлег поднимаемся по крутой каменной лесенке на плоскую кровлю первого этажа, служащую двориком для второго яруса дома, и заходим в отведенную для нас комнатку, повидимому, лучшую в доме. Все убранство комнаты составляют широчайшая деревянная кровать со множеством набитых шерстью тюфяков, одеял и подушек, в углу сундук, столик и на нем большое, искажающее отражение зеркало (необходимая принадлежность невестки, так как зеркало во время свадебного обряда несут перед невестой вместо иконы, когда она выходит из родительского дома или входит в дом мужа). На подзеркальнике пара новых галош и чевяки<sup>1)</sup>, не менее достойные служить украшением туалетного столика, чем пустая банка из-под консервов и поломанная пряжка от пояса. Гордость обладателей комнаты составляет, повидимому, богатое убранство стен, сплошь заклеенных картинками из учебника истории и листками букваря, где «Мария Медичи» и «Крещение Руси» так мирно соседствуют с первыми фразами современного букваря.

В картонных рамках, по углам оклеенных конфетными бумажками и обертками от мыла, портреты джигитов с деревянными лицами и в картинных позах. На одной стене в чинном порядке развешано платье, каждая вещь на особом гвоздике, на противоположной — револьвер в футляре, кинжалы, двое серебряных часов. Здесь обитает молодое поколение, а потому и обстановка иная, чем там, внизу у стариков. Изнуренные рискованным и трудным переходом, весь следующий день остаемся в гостеприимном хадзаре и ближе знакомимся с бытом семьи.

В этом доме одна из дочерей просватана, потому-то здесь и царит деловая атмосфера спешных свадебных приготовлений. Все женское население дома и, главным образом, сама невеста работает не покладая рук: ведь муж не возьмет ее в свой дом прежде, чем она не заготовит подарков всей его

родне<sup>1)</sup>. Непрерывно сует челнок в руках искусной, неутомимой ткачихи, но работа подвигается медленно, — много еще надо сукна на черкески свекру и деверям! Тут же на ходу, даже не присаживаясь для этой работы, две девушки плетут на шести пальцах круглый шнурок и обшивают им самодельные ноговицы<sup>2)</sup> и шляпы, только что сваленные и снятые с круглого чурбана, на котором они сушились и формировались. А там, поодаль, на лужайке при содействии соседок валяют бурки; 8 женщин, то вытягиваясь в одну линию, то располагаясь vis-à-vis по 4, под ритмичное пенье «Уопај», обеими руками изо всей силы надавливая на валик, катают его по траве; время от времени одна из них отрывается от общей группы и металлической щеткой скоблит по всем направлениям поверхность новой бурки, делая начес.

К вечеру молодежь принарядилась, не исключая и самых маленьких. Девочка вымыла голову сывороткой, гладко примазала руками волосы и заплела их в косенку, задравшуся острым и тонким крючком. Четырехлетний мальчуган в своей неуклюжей, бьющей по пяткам черкеске похожий на маленького старичка, положив возле себя крючковатую палку и мохнатую шапчонку, долго сидел один у самого края быстрой реки и, думая, что никто за ним не наблюдает, с наслаждением плескал пухлыми ручонками в свою грязно-розовую, всегда веселую мордочку, размазывая воду по носу и щекам, потом вскарабкался на берег и, сидя на солнышке, высох, — вытираться ему не давали. Когда стемнело совсем, где-то в отдалении раздалось пение мужских голосов: это ехал с товарищами жених погулять и попить в доме тестя. Голоса то приближались, то отдалялись слова, — по этикету жених посещает дом невесты поздно вечером, как бы тайком, и лишь после продолжительных маневров, будто совер-

1) Чевяки—мягкая сафьяновая обувь, в роде туфель, без каблуков, местного производства.

1) Нужно заметить, что материальные издержки на дом невесты не ложатся, т. е. деньги, нитки, шерсть и вообще все необходимое для подарков дает ей сам же жених.

2) Ноговицы—сафьяновые голенища; для ежедневной носки изготавливаются суконные ноговицы.

шенно случайно, заворачивает во двор, где довольно долго остается с товарищами, ожидая приглашения войти в дом. «Ничего, пускай подождет, он ведь младший» — говорят братья невесты. Родители же невесты и вовсе не выйдут к будущему зятю: неприлично так явно показать всем, что приезд жениха является радостным событием в этом доме.

Пирует одна мужская молодежь, невеста не встречается с женихом, разве лишь украдкой поглядит на него в дверную щель. Теперь уже недалек тот день, когда ее отведут в молельню и поручат покровительству того святого, в честь которого воздвигнута молельня (этот обряд заменяет в Осетии процедуру венчанья). О, к этому дню надо много готовиться, ведь ей предстоит сложное испытание ее ловкости и сообразительности, надо суметь проявить свое хорошее воспитание, знание обрядностей и покорностью и уважением завоевать расположение свекрови. После того, как молодые переступят порог дома, невесте вручают чашу, до краев наполненную пивом, а снаружи скользкую, смазанную маслом; она должна взять ее одной рукой и поднести свекру, не пролив из нее ни капли, другую такую же чашу, только вместо пива наполненную медом, подать свекрови, что, с одной стороны, послужит проявлением ее ловкости, с другой — символом заботливости по отношению к старикам и пожеланием того, чтобы приход ее в дом для свекрови был бы так же сладок, как первая чаша меда, поднесенная ей невесткой. Потом невестке дадут сала, которым она должна будет смазать чевяки свекрови (значение этого обряда таково: подобно тому, как смазывание кожи салом обновляет ее, приход молодой «киндза»<sup>1)</sup> облегчит старухе ее жизнь и даст ей возможность оправиться и отдохнуть от работ). Однако, самое сложное еще впереди, самые трудные задачи, направленные на испытание ловкости и предупредительности «молодой» в отношении к мужу, зададут ей его товарищи. «Если муж твой придет пьяный, как ты снимешь с него чевяки и черке-

ску? Если попросит закурить, как ты зажжешь ему папиросу? Если проснувшись попросит пить, как ты подашь ему вина, как вложишь кинжал в ножны, как подашь ему черкеску и шапку, когда муж будет уходить?». После каждого вопроса невеста тщательно выполняет требуемое действие, осторожно, ловко, неслышно снимает и надевает на жениха черкеску, чевяки и шапку, вынимает зубами кинжал и совершенно условным жестом, через руку и как-то по-особенному изогнув кисть, вкладывает его обратно в ножны, зажигает спичку, держа ее и коробку в одной и той же руке. Движения настолько сложны, что требуют большой предварительной тренировки. Это своеобразное представление иногда длится часами, т. е. остроумие и изобретательность молодежи неисчерпаема<sup>1)</sup>.

В первые дни после свадьбы невеста, почти не отдыхая, стоит, с головы до ног покрытая густым белым покрывалом, а гости и новые родственники, приподнимая покрывало, знакомятся с нею, и женщины бесцеремонно вслух высказывают свои суждения о красоте невесты и качествах ее наряда. Затем начинаются для невестки тяжелые, скучные будни. В течение, по крайней мере, одного месяца она безотлучно находится в доме, не смея даже выйти к воротам, и только по истечении положенного срока, с разрешения свекрови и в сопровождении старшей снохи или мальчика — брата мужа, наглухо закутанная платком, она отправляется за водой, впервые показываясь на людях. Да и вообще говоря, осетинки выходят на улицу лишь в случае крайней необходимости: идут медленно, потупив глаза, при встрече с мужчиной тотчас же прерывают свой огромный разговор и, отойдя к стороне, скромно отвернув лицо, стоят, пока повстречавшийся им мужчина не отойдет от них на значительное расстояние, также никогда женщина не осмелится перейти дорогу мужчине. Безрадостна жизнь осетинки в доме мужа: беспрекословное подчинение свекрови,

<sup>1)</sup> Надо заметить, что этот обряд за последнее время распространен значительно меньше, все же в Дигории в наиболее консервативных семьях выполняется еще и теперь.

<sup>1)</sup> «Киндза» — невестка.

страх перед свекром, черная работа по дому и полное бесправие в семье — вот ее удел на много лет, пока после смерти свекрови она сама не сделается старшей женщиной и хозяйкой в доме. Невестка встает раньше всех и ложится позднее всех домашних; в течение целого года и больше, вплоть до рождения первенца, она не говорит ни с кем из старших, избегает встречи со свекром, а последний, согласно правилам приличия, совершенно игнорирует, как бы не замечает ее присутствия в доме. Если необходимо задать какой-нибудь хозяйственный вопрос или посоветоваться, невестка говорит шопотом, в пространство, как бы ни к кому не обращаясь. Обедает после всех, даже после детей, довольствуясь тем, что осталось от их стола. Имени мужа произносить не смеет, даже говоря о нем в третьем лице. Муж тоже никогда не называет жены по имени, заменяя его словами: «хозяйка», «она» и т. д. На заданный нами вопрос о том, как зовут его жену, пожилой, бородастый горец смущенно улынулся, попросил карандаш и с трудом каракулями вывел: «Мна» — имя своей жены, так и не решившись произнести его вслух.

Не меньшим стыдом для молодых родителей считается проявление заботливости к своим детям в присутствии стариков; подозревать своего ребенка, приласкать его или похвально отозваться о нем не позволит себе ни один знающий правила приличия осетин, считая себя не в праве утруждать внимание старика-отца беседой о таком незначительном существе, как его собственный ребенок. Как образец, иллюстрирующий безграничное уважение к старику и похвальное чувство стыдливости, передавали такой факт. Во время беседы со стариком-отцом сын его увидел своего ребенка недалеко от себя, подползшего к самому краю отвесной скалы, вот-вот готового упасть в бездну; не прервав разговора с отцом и ничем не проявив признаков беспокойства, сын подошел к ребенку, крепко наступил ногой на его рубашонку и, невзирая на отчаянный крик и на барахтанье повисшего над бездной

малыша, так и не взяв его в руки. Старик же нагнулся, поднял и успокоил внука.

Такою была Дигория десятки лет тому назад, такую сохранилась и до наших дней — трепетно суеверная, первобытно простая, где по гребням скал, освещенным отблеском вечерней зари, безошибочно определяют текущий месяц и число, где знают целебные свойства всех трав и слепо верят в чудесную силу предметов. В Данифарсе лежит тяжелая железная цепь, никто не знает, откуда она. Но ее чтут, ей поклоняются, ее охраняют, из-за нее враждуют соседние селенья: «Не трогайте нашу святыню, там ничего нет, — убеждают жители, — в старину там подрались два тура, больше мы ничего не знаем, но святые не любят, когда их тревожат, особенно чужие, еще свои ничего. Вчера все время, пока вы были около нее, дул сильный ветер. Вы нагоняете на нас ветер и дождь; вам ничего — уйдете, а нам будет плохо...».

В Дигорском ущелье есть страшное место, где кристалльные, бурные волны Уруха зажаты в могучих тисках, где рвутся они сквозь гранитную толщу, размывают и рушат ее; упрямо держатся седые великаны-горы, трудно подточить их слежавшиеся веками массивы. Вот оторвался гигантский камень и застрял между скал, повиснув над бездной, не выдадут его родные скалы смельчаку-Уруху! А тот упорно гложет скользкие, зеленые от плесени, поросшие мхом вековые громады, и будет время, когда поток проложит себе широкий, вольный путь, он вырвет свою добычу и понесет, и разобьет ее в песок, и останется только легенда о том, как безумец-Урух боролся со старым утесом...

Настанет время, когда слабая пока струйка нового быта, робко нащупывающая свой путь, окрепнет вслед за молодым поколением, вырастет в мощный поток и снесет патриархальные устои седой Дигории.

Нелегко разорвать веками сплетавшуюся паутину традиций и слепых суеверий; лишь регулярная помощь

извне да верная интуиция молодой, полной творческих сил и исканий натуры шаг за шагом сквозь вековую тьму ущелья выведут к правде, к знанию, к лучшему, новому быту....

Приведу диалог, отчасти характеризующий миропонимание осетинской молодежи, дающий хоть маленькое представление о происходящей в юном сознании чудовищной борьбе отцовских воззрений со здоровой критической мыслью.

Раз как-то нас сопровождал подросток-комсомолец. Всю дорогу он внимательно вслушивался в комментарии, которыми руководитель экспедиции снабжал попадавшие нам осколки скал, расщелины, груды камней, по преданиям связанные с пребыванием в этих горах легендарных нартовских богатырей. «Вот эти три круглые камня (каждый величиною с осетинский хадзар) служили орудийными ядрами для братьев с горы Уаза, которыми, поссорившись, они убивали друг друга. Здесь, в горе, трехгранное отверстие — след копыта нарта Сослана, а эти две скалы расступились от могучего удара его же меча...».

— А скажи, пожалуйста, каких же размеров должен быть человек, владевший этим гигантским мечом, разрубившим одним ударом скалу? — иронически улыбаясь, спросил комсомолец.

— Само собой разумеется, что герой обладал соответствующей силой; то были нарты-богатыри.

Мальчик укоризненно покачал головой.

— Хороший ты человек и образование получил, а какой же ты бедный умом (в точном переводе: «умственный обносок»).

— А почему, что такое?

— Да как же, зачем ты засоряешь свою голову такими сказками? Жаль мне тебя!

— Что же, я так слышал, так говорят старики, — продолжает настаивать рассказчик.

— Мало ли что старики говорят! Ну, сам ты подумай, как это может быть!

— Значит, в существование нартов ты не веришь; ну, а в бога ты веришь, бог-то есть?

— В бога как не верить? Ни во что не верю, никого не боюсь, а в бога верю!

Каждая победа дается с трудом, ценою упорной борьбы, а порой и разрыва с родными.

— Пропали труды бедного человека, — жалуются 100-летний старик Урузмаг, — было у меня три жены и 22 человека детей, все они умерли или переселились на плоскость, со мною остался один, самый младший и самый плохой — комсомолец; не уважает меня и мачеху бьет, а недавно что только позволил себе молокосос! Выгнала мне жена араки, а сын в мое отсутствие всю араку выплеснул на улицу, — чуть не плача о пропавшем сокровище, воскликнул старик. — Такой мальчишка и не хочет, чтобы я, старик, пил араку, мне, старику-отцу, не дает араки! Ой, пропали даром труды бедного человека!..

В порыве гнева Урузмаг поспешил на нихас, куда благоразумно скрылся сын, схватил камень, наметился в сына да промахнулся и разбил голову чужому, соседскому мальчику. За это его три дня продержали в арестном доме сельсовета.

— Из-за такой малости меня, старика, держали три дня!

— Ну, а мальчик, мальчик-то как же?

— Да что же мальчик, — удивился Урузмаг, — лежит в больнице, поправится. Нет, ты подумай, меня-то, меня, старика, продержали три дня. Не прощу я этого нашему председателю; не оставлю неотомщенной своей обиды; напиши мне бумагу в Москву.

Двухэтажное здание махчешской школы даже и теперь, в летнюю пору, с 8 час. утра звенит десятками молодых голосов. Ежедневно под руководством отпускника-студента владикавказского педтехникума, местного выдвиженца, молодежь готовится к поступлению во II ступень, на рабфак. Тяга к ученью стихийная, рабфак, особенно московский, — путеводная звезда для каждого парня, к ней стремится он, мужественно преодолевая все препятствия, бедность, отсутствие подготовки и трудности русского языка. Неудача не подрывает энергии осетина: провалившись на экзамене и раз и два, он не

сложит оружия, не перестанет готовиться, будет платить учителю свою трудовую пятерку, снова и снова будет стучаться в заветные двери, пока, наконец, они не откроются для него. Из Махческа в Дзгинага нашу арбу пешком сопровождает подросток лет 15, дорога длинная, тяжелая, камни ржут ноги, и дождь беспощадно хлещет едва прикрытые старенькой буркой плечи, но мальчик не жалуется: ему нужны деньги на покупку учебников, он ученик фаснальской школы II ступени.

В аналогичном случае другой подросток зарабатывал деньги для того, чтобы заплатить учителю, с которым занимался, готовясь на рабфак. Если родители и не в состоянии оказать материальной поддержки, то, по крайней мере, не препятствуют сыновьям идти намеченным путем; необходимость получения образования для мальчиков в огромном большинстве случаев родителям очевидна, но только для мальчиков: девочка должна неотлучно находиться дома. В Донифарсе девушка-магометанка говорит, повторяя внушения матери и бабки:

— Нельзя девушкам учиться в школе, там закон не наш, там русский закон, нехороший, и в комсомол нам нельзя! А немного спустя добавляет, очевидно, высказывая свою собственную затаенную мысль: «а хорошо учиться!..». В фаснальской школе II ступени со всего ущелья только 6—8 девушек. Махческ — центр комсомольской деятельности для всей Дигории. Тот же студент-отпускник педтехникума, двое-трое учились владикавказской совпартшколы и одна русская женщина, бывшая рабфакерка, какой-то странной случайностью заброшенная в горы далекой Осетии, сгруппировали вокруг себя окрестную молодежь и, не складывая рук, ведут работу с населением.

В бывшей церкви открыли избу-читальню, раздобыли кой-какую литературу, вот только плакатов маловато, даже иконы нечем завесить; проводят беседы, прогулки и игры с детьми; открыли справочный стол, ежедневно удовлетворяющий десятки крестьян по юридическим, сельскохозяйственным и другим насущным вопросам; в опреде-

ленные часы проводится объяснительное чтение газеты, привлекающее немало охотников послушать о том, что делается на белом свете, интересующихся «последними» событиями внешнего мира, лишь на 22-ой день доказавшимися в Махческ на страницах московской газеты; изредка удается залучить из города врача или агронома и организовать популярную лекцию-беседу; на-днях привезли ткацкий станок и несколько швейных машин в женотдел, теперь и там оживится работа.

Деятельное участие принимала молодежь и в работе нашей экспедиции. Повсюду, где только приходилось работать, нашими ближайшими помощниками являлись комсомольцы; они помогали отыскивать средства передвижения, вызывались быть нашими проводниками, помогали в раскопках, в измерении памятников. Узнав, что один из участников экспедиции собирает гербарий, напоребой наташили целый ворох ярких и крупных головок интересных, по их мнению, растений, очищали от почвы и помогали раскладывать для просушки собранные нами экземпляры, только никак не укладывалось в их понимании, что гербарий нужен с чисто-научной, флористической целью, хотелось более понятного, жизненно-практического применения своих стараний. Кто-то высказал предложение, что нам преимущественно нужны, наверное, лекарственные травы:

— У нас много полезных растений, мы расскажем тебе способ их употребления, повезешь и будешь лечить; вот Qamarzati pedaga, клубни его растолочь, сварить с молоком и прикладывать к нарывающему месту, листья заживляют порезы; а это Dzalhada — сильнейший яд, толченые и разваренные плоды и листья этого растения образуют студенистую мазь и помогают от чесотки. Да что мы, мы ничего не знаем; вот есть у нас в ауле две женщины-знахарки, они объяснят тебе значение каждой травки.

Несколько человек вызвались их привести, но вскоре вернулись ни с чем и объяснили сконфуженно:

— Не идут, боятся. На днях мы вызвали их на общее собрание и сделали им строгое предупреждение, что в случае продолжения их знахарской практики им грозит наказание, так теперь они клянутся и божатся, что ничего не знают, отказались идти с нами, не верят, боятся подвоха...

Основная цель экспедиции — соби- рание материала по древним погребе- ниям на территории Сев. Осетии — вы- полнена, время нашего пребывания в горах истекает, вот и последний наш путь по долине Уруха, по живописней- шему Дигорскому ущелью, непереда- ваемые красоты которого навсегда запечатлеваются в памяти того, кто хоть раз их увидит, и в напряженной, дело- вой атмосфере шумного города трево- жат воображение, как быстро про- мелькнувший сказочно-фантастический сон. Все ниже и ниже становятся го- ры, переходя в лесистые холмы, позади вырастает туманная пена, дымовая завеса густых облаков, и только гребни самых высоких утесов, как бы про- щаясь, издали еще сверкают снеж- ной белизной. Вот перед нами привыч- ная глазу равнина, необозримое про- странство широких степей, но взор не- вольно с какой-то тайной грустью все устремляется назад, туда, где в фиоле- товой дымке едва намечается линия гор, туда, где осталась Осетия, — мно- гострадалная и дикая страна.

В памяти встает образ девочки-под-

ростка из Дзипага: худенькая, с давно нечесанной, всклокоченной головой, по- лураздетая, она стыдится своих лох- мотьев, едва прикрывающих тело, и робко, согнувшись, словно затравлен- ный зверок, перебегает от одного при- крытия к другому, показываясь оттуда только до плеч; столько пытливой лю- бознательности, столько богатых воз- можностей заложено в этой дикой, за- брошенной, цельной натуре! И образ ее, в моем представлении, олицетворяет собою весь первобытный, почти не тронутый культурой, богато одаренный осетинский народ...

Пройдут года, закончится прорытие Дигорского канала, соединяющего во- ды Уруха с рекою Дур-Дур. Большое, сейчас безводное, пространство по- кроется сетью оросительных каналов: откроются новые возможности для гор- цев-переселенцев. Вернется из школ молодежь, вооруженная запасом знаний и бодрым стремлением улучшить быт родной страны. Закончится «Гизель- донстрой», заработает мощная гидро- станция, откроется возможность широ- кой эксплуатации горных богатств: встрепнутся от векового сна седые великаны-горы, огласятся стальным грохотом фабрик и заводов; воплотятся в жизнь грандиозные планы социали- стического хозяйства страны; освет- ятся глухие аулы, где электрическая лампочка непосредственно сменит лу- чину, и останутся только преданья о том, как жили раньше старики.

## 7. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

### С. Гальперин

**Репарации на биржу.** — Морган вступает в дело. — Пакт Келлога в различ- ных толкованиях. — «Маневр», кото- рый удался. — От «Черной руки» к «Белой». — Рука мистера Лоуренса.

#### Репарации на биржу

«Неслыханное бесстыдство канцлера Мюллера. Он перекладывает на Фран- цию ответственность за мировую вой- ну, он упрекает ее в плохой спекуля- ции». Под таким кричащим заголовком

отозвалась парижская «Echo de Paris» на статью, данную Мюллером для с.-д. прессы.

Какую же ужасную дерзость позво- лил себе германский с.-д. канцлер в этой злополучной статье, вызвавшей такое негодование французской нацио-

налистической прессы? Герман Мюллер позволил себе утверждать, что для достижения прочного мира надо окончательно ликвидировать последствия войны. А для этого прежде всего необходимо точно установить, сколько Германия должна платить «победителям». Бывший французский министр финансов Клотц, некогда подписывавший Версальский мир, а ныне находящийся в тюрьме за неудачную спекуляцию чеками, не имевшими покрытия, провозгласил в 1919 г. лозунг, что за войну должна платить повинная в ней Германия, но с тех пор экономисты сделали открытие, что нет возможности возложить на одну страну все тяготы, вызванные последствиями четырехлетней мировой войны.

Поскольку это открытие экономистов стало уже общепризнанной истиной, приходится прийти к выводу, что Клотц оказался неудачным спекулянтom не только в области своих личных дел, но и в области интересов «милой Франции». Осуществить лозунг «Германия заплатит» оказалось не таким простым делом. Как известно, план Дауэса был построен именно на невозможности точно установить репарационные платежи Германии. Он определил, сколько Германия должна платить в ближайшие годы (начиная с 1928 г. сумма годовых репарационных платежей была определена в 2½ миллиона марок), но вопрос о том, в течение скольких лет Германия должна платить эту дань, остался открытым.

В октябре месяце прошлого года Германия подняла вопрос о точном установлении цифры причитающихся с нее платежей и добилась «принципиальной» победы в том смысле, что подписанное в декабре соглашение между нею и пятью союзными державами признавало необходимость разрешить эту проблему в соответствии с платежеспособностью Германии, при чем рассмотрение вопроса об экономическом состоянии Германии и о сумме платежей должно было быть поручено комиссии независимых экспертов.

Но победу Германия одержала только в «принципе», а на практике державы собирательницы репарационной дани

твердо решили не делать Германии никаких послаблений и пересмотреть репарационную проблему лишь под углом зрения возможности при содействии САСШ покрыть свои собственные долги Америке за счет германских репараций. На этот предмет и было решено включить в состав комиссии экспертов представителей Соединенных Штатов.

Для Германии перемена кредиторов сулила как-будто известные выгоды: вместо неумолимых французских шейлоков, ей пришлось бы иметь дело с американскими банкирами, которые подходили бы к ней без предвзятой враждебности, так сказать «по-коммерчески». Однако, первые же сведения о позиции американских «благодетелей» оказались далеко неблагоприятными. Отчет генерального агента по репарациям, американца Паркера Гильберта, дал настолько розовую картину экономического положения Германии, что не сулил Германии никаких надежд на то, что в комиссии экспертов она встретит со стороны американских представителей поддержку в своем стремлении добиться «по бедности» уменьшения репарационных платежей. С другой стороны, и позиция Кулиджа, — уже после свидания с приехавшим в Америку «в отпуск» Паркером Гильбертом, — оказалась тоже неблагоприятной для Германии. Как сообщил нью-йоркский корреспондент «Berliner Tageblatt», президент Кулидж будто бы заявил, что, по его мнению, годичный взнос Германии в 2½ миллиарда не подлежит пересмотру, и комиссии экспертов предстоит лишь установить число лет, в течение которых Германии предстоит платить эту дань. Комментируя это сообщение своего корреспондента, «Berliner Tageblatt» пишет: «Если это так, то германским представителям нечего делать в комиссии экспертов».

В правильности сведений своего корреспондента, однако, редакция «Berliner Tageblatt» сомневается. И не без основания. Вашингтонское правительство, не желающее, вообще говоря, брать на себя ответственности за чисто европейские дела, не согласилось



бы назначать своих представителей (необходимо иметь в виду, что «независимые эксперты» фактически являются представителями соответствующих правительств) только для того, чтобы устанавливать цифру германского долга союзникам. Гвоздь вопроса, конечно, будет лежать в методах коммерциализации германского репарационного долга, которая может быть проведена лишь американскими банками.

Надо, однако, разъяснить смысл этого неуклюжего, но уже получившего права гражданства термина «коммерциализация» репарационного долга. Под этим термином надо понимать превращение репарационных обязательств Германии в такого рода бумаги, которые могли бы принадлежать частным лицам и котируются на бирже. Само собой разумеется, что коммерциализация (хотя бы частичная) германских репарационных обязательств возможна лишь в том случае, если вся сумма германского долга будет строго определена: общая задолженность фирмы (в данном случае — германской республики) должна быть вполне установлена, чтобы биржевой покупатель знал, в какой степени выпускаемые ею облигации заслуживают доверия.

Получается такого рода картина: Германия уплачивает свои репарационные взносы союзникам обязательствами германского казначейства; союзники размещают эти облигации, разумеется, при содействии крупных американских банков и с согласия правительства Соединенных Штатов, на американском фондовом рынке; наконец, полученными от реализации обязательств деньгами союзники уплачивают проценты по своим собственным долгам Америке.

Смысл этой операции для Германии состоит в том, что, урегулировав вопрос о своей задолженности союзникам и до некоторой степени расплатившись с ними котирующимися на нью-йоркской бирже облигациями, она имеет возможность настаивать на досрочной эвакуации рейнских областей. Франции и другим ее союзникам по мировой войне это облегчает возмож-

ность урегулировать и в значительной степени погасить свою задолженность Соединенным Штатам. Наконец, для американских банкиров эта операция сулит огромные барыши, ибо своеобразный учет германских репарационных обязательств будет произведен ими, конечно, не бесплатно.

Учитывая предстоящую реализацию германских обязательств на нью-йоркской бирже, Паркер Гильберт, естественно, должен был представить экономическое положение Германии в самом выгодном свете; для успеха операции необходима была предварительная реклама обязательств такой солидной «фирмы», как Германская республика.

#### Морган вступает в дело

Как видно, однако, из некоторых сообщений германской печати, в самой Америке этот план коммерциализации германских репараций прошел не сразу. Ряд американских банков, оперирующих преимущественно с частными, а не с государственными займами, был против новой операции, так как она прошла бы до некоторой степени за счет деятельности этих банков. Но план коммерциализации нашел себе могущественного защитника в лице Пирпонта Моргана, — вернее, он-то и был, судя по всему, инициатором этого грандиозного плана превратить репарации в источник своего обогащения. В своей роли обладателя мешка с золотом, Морган является в настоящее время тем верховным арбитром, от усмотрения которого зависит то или иное разрешение репарационной проблемы. Международная комиссия экспертов должна, в сущности, лишь выяснить, на какую сумму Морган согласен реализовать на нью-йоркской бирже германские репарационные обязательства, в связи с чем будет до некоторой степени определяться и общая сумма германского долга и способы его погашения, так же, как и способы погашения военных долгов союзников Америке.

До середины января месяца наша оценка задач комиссии экспертов мо-

гла казаться сомнительной и построенной на одних предположениях. Некоторые сообщения из Америки и, в частности, телеграмма нью-йоркского корреспондента «Times» заставляли усомниться в том, что Вашингтонское правительство собирается взяться за урегулирование репарационной проблемы. Все эти сообщения свидетельствуют, конечно, о том, что план Паркера и Моргана встретил в Вашингтоне сопротивление, — о характере его мы уже говорили, — но 15 января европейские газеты получили уже сенсационное известие, что одним из американских экспертов будет назначен не кто иной, как сам Пирпонт Морган, глава всемогущего американского банкирского дома.

Французская социалистическая газета «Roulaige» очень красноречиво отозвалась на это известие: «Если Пирпонт Морган, друг Паркера Гильберта и, как кажется, его бывший патрон, соглашается лично участвовать в комиссии экспертов, то, значит, он разделяет мнение генерального агента по репарациям; значит, он вместе с ним стоит за коммерциализацию репараций и урегулирование этим путем задолженности союзников Америки, это значит, что он считает, как и Паркер Гильберт, эту двойную операцию политически и технически осуществимой. А кто может устоять против Пирпонта Моргана? Он воплощает высшие финансовые круги Америки, и его присоединение к затее Паркера Гильберта решает вопрос и о позиции правительства Соединенных Штатов».

Морган взялся за дело, и вопрос считается решенным. Кулидж перестает сомневаться и, повинаясь воле владыки Америки, дает свое согласие на план Гильберта Паркера. Французская печать ждет, что «босс» (хозяин) разрешит вопрос о задолженности Франции Америке, а германская печать не знает, радоваться ей или печалиться. Но, считаясь с фактом, германская печать предпочитает делать довольнокую мину. «Berliner Tageblatt» констатирует, что «вступление Пирпонта Моргана подымает значение комиссии экспертов на новую, высшую ступень». «Vos-

sische Zeitung» полагает, что «Вильгельмштрассе (германское министерство иностранных дел) с удовлетворением примет это назначение. Оно показывает, какое значение Соединенные Штаты придают окончательному урегулированию репарационной проблемы. Вступление Моргана увеличивает доверие к комиссии экспертов и дает ей возможность довести свою работу до конца».

У читателя может и должен возникнуть естественный вопрос: если все стороны как-будто бы выигрывают от нового плана Моргана,—связанные с последним банки обогащаются, Германия может рассчитывать на эвакуацию Рейна, а союзники—на полное или частичное погашение своих долгов Америке, — то кто же будет платить за всю операцию? Платить будут те же, кто уплачивали репарации и раньше: рабочие и крестьяне Германии. Ибо, как видно из сделанной Гильбертом высокой оценки платежеспособности Германии и из заявлений Кулиджа, размер годичных платежей Германии останется таким, как он был предусмотрен планом Дауэса, — в 2½ миллиона марок в год. Трудящиеся Германии переменят лишь хозяина, на которого они будут работать: создаваемая ими прибавочная стоимость потечет непосредственно в карманы Пирпонта Моргана.

В нашем прошлом обзоре мы указывали, что американская буржуазия ориентируется не на англо-французскую «Европу», а на вытеснение своего английского конкурента как на рынках сбыта промышленной продукции, так и на мировом денежном рынке. Именно это англо-американское соперничество и является главным источником того внимания, которое Америка оказывает Германии. То обстоятельство, что по вопросу о репарациях американцы заняли позицию невыгодную для Германии (в том смысле, что она мешает последней настаивать на снижении своих платежей), не находится в противоречии с этой «германской» ориентацией американской буржуазии. Просто практические янки в такой же степени не забывают своих коммерческих интересов при установлении «дру-

жественных» отношений с Германией, в какой они не забывали их и в эпоху союза с Англией и Францией. Бывшие союзники имели уже достаточно случаев убедиться, что американская дружба стоит недешево. Придется в этом убедиться и Германии. Но на изменение общего соотношения сил между мировыми державами вызвавший такое озлобление в германской печати доклад Паркера Гильберта повлиять не может. Германия и Америка остаются естественными союзниками против англо-французского «сердечного соглашения»,—и именно по линии борьбы этих двух группировок будет развиваться в дальнейшем борьба капиталистических государств. Борьба, которая рано или поздно приведет к новой мировой войне.

#### Пакт Келлога в различных толкованиях

Нас, конечно, можно было бы упрекнуть в глубоком, позволительном только советским журналистам, пренебрежении к достижениям мировой дипломатии: мы говорим о войне, и в частности, о войне, в которой Америка явится одной из главнейших действующих сторон, в то время как почти все государства мира подписали пакт Келлога об «отказе от войны, как орудия национальной политики» и американский сенат уже без оговорок ратифицировал этот пакт. Но дело в том, что такое же презрительное отношение к прославленному пакту проявляют и все инициаторы его подписания. Оговорки, сделанные к пакту Англией и Францией, общеизвестны. На заседании американского сената некоторые противники пакта указывали на то, что при наличии английских оговорок пакт превращается в «одностороннюю декларацию английской дипломатии, желающей легализовать и стабилизировать вооруженные хищения, произведенные величайшей империей мира».

Нельзя отрицать, что эта оценка значения пакта Келлога в английском его толковании была сделана очень метко. Но те прения и вся та обстановка, в которой был принят пакт Келлога американским сенатом, дают не меньше

оснований для язвительности по адресу американцев в английских газетах. Ибо ратификация пакта была лишь прелюдией к утверждению американским сенатом новой программы вооружений, предусматривающей постройку новых 15 крейсеров на общую сумму 250 миллионов долларов.

В самом деле, при обсуждении этого вопроса в сенате сенатор Бора заявил, что он в качестве председателя сенатской комиссии по иностранным делам пришел к соглашению с сенатором Галем, председателем морской комиссии, о том, что обсуждение пакта Келлога должно предшествовать утверждению программы морских вооружений. Сенатор Галь был первоначально против ратификации пакта из опасения, что это может помешать росту морских вооружений. Сенатор Бора поспешил успокоить своего воинственного коллегу насчет того, что вооружения и пакт друг другу не противоречат. А неофициально Бора не без иронии сообщил, что он и его политические единомышленники готовы голосовать за билль о крейсерах, если иначе ратификация пакта не может быть обеспечена. После чего американские сенаторы, которые, очевидно, не страдают избытком чувства смешного, приняли пакт без оговорок и занялись более серьезным делом—рассмотрением закона о подготовке военно-морских сил Соединенных Штатов к будущей войне с Англией.

Нашелся лишь один сенатор—Блен из Висконсина,—который подал свой голос против пакта, считая насмешкой над здравым смыслом подписывать договор об отказе от войны, когда вся политика и Англии и Америки строится на подготовке к будущей мировой войне. Особое негодование сенатора Блена вызвало то обстоятельство, что при ратификации пакта не было сделано запротоколированной оговорки насчет того, что принятие пакта не означает отказа Соединенных Штатов от доктрины Монроэ. Мы подчеркиваем слово «запротоколированный», ибо, по заявлению Бора, сохранение доктрины Монроэ настолько ясно подразумевается само собой, что нет нужды в специ-

альном указании на это обстоятельство. А в переводе на наш советский язык это значит, что посылка Соединенными Штатами военной экспедиции, скажем, в Никарагуа, не может рассматриваться иначе, как внутреннее американское дело, до которого никаким европейским державам не может быть никакого дела.

Мир обогатился, таким образом, еще одним — американским — толкованием пакта Келлога: с точки зрения Франции пакт Келлога есть отказ от войны, но он не относится к войнам, которые могут вспыхнуть в связи с военными союзами, заключенными между Францией и ее вассалами, — Польшей и Чехо-Словакией; с точки зрения Англии, все государства должны отказаться от войны, кроме самой Англии, когда идет речь об охране ее специальных интересов; и, наконец, с точки зрения Америки, пакт Келлога есть договор, который, во-первых, не мешает подготовке к новой войне и который, во всяком случае, не распространяется на отношения между Соединенными Штатами и республиками Латинской Америки.

А отношения эти сводятся к экономическому завоеванию латино-американских государств Соединенными Штатами и к вытеснению отсюда английского капитала. Очень интересные данные сообщает английский журнал «Quartely Review» о соотношении английского и северо-американского экспорта в Латинскую Америку. В 1912 г. Англия вывезла в Аргентину товаров на сумму 23.789 тыс. фунтов стерлингов, в 1926 г. ее экспорт слегка уменьшился (до 23.649 тыс. ф. стерлингов). Экспорт Соединенных Штатов, наоборот, вырос за это время с 11.823 тыс. фун. стерл. до 28.145 тыс. фун. стерлингов. Вывоз из Англии в Бразилию за тот же период увеличился почти в полтора раза: с 12.657 до 18.770 тыс. фунтов стерлингов, но экспорт из САСШ увеличился более чем вдвое: с 9.899 до 20.771 тыс. фунтов стерлингов. Английский экспорт в Чили упал с 6.159 до 5.944 тыс. фунтов стерлингов, экспорт из Соединенных Штатов увеличился с 3.520 до 9.280 тыс. фунтов стерлингов. Экспорт из Англии в Венецуэлу увеличился на

12 проц., из САСШ — на 300 проц. Та же картина наблюдается в Перу и Уругвае.

Что касается вложений северо-американского капитала в южно-американские предприятия и займов южно-американским государствам, то они выросли со 100 миллионов фунтов стерлингов в 1914 г. до 1 миллиарда в 1928 г. Англо-американское соперничество за экономическое преобладание на южно-американском континенте разворачивается благоприятно для Соединенных Штатов. И доктрина Монроэ, молчаливо оговоренная американским сенатом при ратификации пакта Келлога, предназначена для того, чтобы политически закрепить за северо-американским капиталом его экономические завоевания.

«Пакт Келлога, — сказал в американском сенате сенатор Рид, — это поцелуй, который мы посылаем Европе, но поцелуй, не обязывающий к браку». С Латинской Америкой Соединенные Штаты заключают, наоборот, брак без поцелуев — их заменяют доллары и крейсера.

#### „Маневр“, который удался

Произведенная под аккомпанемент прений о постройке новых крейсеров ратификация пакта Келлога американским сенатом не могла вызвать особого энтузиазма в европейских странах. И лишь в одном государстве Европы это решение было встречено правительственными кругами с истинной радостью, ибо оно до некоторой степени помогло ему выкарабкаться из неловкого положения, в которое оно незадолго перед этим попало. Мы говорим, конечно, о Польше.

Польский мин. ин. дел Залесский получил очень неприятный новогодний подарок: советскую ноту с предложением немедленно ввести в действие вытекающие из пакта Келлога обязательства в отношении между обеими странами — СССР и Польшей. Принять это предложение было трудно, — маршал Пилсудский был как раз в это время занят обсуждением вопросов об организации против СССР военного союза с Румынией, при благосклонном

содействию французского генерально-го штаба. Хотя план Келлога никаких обязательств, кроме чисто моральных, ни на кого не налагает, но все же подписание соответственного соглашения с СССР могло бы стеснить инициативу польской военщины.

Отказаться было тоже неудобно—это значило бы открыто признать, что присоединение Польши к пакту Келлога было простой комедией и что на деле Польша хочет иметь развязанные руки для нападения на СССР в тот момент, когда это признают нужным ее французские хозяева. К тому же это могло скомпрометировать Польшу в глазах всемогущей Америки, представитель которой Дьюи контролирует польские финансы и решает вопрос о возможности предоставления Польше займов.

Предложение т. Литвинова вызвало в Польше большой переполох. Активное участие французской дипломатии в разрешении поставленной этим предложением перед польским правительством проблемы—общеизвестно. Менее известен у нас факт, о котором сообщала германская пресса, что польское правительство перед ответом на нашу ноту запрашивало и мнения посла Соединенных Штатов в Варшаве.

Мы не станем останавливаться на всех перипетиях, через которые прошло предложение тов. Литвинова,—они достаточно освещались в ежедневной прессе. Мы отметим лишь любопытную оценку, которую получила позиция Польши на страницах французской печати, наиболее заинтересованной в судьбе нашего предложения. Как известно, в противоположность большинству германских и либеральных английских газет, французская буржуазная печать с «Temps» во главе решительно отвергла естественный вывод, что советское правительство своим предложением лишний раз засвидетельствовало, что оно делает все усилия к тому, чтобы добиться подлинно мирных отношений с Польшей. «Temps» усмотрела в нашем предложении ловкий «маневр» советской дипломатии.

Но вот, что пишет по этому поводу иностранный обозреватель социалистической газеты «Populaire» О. Ро-

зенфельд, который систематически заполняет страницы этой газеты статьями об «агонии большевизма», о «кризисе советского правительства», «восстании крестьян на Украине», и т. п. Так вот этот самый Розенфельд, которого никто не заподозрит в сочувственном отношении к Советскому Союзу, пишет в «Populaire» после первого ответа Польши на нашу ноту: «Если это—маневр, так он прекрасно удался». Советоненавистник Розенфельд вынужден констатировать, что польский ответ составляет «грубейшую ошибку польского правительства и его советников из французского министерства иностранных дел. Большевистский «маневр» удался, благодаря сообщничеству европейской и польской реакции».

После первого ответа Польши на нашу ноту, ответа, в котором она не могла сказать ни да, ни нет, произошла ратификация пакта Келлога американским сенатом. Вдобавок при этой ратификации сенатор Буркхард подчеркнул, что первыми державами, которые ратифицировали пакт, были СССР и Соединенные Штаты. Это предопределило вторую ноту Польши. Надо было, во-первых, изъять формально согласие на наше предложение (это—для американского богатого дядюшки) и, во-вторых, притянуть к подписанию протокола свою союзницу Румынию (это—для французского генерального штаба).

Как это было сделано, известно из газет.

### От «Черной Руки» к «Белой»

В нашу, насыщенную разговорами о мире и военными приготовлениями буржуазных государств, эпоху нельзя время от времени не оглядываться на Балканы—этот европейский Ближний Восток, который за последние 15 лет был уже ареной трех войн и бесконечного числа вооруженных столкновений пограничного характера, политических убийств и производимых сверху государственных переворотов.

Начало 1929 г. ознаменовалось переворотом в Югославии, в результате которого Европа обогатилась новой

самодержавной монархией, а генерал Примо де-Ривера, маршал Пилсудский и прочие военные диктаторы получили еще одного коллегу в лице белградского генерала Живковича. На истории этого переворота стоит остановиться. Но начать придется издалека.

29 мая 1903 г. сербский король Александр Обренович и его жена Драга были убиты в своем дворце группой офицеров-заговорщиков. В результате этого дворцового переворота Сербия была «осчастливлена» появлением новой династии Карагеоргиевичей, первым представителем которой явился король Петр, отец теперешнего короля Александра. Главариами переворота были Драгутин Дмитриевич, известный больше под именем Апис, и молодой офицер Петр Живкович. Оба они стали во главе союза «Черной Руки», члены которой приносили на кинжалах торжественную клятву бороться до смерти за создание Великой Сербии. «Черная Рука» была могущественной организацией придворной камарильи, которая встретила, однако, серьезное сопротивление в борьбе за власть со стороны радикальной сербской партии с Пашичем во главе. Слово «радикальной» не должно вводить в заблуждение, ибо сербские радикалы с Пашичем во главе были самой настоящей консервативной партией, не склонной, однако, передавать бразды правления в руки военной камарильи. Отношения между «Черной Рукой» и министром-президентом Пашичем были довольно напряженные, и можно было ожидать попытки нового дворцового переворота, направленного к уничтожению правительства Пашича, но вспыхнувшая в 1914 г. мировая война помешала осуществлению планов «Черной Руки». Пашич пользовался неограниченным доверием союзников, и в 1916 г., когда французские войска были переброшены на Балканы, Пашич сумел сфабриковать процесс по обвинению Аписа в государственной измене и казнил его с согласия французского главнокомандующего ген. Сарраляя.

Казнь Аписа положила конец существованию «Черной Руки», но после войны оставшийся в живых соратник Аписа Живкович организовал по-

строенное по тому же принципу новое общество «Белой Руки». Общество это пользовалось симпатиями короля Александра, но крутой старик Пашич, умевший держать в своих жестких руках не только трудящихся Югославии, но и короля, продолжал фактически управлять страной.

Несколько времени назад Пашич умер, и король Александр, воспитанный в традициях военщины, мог вздохнуть свободнее. Резкая борьба между партиями в парламенте дала ему повод покончить с парламентаризмом вообще и создать самодержавное правительство, главой которого оказался наш старый знакомец Петр Живкович, занимавший к этому времени уже пост начальника королевской гвардии. «Белая Рука» завершила то, что не удалось осуществить «Черной Руке».

Как мы уже указывали, партия Пашича никаким особым либерализмом никогда не грешила и несколько не уступала ни «Черной», ни «Белой Руке» по части проведения политики великосербского национализма. Различие лежало лишь в том, что Пашич был лишен присущего офицерской камарилье авантюризма как во внутренней, так и во внешней политике, и был выдающимся, в буржуазном смысле этого слова, парламентским политиком и дипломатом. Твердой рукой он проводил политику гегемонии сербской буржуазии в созданном после войны государстве «сербов, хорватов и словенцев» и тесными узами стремился соединить Югославию с англо-французскими (особенно французскими) империалистами. Военный бюджет поглощал до 30 проц. всего бюджета государства, а 80 проц. горных богатств Югославии перешло в руки иностранного капитала, явившись, таким образом, залогом заинтересованности капиталистов Антанты в целости раздираемого национальными противоречиями югославянского государства. Пользуясь поддержкой Франции, а в последние годы и Англии, которая действует сейчас на Балканах солидарно с Францией, Пашич не хотел в то же время обострять и отношений с Италией, с которой ему уда-

лось подписать соглашение в Неттуо.

Переворот, в результате которого в Югославии оказалось у власти правительство «Белой Руки» с ген. Живковичем во главе, существенно меняет положение на Балканах. Французские хозяева Югославии, не без ведома которых произошел и последний переворот, с некоторым беспокойством всматривают на то, что Югославия потеряла устойчивость как внутренней, так и внешней политики.

Оснований для беспокойства достаточно. Ибо именно «Черная Рука» в свое время способствовала возникновению мировой войны. Именно ею (при содействии русского военного атташе Артамонова) было организовано 28 июня 1914 г. убийство в Сараеве австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда. Опасаясь новых авантур подобного же рода, французская буржуазная печать с «Temps» во главе, осыпая короля Александра всяческими комплиментами, в то же время настойчиво дает ему советы «благоразумия». Отмечая сохранение на посту прежнего министра иностранных дел Маринковича, «Temps» выражал надежду, что новое правительство проведет ратификацию соглашения с Неттуо и тем самым ослабит перспективу франко-итальянского соперничества на Балканах. Через несколько дней, однако, Маринкович был снят с поста министра иностранных дел, и французскому официозу пришлось искать других оснований для своего оптимизма.

В поисках утешительных вестей английские и французские газеты уделяли место белградским официальным сообщениям о том, что «народ» встретил переворот с восторгом и что хорваты также довольны роспуском ненавистной им скупщины, в стенах которой произошло убийство Стефана Радича и двух других депутатов хорватской крестьянской партии. Проверить эти сообщения из Белграда было трудно, ибо диктатура начала «оздоровление» государства с установления строжайшей цензуры. Сообщения о каитуляции хорватских лидеров казались, однако, правдоподобными, ибо избытком принципиальности последние ни-

огда не страдали. Через несколько времени, однако, венгерская газета «Pesti Hirlap» опубликовала беседу своего корреспондента в Загребе с Мачеком, лидером хорватской крестьянской партии. В беседе этой Мачек заявил, что «в Хорватии все убеждены, что диктатура направлена против всего того, что дорого хорватам». Коснувшись вопроса о назначении на пост министра финансов хорвата и высказав предположение, что это сделано с целью облегчения возможности получить заем за границей, Мачек сказал: «Хорваты никогда не признают займа, заключенного диктаторами. Они инстинктивно чувствуют, что объявление диктатуры имеет целью подавить освободительное движение хорватского народа».

Любопытно, что немедленно после появления этого интервью с Мачеком последний был вызван к загребскому губернатору генералу Максимовичу для объяснений. Мачек дал ему подлинный текст своей беседы, но что содержалось в этом «подлинном» тексте, так и осталось неопубликованным в югославянских газетах.

Хорватская оппозиция перед переворотом требовала роспуска скупщины и пересмотра конституции, в основу которой должно было быть положено федеральное устройство королевства с самостоятельными парламентами для Сербии, Хорватии и Словении. Общегосударственный парламент имел бы очень ограниченную компетенцию: внешнюю политику и оборону страны. Король Александр ответил на это символическим жестом: он распустил скупщину и устроил в ее помещении казарму (в буквальном, а не в переносном смысле этого слова). В такую же казарму превращена и вся Югославия. В этом отношении хорваты уравниены в правах с сербами. Но удовлетворит ли такое национальное «равноправие» трудящихся Югославии,—представляется сомнительным.

#### Рука мистера Лоуренса

«Каковы бы ни были ошибки и промахи короля Амануэлы, он имеет право на симпатию со стороны запад-

ного мира, которому он сделал честь, желая ему подражать. Он пал, но он пал перед всей Европой, как человек, который верит в ценность нашей цивилизации. Быть может, Аманулла покидает Афганистан навсегда, но если муллам довелось видеть конец своего короля, им не удастся видеть гибель его реформы».

Вряд ли советский читатель догадается сразу, откуда взята эта цитата, проникнутая таким чувством симпатии к реформаторской деятельности свергнутого афганского падишаха. Менее всего он может ожидать встретить ее на столбцах английского консервативного официоза. А между тем, именно из «Times» заимствовали мы этот панегирик Аманулле.

Французская поговорка гласит: «Лицемерие — это дань, которую порок платит добродетели». Именно поэтому английская колониальная политика состоит из двух элементов: насилий и лицемерия. Золотом и железом орудуют английские агенты в Азии и Африке, благородными фразами в стиле пуританской добродетели и буржуазного либерализма прикрывают действия своих агентов английские министры и их официозы.

Но автор статьи, из которой мы привели вышеуказанную элегическую цитату, не ограничился выражением своего сочувствия реформам Амануллы, но и попытался установить причины, которые привели к его падению. «Is fecit, cui prodest» (сделал тот, кому это выгодно), — пишет «Times», а выгодно это, по его мнению, только муллам и племенным вождям, против которых в первую голову были направлены реформы Амануллы. Объяснение это, однако, недостаточно, замечает по этому поводу английский официоз. Муллы и беки боролись против Амануллы в течение всего его царствования, но на этот раз им удалось одержать победу вследствие измены в армии. Армия возвела Аманулла на трон, и она же его погубила, недовольная недостаточным вниманием, которое уделяла ей Аманулла.

В объяснения «Times» тут необходимо внести поправку. Падение Амануллы было выгодно не только афганским

муллам, бекам и ханам, но и Англии, у которой Аманулле удалось после победоносной войны 1919 г. отвоевать независимость Афганистана. И именно здесь надо искать причину, по которой афганским реакционерам удалось на этот раз одержать победу над ненавистным им реформатором-падишахом. Это соображение настолько естественно, что печать всего мира — кроме английской буржуазной прессы — единодушно признала, что корни восстания против Амануллы надо искать за пределами Афганистана.

И в поисках этих корней скоро наткнулись на... Бернарда Шоу. Не на знаменитого английского писателя, а на знаменитого английского авантюриста, который позаимствовал у Бернарда Шоу его имя, отправляясь на службу в войска его величества Георга V в Индии. Профессор-востоковед, Лоуренс, который превратился в создателя панарабской империи под главенством Англии, который после провала этой затеи (победа Ибн-Сеуда разрушила его планы) стал руководителем английского вассала в Месопотамии, эмира Фейсала, который получил чин полковника королевской армии, возымел вдруг странное желание служить простым солдатом в индийском авиационном отряде под именем своего друга (так утверждают лондонские корреспонденты французских газет) Бернарда Шоу.

О его подвигах на поприще авиации мало что известно, но непризнающая ведомственных тайн английского министерства колоний молва утверждала, что он фигурировал в роли святого из Пенджаба, готовясь, очевидно, к роли вождя религиозно настроенных масс. Миссия Лоуренса-Шоу была весьма секретной, но сведения о ней проникли дальше, чем это думали в Лондоне. И уже в первые дни боев под Кабулом Аманулла назначил, как об этом сообщает «Vossische Zeitung» от 16 января, премию за голову Лоуренса.

Но Лоуренсу уже нечего было больше делать на афганской границе. Он свое дело сделал. И индийское правительство официально сообщило, что солдат-авиатор Шоу отбыл в Англию. А английская печать принялась усерд-



но замечать следы. «В самом деле, — писал бомбейский корреспондент «Daily Telegraph» в номере от 14 января, — Лоуренс оказался жертвой собственной славы и центром столь большого внимания в стране, где так легко распространяются слухи, что индийскому правительству не оставалось ничего иного, как выпроводить его из Индии».

Восстание против Амануллы в том или ином углу его государства было возможно и без вмешательства англичан, — у него было достаточно врагов среди феодальных князьков и магометанского духовенства, — но нужна была опытная рука полковника Лоуренса и неиссякаемый запас средств из английского казначейства, чтобы спаять во едино выступления разрозненных племен, чтобы восстание в Джеллалабаде совпало с восстанием в районе Кабула и чтобы кстати же подоспела и измена в части войск Амануллы.

Английская печать — даже радикальная «Manchester Guardian» — считает все эти утверждения досужим вымыслом падких до сенсаций континентальных газет, но они нашли свое подтверждение в событиях, которые развернулись в Кабуре после падения Амануллы. Вождь повстанцев Баче-Сакао, превратившись в эмира Хабибуллу-хана, не будучи посвящен в тонкости дипломатии, поспешил сразу раскрыть свои карты, заключив соглашение с английской миссией о выдаче ему постоянной субсидии, взамен чего Афганистан откажется от всяких сношений со всеми иностранными государствами, кроме Англии.

Но именно эта-то спешка Хабибуллы и ставит под угрозу конечный успех той авантюры, в которой он под управлением английского режиссера играл

первую роль. Как бы ни был низок уровень политического развития народных масс Афганистана и какую бы роль ни играл в Афганистане религиозный фанатизм, все же нельзя скинуть со счетов того простого факта, что враждующие между собой племена Афганистана объединены чувством ненависти к желающей поработить их Англии и ни в какой мере не склонны пожертвовать своей национальной независимостью для того, чтобы бывший бандит, превратившийся в падишаха, мог получить от Англии субсидию на отправление своего королевского ремесла. Еще менее может рассчитывать Хабибулла на поддержку кабульского купечества, для которого превращение Афганистана в закрытое для внешнего мира государство означает прекращение возможностей внешней торговли.

Борьба в Афганистане еще не кончена, и это прекрасно сознают сами англичане. В прочность власти Хабибуллы в Индии никто не верит, но самый факт свержения — хотя бы временного — стоявшего во главе партии реформ и отстаивавшего независимость Афганистана короля Амануллы представляется с точки зрения английских империалистов известным выигрышем, ибо понадобится немало времени, чтобы Афганистан мог оправиться от потрясения и снова решительно двинуться по пути обновления, по которому вел его Аманулла.

Английский империализм добился за последние два года ряда успехов на Востоке, но тем грознее будет его конечное поражение. Ибо ставка на поражение ставших уже на путь борьбы за независимость сотен миллионов трудящихся Востока выиграна быть не может.

## Книжное обозрение

1. «ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ КРАСИН». Б. Родина.—2. «Советская страна» №№ 1 и 2. В. Гурко-Кряжина.—3. Н. ОГНЕВ «Собр. соч. Т. I». С. Пакентрейгера.—4. ИС. ГОЛЬДБЕРГ «Сладкая полынь». Арк. Глаголева.—5. ХАДЖИ МУРАТ МУГУЕВ «Смерть Николы Бунчука». Бориса Анибала.—6. ПЕТР ДЕМЕНТЬЕВ «Душа на колодке». Бориса Гроссмана.—7. ЛЕОНТИЙ РАКОВСКИЙ «Сивопляс». А. Шафир.—8. Г. ПЕТНИКОВ «Ночные молнии» И. Поступальского.—9. А. ГАУЗНЕР «Невиданная Япония». А. Бонч-Осмоловского.—10. ЛУИДЖИ ПИРАНДЕЛЛО «Грешница». К. Локса.—11. КУРТ КЛЕБЕР «Пассажиры III класса». Я. Фрида.—12. В. А. ЖДАНОВ. «Любовь в жизни Льва Толстого». Д. Благого.

**«Леонид Борисович Красин («Никитич»)**. Годы подполья. Сб. воспоминаний, статей и документов. Составлен «Кружком друзей Красина». Под ред. М. Н. Лядова и С. М. Познер. ГИЗ. М.—Л. 1928. Стр. 398. Ц. 4 р.

Рецензируемая монография, посвященная Л. Б. Красину, рисует жизнь, в которой революционер не поглощал целиком и полностью человека, со всеми его чувствами, личными переживаниями и сомнениями. В Красине сочеталось много качеств. Красин—инженер, Красин—организатор бакинской подпольной типографии, Красин—динамитный экспериментатор, Красин—европейский джентльмен, располагающий в пользу большевиков фабриканта Савву Морозова и знаменитую артистку Комиссаржевку.

Начинает тов. Красин свою политическую работу впервые, как и многие другие революционеры, в петербургском Технологическом институте, в кружке Брусуева. Но с самого начала он стремится приобрести серьезные знания по марксизму, начиная «учебу»

не с самого Маркса, а с Чернышевского, Белинского, Писарева, Шелгунова. Красин сразу занимает в среде социал-демократов не только положение узкого «практика», но и теоретика, и пропагандиста, и организатора партии. Сознательное сужение круга политической деятельности, педагогизм и формальная точка зрения на вещи были совершенно несвойственны Л. Б. Красину; последний рассказывает в ст. «Дела давно минувших дней», как он пытался вопросы общественных движений связать даже с эволюцией планетных систем и с «дарвинизмом». Стремление выработать целостное мировоззрение—характерная черта всех тогдашних социал-демократов.

М. Горький в своей интересной статье «Л. Б. Красин и Савва Морозов» утверждает: «Все, кого я знал и кто знал Красина, говорили о нем как о человеке почти легендарном». Касаясь отношения Красина к выполняемой им революционной работе, М. Горький следующим образом описывается о нем:

«На мой взгляд, для большинства людей дело — ярмо. И даже для многих, зараженных жадностью к наживе, дело все-таки — хомут, они воли и рабы. Но есть художники нашего, земного дела, для них работа — наслаждение. Леонид Красин был из тех редких людей, которые глубоко чувствуют поэзию труда, для них вся жизнь — искусство».

Рецензируемый сборник содержит материалы не только о положительных чертах Красина, но рисует его значительные отрицательные стороны. Эти отрицательные стороны Красина в одинаковой мере поучительны, потому что показывают, как иногда даже большие революционеры, с достаточным классовым чутьем, могут уклониться от правильной линии, если рассматривают социально-политические процессы только с одной лишь стороны. Мы имеем в виду примиренчество Л. Б. Красина.

Как аргументировал тов. Красин примиренческую позицию на III съезде РСДРП? Вот эта аргументация: «Я лично и сейчас очень скептически отношусь к возможности сколько-нибудь удовлетворительной постановки работы ЦК при русских полицейских условиях, пока партия не объединена в одно целое»... «Я уверен, попади в наше положение тов. Ленин, и он, при российских условиях, стал бы «примиренцем» и начал бы проповедывать объединение сил» (см. рец. кн. стр. 352).

Таким образом, чисто практические, технико-организационные соображения превалировали у Красина над политическими. Здесь мы имеем уже перед собой «практика», а не политического деятеля, заботящегося прежде всего о четкости классовых задач рабочего движения.

С особенным интересом читатель в этом сборнике прочтет статьи Г. Б. Красина, Л. Б. Красина, М. И. Бруснева, В. Карелина, Н. Козыренко, Ладю Думбадзе, М. Горького, Ф. Кассесянковой и Г. Кржижановского.

Книга войдет в арсенал по изучению истории большевизма. Но для этого необходимо цену снизить, ибо массовый читатель не может тратить на книгу чetyре рубля.

*Б. Родин.*

**«Советская страна».** — Литературно-художественный и публицистический альманах народов СССР. № 1. 1927. Стр. 80. Тир. 2.000 экз. Ц. 1 р. № 2. 1928. Стр. 78. Тир. 2.000 экз. Ц. 1 р. ГИЗ. М.—Л.

«Советская страна» не ставит себе каких-либо строго-научных или специально-литературоведческих целей. Это действительно альманах, стремящийся в наиболее доступной форме популяризовать в широких читательских кругах культурную и общественную жизнь многочисленных республик нашего Союза. Элементы литературно-художественные определенно преобладают над публицистическими. Последние в двух вышедших номерах представлены, в сущности, лишь тремя-четырьмя небольшими статьями, часто лишь заметками: тов. Сталина («Из статей по национальному вопросу»), Калинин («Привет Советской стране»), В. Смидовича («Малые народы Севера»), М. Муртазина («Октябрь 1917 г. в горах Башкирии»), С. Асфендиарова («Две годовщины» — 1916 и 1921 гг. в Казахстане), Н. Тюрякулова («Письменность народов СССР»), и др., имеющими задачей дать общую характеристику основ всего Союза или же наметить главные вехи в жизни отдельных составных частей его.

Литературно-художественный материал представлен чрезвычайно богато и разнообразно. Тут мы видим и образцы чисто народного творчества народов Средней Азии, Кавказа и др. и произведения поэтов и писателей самых разнообразных национальностей, главным образом, понятно, послереволюционного периода. Дать общую характеристику этому пестрому «альманашному» материалу не представляется возможным. Принципом для подбора образцов народного творчества, очевидно, является отражение дореволюционного национального гнета и тех новых, бурно-творческих настроений, которые принесла с собой Октябрьская революция. Таково, напр., красочное узбекское сказание о Ленине, причудливо сочетающее элементы старого мистико-религиозного мировоззрения с новыми революционно-героическими

мотивами; сюда же относится перенесенная в рассказ бурятская легенда «Отчего почернело озеро Цаган Нур». Однако, на ряду с этими «модернистскими» продуктами народного искусства, в альманахе помещено много образцов народного творчества, не имеющих отношения к современности, но вместе с тем ярко рисующих культуру, быт, художественные традиции и богатейшую фантазию различных народностей. Все эти песни, пословицы, сказки, легенды в своем причудливом сплетении дают представление об огромном интеллектуальном и художественном богатстве, которое таится в недрах нашего Союза.

Произведения современных поэтов и беллетристов-националов в огромном большинстве случаев являются пока еще опытами, почти всегда имеющими историко-бытовую, а иногда и художественную ценность. К числу последних относится, например, рассказ крупного татарского писателя Гадимджана Ибрагимова «Тебиат балалары», красочный, в стиле художественного примитива воспроизводящий историю одного сватовства в дореволюционной татарской деревеньке. Очень яркое, крепко сколоченное впечатление производит казакский рассказ Л. Соловьева «Железный дьявол», изображающий трагическо-нелепое столкновение паровоза с представителем старого быта, духовно-светским вождем кочующего казакского рода.

Основным недостатком большинства беллетристических опытов является их тенденциозность, вполне понятная в условиях огромного противодействия старого быта революционному строительству, но вместе с тем часто лишаящая литературные произведения непосредственности и свежести (А. Нухрат «Во имя Аллаха», Лола Хан Сейфулина «Гани из Ганибадама» и др.). Наоборот, почти сплошь удачны стихи, рисующие в наивных и вместе глубоко художественных образах природу севера и юга, проникнутые чисто эпическим складом и содержанием.

При крайней пестроте содержания все эти образы народного и литературного творчества требуют хотя бы не-

больших вводных статей или заметок, знакомящих читателя с искусством данной национальности, ее письменной или устной литературой и т. п. В журнале это, к сожалению, пока еще отсутствует, благодаря чему часто получается впечатление чрезмерной раздробленности, случайности, можно сказать, калейдоскопичности. Правда, известная историко-критическая аппаратура имеется, но она слишком миниатюрна и абсолютно не связана с воспроизводимым художественным материалом (таковы, напр., заметки Е. Беляева «Музыка туркмен», С. Валайтиса «Белорусская литература», А. Луначарского «Народное искусство» и др.). Вместо этих очерков, оторванных от каких бы то ни было образцов, гораздо целесообразнее снабжать воспроизводимый художественный материал краткими вступительными заметками, которые давали бы необходимое историко-литературное обрамление.

Из явно неудачных статей, вошедших в два первые номера, отметим лишь очерк Г. Яффе «Крушение Васки», освещающий водную проблему Средней Азии в каком-то приподнятом, плакатно-«восточном» стиле, которому не место в нашей печати, посвященной Советскому Востоку. К чему, напр., называть такие пустозвонные обороты, как «на лестнице времен народы сменялись народами...», «понимали ли когда-нибудь друг друга волк и овца?» или «безжалостно перекроили ножницы Октября карту старого Туркестана», и пр. Весь этот пышный стиль, питающийся традициями восточной экзотики, надо, разумеется, окончательно и бесповоротно сдать в архив. Альманахи издаются на прекрасной бумаге, снабжены десятками превосходных воспроизведений (к сожалению, сплошь и рядом несвязанных с текстом) и недороги по цене. Надо им пожелать в дальнейшем значительно «потолстеть», перейти от литературных фрагментов к более крупным произведениям, снабженным (о чем выше уже говорилось) необходимыми историко-литературными вводными заметками.

*В. Гурко-Кряжин.*

**Н. Огнев.**—«Собр. соч. Т. I. Рассказы». С предисл. А. К. Воронского. Изд. «Федерация». М. Стр. 334. Ц. 2 р. 70 к., в переплете 3 р.

Н. Огнев начал свои художественные поиски в пору «молчания» и «тьмы», в которой «кружились мелкие бесы» и «недотыкомки серые», жизнь человека проклиналась «проклятием зверя». Он вышел из этой эпохи, вырвался из нее благодаря силе своего драматического таланта, благодаря ему же вошел в новую эпоху, безбоязненную, торжествующую, волевою, отвечающую его индивидуальным поискам и стремлениям. На грани двух времен, разорвавших не одно сердце, окреп его талант, выросло его мужество. Мир его образов рожден крушением времени переживаний и торжеством явления эпохи действий. Голоса этих двух времен—загробные голоса покрытого саваном прошлого и радостные радиоголоса антенн молодой жизни спорят в рассказах Огнева. В этом споре победа остается за людьми воли, действия, практики, за панактивистами, потому что «практика—это правда». Все остальное—ложь. Воля—вот главный герой современной жизни. И в жизни и в людях новорожденное борется с мертвым, с хамским, свинским. Новорожденные или переродившиеся и перерождающиеся люди имеют свои мечты и надежды. Но они разрешают их не уходом от действительности в мир «новых чар», прекрасных дам и необыкновенных легенд. Они разрешают их действием, переделыванием жизни, практикой, имея дерзкое намерение саму жизнь сделать легендарной, утвердить в ней общий язык «экиперанто» («Темная вода»), сварить «электрические пши» для страны («Щи республики»), уничтожить панику, воспитать несокрушимую уверенность в себе («Дело о мертвеце»), создать из себя «безусловного» человека («Пашкины любви»), строить мир не «как попало, наплевательски, но по плану, вперед, вверх, к солнцу, даешь борьбу, даешь движение» («Гибель культуры»), преодолеть мировое движение, перегнуть его, а когда «через несколько тысяч лет станет погасать солнце, а

земля,—ты представь себе,—управляемая мощнейшим мотором в своем центре,—двинется в путь по своей орбите, а не по предписанной солнцем. Вот где величайшая цель человечества» («Крушение антенны»).

Последняя мечта—мечта дерзкого школьника, утверждающего антенну, трижды опрокинутую, трижды сокрушенную,—«Арысь-подем», старой, древней, колдовской могильной Русью, желающей заглушить радиоклич молодой республики к рабочим, рабочим, рабочим всего мира. Молодые, дерзкие, смелые люди борются у Огнева с мертвечиной, со стариной, с несуразной образиной хамства, холуйства во имя торжества воли к науке, социализму, воли к раскрепощению разума и труда.

Для проявления живого и мертвого он пользуется фантастикой и натурализмом, лирикой и ораторской речью, звукописью и графикой. Есть у Огнева в этом томе рассказов и непреодоленное ученичество, особенно в рассказах дореволюционных, но чем ближе к нашему времени, тем действительней, драматичней становится его стиль, образы емче, полновочувственней.

*С. Пакентрейгер.*

**Ис. Гольдберг.**—«Сладкая польнь». Повести и рассказы. ГИЗ. М.—Л. 1928. Стр. 340. Тир. 4.000 экз. Ц. 2 р. 25 к.

На некоторых вещах Гольдберга, собранных в разбираемой книжке, лежит явственный отпечаток некоего пессимизма.

Трагическая судьба бывшей партизанки, по возвращении с гражданской войны оставшейся в одиночестве в своей родной деревне, запутавшейся в житейских неудачах и повончившей самоубийством,—такова основная тема центральной повести сборника «Сладкая польнь». «Город опоздал»—гласит конец жизнеописания партизанки Ксении Коненкиной.

Скорбный облик юной девушки, пригнанной в голодные годы продаться за кусок хлеба некоему «гнусу паршивому», предстает перед читателем в рассказе «Попутчик».

«Наследство капитана Алешкина» — рассказ о том, как снятое крестьянами

с трупов замерзших в тайге беглых белых офицеров тифозное бельё заражает тифом деревню, беспомощную в борьбе с болезнью и бессильно вымирающую.

Во всем этом очень много черных красок, мрачных тонов, горечи, жизненной «полыни».

Правда, звучат в книжке Гольдберга и бодрые ноты, имеются и светлые краски; гибнет напрасно партизанка Ксения, но растет Васютка, радостно принимающий жизнь, знакомящийся с пролетарским городом, втягивающийся в учебу («Сладкая полынь»), стремится к свету сквозь оковы обывательского быта, осмысленно «шевелит мозгами» Петька («Петька шевелит мозгами»), гордится своими пайковыми победами торжествующий мещанин, но сквозь ободрительные смешки внимающих его повествованиям подобных же ему слушателей властно раздаются молодые голоса, клеймящие презрением его похождения и победы («Попутчик»), — однако, качественно и количественно перевес остается все же на стороне зарисовок случайных, отрицательных жизненных фактов, на стороне «полыни».

Совершенно не следовало бы помещать в сборник рассказ «Марта ветры острые». Автор, вероятно, претендует здесь на психологическую остроту и т. п., но впечатление от рассказа остается крайне слабое. Бывшая гимназистка Катя, обладательница «карих с золотыми точечками глаз», сотрудник особотдела при штабе N-ской дивизии, отказывающаяся от ведения допроса белого офицера — своего бывшего жениха, — одно из тех существ, коими нас обильно дарили беллетристы предшествующего литературного периода. Этот «психологический» этюд Гольдберга — продукт чисто интеллигентского творчества.

В целом рецензируемый сборник рассказов Ис. Гольдберга тематически актуальным признан быть не может.

*Арк. Глаголев.*

**Хаджи Мурат Мугуев.**—«Смерть Николы Бунчука». Изд. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1928. Стр. 164. Ц. 1 р. 30 к.

В эту книгу входят три рассказа.

В первом из них, давшем заглавие всему сборнику, повествуется о том, как погиб казак Никола Бунчук, спасая от расстрела своего товарища, обвиненного в сочувствии красным.

Второй рассказ — «Яблочко», также относящийся к эпохе гражданской войны, посвящен описанию ликвидации банды «войск Иисуса Христа», когда горсточка коммунистов благодаря своей энергии и находчивости сумела разгромить многочисленную банду атамана Стецуря.

Но если эти две вещи, рисующие недавно прошедшее, несмотря на свою посредственность, и тематическую и сюжетную, не чужды читателю, то «Капитан Келли», замыкающий книгу, воспринимается как нечто давно забытое.

«Капитан Келли» — обычный дореволюционный колониальный рассказ, какие в былые времена пачками печатались в журналах «Мира Приключений» и «На суше и на море». Он очень либерален, и автор настойчиво призывает читателя возмущаться поведением капитана Келли, который издевался над святынями туземцев. Однако, нашему читателю, настроенному против богов и жриц, колониальная тема должна быть показана в другом, более современном, трезвом и деловом разрезе. Мелодраматический заряд автора в данном случае идет мимо него и пропадает в пустую. Толстый живот деревенского старшины Карибу и мало-разговорчивый брамин помещали Мугуеву показать взаимоотношения колонизаторов и массы угнетаемых туземцев, носителями воли которых являются старшина и брамин.

Что касается стиля автора, то он мог бы быть значительно лучше.

Его казаки, переходя с украинского на русский, начинают говорить стандартным псевдо-народным языком: все эти «почитай» и «вестимо» режут ухо.

Недоумение вызывает «козья нога», раскуриваемая на стр. 41 предтека, и читатель в праве думать, что она имеет некоторое отношение к тому французу, который ухитрился «пить самовар».

Безвкусная обложка, столь характерная для изданий «ЗИФ», венчает книгу.

*Борис Анибал.*

**Петр Дементьев (П. Ива).**— «**Душа на колодке**». Повесть. Изд. «ЗИФ». Стр. 211. Ц. 1 р. 65 к.

«**Всякое дело кажется легким, а возьми за него—глядь, такие преграды выставит жизнь, что руки врозь!**» («**Душа на колодке**», стр. 24).

Казалось бы, легко прочесть повесть, произведение изящной литературы. Но автор, при попустительстве издательства, такие «преграды» выставляет», что...

Вся книга состоит из преград, общая направленность которых характеризуется такими «писанинами»: «**Василий вышел на тишине и окончательно парализовал провокатора**». «**Улыбаясь идиотской ярью, пуговицы отражали красноватый свет, и Петя никак не мог постигнуть их коварную сущность**».

Затем следуют отчетливые разновидности преград. Прделаем опыт классификации. Первая разновидность—фоническая, доказывающая, что автор подбирает слова по определенному звуковому признаку: «...проглотить неглотливый комок, застрявший в горле»; «...голос... не был надоедливо-ведливым»; «...надзиратель... надзирал дыхание...»; «...у него уши разлапоушные...».

Вторая разновидность — словоизобретательская. Автор явный противник штампа: «...девку, вот в такую же лунницу во мне ухондобили». «Они взахались». «И мы, старые пни,—иной раз к истопели».

Третья—назовем ее в стиле П. Дементьева сравненческой: «...покосившиеся крыши заломились, как набекренняя шапка кулачного бойца». «...Месяц, как выходящий из бани краснорожий саложных дел мастер...».

Четвертая — подзатыльнометафорическая: «Тишине дал подзатыльник удар в колокол»; «...время стукнуло домам по переносице, надавало им подзатыльников...».

Пятая — афористическая: «Хорошо шагать, хотя и под луной, но все-таки ночью...»; «...воробей, что саложники-безбожники — душа на колодке, не мудрящая птица, а может всех архиерейских баб взбулгачить чуть не до драки». Приведенные примеры вполне

соответствуют требованиям, предъявляемым к афоризму: «**Изречение, заключающее в сжатой и категорической форме философское утверждение, вывод из житейских наблюдений или просто каламбур, шутку, если они носят характер известного обобщения...** Для А. в одинаковой степени обязательны и законченность мысли и отточность формы» (см. БСЭ, том IV, стр. 95).

Выписанные образцы стилистических разновидностей вряд ли составляют полпроцента их общего количества. Даже в приведенных примерах нельзя не усмотреть большого своеобразия (например, образ пуговиц, улыбающихся идиотской ярью). Оригинально «выражаются» как персонажи, так и автор.

Кто-нибудь возразит: может быть, за этими «формальными» преградами бьется живая жизнь, может быть, за ними пролетарское содержание и идеология? Может быть, что-то и бьется!

Из того, что нам удалось усвоить, ясно одно: дело происходит в дореволюционные годы. Саложник Автоном (и имя-то какое!) Васильевич пьянствует, бьет своих работников. Энергично работает сваха Фелицата, поставляя женихов и невест. Жена Автонома, Дарья, ублажает полицейского надзирателя Селедку. Припадочный Савелий (он же Рашпиль) все время кричит «Бей жид-о-о-о-в» и бьет даже русских. Богослов и Арсентий — пьяницы, но, в конце концов, их отправляют в ссылку за инкриминируемое им убийство полицейского надзирателя.

Правда, автор говорит еще о каких-то забастовках, о вооруженной борьбе двух революционеров с полицией. Даже провокатор имеется. Но «что к чему» — понять невозможно. Важно, однако, другое: пение ссыльными «Варшавянки» завершает, с позволения сказать, повесть. Повидимому, это покорило сердце «ЗИФ», и издательство предоставило «Душе на колодке» право на жизнь. Вероятно, «Варшавянки» достаточно, чтобы решить, что повесть идеологически выдержана, хотя никакой идеологии и никакой психологии, как и художественных достоинств в книге нет. Зато есть ругательства. Пользуясь

тем, что в них нет ни одного непечатного слова, автор усаждает ими текст («...Трах твою растарарах в таррарах! трах! в тарарашеньки!..» — многократно). Есть просто пошлятина; от примеров воздержимся.

Словарь иностранных слов Майданова и Рыбакова просит понимать под макулатурой следующее: «Бездарное и бессодержательное литературное произведение, литературная стражня».

Стражня! Как нельзя более точно!

Боимся стать пророками, но выскажем все же предположение, что вряд ли найдется человек, у которого хватит сил и терпения прочитать «Душу на колодке». Разве только по обязанности!

*Борис Гроссман.*

**Леонтий Раковский.** — «Сивопляс». «Прибой». Л. 1928. Стр. 167. Тир. 3.000 экз. Ц. 1 р. 20 к.

Две появившиеся в печати книги Л. Раковского совершенно определенно указывают на то, какой круг тем интересует писателя: жизнь местечка западного края, обывательские провинциальные будни, маленькие психологические драмы, эпизоды из гражданской войны на фоне местечкового быта, воспоминания детства — вот что дает Раковскому материал для его творчества. Он неплохо владеет словесным инвентарем, живо передает различные оттенки говоров, его язык пестрит меткими сравнениями (кони похожи друг на друга, как флейта на кастрюлю» или «нога лезла в сапог, как дым в закрытую трубу»), его рассказы не лишены бытовой характерности, некоторой доли юмора; в пользовании каламбуром, в способе обнажения приема отчетливо сказывается влияние голливудской манеры, но с сюжетом автор справляется далеко не всегда, и далеко не всегда удается ему одушевить свои рассказы и сделать их социально-актуальными.

Две вошедшие в рецензируемую книгу повести («Марья и Марьян» и «Сивопляс») бледны, сюжетно слабы, внимание рассеивается на второстепенных лицах и тонет в мелочах, непонятно, зачем плетет автор непрочную сеть романтических связей, почему по-

надобилось ему в повести «Марья и Марьян» хитрую и ловкую мешчанку Марью Андреевну сделать жертвой охранника Марьяна Шупелиса и для чего, собственно, ведет он утомительно-скудное повествование о любовных похождениях старика-учителя («Сивопляс»). Эти повести трудно прочесть и легко забыть, и из всей книжки только драма Авсея Цыпкина (рассказ «Две смерти»), стремившегося вырваться из местечка в город — в техникум, останется в памяти. Но как раз этот-то рассказ недостаточно тщательно обработан. Он скомкан, во второй части не выдержана взятая в начале специфическая интонация разговорного языка еврейского местечка, и фальшиво звучит резонерский тон концовки.

Непринужденно рассказанный случай из детской жизни («Мотоциклет») не может все же по своей незначительности повысить интерес к книжке: ее приходится признать в целом неудачной. Однако, лучшие места, как и некоторые рассказы предыдущего сборника, позволяют ждать от автора лучшего литературного материала.

*А. Шфаур.*

**Г. Петников.** — «Ночные молнии». 4-я книга стихов. Изд-во «Academia». Ленинград. 1928. Стр. 78. Ц. 90 к.

Как прежде, стихи Г. Петникова и в «Ночных молниях» характерны нервной ритмикой, синтаксической заостренностью, своеобразием вовсе не обязательной рифмы, обилием провинциализмов и заново возрожденных слов. Во всем этом, конечно, надо усматривать не столько «стихийность», сколько поэтическую установку футуриста.

В «Ночных молниях» есть ряд вещей, датированных дореволюционными годами. Как у покойного Хлебникова, в этих вещах Г. Петникова часты архаические речевые комплексы: «изумитые стёпы», «палых угольев звоночь», «владелый мятеж серебра», и т. д.

Радует то обстоятельство, что в последних стихах Г. Петникова мы с этим почти не встречаемся. Поэзия его достаточно диалектична, и сейчас у Г. Петникова наиболее хорошо звучат другие стихи: «или наша читальня в



лесу и листвы говорливый, зеленый, живой каталог», «ты видишь — степь промчалась на тачанке», и т. п.

Г. Петников не боится замыслов гражданского порядка, которыми довольно богата и прежняя его лирика. Но сдается, что кругозор Г. Петникова все-таки узок, что ему всегда будут особенно удаваться стихи скорее личного порядка. Если хотите, Г. Петников — пантеист. Поэтическое восприятие природы у него в известной мере схоже с тотчевским (вспомним: «нет, моего к тебе пристрастия я скрыть не в силах, мать-земля!»). Из новых поэтов в этом смысле Г. Петникову должны быть близки все тот же Хлебников и Пастернак. У Г. Петникова есть «наивное» восприятие мира:

Вот еще: начинается день. Громыкает ведро;  
Улетает журавль высоко в облака,  
И мы слушаем звон, веселящее «мы»  
И быков на лугу мускулистое «му».  
Начинается снова украинский день.

(«Голос стиха»).

Как и раньше, в этом сборнике Г. Петникова многое не отчетливо. Однако, можно насчитать с десятков и вполне прозрачных стихотворений: «Голос стиха», «Ленинград», «Гроза», «Урал», «Воробьиная ночь», «Рисунок углем», «Я принимаю синеглазых», и др.

Издана книжка вполне опрятно. Обложка Н. Тырсы на этот раз незначительна. Удачнее портрет Г. Петникова работы того же художника.

*И. Поступальский.*

**Г. Гаузер. — «Невиданная Япония».**  
Изд. «Федерация». М. 1929 г. Стр. 123.  
Ц. 80 коп.

Япония, тасовые особенности ее народа, экзотика ее быта и нравов, сложившихся в условиях столетий изолированности, поразительно быстрое движение Японии по пути прогресса, и, на ряду с этим, тяжелые пути феодальных пережитков, до сих пор характеризующие социальную структуру Японии, японское искусство, природа, государственность, вознесшая страну до положения великой державы, единственной великой державы, созданной нацией, не принадлежащей белому человечеству, — все это привлекает к

Японии особое внимание, будит острейший интерес. Для нас, русских, к этому примешивается осознание той особой роли, которую Япония играла в нашей истории последних десятилетий и в истории революционной борьбы. В эпоху первой революции в глазах передового общества России Япония была олицетворением прогрессивных сил, призванных расшатать подгнившее самодержавие. В послеоктябрьскую эпоху Япония оказалась на крайнем правом фланге интервентских сил, поставивших своей задачей придушить Октябрьскую революцию. Наглое давление японского империализма на Китай дополняло образ черно-желтой милитаристической силы, преследовавшей откровенно захватнические цели. Но гражданская борьба и интервенция отошли в прошлое. СССР признана Японией. Начался период взаимного ознакомления двух соседних наций. Сначала политические отношения, затем экономические сношения, торговля, концессии и, наконец, культурные связи, обмен научными достижениями и образами искусства во всех его отраслях. Поездки наших политических, научных и художественных деятелей в Японию и ответные визиты в Москву учащаются, углубляется взаимное знакомство и взаимное культурное влияние. Пред глазами наших путешественников, чрез цепь японских полицейских, все яснее и яснее вырисовывается истинный облик современной Японии с ее «гиперболическими крайностями: гейши, пролетарская литература, бумажные домики, промышленные небоскребы, чайные церемонии, студенты в русских рубашках, переизданный Конфуций, переведенный Плеханов. Все разом. Прошлое, перемешанное с будущим».

Книжка Гаузера принадлежит к числу таких прозрений Японии. Она открывает в ней те новые родственные нам черты молодой Японии, которые ожидалась нами теоретически (в динамике исторического процесса), но конкретные образы которых были нам еще неясны, как, может быть, они неясны и самим японцам. Это та «невиданная Япония», только еще рождающаяся и идущая на смену Японии феодализма

и прогрессивной буржуазии. Эта «третья Япония» призвана осуществить великую задачу преобразования японской исключительности путем органического, а не подражательного восприятия западной культуры в ее последних достижениях. Но молодая Япония призвана вместе с тем внести во всечеловеческую реку собственную струю многовековой оригинальной и изящной культуры.

У автора наблюдательный глаз, впечатления свои он умеет облечь в живую, яркую и убедительную форму. Не обошлось без влияния «Корней японского солнца» Пильняка. Влияние его чувствуется в книжке довольно сильно, но это не подражание, а единство стиля и школы.

*А. Бонч-Осмоловский.*

**Луиджи Пиранделло.** — «Грешница». Роман. Перевод с итальянского Н. Рыковой и Г. Рубцовой, под ред. А. А. Смирнова. Изд. «Прибой». Л. 1928 г. Стр. 248. Тир. 4.000 экз. Ц. 1 р. 45 к.

Читатели, соблазненные названием и двусмысленной картинкой на обложке, будут жестоко разочарованы: вместо ожидаемого фривольного романа, они прочтут серьезное, печальное и довольно тяжелое повествование о семейных трагедиях и связанных с ними душевных катастрофах. Героиня этого романа, заподозренная мужем в измене, на самом деле совершенно невинная, после разрыва с ним ведет одинокую жизнь в другом городе, занимаясь педагогической работой и поддерживая свою мать и сестру. Одиночество сламывает ее, и на этот раз она в самом деле «изменяет» мужу. Ее «обольститель», из-за которого она раньше была заподозрена в измене, ведет себя трусливо и нерешительно. В то же самое время происходит встреча с прежним мужем, готовым ее простить. У постели умирающей матери начинается трагедия, конец которой неизвестен.

Роман обрывается душераздирающей сценой. Все это превратилось бы в невыносимую мелодраму, неубедительную и фальшивую, если бы не большое реалистическое искусство Пиранделло. Благодаря прекрасному знанию быта и

правов полунинтеллигентной, полумещанской среды современной Италии, он сумел придать необходимую убедительность сюжету. Самый фон романа, нудный и омерзительный, передан им с большим знанием дела, — отсюда обособленность и жизненность душевных состояний. «Грешница», тем не менее, не принадлежит к лучшим вещам Пиранделло. В ней нет ни его юмора, ни легкости, многие эпизоды обработаны слишком растянато и безвкусно. Самый замысел воспринимается не совсем отчетливо: с одной стороны, это как будто сатира на допотопные понятия итальянских мещан, с другой — игра на острых сюжетных положениях. Конец романа особенно подчеркивает последнее впечатление.

*К. Локс.*

**Курт Клебер.** — «Пассажиры III класса». Роман. Перевод Н. С. Войтинской. Изд. «Моск. Рабочий». М.—Л. 1928. Стр. 255. Ц. 1 р. 75 к.

К. Клеберу только перевалило за тридцать; он принадлежит к тому поколению немецких рабочих, которое непосредственно после революционной подготовки в социал-демократическом союзе молодежи и после доучивания на крупном капиталистическом «предприятии», каким была война 1914—18 гг., занялось серьезной революционной практикой, приняло участие в классовых боях. Солдат революции, Клебер первые свои стихи написал в Октябрьские дни. Книжки «Рурские баррикады» и «Революционеры» — четкие, сжатые зарисовки борьбы немецкого пролетариата. Затем следуют «Пассажиры III класса» — «попытка изобразить революционный порыв рабочих всех стран».

Прием, которым при этом воспользовался писатель, напоминает основной прием «Мистерии-Буфф» Маяковского. На пароходе, идущем из Америки в Европу, по воле автора оказываются рабочие различных стран и всевозможных типов — от американского бродячего рабочего и вполне сознательного производственного рабочего-француза до явного соглашателя бельгийца и совершенно «необработанного», темного

шотландца, надеющегося только на свое здоровье, свои кулаки. «Коллекцию» дополняют: американский анархист, русский крестьянин, возвращающийся в СССР, американский фермер-голландец и немец — выбившийся из рабочих хозяин мастерской, ненавидящий и боящийся своих прежних товарищей.

Заставляя персонажей делиться воспоминаниями, говорить о жизни пролетариев, спорить на политические темы, о революционной тактике и т. д., автор старается показать все оттенки их классовой психологии, заставляет читателя делать выводы о том, кто из них в какой мере пригоден, подготовлен для участия в революционной борьбе. При этом персонажи не являются схемами. Портреты всех действующих лиц — пассажиров III класса, пассажиров I класса, пастора, пароходной администрации — набросаны резкими штрихами; с реалистичностью, характерностью они совмещают яркость и условность плакатных фигур; благодаря своей шаржированности нередко заставляют предполагать о влиянии манеры Гросса на Клебера—автора «Пассажиров».

Любопытно бы сравнить эту книгу с романом французского буржуазного писателя Р. Доржелеса «Ехать». В основе одна и та же ситуация, но принадлежность художников к враждебным классам обусловила и взаимную враждебность, чуждость основной образной и психологической ткани книг.

Перевод немного шероховат (вместо «эпохи рационализации» — «эпоха рационализма», вместо «кармана» — «пола» и т. д.). К книжке приложена интересная автобиография Клебера. Предисловие к русскому изданию написал Бела Иллеш.

*Я. Фрид.*

**В. А. Жданов.** — «**Любовь в жизни Льва Толстого**». Кн. первая. Стр. 248. Кн. вторая. Стр. 234. Изд. М. и С. Сазанниковых. М. 1928. Тир. 4.500 экз. Цена каждой кн. 3 р.

Под «рентабельным» названием книги Жданова скрывается ценное исследование одной из важных и немало затененных за последнее время проблем

биографии Толстого. В центре внимания автора стоит проблема семейной жизни Толстого. Муж и жена Толстые — настоящая тема его книги.

Правда, вначале автор кратко, на 44 страницах, рассказывает нам и о периоде холостой жизни Толстого. Но эта часть его работы носит явно вводно-вспомогательный характер и как раз наименее удалась. Автор идет в ней дальше своих предшественников-биографов Толстого — по пути раскрытия интимной стороны его жизни, не только концентрируя известные материалы, но и дополняя их рядом неопубликованных дневниковых записей. Однако, робость, неуместная в подлинно научном исследовании, останавливает его на полпути: «Интимные записи дневника приводятся не все». В результате полной картины «периода грубой распущенности, служения похоти», тех «ужасных 20 лет», которые так казнил в себе сам престарелый Толстой, автор книги нам не дает. Не останавливается автор совсем на «детской любви» Толстого к Сонечке Калошиной—одном из самых сильных чувств, которые последний испытал в своей жизни. Очень бегло рассказывается интереснейший не только для биографа, но и для социолога эпизод «крестьянской любви» Толстого. Зато семейная жизнь Толстого, сложная история сорокавосемилетних отношений Толстого и его жены, рассмотрена В. А. Ждановым с исключительной тщательностью и полнотой.

«Уход» Толстого из Ясной Поляны и события, ему предшествовавшие, естественно, толкнули их очевидцев и биографов Толстого вообще на «ревизию» всей его семейной жизни. В результате большинство из писавших за последние годы о Толстом склонно было считать, что Толстой никогда по-настоящему не любил своей жены, что его брак был «ужасной ошибкой», с самого начала явившейся для него источником многих страданий и помехой в его духовном развитии. Сам Толстой не только в позднейших, писанных незадолго до ухода, но и в ранних, относящихся к первым годам женитьбы записях дневника, как-будто дает ряд прямых подтверждений такой точке

зрения. О том же как-будто свидетельствуют недавно опубликованные записи дневника самой Софьи Андреевны Толстой.

Однако, осторожным, вдумчивым, лишенным всякой предвзятости анализом документов (писем, дневниковых записей), равно как привлечением к исследованию в сей совокупности сюда относящихся фактов, В. А. Жданов решительно опрокидывает теорию сторонников «несчастливого брака» Толстого. Автор убедительно доказывает, что вся мучительность и неразрешимость позднейшей семейной драмы Толстых происходила как раз не от недостатка любви мужа к жене, а скорее от ее избытка. Из его книги мы видим, что Толстой был связан с женой, и не только в первые дни «стихийной» влюбленности в нее—невесту—и первые годы «безмерного» (выражение Толстого) семейного счастья, но и в последующий период тяжкого «семейного разлада», крепчайшей любовной привязанностью.

Через семью Толстых прошел фронт классовой борьбы. Жена стояла на страстной защите тех классовых, дворянских начал—семьи, собственности, поместно-бытового уклада, — которые с такой же страстностью отвергал порывавшийся из рамок своего дворянства Толстой. Специфика этой классовой борьбы в том, что ее вели двое любящих.

К сожалению, В. А. Жданова мало интересует социология семейной драмы Толстых. Своей задачей он ставит точное, шаг за шагом, описание психологических переживаний мужа и жены—«биение их страдающих сердец», — связывая эти переживания, главным образом, с интимными, чисто физиологическими моментами супружеской жизни.

Это делает из его книги добросовестно составленный сборник материалов (очень многие из них, кстати, опубликовываются впервые) о семейной жизни Толстых,—не более. К большему, Впрочем, не стремился и сам автор, скромно ограничивая в предисловии цель своего труда «систематизацией материалов для будущей биографии». В этих пределах цель его работы должна быть признана вполне выполненной.

В двух пока опубликованных книгах автору удастся довести свое изложение, в последних главах вообще приобретающее несколько торопливый характер, только до 1910 г.—последнего года жизни Толстого. Трудное и ответственное изложение событий этого «рокового» года автор справедливо относит в специальную третью книгу, скорейшее появление которой весьма желательно.

*Д. Благой.*